

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2000

12

---

2000

# НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

## В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

БОРИС АКУНИН. Новый роман;

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

### Рассказы;

СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

АНДРЕЙ ВОЛОС. Недвижимость (роман);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Голос жизни (повесть);

БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;

**ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий** (главы из книги);

**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки** (повесть);

**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**

**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;**

**ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Бог в городе** (повесть);

**РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы** (эссе);

**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;**

**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек** (документальное повествование);

**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период** (роман); **Спецэффекты в жизни и в литературе** (эссе);

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;**

**МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Гостиница «Океан»** (повесть);

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаньч** (повесть);

**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;**

**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Уйти по-английски** (рассказы);

**ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия** (история одной болезни);

**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Мальчик и девочка** (роман);

**ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ. От бумажной к реальной архитектуре нынешнего дня;**

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2000 и 2001 годах: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: nmir@aha.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2001 года — 240 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2001 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман», «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

НАТАЛЬЯ ОРЛОВА — И ветер и дым, стихи	7
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Уткомень, или Моление о Еве, роман	10
ВИКТОР ЧУБАРОВ — Грехопадение звезд, стихи	74
БОРИС ЕКИМОВ — Житейские истории	76
ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ — Подземные музыканты, стихи	91
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть третья (1982 — 1987)	97

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Холодная рука циклопа. Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов. Окончание. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	157
---	-----

#### МИР НАУКИ

«КОВЧЕГ ЖИЗНИ» НА СТАПЕЛЯХ ЭВОЛЮЦИИ. С биологом Ва- димом Репиным беседует Михаил Бутов	170
--	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО — Китайский маскарад на русской исторической сцене	185
МАРИЯ РЕМИЗОВА — Слишком человеческое. Некоторые размыш- ления о литературе non-fiction	192

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Ознобкина. Город радости и счастья	199
Виктор Куллэ. Упражнение в бессмертии	201
Сергей Бочаров. «Мировые ритмы» и наше пушкиноведение	203
Никита Соколов. Великое государево дело	209
С. Ларин. Неизжитое прошлое	211
—————	
Вл. Новиков. — Евгений Шкловский. Та страна	215
Галина Корнилова. — Наталья Галкина. Архипелаг Святого Петра	216
Сергей Шаргунов. — Милорад Павич. Ящик для письменных при- надлежностей	217

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АННЫ ФРУМКИНОЙ

219

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	227
Периодика (составитель Андрей Василевский)	230
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	241
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2000 ГОД	248
SUMMARY	256

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ВЫДВИНУЛА НА СОИСКАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА**

**КНИГУ АНДРЕЯ ВОЛОСА «ХУРРАМАБАД».**

Фрагменты книги печатались в журнале «Новый мир»  
(1997, № 8; 1998, № 7, 10; 1999, № 9).

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ВЫДВИНУЛА НА СОИСКАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**КНИГУ ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО  
«ПУШКИН. РУССКАЯ КАРТИНА МИРА».**

Фрагменты книги печатались в журнале «Новый мир»  
(1993, № 6; 1996, № 5; 1998, № 6).

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ПОДДЕРЖАЛА РЕШЕНИЕ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ВЫДВИНУТЬ НА СОИСКАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА**

**КНИГИ ОЛЕГА ПАВЛОВА  
«КАЗЕННАЯ СКАЗКА» И «СТЕПНАЯ КНИГА».**  
«Казенная сказка» печаталась в журнале «Новый мир» (1994, № 7).

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

НАТАЛЬЯ ОРЛОВА

\*

И ВЕТЕР И ДЫМ

Слова

Забытые мои, святые,  
Пророчащие и простые,

Мои блаженные, смешные,  
Подвальные и земляные,

Они со мной неотвратимо  
За серой наволочкой дыма

В моих прогулках занебесных

Или в объятых бесполезных,

Они и жизнь переиначат  
И ровно ничего не значат

За белым сумраком убогим,  
За этим горизонтом строгим,

За невозможную чертой  
Или за памятью пустой.

\* \*  
\*

Когда подступает пора декабря  
И ветер двойные свои якоря  
Роняет в студеные реки,  
Встает за вечерней — иная заря,  
И губит, и манит, и мучает зря,  
И дует в глаза, и сжигает, горя,  
Мои отягченные веки.

И видимый очерк во мраке ловлю,  
И слышу ответ,  
И твержу, что люблю,  
Тем дням, роковым и обильным,  
И кажется, память сейчас проломлю  
И жизнь в этот гибнущий образ волюю  
Всем страшным духовным усильем.

И долго не гаснет душевный восторг,  
А мрак безответный и глух и глубок,  
И прожитой жизни петляет клубок —  
Работа, свиданье и ужин...  
Там времени льется беспечный поток,  
Где каждому дню будет дата и срок,  
И воздух рассвета целует в висок.  
Но мне он не нужен, не нужен.



\* \*  
\*

Хорошо, хорошо, разве это уже не бывало?  
 Разве этому нет ни названья, ни слова у нас?  
 Эта звездная ночь среди полдня уже наступала  
 И смежала глаза, перепутавши время и час.  
 И ничто не могло отменить этих быстрых свиданий,  
 Потому что никто не умел их вперед угадать,  
 Только черные звезды сквозь свет проступали заране  
 Там, где белому солнцу велели бессмертно сиять.  
 И никто не хотел в разговоре себя обнаружить  
 И спокойный стоял в перекрестье незримых лучей,  
 И никто б не сумел эту связь роковую разрушить,  
 И никто не бывал так спокойно и больно — ничей.  
 И в остывших полях умирали вечерние звуки,  
 И желтело в снегу, леденело под ветром жнивье...  
 Кто же знал, что любовь — это грубая боль при разлуке  
 И простые слова про разбитое сердце мое?

\* \*  
\*

Отчего, когда я смотрю  
 на родственную мне  
 праздничную толпу,  
 я всегда вспоминаю  
 голодные киргизские реки,  
 мгновенно уносящие  
 все, что в них ни бросишь,  
 неподвижные,  
 с закинутым к небу лицом,  
 с белой пеной бешенства  
 на подрагивающих губах?

### Три стихотворения

#### 1

Ветер. Солнце. Пыль. Весна.  
 Кунцевский район.  
 Вся-то жизнь заключена  
 В этот свет и звон,

В этот день и в этот пруд,  
 В синие пути.  
 Вот придут и отопрут,  
 Выпустят — лети!

И не спросят ни о чем  
 Сердце никогда  
 Этот вольный окоем,  
 Ветер и вода.

## 2

Если б этим садам  
Вышло цвести без разбору,  
Кто бы отчаялся сам  
В эту звенящую пору?

Если бы этой водой,  
Солнечной, грязной, живучей,  
Смыть эту жизнь за собой,  
Как настроенье и случай,

Если бы этой весне  
Быть не судьбой, а ошибкой,  
Жизнь не казалась бы мне  
Однообразною пыткой.

## 3

Только солнце в зените,  
Только сила великой весны.  
Жизни нити  
За затылок заведены.

Вот и все, что осталось,  
Что хотели спасти мы с тобой.  
Эту талость  
И невиданный свет голубой,

Только пыль междометий  
По оврагам и рощам глухим,  
Дым и ветер.  
И ветер. И дым.

\* \*  
\*

Если бы знать в этот век просвещенный,  
Путая нечет и чет,  
Кто и меня, и народ укрощенный  
Через пустыню ведет,

Если бы сердцу хватало поруки  
Знаний, и вер, и вещей,  
Если бы вправду я слышала звуки  
Явственных здешних речей,

Чтоб не гадать и рассудком не мерить  
Холод и блеск бытия,  
Выдохнуть просто и сразу поверить —  
Господи, воля Твоя.



---

---

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

\*

## УТКОМЕСТЬ, ИЛИ МОЛЕНИЕ О ЕВЕ

*Роман*

...**О**на меня все-таки догнала возле лифта, пока я — вечная клуша — переминалась с тремя набитыми пакетами, освобождая средний палец, чтобы нажать кнопку вызова.

Она что-то мне сказала, материализуясь из темноты пристенка почтовых ящиков. Что-то сказала и подняла руку.

Палец успел вызвать лифт, и я очень долго падала в него, оглушительно шелестя пакетами.

Она мне что-то сказала... Что?

«Жаль, — подумала я свою последнюю мысль. — Мне уже не написать всей этой истории. Жаль».

И я ушла в бесконечный зловонный туннель, о котором столько наврано. Наврано... Наврано... О...

Однажды их занесло в шашлычную на Красной Пресне. Трех молодых и красивых. Это было время, когда никуда нельзя было попасть по желанию. Время, когда табличку со словами «Мест нет» выковывали одновременно с дверными ручками кафе, театров, бань и прочих людских мест. В такой системе был смысл. Разрешить всем подряд мыться, где они хотят, или позволить им смотреть красивых артисток по потребности — все обрушится и полетит к чертовой матери. И тогда уже не отличить того, кому быть здесь положено, кто пущен, а чье место далеко-далеко, за той самой лужей, что расплескивается машинами во все стороны на прохожих, котрым входа нет на все и навсегда.

Сегодня, в тринадцатую пятницу девяносто девятого года, то — почти забытое прошлое, но как много из него растет. Растет от вахтера, что стоял тогда у таблички и нежно и ласково, едва-едва касался допущенной задницы. Что-то растет от людей, забрызганных грязью той самой лужи. Но повторяю: сегодня пятница девяносто девятого, а мы в другом времени — в пятнице семьдесят девятого. Красивых молодых женщин пропустили тогда в шашлычную, и та, что шла последней, сунула в карман швейцару трояк. Хотя напрасно — они уже вошли, вошли за так, просто потому, что хороши были.

Это был особый случай преодоления знака «нет», бультерьера той жизни — случай победительности красоты. Ну а если ее — красоты — нет? Ну не вышло с сочетанием генов, Бог был раздражен на очередную энциклику Папы Римского. «Да просто не так встали звезды», — говорит один молодой человек, когда его головка очень бо-бо с перепоя.

---

Щербакова Галина Николаевна родилась в Дзержинске Донецкой области, окончила Челябинский пединститут, работала в школе. Автор книг «Справа оставался городок» (1979), «Вам и не снилось» (1983), «Анатомия развода» (1990), «Love-стория» (1996), «Год Алены» (1996), «У ног лежачих женщин» (1999). Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

В тот день, час, через минуту, когда наших барышень пустили за их ресницы, талии и мочки ушей, в дверь стала биться женщина, у которой отвалилась, зацепившись за ошметок асфальта, подошва, и она, в сущности, оказалась босой ногой на ноябрьском снегу. Бедняга приподнимала ногу, чтоб улыбчивый к красавицам швейцар обратил внимание на бедственность ее положения и понял, что ей всего-то надо вызвать такси или каких-то знакомых. Бедняжка рисовала пальцем на стекле как бы телефон и трубку. Но вахтер, отвлекшись от пахнущих красоток, махнул рукой на бедолагу — пошла, мол, вон, — и та поковыляла дальше, плача от холода и обиды и как-то очень сильно запоминая этих «шлюх», которым жизнь отваливает полной мерой щедрости, а ей даже на малость жадничает.

Она уже тогда поняла, что запомнила их на всю жизнь. Особенно одну. Тоненькую, с пушистым серебристо-золотым хвостиком и ложбинкой на затылке, которая нежно стекала в одежды и где-то там, под ними, преображалась во что-то другое. Еще лучшее.

Подошва же еще какое-то время держалась на каблуке, а потом чавкнула и осталась на дороге. Такая сама по себе подошва. Уже без будущего. Отдельная от подошвы женщина жаждала в тот момент трещины земли в районе шашлычной, падения потолка на головы всех тех, для которых места всегда есть.

Так она и дошла домой босой ногой.

Забудем о ней пока.

Три женщины с заиндевевшими от первого мороза ресницами, прошедшие как бы поверх барьеров, вполне осознавали тогда утроенность своей силы и шубейки свои (цигейковую, заячью и синтетическую) бросили гардеробщику небрежно, как соболя, и юбки перед плохоньким, мутным трюмо одергивали как-то даже бесстыдно, как делают дети, еще не подозревая, что в откровенном, на виду, подтягивании трусиков... — как бы это сказать помягче и посовременней? — изначально существует, как это теперь говорят налево и направо, эротический компонент.

Ольга тогда задрала подол на всю возможную высоту. Рая возилась с ляжками лифчика: у нее маленькая грудь, и правильное стояние твердого бюстгалтера было, так сказать, обязательным. Саша же утягивала пояс. В ладонь широкий, он демонстрировал талию молодой Гурченко, а может, и побивал ее в миллиметрах.

Когда шли в душный от подгорелого жира зал, гардеробщик, старый человек — что с него взять! — тронул за руку Раю и сказал ей тихо, но как бы навсегда: «Ты лучше всех!» Рая скорчила гримаску: во-первых, она в этом и не сомневалась, а во-вторых, говорить ей это при подругах даже шепотом все-таки не следовало — Ольга улавливает любую шепотную речь задалеко. Она и уловила. Толкнула Раю плечом и сказала: «Проверяешь аккумулятор на старичках?» — «Я такая», — засмеялась Рая, но ей стало неловко. Она была девушка скромная. Поэтому за стол она села так, чтоб не видеть зал — красуйтесь, подружки, без меня. Мне не жалко. Что они и делали первые пять минут, отвлекая жующие рты от непрокусываемых шашлыков. Первичность еды и женщины решена только на уровне крыс и прочей животной мелочевки. Результаты разные. А вот поставить перед едоком, еще не утолившим аппетит, красавицу — такие эксперименты пока еще не описаны, а значит, и не о чем говорить. Потом девушкам принесли по бокалу цимлянского, и прорвало то, ради чего, собственно, и сели...

У Ольги тогда назревал развод. Не трагичный, а, скажем, унылый. Именно унылость вела к тому, что развод мог и не состояться, и жизнь, слегка пожмакав и потискав, вернет Ольгу в привычный порядок. Так уже однажды было. Вялость чувств успешно и лучше всего перемалывает любые ситуации. Ольга и Сергей остались вместе, родили еще одного ребеночка. Теперь мальчику пять лет. Он близорук и толст, дочери уже двена-

дцать, и снова вялотекущая шизофрения отношений и горячий шепот Ольги над пузырьками вина:

— Ну, не знаю, не знаю... Есть же куда ему уйти... У мамочки квартира. А мне некуда... Я — девушка безродная...

— Что ты выгадываешь разводом? — спрашивает Саша. — Что? Было бы ради кого... Нету же!

— Так и надо уязвить! — почти кричит Ольга. — Не в тебя я! Не в тебя! Запасных аэродромов не имею. — И добавила смеясь: — Меня надо завоевать...

— А где войска завоевателей? — Это уже Рая. — На подходе?

— Нету у нее никого. — Саша главный спец по части стратегии захвата чужих мужчин. Муж сдувает с нее пылинки, но всегда — всегда! — какой-нибудь сторонний Вася ждет своего счастья. Васе всегда перепадает от Сашиных щедрот, но по чуть-чуть, по мелочи. — Охотничья собака, — объясняет Саша, — должна быть голодной.

— Ты кто у нас? Кто? — смеются подруги. — Утка? Лиса? Медведица?

— Я — трофей, которым гордятся, но руками не трогают, — смехом отвечает Саша.

Так и живет. При муже, при васьках, завуч лучшей школы, сын — победитель всех олимпиад или почти всех.

— Нет! — говорит Рая. — Нет и нет! Природа нас устроила жить с мужиками. Сергей — нормальный дядька, не хуже других. С чего тебя пучит?

Ольга думает, что зря она собрала подруг, только свистнула — и они тут как тут... Какие же вы, к чертовой матери, подруги, если не можете понять? Наклонившись к ним близко-близко, Ольга матерится так, как умеет только она. С полным знанием существа предмета и всех его особенностей.

Они хохочут в голос, а тут и поспевают страшненькие шашлыки, с обугленными краями, жарко выпяченным салом и не в меру проуксусненным луком, поданным отдельно.

Лук в таком виде — «ноу-хау» шашлычной. Некоторые его не едят совсем. Тогда, переложенный на тарелочку с другой каемочкой, лук поедет по столам дальше. От этих дам должна была идти по луку чистая экономия, но горько-кислые колечки красавицы разобрали вмиг.

— Ишь как их потянуло на горькое, — сказал официант коллеге. — Крепкие девки!

— Гормон играет женщиной разными способами, — ответил другой. Он слыл интеллектуалом шашлычной, так как читал Цвейга и знал, кто такая Черубина де Габриак.

Красивые женщины хрустели луком и запивали его подкисшим вином. Таким был вкус жизни, помеченной табличками «Мест нет».

**Я — Ольга.**

Каждый раз, когда еду этой дорогой, я вспоминаю, что тут была шашлычная. От воспоминаний о том времени у меня сводит пальцы. Тоже мне сказала: сводит. Крючит! Никогда не думала, что можно так ненавидеть время. Тогда, в шашлычной, мне их хотелось убить. И Раису. И Сашку. Вино было отвратное. Кусок мяса застрял между зубами, зубочисток не было — пришлось вытянуть нитку из обшлага, в туалете воняло... Боже мой! Не надо про это думать, не надо! Когда-нибудь, когда-нибудь... Если буду много помнить, пальцы мои так и останутся в скрюченной жмене ненависти.

Я просто умираю, когда *то* время входит в меня. Это как насилие и боль. И это отвращение до кончиков пальцев. Они тогда отговаривали меня от развода с Сергеем. Хороша бы была, послушавшись! Сергея сейчас в державе очень много — он ведущий одной из телепрограмм. Надо видеть, как этот сморчок строит из себя супермена, и ужас в том, что для

многих он уже такой и есть: умный, смелый, свободный. И только я знаю, какой он есть на самом деле. Трусливый, закомплексованный дурак, который оттягивается на унижении тех, кто слабее и похож на него же. Он бьет слабых наотмашь, с оттяжкой, профессионально, без синяков — тут он мастер-класс! Я знаю, что он выиграл несколько процессов по оскорблению людей. Не он, конечно, — его адвокат. Оскорблять теперь легко, для некоторых это как допинг.

Так вот, тогда, в шашлычной, девки мне пудрили мозги, что никого, мол, у меня нет и быть мне разведенной вековухой с двумя детьми от противного мужика. Я им сказала: «Дети мои от меня».

— Как же! Как же! — закудаhtала Раиса. — Мальчик — копия отца.

Я тогда подумала: «Хорошо бы этой красавице надеть на голову тарелку с луком, чтоб по ее самодовольной морде медленно побежал бы скованный маслом уксус, а колечки лука повисли бы на ушах». Так это ярко увиделось, что и сейчас помнится.

Тогда я взяла на вилку лук и сказала: «Вот этот я сняла прямо с твоих ушей». Девчонки растерялись: «С каких ушей?» — «С ваших!» — сказала я, но смотрела на Раечку. Прими, мол, прими! «Вообще-то, — ответила та, — на уши вешают макароны».

Не та цитата, подруга!

Это меня совсем подрубил. Я знаю, что часто говорю невпопад, интеллектуалка Саша поясняет: «Это феномен провинциальности».

Что я, не знаю, что на уши вешают не макароны — лапшу. Но ведь тот лук я тогда мысленно и самолично повесила на уши Раисе. Это был мой лук на ее ушах. Это нельзя было исправить другими словами.

Приеду домой, позвоню им, скажу: «Я опять ехала мимо *той* шашлычной».

Так случилось, что цимлянское, которое им тогда щедро разбавили водой, знаменовало некий рубеж в жизни всех троих. Только у нее уже был слом, а две другие барышни еще раскачивались на качельках, не представляя, что судьба и им подпиливает стояки и подрезает веревки. Повалились они все трое. Шашлычная — начало. Как будто кто порчу пустил. Она, Ольга, разошлась, забрав своих не от того, кто ей нужен, рожденных детей. И не сдохла, не пошла прахом! Вытянула и себя, и детей! Девочка Катенька уже окончила консерваторию и работает в училище. Ванечка кончает университет. Бывший благоверный обещает расстаться и взять его в свою телевизионную команду. Тут она Сергею верит, сын у него один. Так что с детьми пока все хорошо. И сама она тоже в порядке. Замредактора одного из бабьих журналов. Горя не знает, одета и обута щедротами рекламодателей. Конечно, есть в этом душок-запашок, но в той шашлычной воняло круче. Она это помнит — даже пальцами, которые мыла там хозяйлом № 17. Так что к чему, к чему, а к духу капитализма она, оказалось, вполне готова. Не зря все детство долдонила на пионерских игрищах: «Всегда готова!» К чему — это уже другой вопрос. Может, еще и придет время, когда надо будет снова бороться уже за воняющий коммунизм, может, это такой зигзаг истории, такой заворот кишок, а прочистится желудок — и все, как один, опять встанут на линейку и по линейке. Конечно, — чур меня, чур! — лучше бы этого горя не знать, но мысль возвратную иметь в голове надо. Чтоб суметь и успеть. Она одна, и у нее двое детей. Уже большеньких, сами ножками ходят, но все равно — дети. И если ради них надо будет кому-нибудь что-нибудь опустить на голову, пусть дети не сомневаются: у их мамы рука не дрогнет.

Вырулила она наконец на прямую. Осталась позади шашлычная.

...Они расходились тогда недовольные друг другом. Каждый как бы что-то недополучил. Или, наоборот, каждому навесили? Дружба — вещь суровая. С ней и не страшно, но и опасно одновременно. Женская друж-

ба — это всегда немножечко доска с трещинкой. Ты на нее всей лапой, а она возьми и хрясь... Не становись всей лапой, не становись! Дружба — вещь хрупкая. Дружба — вещь нежная. Она не для того, чтобы по ней ногой ходить. Она для чаепитий и разговоров, она для того, чтоб говорить друг другу комплименты. И не больше. Но и не меньше. У Ольги засосало под ложечкой. Так всегда — стоит проехать этой дорогой.

**Я — Саша.**

Нас только что угощали грузинским вином. Для школы это редкость. Имеется в виду, что учителям, как старорежимным барышням, принято дарить конфеты в бездарных коробках или в более продвинутом варианте — лжефранцузскую туалетную воду, бутилированную на Малой Арнаутской. Наш же гость — человек простой и правил не знает. Он приволок пять бутылок грузинского вина из самого Самтредиа или как это у них называется. И пару бутылок цимлянское. Дары отца здорового амбала, в штанах которого всегда тесно, но как ни странно, он ни в чем не отстает и не слабеет от напора в гениталиях, поэтому наш лицейский класс, по расчету папы, для мальчика самое то. Он отправляет его в Англию. Вино оказалось что надо. Училки потекли благодарной соплей, и их можно было брать голыми руками. Пришлось на них слегка гаркнуть. Не так, как я умею, когда зла по-настоящему, а тихонько, но ядовито. Меня тут понимают с полуслова и слюну с подбородка вытерли. Хорошее вино — увы! — не для учительских зарплат. Зачем-то я взяла цимлянское. Мазохизм в его изощренной форме. Я ведь знала, что это вино мне противопоказано с того самого случая, когда наша троица собралась как бы на дружбу, а разбежалась, как волки в поле. Ничего вроде не произошло. Ольга рассказывала про то, что собирается разводиться, мы с Раисой ее отговаривали: дура, мол, и все такое... Она отгавкивалась, нормальный интеллигентный треп, никто никого не умней, но и не глупей тоже. Ведь важная составляющая отношений дружбы — равенство. Но расходились, повторяю, как дальние родственники. И убей меня Бог, если этому была явная причина. То есть, конечно, она была, раз такое случилось, где-то в глубине наших отношений, но никто, никто не брал лопату, чтоб копнуть эту самую глубину. И на тебе! Расставались как обычно — чмок, чмок, но уже была у меня внутренняя уверенность: больше не соберемся. Даже не так, точнее: я думала о себе. Больше я не приду. Было ощущение моей собственной освобожденности от них, хотя сроду про это не думала, в голову не брала. Значит, случился рубеж, переход через который делает тебя другим. И ты хоть тресни, а в свое дорубежье уже не вернешься, даже если там у тебя мама родная. То есть ногами, может, и вернешься, чтоб поцеловать маму, но губы у тебя будут другие, и мама поймет это и схватится за сердце, и тебе станет больно за нее, но и боль будет другая. Ибо переход уже случился. Другая жизнь может быть лучше, а может — и хуже: счастье, если ты сумеешь это понимать... Я понимаю... Я точно знаю: то отвратное цимлянское, которым мы запивали твердое мясо баранины с мягким свиным салом (они так нанизывали на шампур, сволочи!), каким-то непостижимым образом сформулировало мою мысль: «Мне здесь (в шашлычной, в Москве, в стране) противно жить, и я не смогу себя уважать, если буду и дальше запивать лук, поданный отдельно от мяса, разбавленным вином».

Конечно, не в луке было дело. Побег давно и сладко кувырчался в сердце. Моя молоденькая соседка по площадке со своим парнем сели в сделанную собственными руками пирогу и рванули к финнам. Конечно, были пойманы и посажены, я ходила к ним в тюрьму, девочка плакала, что сволочи пограничники порубили пирогу, а друг делал ее по чертежам чуть ли не Гайаваты. Смех и грех. Но что-то они во мне высеяли. Романтические бредни с бреднем. Хотелось рвануться, чтоб треснула пуповина, на которой начертано: «Вход запрещен» — «Мест нет». И пробежать, взявшись за

руки, те самые сто пятьдесят метров, после которых пуля уже ослабнет и не убьет. Романтика замечательно трансформируется в простые житейские вещи. Есть у нее такое свойство. Романтики хоть и фантазеры, но и деятели обязательно. Тогда как реалисты — сплошь фуфло. Ни на что не годны. Я готова защитить на этом диссертацию. Тут все дело в законе движения. Романтик живчик, он обязательно крутится, пусть даже вокруг себя. А реалист прикопан изначально. Его возможности определены длиной его рук. Реалисты придумали веники и лопаты. Романтики — самолеты и велосипеды. И те и другие нужны. Но закон «Стой, ни с места!» сформирован идеологами-реалистами, чтоб стрелять в романтиков.

Так вот, наш романтизм побега — пирога, подкоп под белорусскими Пружанами и прямо в войско Леха Валенсы. Но все это, как у всяких развивающихся романтиков, превратилось в забубенную эмиграцию в Израиль. Отстояли. Отождали. Отнервничали. Распродали. Раздали. И — вперед! Мы слиняли с моим благоверным, который единственный и имел право на эту эмиграцию. Я была пристяжной. Там я хлебнула уже той жизни и тоже полной мерой, и через три года мы вернулись в горбачевскую страну. И стали хлебать тут. Замечательно дикий девяностый с талонами на водку и сахар. До сих пор ношу клетчатую мужскую рубашку, купленную по паспорту с московской пропиской, в магазине «Подарки», что в начале Тверской, рядом с «Российскими винами». Муж у меня — золото. Ему всюду хорошо или плохо, это у него не всегда различимо. Но если есть стол и возможность писать слова и формулы, все остальное ему без разницы. И изысканные фрукты Израиля он ел точно так, как червивые груши с тетиной дачи. Если бы мне предложили самого что ни на есть мужчину, со статьями, мощностями и деньгами, я бы не оставила своего, сутулого и слабого. Мне нужен именно он, вокруг которого я расту широко и буйно, охраняя его своими ветками и листьями. Нет, правда! Никто не понимает этого, даже его родня, которая знает, что мужчины западают на меня сразу и навсегда. Его очень отговаривали от меня — мол, не по плечу рубит сук. Но я отодвинула плечом всех претендентов на мое грешное сердце и ни разу не пожалела, что поступила именно так. И не надо мне другого, как пелось в раньшей песне. Я даже не знаю, что могла бы сделать, случись у нас опасность разрыва. Скорее всего я убила бы его, а потом — себя. Я как-то сказала это нашему сыну Алеше, он посмотрел на меня и ответил:

— Страшные вещи говоришь, мать, но правильные. Врозь вам не выжить. Я давно заметил: там, где у отца кончается нога, начинается твоя рука, а потом ты непринужденно переходишь в него, эдакий сюр. Мне-то от этого хуже — в сущности, у меня один родитель по имени мапа. Даже пожаловаться некому.

Алеша теперь живет в Германии. В Израиль мы уехали, как сотни других, прежде всего из-за армии. Но когда мы уезжали назад, у Алешки возникла возможность сразу двух университетов — иерусалимского и мюнхенского. Он уже обрел каких-то приятелей в Израиле и даже маленькое научное имя. Наш отъезд оказался аргументом посильнее — штаны Гёте победили, тем более, что на глобусе Германия стояла к нам как бы ближе. Так второй раз мы отважно сломали географию.

А теперь, когда подняла голову эта красно-коричневая сволочь, так просто счастье, что он этого не видит. И не видит меня, заходящуюся в паническом крике. Я понимаю, это не по-христиански, но коммуно-фашистов я бы убивала собственной рукой. После ГУЛАГа так ничего и не понять? Какой же еще опыт, Господи, ты можешь предложить этому народу? Какой?

— Вы про что так сердито думаете? — спросил меня наш гость-грузин.

У меня выразительное лицо — извините за нескромность, а в минуты полной самоизоляции я даже тихонько говорю сама с собой.



— Я думаю, что никогда не пила такого вкусного цимлянского, — вру я.

— Но почему тогда сердитая?

— Это я злюсь на время, обманывающее нас подделками.

Училки мои залопотали, что пусть, мол, подделки, но были бы по нормальной цене. С любой буквы разговор скатывается к этому. Это наша вечная радость со слезами на глазах. Ну что за народ, что за народ? И я даю отбой застолью, боюсь отдаленных злых последствий. Учителя у нас хорошие, но, честно говоря, малокультурные. Это такое горе, а где взять других? Этим спасибо. Вожу их в театр, как гусей. На «Гамлета» Штайна. А потом на «Гамлета» Стуруа. Устраиваю диспут. Это всегда тяжело, ибо что нам Гамлет с черепом? Но повод поговорить о себе, о нас хорош. Много чего узнаю о своих товарках и о жизни вообще.

Кстати, откуда, спросите, деньги на билеты? От этого же грузина. Он хотел, чтоб его мальчик «покушал культуру». Он произносил это так, как говорят «познал женщину». Он объясняет мне пальцами, задыхается горлом: его ребенок не пойдет в театр с охраной, объясняющейся на двух языках, он пойдет только «с детками». Слово «детки» произносится на самом нижнем регистре. Это вышивка по бархату шелком — такое произношение. Он добавляет уже без шелка: «И с педагогами, конечно, а как же? Сводить деток в туалет там или буфет или чтоб не разбежались». Отсюда деньги.

С детьми было все в порядке. Им не понравился Гамлет — ни тот, ни другой. Им понравился Клавдий, потому что хозяин и бережет женщину. То, что он убийца, не так уж и страшно. Йорик тоже симпатичный, один смех. А «Быть или не быть?» — это вообще надувной шар. Ну не будь... Или уж будь... Я не боюсь никакой их крамолы, никакой их глупости, мне нравится говорить с ними обо всем...

Труднее с учителями. «У Офелии платье из марли. Раньше *наряды были как наряды...* Какой Райкин — Гамлет? Гамлет — это Смоктуновский. А Райкин — Труффальдино из Бергамо. Ну там, где он с Гундаревой... И вообще Гамлет — это позапозапозавчерашний день. Чему тут детей учить? Что нехорошо убивать? А убивают все больше и больше. Вот фильм хороший с Чуриковой, где она решила, что в нее итальянец влюбился за мороженое, не глядя на все остальное... Так ее, дуру, жалко до слез, но и зло берет... С чего бы это, — понимай, понимай, — он бы к тебе в койку, хоть ты сто раз замечательная женщина по характеру, если вокруг одни Софи Лорен?» Я люблю своих подруг-учителей. Они питаются пшенной кашей, она же у них в голове. И мне не объяснить им, что жизнь и искусство — не вместе, а врозь. Всегда врозь. И искусство выше жизни. Оно наше желание и почему-то всегда несчастливое его осуществление. И не накладывать надо Чурикову на знакомую тетку, а разводить их по сторонам, чтоб увидеть *разницу*. Фу! Как мне надоело это говорить! Но их этот фильм задевает больше других. Я пошла тогда напрямую:

— А может, стоит один раз переспать с чистым и обходительным иностранцем да еще на фоне Венеции? Может, это не грех, а подарок?

Сначала они онемели, потом заорали на меня так, что я подумала: «Побьют». Но уже на второй минуте крика поняла: попала в точку. Мои красивые высоколобые девки хотели того же: перекрестья лестниц, высоких, в небо, потолков гостиниц и чтоб Некто из самого поднебесья делал вполне конкретные знаки рукой. И они начинали чувствовать главное: на фоне красоты всякая похабель высыхает, как лужа на припеке, и остается одно, сущностное — Он и Она. И черт с ним, с языком. Его не надо. То, что героиня Чуриковой говорила по-итальянски, не принесло ей счастья, а вот молчала бы... И увидел бы, козел, какие у нее глаза, куда там их Лоренхихе, и русскую лепку ног, стройную, изящную, но и полную, черт возьми. Такими ногами переходить быстрины, не стесняясь подтягивать

юбки до самого «того», что не запретить никакими решениями ни левых, ни правых.

Да, мои училки хотели так хоть раз. Потому что ведь все равно деньги платишь, все до копейки сдаешь в семейную казну, чтоб на Восьмое марта твой Марко или как его там по дороге с работы забежал на кладбище и вытянул из венка покойного начальника базы три гвоздики. Или обломал цветок в конторе с раз в год зацветшего кактуса. «Сумасшедшие деньги отдал, сумасшедшие!» Такая честная у нас любовь!

Я их всех люблю, жалею, ору на них, на дур. У меня одна старая дева грохнулась в обморок, когда возле доски у мальчишки вздыбились штаны, и она велела ему привести себя в порядок, а он ей сказал: «Извините, не могу, эрекция». Сволочь, конечно. Но старая дура зашаталась, и парню пришлось ее ловить практически на эрекцию. Девчонки на уроках разглядывают новые прокладки, а мальчишки просят посмотреть тоже. Ужас, кошмар, но это все дым в трубу, который не мешает им хорошо учиться, и подозреваю, что большинство из них целомудренны. Грубое время, рожденное хамами другой эпохи, требует соответственной реакции. Дети мои не ангелы, но тысячу раз не жлобы. Они лучше нас. Они чертят звездолеты, хромосомы, они толкиенисты и буддисты, они верят в переселение души и всерьез озабочены полученной отцов кармой.

У меня почти физическое чувство их рожденности из моего лона. Хотя это я на себя много беру. Но раз меня Бог сделал завучем, я буду исполнять его план по максимуму, может, и выполню Божью волю. Я человек не воцерковленный, но после Израиля стала верующей. Как мне объясняют, неправильно верующей, на протестантский манер, но ведь не в этом суть... Я расту свою веру и надеюсь, что расту с нею сама. Вера мне не ниспослана, я, как все в своей жизни, зарабатываю ее трудом и старанием.

Вино выпили всё, осталась четверть цимлянского, бутылка была рядом со мной, и ее как бы за мной закрепили. Никто же не знает о моих особенных отношениях с ним. Мы с цимлянским — подельники в подтопленных дружбах. Где вы, мои девчонки? Где?

**Возникновение тетради в клеточку, что лежит под дерматиновой сумкой с документами на приватизацию квартиры, паспортом и дипломом об окончании института. Все лежит в ящике письменного стола без одной ножки, которую подменяют четыре вишневых тома писем Чехова и туристический проспект по Греции.**

Чертовски болит нога. Они сказали: «Остеомиелит». Вранье! Спрашивают: не воевала ли я, не подвергалась ли обморожению во время войны? Видимо, у меня такой вид, что я могу казаться участницей даже Куликовской битвы. Хотя перед глазами этих сволочей история болезни, и там написано: я родилась в 1952 году и, увы, не в окопе. Я лежала на вполне теплом месте — у бабушки в деревне, и меня любили и холили.

Единственный раз в жизни.

Бабушка забрала меня у матери сразу. Хотя, по русской логике, должна была выпихнуть нас вместе. Мать, как говорится, меня словила на ветру, присев пописать. Я так и не знаю, в сущности, эту девочку из деревни — маму, которой бабушка выправила паспорт, чтоб та чему-нибудь научилась в городе. Но номер не прошел. Через девять месяцев, принесенная ветром, я лежала в цинковом корыте, и меня мыли через белую тряпицу. Почему-то считалось, что так правильно детскому телу. Матушка была изгнана из дома батогом — это мне объяснили потом, когда я играла с цветочками на широком подоконнике — это и было мое местожительство лет до пяти. Я целовала цветочки герани, нюхала толстомясое алоэ, а вечером сползала с подоконника в загородку кровати, где тихо ночевала, потому как знала: буду

шумной — батог висит в сенях, и меня, как маму, ф-ю-ить — и на мороз и ветер! Я скоро поняла, что это вранье, что бабушка души во мне не чаёт, а о матери рассказывает только страшное для примера жизни.

«А было, Поля, так. Пошла глупая девица одна по улице города-городца-страшилища. Кругом нее — дома выше леса, выше проводов, выше водонапорки, и такие страшные все, и так горят красным окном, как дьяволы в аду. А навстречу глупой девице из черного дома тать. Тать, деточка, — это мужик с длинным хоботом между ногами. Он им и разит налево и направо глупых девиц. И от этого и рождаются у них крошки без счастья. Как ты».

Я не боялась бабушкиных сказок. Во-первых, потому что никогда, никогда, никогда я не буду жить в городе, где дома выше водонапорной башни. Мое пространство раздвигалось медленно-медленно. С подоконника на кровать-клетку, а потом — через долгое время — на тканую тряпочку-половичок, которую я тоже перецеловала до последней ниточки — такой она была красивой. И только летом порог избы на крылечко, теплое от солнца: зажмуришься и сидишь, сидишь хоть весь день. А потом уже двор... По пояс ходила в огуречной огудине, колючие огурчики срывать можно было только с бабушкиного разрешения. Это нечеловеческое счастье — держать колючий огурец.

Счастьем была утка с утятами, когда она вела их первый раз в речку. Тогда-то я и решила стать учительницей. Неизгладимый образ утки. Училась хорошо, это было как-то само собой. Поэтому меня ни разу не похвалили, никогда не давали никакой грамоты. Я всегда была Нащокина, и все. Нащокина с четвертой парты у окна.

Я боялась поступать в институт, бабушка боялась еще больше. Я читала в ее глазах: «А может, не надо нам это?» Она была старенькая, но мысль ее была не о себе — кто поможет? — а обо мне. Она помнила о канувшей в городе дочери, о татях с хоботами, а я вся такая-никакая. Ручки тоненькие, ножки тоненькие, ничего на мне не нарастает, кожа и кости.

Но я поступила на географический факультет пединститута. Там не было конкурса. География мне немножко нравилась. Я, например, только в девятом классе узнала, что на земле много разных погод. И есть страны, где нет зимы. Я намечтала жить там, но не знала, как мне выяснить наличие герани, огурцов и уток в таких условиях.

«Такое говно живет везде», — сказал мне парень, но не на мой вопрос, а по случаю. Смотрели учебный фильм про Средиземноморье. Показывали, как растут бананы и как на них скачут мартышки, были там и утки. Вот он и сказал, парень. Но я никогда нигде не была, кроме деревни, Рязани и Москвы. Мы с бабушкой обе недоедали, чтобы что-то оставить друг другу. И ругались из-за этого.

Я приезжала на каникулы и уже сопровождала утку к речке. Она мне что-то крикала, я крикала ей в ответ. У меня никогда не было подруг. Ни одной.

Когда в городе было очень уж плохо — холодно, голодно, хамски, — я ложилась лицом вниз и мысленно перецеловывала гераниевый цветочек, а когда было совсем скверно, срывала огурчик без бабушкиного разрешения. Откуда ни разу не уезжавшая бабушка знала про дома с красными окнами и про татей, которые не поодиночке, а толпами ходили по улице? Она же рассказывала: видела рожденного от хобота младенца, которого девчонки, завернув в тряпье, сбросили в уборную. Бабушка умерла, оставив мне деревенский домик. Я тогда только-только кончила первый курс. Хотелось остаться в нем жить, но мне сказали: «Дура!» Замотав ворота железякой, я уехала.

Домик спалили через месяц. Ни за что. Стоит себе чего-то и молчит, дурачина избина. Размотали тамошние тати железяку, толкнули незапертую дверь и бросили спичку на половичок. Так быстро и красиво все заня-

лось. Вот и не стало счастья. Можно уже и про боль. Ногу я застудила и поранила знаю когда. В «Пионерскую правду» я писала заметки о природе, а однажды получила заказ рассказать о том, как зимуют в зоопарке птицы. Мне тогда давали самые глупые задания, какие вываливались из головы редакторши, дуры из дур. Уже по дороге туда я поняла, что у меня промокает подметка и холодом сводит пальцы. Но как можно сорвать задание? И я собрала весь материал. Господи, как они со мной разговаривали, эти начальники птиц! Я была им хуже старухи галки с осыпающимися перьями, — мокрая, дрожащая. Когда уходила, в спину услышала: «К нашему берегу что ни приплывет...» Троллейбус, как всегда, не пришел, и я решила добежать до трамвая, но расхлябанная подошва зацепилась за кусок асфальта и почти оторвалась. Денег на такси у меня не было сроду. У меня не было даже двушки на автомат. Ну а если бы были? Что, за мной бы прислали машину? Редакционная «Волга» дышала на ладан, и редактор держала ее для поездок в ЦК и для встреч всяких родственнных пионерских начальников.

Естествен вопрос: я была так нища, что у меня не было двух копеек? Мне просто не было куда звонить! И мысль, что я откопаю монетку в прорехе кармана, приводила меня в тот же ужас, как и если я ее не найду. Мне не дадут машину. Мне скажут: «Бери такси, а на месте расплатимся». Но дело еще в том, что я никогда не останавливала такси. Я боялась шоферов, как тех самых бабушкиных татей. Конечно, со всех сторон дура, кто же еще? Только-только с подоконника. Но я долго была такая. В сущности, я и сейчас такая. Такси я, конечно, останавливаю. Деньги в кармане у меня случаются. Но каждый раз мне нужен разбег от себя к другой. Я всегда знаю, что между нами — пропасть. А пропасти мне с больной ногой просто доктор прописал. И все-таки, будь у меня двушка, я бы позвонила. Нога подавала мне очень серьезные сигналы. Она кричала, что я сдохну. Поэтому так все и пошло. Я решила все-таки позвонить в редакцию. Я стала искать дверь, за которой есть теплый телефон, по которому я пожалуюсь на дуру ступню.

Три девчонки перед самым носом забежали в какую-то дверь, я подалась за ними. Контора оказалась шашлычной. Сквозь стекло я видела, как их там раздевали. Вежливо и приветливо. Это меня сбило с толку, и я стала стучаться.

Меня туда не пустили, хотя я крутила пальцем, изображая необходимость позвонить. Черта с два!

Домой я добралась пешком. От Пресни до Масловки встали трамваи. Возле Ваганькова оборвались провода. И на мосту случилась пробка.

Дневников я, как правило, не веду. У меня хорошая память. Так, случаются почеркушки в блокноте. Например, записано ни к селу ни к городу: «22 ноября все телеграфные столбы бывают фиолетового цвета». Я слежу за этим уже четыре года. Уже на следующий день они то черные, то синие, то серые, 22-го — фиолетовые. Ну и что я буду с этим делать? Повеситься 22-го на фиолетовом столбе, предварительно прибив табличку: «Он был фиолетов, как спелый баклажан»?

Я к тому, что писать в эту тетрадку я начала с того момента, как меня не пустили в шашлычную. Через стекло я разглядела девчонок. Они были хорошенькие — говорить нечего. Меня насквозь пробило неравенство. Я не такая дура, чтобы не знать, что равенства нет и не может быть просто потому, что так устроен мир. В моей башке, пусть я и не красotka, сидела хорошо угретая мысль, что высшее с отличием образование, работа в «Пионерке», куда меня пригласили после пединститута, наличие каких-никаких способностей все-таки приближают меня к равенству.

Но девок пустили, меня — нет.

Во мне родилась ненависть. Когда я буду умирать, а я буду умирать в сознании, я сожгу эту тетрадь. Ненависть — вещь непродуктивная, она

бесплодна. Я это знаю. Слава Богу, я кое-что написала. Мне для того, чтобы писать хорошо, всегда надо было думать о бабушке, о коте, о сирени, о пауке *Пантиеле*, которого я прикармливаю в уборной. Мои слова растут только из тепла и любви. Я — человек не пафосный, но это знаю точно. Сую измученную ногу в электрический ботинок, заворачиваюсь в плед, ставлю термос — и только после этого гожусь для написания жалобных историй из жизни птиц и пионеров. Про другое я тоже знаю, но не хватает тепла в ботинке. Поскольку это пока только исследование возможностей ненависти в написании слов, скажу еще одну ненавистную правду.

Меня в жизни ни разу никто не поцеловал, кроме бабушки. Хотя кое-кто приближался. Однажды клюнул парень из спортивного отдела. Не красавец, не герой, нищий провинциал, которому, очень может быть, была нужна не я, а моя однокомнатная жилплощадь. Но он стеснялся быть откровенно плохим и очень долго окучивал в себе доброе чувство ко мне. Не так, мол, и дурна, не так, мол, и глупа, ну недотепа, ну без женских успехов — доска доской. Но три рубля всегда даст и пять тоже... Да что там! Однажды отдала всю зарплату, когда случился в редакции погорелец. Но об этом — стоп!.. Это исследование, а не характеристика в райком на поездку в Болгарию.

Хотя если честно... Я ведь не доблесть свою расписываю, я изображаю возможность обратить на меня внимание другому человеку. Ну хотя бы как на чудачку. Все к тому и шло... До той отмороженной ноги, после которой я стала хромать. Это уже был перебор. И так у меня связалось намертво — оторванная подметка и три красивые девки, которых пустили в тепло, — что я стала молиться каждый день: пусть им когда-нибудь будет плохо хоть раз, как мне всегда. Особенно той, с ложбинкой на шее. Такой стебелек для любви. Я намечтала, что случится случай (знаю, что это тавтология) и когда-нибудь я буду в ситуации, когда мне будет тепло и хорошо, а им — хуже не бывает, и они будут царапаться в чье-то окно и молить, молить. И тогда я напишу роман на разрыв пульса, не скрывая своей ненависти. Я получу за него премию, хотя я не меркантильна, не в ней дело. У Фланнери О'Коннор есть рассказ «Хромые внидут первыми». Страшный рассказ. Страшнее не бывает. Я напишу такой же роман. Про этих троих, перед которыми сначала открываются двери, а потом — бац! — и хромы внидут первыми.

Вот почему я записала это: чтоб не забыть никогда. Смешно сказать, но я не знала ни кто они, ни как звать. Просто они существовали как образ моей идеи. Когда-нибудь мне будет хорошо и не будет так чертовски болеть нога, им станет плохо, и это будет справедливо.

### Я — Раиса

Возле моей палатки прилачился шашлычник. Не знаю, кто ему позволил захватить это место, но пока то да сё, он чадит в мою сторону. А у меня с запахом мяса отношения очень тонкие. Однажды, когда я была еще инженером при дипломе и кульмане, в соседнем отделе татарки варили мясо. Татарки — умницы и без первого не могли, вот они, когда закрыли в институте столовую, и подбили отдел на общий суп и взялись все это дело организовать. Деньги с каждой души, а кастрюля и труд их, но без их денег. Справедливо. Труд — это товар (в данном случае — суп). Товар — мы до сих пор плохо понимаем. Нам кажется, что если кто-то шьет никому не нужные байковые халаты, он этим и ценен. Шалишь, браток. Халат надо еще продать. Твоя ценность в ценнике халата. И если его никто не покупает, шей варежки или бюстгальтеры, на что будет спрос. Спрос на тебя. Но это я так, делюсь мыслями по случаю шашлычника и запаха мяса. Так вот... когда умные татарки стали варить свои супы, я хлопнулась в обморок, чего сроду со мной не было. Пришел врач и сказал страшное:

«Обморок голодный». Вот тогда я быстренько-быстренько собрала свои манатки, кульман был мой — достался мне от папы, который с моего детства видел меня за ним. Таким было его представление о счастье ребенка.

Я в одночасье порушила светлую мечту родителя и села в эту лавку на перекрестье дорог, чтоб торговать жвачкой, пивом и прочим колониальным товаром.

У меня появилась своя клиентура. Я и не подозревала, как избирательны люди. Одни любят хоть маленький, но приступочек в зал, чтоб не сразу входить, не с земли. Другие предпочитают легкую без писка дверь. Третьи, наоборот, предпочитают дверь весомую, чтоб налегать плечом. Так в результате разности пристрастий каждый магазинчик — а нас тут уже десяток — обрел своих поклонников.

За эту свою нетворческую и непрестижную работу я стала получать такую сумму, что могу варить супы с парным мясом для большой семьи. А семья у меня, по нашим временам, огромная. Мечтатель папа, слава Богу, живой; идеалистка мама — тоже моргает; муж — не добытчик, специалист по структурной лингвистике; двое оглоедов, драгоценных моих мальчишек, и тетя, которую раньше называли бы приживалкой, но это плохое литературное слово. А мы тетю любим, она выгуливает собаку и вычесывает кота, она с нами всю жизнь, на самых непочетных работах. Раньше сдавала бутылки, еще раньше занимала с утра очередь в молочную, еще раньше торговала на барахолке всем сношенным, мамочка заходила от неловкости даже при мысли о таком приварке для семьи, а тетя стояла на ветру то на Тишинке, то в Измайлове, а то и просто возле метро. Семья моя пестрая и по виду и по содержанию.

Папа — продвинутый, до рынка, коммунист; мама — монархистка, причем английская. Ей хочется быть подданной Елизаветы — ни больше ни меньше. Уже принц Чарльз ей не подходит — носат и узок. Мой дорогой муж — демократ-гайдаровец с элементами фанатизма, тетя любит Лужкова, говорит, что это Киров наших дней, я ей объясняю, что это не комплимент, а обличение, но тетя упрямая, как каждый из нас. Дети — вольные жильцы мира, и это мне нравится больше всего. Какое счастье, что прикрыли пионерию и ее старшего брата! Дедушка об этом, правда, очень печалится. Компьютерные внуки умничают и без царя в голове. «Должен быть стержень, — шумит дед. — Без основы человек рассыпается». Внуки демонстрируют ему крепость своего тела — мол, не развалимся, а я думаю свое: вот я, насаженная на стержень и, с точки зрения папы, хорошая. Ему виднее. Но я-то знаю другое. Мой стержень — это кол, который в меня вбили. Но вбили не до смерти. В конце концов за тысячу лет коловбиватели научились не умерщвлять насаженных на кол. Они знали, как его всадить, чтоб мимо жизненных центров. Мой кол (а также и твой, мой дорогой друг) обмотан нашими кишками. Мы обкакиваем и обписываем наш стержень, который вылезает из нас кончиком языка. Отсюда, видимо, и частая невероятная глупость говоримого, ибо оно из кишок. Вот мой папочка хочет, чтоб так было всегда. А я этим своим колом чувствую и вижу, что в моих мальчишках этого нет. Они легче меня на единицу кола. Их естество вольно, оно не привязано, и в нем нет острой боли насаживания. У моих знакомых у всех дети без стержней. Они любят естественно, так же ненавидят, корень их языка не щекочет острие, на котором сидит первое правило стержня: хорошо только то, что на мне. Другое выплюнь. Как же мы плевались, как плевались...

### Я — Ольга

Мне надо схарчить одну свою сотрудницу. Вообще-то я не людоед, людей не ем... а ее схарчу. Вся такая из себя... Красивая баба, ничего не скажешь, но я тоже не пальцем сделана. Просто у нас с ней разные группы крови. Она из семьи шестидесятников-подписантов, мне на это на-

чхать сто раз, но я ненавижу, когда это носят как орден. Оттого что мои родители не были в брежневской психушке и не подписывали письма в защиту Даниэля и Синявского, а август шестьдесят восьмого не выбелил моему папе виски, она отказывает мне в праве иметь те мысли, которые я имею. Они ей не кажутся достаточно дистиллированными. Только она... Только она вправе судить место и время, а я ей не даю это делать. Я ее мочу. Мои убеждения выросли из другого сора, и то, что мы смыкаемся побегами, — это нормальный процесс претворений и превращений, а не падение идеи, как считает моя противница. Ей, видите ли, запахло принимать у меня из рук заработанные деньги. Ей хочется другого окошка, чтоб в нем торчал кто-нибудь из бывших. Хорошо получать ей зарплату из рук самого Лихачева, по меньшей мере — Ковалева. На крайний случай сгодился бы и думец Борщов. Но в окошке я. И я в нем сижу крепко, потому что от природы такая.

Я помню старый школьный случай. Уже в начале 60-х все напряглись на столетие Ленина. Массовый экстаз преддверия, предчувствия и прочих «пред». Маразм. Анекдотов тогда было — тьма... Больше придурковатые, но очень ядовитые. Про гремящего, как таз, железного Феликса, ходоков, уходящих от Ленина с горшочком земли... Один из таких анекдотов, особенно неприличных, передавался на уроке на клочке бумаги. Училка его отловила у Раисы. Прочитала, пошла пятном и велела той съесть бумажку. Жуткое безобразие, конечно, но Раечка наша аккуратно сжевала бумажку и спрашивает:

— Глотать или можно выплюнуть?

До учительницы, видимо, что-то дошло, и она сказала: «Выплюнь эту гадость!» И Раиса плюнула изо всей силы вперед. Мокрый жом упал на голову сидящей впереди подлизы и отличницы, она заверещала, сняла плевков и бросила назад в Раису. Начался визг. Все считали себя оплеванными. Раиска стояла с нахальной мордой: я, мол, сделала, как велели. Я тогда сидела рядом с ней, и мне плевка досталось больше всего. Но я молчала, а вот визжала больше всех даже не та подлиза, а Сашка. Она кричала, что анекдот — это фольклор, а фольклор — творчество народа, и если народ помещает внутрь пересмешки Ленина, то это скорее честь ему, чем хула. А плохо — жевать бумагу и чернила. И если Раиса теперь умрет, то отвечать будет учительница, они все лапали эту бумажку, а мальчишки сроду не моют руки после уборной. Мальчишки возмутились: откуда знаешь, ты там была, была? Я все про вас знаю, кричала Сашка, вы все говнюки... Такое началось! Потом историю замяли. Заминали Раискин плевков, про анекдот даже как бы забыли... Я вот даже не помню, про что он... Надо будет позвонить и спросить... Все-таки ничего себе был эпизодик... Но мы тогда были очень очень друг за друга, хотя каждый считал, что надо было все сделать иначе.

Я считала, что вообще не надо было жевать бумажку, что бы она сделала, учительница? Силой, что ли, в рот бы впихнула?

Раиса считала, что надо было плюнуть дальше и попасть в учительницу, против чего выступала Саша. «Это уже хулиганство, — говорила она. — Загремела бы из школы. Надо было по-хитрому сглотнуть, а потом, выкакав, предъявить на анализ и уже анализом по учительнице — что, мол, скормила человеку? У тебя бы определенно было отравление... Могла бы и помереть». Видно было, что Сашке нравился именно такой — смертный — конец подруги, а через него и смертный конец учительницы. Та была больна и немощна, из детей-инвалидов, которых, кроме педагогического, впихнуть некуда. Это я теперь, уже имея взрослых детей, понимаю, какой это вред и какое зло — учить других из глубины собственной болезни. Я не верю в здоровый дух в вымученном инвалидном теле, равно как не верю и в здравость тела фашиста там или коммуниста. Так просто не бывает. Розовые щеки идеологического идиота и даже разворот плеч в нес-

нии древка еще ничего не означают. Их тоже снедает страшная хворь жлобства, и чем розовее щеки, тем чернее хворь. Но это мои сегодняшние заметы. Тогда мы были дети. Радостно-глупые дети. Но нас почему-то очень занимала смерть. Раиса была уверена, что если не хотеть смерти всеми без исключения клеточками, то и не умрешь. Умирает сдавшийся. Конечно, пуля в висок или сердце — это другой случай, это слом всей системы сразу. Но если нет такого рода порухи, то человек может победить смерть ползучую, смерть подкрадывающуюся. Сколько в человеке клеток, и если каждая скажет смерти «нет», ну какая смерть это выдержит? Отползет и сама сдохнет. Главное, не допустить слома системы. Саша — та фаталистка. Она считала, что смерть не есть абсолютное зло, что сплошь и рядом — это благо и даже счастье. Она всегда приводила в пример литературного мальчика, упавшего с мачты прямо к пасти подплывающей акулы. Тогда случился хороший убийца, который выстрелил в мальчика, избавляя его от более страшной смерти. Сила литературных примеров в их неумираемости. Еще через сто лет кто-нибудь вспомнит мальчика и акулу или еще кого по случаю и завершит чей-то мыслительный процесс в пользу пистолета. Надо сказать, что я в такого рода разговорах отставала. Я родилась практиком жизни, не знающим никаких предварительных теорий. Случится случай — я раскину мозгом. И раскладом этим будет руководить случай, он подберет себе теорию по вкусу. Уже долгая жизнь ни разу не была смущена неправильностью такого рода тактики. Тактики обстоятельств.

Я ненавижу тех, кто двуперстием и раскачиванием перед Богом хочет спастись от грозы, вместо того чтобы поставить громоотвод; я так же точно ненавижу других, которые ходят с обязательной соломкой для подстилки при возможном падении. Я падаю по полной программе, но в одном месте только один раз. Дважды я не попадаюсь. Говорить об этом мне сложно — сказывается мое не аристократически шестидесятническое происхождение.

Та барышня, которую я собираюсь уволить, всегда под языком имеет речь и цитату. Мне с ней трудно. Псалмы, Лотман, Бердяев, Бродский — все у нее как воинство, а дела надо сделать на пять копеек своим умом, но прицепляется такой мощи товарняк, даже становится стыдно, что вызван по столь ничтожному делу. А дело-то придумано мной, значит, я и дура. Раз для такой армии не могу придумать дела покруче. Нет, определенно мне надо от нее избавляться, иначе начнет расти комплекс, и куда я с ним потом денусь? Для нынешнего времени комплексы — слишком обременительная и громоздкая одежда, они хороши для времен стоячих, тогда они тебе даже как бы украшение. Плюмаж лучше виден, когда ты в забучем песке и болоте, за него тебя и вытащить могут, если найдется рыцарь — любитель именно твоего плюмажа-комплекса. Так, между прочим, выживали те, что были перед нами. Тогда было много комплексов-украшений. Бант верности отеческим гробам — комплексантам по роли полагалось кричать дурное вослед покидающим отечество.

Я работала на полставки в «Литературке». Рядом сидела очень рефлексующая дама, внутренним взором примечающая внутренних эмигрантов. Боже, какой на ней был бант! Она шептала нам то про одного, то про другого «внутреннего эмигранта», которые уже там, хотя еще здесь. И ей внимали. Она зацепила бантом дурную болезнь — гипертонию — и вскоре умерла от несоответствия жизни. Знаю еще одно распространенное в том времени боа — комплекс личной вины, гомункулус от скрещения Евангелия с писателем Нилиным. «Мы за все в ответе, что при нас». — «Ну как я могу быть виновата за тридцать седьмой или сорок девятый? — кричала я. — Как?» — «Так! — отвечали они. По закону генетической памяти». Страшное боа — от него по коже сыпь, да еще на самом видном месте — шее. А турнюр превосходства над всеми? «Это мы, — кричал турнюр, — раскорячившись, в течение тридцати лет родили сразу Пушкина, Лермон-



това, Достоевского, Тургенева, Некрасова, это не считая Фета и Тютчева». Однажды, когда меня чуть не задушили этим турнюром, я посмотрела на рожающую в ту же эпоху Англию. Процесс этот, он и там не эстетичен. И тем не менее... Байрон, Диккенс, Тrollop, Теккерей, это если не считать обеих Бронте. Как на меня закричали! Как можно сравнивать? Комплекс турнюра — один из самых сильных и подловатых наших комплексов. Мы не верили собственной жизни, факту собственного существования, нам нужна подкладная подушечка хоть из чего, лишь бы придала формы. Никакому Джону Смигу подтверждать свое право жить хорошо и счастливо не нужно при помощи мыслей высокого полета у его писателя-земляка. Он сам себе земля, гора и река, он сам себе — Сам. Конечно, это не факт. Я ведь не жена Джона Смита. Откуда мне знать? Я вообще ничья жена. И в этом на сегодняшнюю минуту главное мое приключение. У моей соотрудницы есть шанс не быть уволенной.

У меня появился мужчина. Это к нему я еду мимо той шашлычной. Если он скажет мне те слова, которые я жду, будет одна история. Если не скажет — другая. Но я не завидую тем, кто встретится со мной тогда, во второй истории.

### Я — Саша

Я гоню училок домой. Им не хочется. Сейчас им хорошо тут. Это свойство вина — приукрашивать обстоятельства. В данном случае мой кабинет, в котором я их обычно жучу, я ведь завучиха строгая, но сейчас у нас любовь и сестринство. Хотя я все знаю. Потом они меня обсудят и осудят со всех сторон. И какая я, и как умею привлекать нужных людей, вообще я, с их точки зрения, — Березовский районного масштаба. Дуры! Я гораздо больше. Просто мне не много надо. Я женщина с минимальными притязаниями. Я даже не стала директором школы, потому что в этом положении больше гвоздей и веников, мне это скучно. И в роно не пойду, это уже далеко от урока как такового. Когда я кончала школу, в пединститут шли те, кто больше никуда не годился. Я поэтому поступила в университет и в школу пришла уже сознательно, хотя были варианты. Мне нравится вспоминать, что я оказалась сильнее общественного мнения. Потом, живя какое-то время в Израиле, я поняла: там то же самое. Учитель — профессия непрестижная. Это вам не врач или адвокат. Учителя там бузят, как и наши, что мало платят, но там нет всеобщей распушенности, когда корпоративный интерес становится выше, потому что лидер горластей. Но у нас нет гражданского общества — мы стадо, мы еще не понимаем, что, поджигая соседа, можем сгореть сами. Нам сгореть за идею — самое то. Идея, как правило, дурь. Сегодня после распития напитков меня остановила учительница химии, которую я уважаю и почти люблю. Тоже из университета.

— Александра Петровна, вы это видели? — и она показала мне Ольгин журнал. В нем большой очерк о завуче соседней с нами школы. Бабе препротивной. Ольга звонила и спрашивала, как она и что. Я ей сказала, что героем никакого материала та быть не может. И взятки берет, и в рукоприкладстве замечена. Так вот, Ольга самолично написала, как хороша завуч, хотя некоторые завистники и злобники не выбирают выражений, работая с ней по соседству.

— Это про нас, — сказала химичка. И я оценила выражение. Не про вас, а я не раз прохаживалась по той даме, а именно про нас. Была принята моя сторона и моя позиция.

— Вы знаете, кто писал? — спросила я.

— Ваша подруга? — ответила-спросила учительница, хотя знала точно.

Я и это оценила — вопросительность ответа, предоставление возможности отречься от Ольги: «Да какая она подруга!», «Да когда это было!», «Да Господь с вами!». Плохая новость — статья — была просто обернута

сопереживанием и сочувствием, и я тут же выбросила из головы Ольгину подлянку. И зря... Я еще не знала, какие проблемы вырастут на моем пути из этих слов — «завистники и злобники». Я еще не знала про слух, что я, завуч, которой нигде (имелся в виду и Израиль) не хорошо, от которой доброго слова не услышать... Совсем рядом набухала склока, которую собственной рукой устроила подруга. Впрочем, не в первый ведь раз... Но об этом знаю только я... И еще мой драгоценный сын Алеша.

### Я — Ранса

Ко мне за нарезкой «Чеддера» приходит маленькая женщина в тяжелом ортопедическом ботинке. Уже не помню, как разговорились, но выяснилось: она писательница. Не особо знаменитая, но и не так, чтоб уж совсем никто... Нормальный старший инженер литературы. Ее явно заинтриговала перемена моего статуса — я сама ей рассказала. Она кружит над этим, как ворона над сыром. Но у нее явно нет нахальной хватки спросить прямо: ну и как это, после кульмана, отсчитывать сдачу? Мне жалко ее беспомощности в добывании истины, и я сама ей рассказываю о голодном обмороке, который, с моей точки зрения, вполне сравним с ее мальчишковыми ботинками. И ботинки даже хуже. Они вопиют сразу, а обморок еще надо вызвать на выход, как сделали татарки, варя суп.

— Хотите и вас устрою? — спрашиваю я.

Бедняжка хлопчет лицом от множественных чувств. Во-первых, ей приятна моя чуткость, которая есть хорошее отношение. В реестре ее доблестей чуткость — определенно дама придворная. Сразу после доброты и где-то рядом с великодушием. Конечно, это мой реестр, но я давно знаю: вскормленные одной мамкой-школой, мы не разнообразны в главных вопросах. Мы кучерявимся уже на деталях, а изначальная луковица у поколения одна. Писательница наконец успокаивается и благодарит излишними словами. Это такая наша беда — многословие. Если есть одно определение и десять к нему синонимов, мы впариваем в речь все одиннадцать слов сразу. Мы — народ неточный, мы — народ чрезмерный. Не знала потом, как от нее отделаться. От ее объяснений, что она абсолютно нормально относится к возможности поменять профессию, но у нее пока все — тьфу! тьфу! — слава Богу, но она не осуждает никого, как бы она смела! И если кто способен и может круто повернуть жизнь, то нет вопросов! Потому как зарабатывание средств к существованию, если это, конечно, пристойные дела, всегда свято, человек обязан накормить себя и слабых сам и так далее, с повторением слов и жестов маленькими ручками, тискающими детские варежки, и притоптыванием тяжелыми ботинками на очень злой ребрухе.

Когда она наконец ушла и я проследила, как она мелкими перебежками перешла улицу, я подумала, что гадость времени даже не в том, что я, инженер-оборонщик, торгую «Чеддером». Я всегда знала: кусок сыра важнее автомата Калашникова. Гадость времени в том, что оно над нами смеется. Смеются день и ночь, смеются стрелки на часах, мы как бы живем в постоянном осмеянии, и это нас, что ни говори, оскорбляет. Но как поступить со стрелками на часах? Поверните сейчас голову и посчитайте смеющиеся вокруг вас стрелки. А теперь представьте совсем другое. Пустыню и Моисея с паствой. И насмешку пустыни над пустынниками. Куда бы они пришли, если бы под их ногами всхохатывал песок, а барханы змеились иронией? Хватило бы у них сил идти? Но вот мы. Попали в воронку истории. И она — воронка — просто изыдевалась над нашими сучащими по грязи ножками. Но разве время не бесчувственно? Разве в стрелках дело?.. Это мы сами смеемся над собой, это мы сами не любим себя... Ведь смотрю же я, как неуклюже переходит дорогу хромая женщина-писательница, смущенная мной. Сначала ее обрызгал грузовик, от троллейбуса она едва увернулась, возле самого тротуара ей почти под-

дал под зад «жигуль». Мне это смешно. Мне не сочувственно. Я приму и ее смерть под колесами, в моей картине мира эта смерть существует изначально. Более того, она выткана мной лично. Я без иллюзий насчет еврейского народа. Среди них встречаются штучки будь здоров. Но то, что в любом походе — будь то пустыня или поход в печь — они не смеются друг над другом, это точно. За это мы их больше всего и ненавидим. Они — другая природа. Природа со-чувствия. Наша природа — природа на-смешки. В одном случае приставка «со», в другом «на». В первом случае рождается соитие, согласие. В другом — набить, наподдать, надгробие... Я люблю игры со словами и буквами. И могу их обратить в свою противоположность, но в данной игре все видится именно так. Писательница под машину не попала, и слава Богу. Устраивать ее на работу не надо — тоже хорошо. У меня все путем — тоже славненько. Надо позвонить девчонкам: пусть придут за дешевым джином. По старой доброй привычке я им притырываю товар, в этом нет никакого резона, но это опять насмешка над временем. Они придут ко мне, выгадывая десятку на бутылке, но прокатывая эту же десятку на метро. Наш способ жить. Если некого об-дурить (об-макнуть, обо-драть, об-вести), продельваем это с собой, чтоб не утра-тить генетическое начало. Все, исключительно все на само-разрушение (само-уничтожение, сам-издат, само-удовлетворение).

Чтобы не забыть, звоню девчонкам сразу. Как и думала, придут все, но в разное время. Ольга сегодня же, ей проще всего, она на машине. Сашка — послезавтра, у нее шуры-муры с театральными кассами, где она исхитряется покупать билеты для своих училок. Как ей удастся, уму непостижимо. Как ей дают билеты для школы — места более непопулярного в стране не найти! Но у нее какая-то отмычка, причем, как она говорит, абсолютно открытая и честная. Будто бы она приходит и просит именно для учителей, а так как для них уже никто никогда не просит, это, дескать, и производит впечатление. Люди отвыкли от простых вещей — ценности врача, учителя, хлебопека, ценное отброшено в отстойник, — то ли там выстоит, то ли в конце концов вымрет, — а эта доброхотка водит отстойник в театр. Может, ей идут навстречу из соображений, что театр им нужен как последнее желание приговоренного к смерти? Но она уже года три так обеспечивает культурную программу своих теток, хотя и признается, что иногда билеты остаются. Вот хохма! Она им последнее желание, а они ей — да пошла ты с ним подальше! Между прочим, деньги на билеты ей дает какой-то банкир, живущий рядом со школой. Он им и окна вставляет, и канализацию чистит, хотя собственный его сын, кажется, уже учится в Англии. Сашкина школа — это запасной аэродром, куда он сможет приземлиться в случае мало ли чего... Но какова подруга? Казалось, самая необоротистая, самая безрукая по жизни. Но потом так ловко все ухватила: и в Израиле пожила, и Алешку спасла от армии... Большая тема. Мне уже на следующий год предстоит спасти Коло и Ваську. У нас есть на это деньги, единственные целевые деньги за всю жизнь, не растраниженные на разные возникающие дела. Тут мы все стоим мертво. И даже папа-коммунист не просто молчит, а говорит для него самого непривычное: «Мальчишков надо уводить». — «Огородами», — добавляю я. И он, дурачок старый, как бы даже соглашается. И я вижу, как в камуфляжной куртке он ведет внуков через балку Звездного бульвара туда, вверх, на Шереметьевскую, где справа краснеет церковь Нечаянной радости. Есть какая-то логика тонких материй, что мой отец уводит моих сыновей именно в эту церковь, где на коленях перед Богоматерью раскаявшийся грешник, который не может допустить дурным деянием язв на ножках Христа-младенца. Тут все сразу в этой истории. И страх за дитя, и спасение души, и невозможность дурного дела, если на кону ребенок. Наша армия — очень дурное дело, очень! Большая сконцентрированная боль, явленная несправедностью деяний за многие и многие годы, ибо не было в случае нашей

армии праведной радости. Даже главная война, победой в которой мы прикрываем свой стыд и срам, совершена в последнюю очередь армией, а в первую, во вторую и третью — безоружным народом, духом его женщин и стариков. Вот почему в моих мыслях бредет бывшими огородами Марьиной рощи мой отец-ополченец, ведя за собой внуков к Богородице, зная, что Она благословит наш способ спасения мальчишек. Не так ли, Заступница усердная?

#### Тетрадка в клеточку

Я напрочь забыла про эту тетрадку. Господи Боже мой! Хочу вспомнить ту историю — помню факты, затор на Ваганьковском мосту, помню стекло двери шашлычной с разводами грязи, но совершенно не помню настроения. Значит, хорошо, что оно у меня записано. Хорошо, что там и про фиолетовые столбы. Надо будет посмотреть, каковы они на самом деле. Но если я после такого пыхтения зла выжила и забыла о нем, то, значит, я не такая калечная сволочь, как иногда кажусь. А я кажусь, кажусь, я знаю. Меня трудно жалеть, а людям это проще всего — пожалел и пошел дальше. Необязательное чувство. Поэтому я отказываю в нем и вокруг меня всегда ропот раздражения: чего корчит из себя калека? Дураки они все. А я, между прочим, умная. И у меня все о'кей. Я написала романчик, и мне за него дали неплохие деньги. Злобники критики отвели мне две вполне уважительные строчки, хотя называли имитатором. Хрен с ними! Я ношу удобный импортный ортопедический ботинок, и у меня есть любовник. Первый не случайный мужчина в сорок три года. На самом деле он мне не нужен. У меня нет этих желаний. Абсолютно. Я фригидна или как там это называется? Я помогаю ему в его литературных начинаниях. Мать-наставница с постелью. Таланту у него — ноль. И одновременно что-то есть. Он, например, интересно описывает мою никудышную ногу. Он снимает с меня ботинок, стаскивает шерстяной носок, кладет ногу на валик дивана и рассказывает, что мои пальцы совсем как зубчики старого чеснока, бессочные, отслаивающие шкурку, где-то внутри себя потерявшие крохотный зеленый росток.

Я описана им в подробностях. Причем описана мной. Он говорит — я пишу. Мне надо суметь до смерти сжечь эти сочинения, хотя их жалко. Кто еще так безжалостно-нежно скажет о моих грудях, двух непропеченных оладьях, из которых он старательно губами вытягивает заправшие соски. «Ну вот и клумбочка», — говорит он, сопя в трудах.

Пока он есть — пусть есть. Конечно, он живет за мой счет. Он сирота, ему хочется кушать, ему два раза в неделю нужны мои «непропеченные оладьи». Временами он пытается меня растормошить как женщину. Это даже трогательно, но я ему сказала, что этот фонтан у меня итссяк, ибо долго-долго был никому не нужен. Он не верит, ищет фонтан. Гладит меня по голове, потом по спине, по попе, возвращается назад и замирает рукой на шее. Я думаю, ему ничего не стоит меня придушить. О нашей связи знают все, ему помогут остаться в квартире, если со мной что случится, но вот что он будет кушать? Мне кажется, что в этот момент его рука на шее мягчает и легчает. И мы продолжаем наше странное сосуществование — сорокатрехлетней старухи и двадцатипятилетнего сироты. Бывает, что и я кладу ему руку на горло. Кадык мягко ложится в ладонь, и я обласкиваю его. Я давно поняла, что мне не сдавить его горло, крепкое и верткое, как у гуся. Он этого не знает и потому руку с горла перекаладывает в другое место. Я знаю эту забаву, трогаю его тюльпанчик, одновременно думаю, что он все-таки неталантлив во всем, если не понимает, что пальцы мои мертвы и лишены крови. Я подыграю ему чуть-чуть, но потом долго буду думать об этом! Почему я мертва в его руках? К утру меня охватывает гнев не на него, не на себя, а на обделенность этой радостью, если писатели ее не брешут все хором. Может, и нет ничего в этих проникно-

вениях, кроме соединения двух немыслящих клеток. Но я верю словам человека, который сказал:

Среди миров, в мерцании светил  
Одной Звезды я повторяю имя...  
Не потому, чтоб я Ее любил,  
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,  
Я у Нее одной ищу ответа,  
Не потому, что от Нее светло,  
А потому, что с Ней не надо света.

Я реву белугой в подушку, потому что тело мое все горит от этих слов. Никаких остеомиелитов и пальцев дохлого чеснока. Во мне горит огонь любви, но даже краешком не приходит мысль, что со мной рядом спит тот, к кому бы хоть чуть-чуть подошли стихи. Никогда на свете я не бываю так безнадежно одинока, как в момент существования его в моей постели. А потом приходит день, и он растирает мне ногу, когда совсем уж невтерпеж... Он вынимает меня из ванны и несет в кровать, как дитя. Кстати, утопить меня тоже ничего не стоит. Но я ему нужна. Я его ложка супа. Другой такой, чтоб взяла его на содержание за все это время, что мы вместе, не возникло ни на горизонте, ни на пороге. Он ведь к тому же ленив, спит до часу дня. А время сейчас бойких и расторопных.

Я сравниваю свой сиюминутный почерк с тем, который начинал тетрадку. Он другой. И хоть пишу любовно-рыдальные слова, буквы мои не выскакивают из ряда, они держат строй, мое маленькое войско мне верно, оно прощает мне мои сопли и моего сироту, и я понимаю, что мне не надо идти искать фиолетовый столб. Случается другое. Буквы, что были написаны двадцать лет назад, накинули на меня крючок. Я его чувствую в себе, я ребрами вишу на нем, и на пол громко — кап-кап-кап — падают капли крови черного цвета. Я вспомнила свою ненависть, вспомнила озноб рук от боли ноги. Вспомнила свою жалкость. Вот, оказывается, почему она у меня, охраняемый и неприкасаемый объект.

Я ничего не хочу так сильно, как увидеть этих допущенных к теплу сук.

### Я — Ольга

Я заеду за этим дурным джином. Не потому, что я поклонница напитков английских кухарок, не потому, что впала в зависимость от слогана «джин-тоник», а потому, что неудачнице Райке надо подсластить пилюлю. Пусть ощутит свою нужность во времени и месте, чем еще она может это сделать, как не вечным, как мир, совковым «помочь достать». Хотя она не дура, знает, что сейчас уже многое не дефицит, дефицит — дружба, вот на нее она ставит силки, и я попадаюсь, хотя хорошо вижу все ухищрения. Она покажет мне кладовочный закуток — мечту героя Жванецкого, очумевшего от возможности купить «два» и еще «два». Я подыграю подруге, явив свои потребности. А потом поеду с джином к Марку в его мастерскую. Не факт, что я выставлю бутылец, у нас очень высокие и тонкие отношения. Мы, как шагаловские влюбленные, парим в небе вне притяжения земли. В сущности, глуповатая это поза — быть параллельно тверди, придерживая ниспадающие юбки. Но такую взяли ноту.

Первое, о чем меня спросил Марк, — была ли я на выставке Рене Магритта. Я сказала, что да, но сообразила не уточнять, что попала туда совершенно случайно, что называется, мимо шла. Не сказала я и того, что за исключением картины, одновременно изображающей день и ночь, свет и тьму, ни на что больше не запала, а вот возможность существования тьмы и света в одной раме мне показалась интересной, хотя и претенциозной. Ну никакого же секрета с точки зрения живописной. И смысл простой, как «му». Небо есть небо. Оно вне ночи, ибо не зависит от солнца.

День и ночь — явления временного, а значит, более низкого порядка, чем небо и солнце, у которых времени нет, они вечны и бесконечны. Но я застыла возле этой картины, демонстрируя собой еще одну ипостась божественных начал: разумную единицу, принадлежащую потоку времени и не имеющую никаких сил и возможностей встать выше или хотя бы вровень таланту (Магритт) и осознать вечность света и тьмы. И великий божественный толчок, отделивший одно от другого.

Магритт впечатления не произвел, но в который раз именно художник привел меня к мысли об изначальной божественной сути всего, что вокруг. Мне надо ходить молиться в Пушкинский музей, но не в Третьяковку, ибо та очень уж старается привести тебя к Богу и научить правилам, чего не делают ни импрессионисты, ни великие мастера Возрождения, хотя они-то и приводят. И научают...

Так вот Марк... Такой законченный русский еврей, что даже противно. Нельзя быть более русским, чем русские. Это вещь недостижимая и иррациональная. А вот если взять и набуровить некое представление о русскости как таковой, то да, с этим вполне можно тягаться. Марк вполне пробырочный русский — обломо-карамазово-грушницкий. Или другой ряд. Левино-раскольниково-базаровский. И я бы рядом с ним не встала, не существуй все это в такой индивидуальной органике, так само по себе и так, в сущности, по-еврейски, что с первого нашего разговора я ощутила потребность в его пребывании на той земле, где проклюнулась сама, и невыразимость желания соединить существующие по отдельности жизни, потому что иначе зачем жить? Скажу прямо, вопрос просто на засыпку. Я ведь без комплексов, и даже в самые непроходимые дни жизни я не сомневалась в счастье самой жизни, в самоценности даже ее страданий. А тут на тебе. Без него не хочу! И вот я торю тропу к тому моменту, когда в его слоистой русско-еврейской душе проклюнется ответный росток. Я не сомневаюсь, что так будет, куда он денется? Я обсеяла его со всех сторон, и сейчас просто вопрос времени...

Мы не спим вместе. И это есть плохо, господа! Поэтому, когда я поеду к нему после Раисы, я совершу еще один заход, не первый и не второй, кстати... Может, Раисино благословение мне поможет? Но ведь она не в курсе. Значит, надо поделиться. Но тогда надо взять с нее слово, чтоб она не сказала Саше... Это уже сложноватая игра, мы ведь как бы все на равных... Не расскажешь же ей те подробности, которые Рая по причине своих излишне правоверных убеждений может не понять, а то и осудить.

У Марка больная жена.

Это не имеет никакого значения. Я играю на другие деньги.

**Я — Саша**

Не удастся мне быть сегодняшней — внутренне свободной от всего не важного. Ну что мне тот комплимент, который сделала моя подруга Ольга той завучихе? У Ольги свои заморочки, она может быть повязана кучей обязательств перед мне неведомыми людьми, супротив которых мои слова просто ничего не значат. Но вот грызет меня червь, что каким-то боком эта статья сделана не просто за мою противницу, она сделана против меня, хотя ни моего имени, ни фамилии, ни номера школы. В меня впились слова статьи, и я их, как клещей из собаки, вытаскиваю по одному и осторожно. Та история с Алешей, она, конечно, очень способствует состоянию. Это давняя история, но что такое давнее в структуре памяти? Иное давнее никогда не падает на ее дно, а ухитряется постоянно жить с тем, что вчера и сегодня. Ты его выпихиваешь с чужой территории, а оно проскакивает сквозь все, глядишь — и снова наверху. Так навсегда сегодня — смерть мамы, а прошло уже десять лет. Но все то же ощущение во рту, когда я особым неведомым способом хватаю трубку и поворачиваюсь лицом к окну, а на балконном перильце птица ищет клювом у себя под кры-

лом. Этакая распустёха ворона, позволяющая интимности на виду других. Видит ли она меня? Но на всю жизнь я вижу ее, ее живое, трепещущее крыло на просвете солнца и каменные слова, которые ударяют меня в переносье. И у меня течет кровь, бурная и пенная. Теперь стоит собраться им вместе — случайному звонку, вороне на перилах и той моей позиции навыворот к окну, как в носу что-то набухает, набрякает и — неудержимая кровь, хотя слова в телефоне могут быть самыми незначительными. Теперь я никогда не забуду, как звучали слова в той статье и как во мне что-то мелко-мелко задрожало, и я поняла, что это то самое ощущение, которое будет жить поверх других, как ворона с поднятым крылом. Интересен вопрос, что это за устройство организма, если абсолютно несопоставимые эмоции — смерть и чья-то там статья — обладают одинаковой силой воздействия, где гнездится природа такого устройства — во мне ли, в вороне, в особом состоянии моего бедного тела, которое становится яблочком мишени, и тогда любой выстрел в цель? Но это я слегка и дую. Тут не только ворона. Все-таки главное — Алеша. Детей надо иметь много, чтобы убить в себе страх. Страх за единственного. Один ребенок — это особое качество материнства, которое сродни болезни. Сейчас, слава Богу, пришло время, когда молодые отважно рожают и вторых, и третьих... Я не смогла. Трудно было бы уходить в декрет, моральной поддержки среди товарок не было бы. У меня в голове сидела тысяча историй, связанных со вторыми детьми. Вечные трагикомедии. Бездетный учительский мир не одобрял размножение как таковое. В моей школе было семьдесят процентов старых дев. Я заметила: на двадцать седьмом году жизни с ними происходило качественное изменение. Они начинали ненавидеть детей. Их охватывал ужас этого нового чувства. Они понимали, что это дурно, что так не должно быть, но сила, им не подвластная, уже вела их в неведомые края. Где-то на границе происходили истерики и случалась какая-нибудь истерическая любовь к ребенку. Жалкая попытка вернуть ощущение полноты жизни супротив той обреченности, что была за границей превращений. Каждая пыталась спастись, и каждая погибала. Не думаю, что это был удел моей школы, так всюду. Эманация неоплодотворенности делает свое дело автоматически. Умирание не проходит бесследно. Я боюсь старых дев, потому и не родила второго. И стала, в сущности, матерью-калейкой, ибо один ребенок — это как один глаз, одна нога... Это изъян в божественном плане. Отношение к сыну всегда было температурным. Никогда тридцать шесть и шесть, всегда тридцать восемь.

И надо же! Мой дурачок сын, когда ему было четырнадцать, влюбился в Ольгину Катю — той было шестнадцать, и она была как цветочек. Девочка вкусно пахла, мать рядила ее в старорежимные кружавчики, никаких там джинсов, никакого унисекса. Девочка-косичка супротив массового полубокса. Алешка рисовал ее на полях тетрадей, нельзя было не узнать косичку-бараночку и юбку-шестиклинку, которую поддувал ветер, чтоб мой сын отловил в рисунке тонкую и хрупкую Катину ножку.

Я умилялась до слез. Хотя видела, что мальчик мой в этой истории обречен: мал и глуп против Кати. Но ничего мы не знаем, ничего! Алеша понравился Кате. Они часами болтали по телефону, слушая одновременно каких-то музыкальных кумиров. Алешка физически слабел от свалившихся на него ощущений, эдакий влюбленный картофельный росток. Катя же, наоборот, пошла в сок и порозовела. У нее стали бурно кучерявиться подрастающие над лбом волосики. Вместе они были нелепы. Бутон и синюшная фитилька. Именно очевидность этого и не давала места для беспокойства. Однажды я ляпнула что-то типа: «Катя уже совсем невеста». Мой сын посмотрел на меня и мудро сказал, что такова природа девочек, это естественно, но он скоро ее нагонит, и они совпадут. Он так и сказал: совпадут. И я представила эту картину со всеми ее подробностями совпадения. И испытала — Господи, прости меня! — оргазм. Уже через минуту я

была убита стыдом и ужасом, но ничего нельзя было поделать. Несколько секунд я была счастливой мальчикодевочкой, и никаким последующим позором на старую голову это нельзя было изменить. И тогда я стала все сваливать на Катю, на запах и готовность ее плоти, столь возбуждательной. На женщину всегда все свалить легче, а девочка — тоже женщина, но ведь я секундно была и мальчиком, я чувствовала и запах поллюций сына, этот талый снег и надрезанный шампиньон. И вот когда я была в моменте моего грешного мысленного совокупления, почти инцеста, случилось то, что случилось. Ольга тоже вдруг в одночасье заметила кудри дочери и влажный провал ее рта. А доверчивая косичка призналась матери, что ей очень — о-о-о-очень! — нравится Алеша. Мой росток тогда только что ушел от них, сфотографировав Катю на фоне новых штор. Фотографию эту я храню сама. Алеша даже не знает про это, мне же она нужна, ибо в ней нечто важное обо мне самой, хотя и девочка-росянка тоже хороша на снимке. Нимб из легких волосиков на фоне вишневого атласа, который на фотке вытеменен почти до черноты, что получилось даже символично: светлая девочка на фоне шелкового тяжелого мрака. Так вот, Ольга вдруг увидела спелую свою дочь, возбужденную фотографированием. И дочь сказала ей свое сакраментальное «о-о-о-очень!».

— Сейчас я тебя вылечу, — засмеялась мать. — Твой избранник до сих пор писается в постель. Он неизлечим. У него эписпадия.

Ольга сама рассказала мне, что испытала радость, увидев ужас на лице дочери. Ужас на моем лице ее не потряс. Она его не заметила.

— Правильно я слово назвала? Эписпа́дия или эписпади́я?

Ну конечно. Это же я сама, лет пять тому, рассказала ей про ночные проблемы сына. Мальчик уже ходил в школу, и про эту самую эпи... я сказала, что, мол, надо будет выяснить. Но в то лето мы съездили в Анапу и после месяца моря забыли о своих неприятностях.

— Зачем ты это сделала? — спросила я Ольгу. — Ведь это когда было?

— Для физиологения отращения, — твердо сказала Ольга. — Я с детства знаю: физиологию надо бить физиологией. Нет более верного способа убить гормональное цветение, чем увидеть объект своих вожделений раскоряченным над дыркой. Катька моя — романтическая дура, Алешка твой — типичный Лель с дудочкой, никому из них не нужен шекспировский синдром, для таких жалобное и писано. Я скажу Катьке, что Алешка уже вылечился. Но первое слово дороже второго. Не надо им принюхиваться, подруга, не надо.

Не час и не время.

Как я должна была поступить в такой ситуации? Я сказала Алеше, что Катина семья — антисемиты. Вырвалось даже без подготовки. Синдром легкой ответной подлости. Подача-прием-ответный пас — прямо в солнечное сплетение.

Дети перестали звонить друг другу, только фотография осталась у меня и тот мой оргазм, как ужас и счастье и тайна о себе самой.

Катя еще не вышла замуж. Я ее много лет не видела. Наш отъезд в Израиль где-то изнутри был подпитан и этой историей. Две подлости — Ольгина и моя — и взорлил лайнер. Алеша никогда не вспоминал Катю. Это было удивительно. Почему меня это не насторожило? Почему мы так глупы при полной очевидности? Умом, если это ум, мы любим заполнять пазы, просветы реальности, при отсутствии же их мы сразу слабеем умом. Ум наш — как прокладка, принимающая форму данной ему пустоты. А в жизни пустот нет. В ней столько молекул и атомов, что спятишь от тесноты. Ну и зачем ум?

### Заветная тетрабочка

В нее не пишется. И это хороший признак — значит, у хромули все идет путем. Я уже давно не служу в газете, я ушла в пузатый журнал, где



пузатые ученые подтверждают неоспоримые преимущества школы Крупской над школой Песталоцци. Я расставляю им тире и двоеточия, усиливая экспрессию. У меня вышло несколько рассказов про другое — не школьное. Про то, как одна раззява упустила мужа, тогда как стоило спрятать его галоши. Все из головы, ничего из жизни, но пришло столько писем от «раззяв»... Значит, не имея ни мужа, ни повода найти его и потерять, я почему-то знаю про все это. Иногда... Иногда я вспоминаю тех красоток. Встретить их в Москве и узнать — никаких шансов. Хотя я уже ношу очки. Пожалуй, так и канет в никуда история, в которой я когда-то стояла мокрой ногой. Воистину ненависть не плодородит. Значит, моя молодая мысль была верной.

Возле моего дома поставили ряд магазинчиков. Теперь мне не надо скользить на базар и цепляться за поручни троллейбуса. Я обхожу рядок и все нахожу сразу. В первом ларьке — молоко и хлеб, два миную — они винные, в четвертом — сосиски с «Пармезаном», в пятом — почти всегда есть тунец в собственном соку. Дорогой, паразит, но мне за создание экспрессии в пустоте по нынешним временам платят неплохо, поэтому я иногда всхожу на тунца и тогда устраиваю пир, добавляя к нему портер. У меня нет претензий к коммунистам, они меня не обижали, но задать вопрос: кому мешала вобла и чайная колбаса, которая догоняет теперь покупателей в машинах-рефрижераторах, очень хочется. И еще хочется спросить Тяжельникова, почему он, как с классовым врагом, боролся с водолазками, что они ему сделали? Сильно жали или очень отвисали на тонкой шее?

Но самый любимый мой ларек тот, где «Чеддер». Там торгует милая такая женщина, с несколько более перепуганными глазами, чем позволяет себе любой испуг. Нет такого испуга, чтоб носить его в зрачке каждодневно. Это болезнь. Психика. И я ее жалею. Она очень красивая, но безумные глаза должны от нее отпугивать. Человек боится до конца неведомой порухи внутри человеческой души. А так она приветлива, ласкова. И к ней охотно идут, я это отследила, хотя, мне кажется, быстро уходят. Но, может, это не от ее глаз, а оттого, что она ловкая и спорая? Во всяком случае, у меня появилась подружка-торгашка. Совсем неведомый мне мир. Прямо хочется сказать: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». Естественно, «молодое» я зачеркиваю. Она старше меня лет на пять или десять. Я плохо в этом разбираюсь. Ее зовут Раиса. Я не люблю это имя. Мне оно невкусно, оно слипается гласными, а согласные, супротив закону алфавита, просто отваливаются друг от друга. Рая же — очень коротко. Не могу понять, почему ни Тая, ни Мая, ни Оля, ни Ада не вызывают во мне мгновенной сжатости во рту, как от кислого яблока. Поэтому я зову ее Рачка. И немножко дольше, чем нужно, качусь на нежном «е».

### Я — Раиса

Вот она шкандыбает через улицу, моя писательница. Ботинки у нее — на все сезоны. Она носит их от первых осенних дождей до последних майских. Зимой из ботинок торчат толстые козьи носки. Она их купила наверняка тут же, рядом, у деревенских старух. Судя по припаданию на левую ногу, она не далекий ходок. Сама ее привадила, сама же и злюсь. У меня дорогой товар. Иногда я жульничаю и продаю ей запечатанный сыр с маленькой скидкой. И она уже стала направлять ко мне клиентов за «дешевым». Приходится сочинять истории про товар, который пришел до, а другой — после... Меня это уже напрягает. Писательница в козых носках мне никто и звать никак. Я не богадельня, не собес, не Фонд Сороса. Как автор она подарила мне книжку: по-моему, плохая. Я не знаю, почему человека надо называть забыткой. Я согласна узнать что-то про мир забыток, наверное, они не хуже меня, но ее забытки — чистые люди, а название не значит ничего особенного. Просто ей, видимо, легче, ходя в

мальчиковых ботинках, рассказывать про людей, обзывая их забутыками. Хотя я точно знаю: забутыкость есть! Я забутыка, когда химичу с ценой, но ведь у меня при этом случаются интересные вещи, о которых писательница моя ни сном ни духом. У меня, к примеру, когда я забутыка, совсем другие руки. Я беру ее копейки за сыр другими пальцами, они у меня в тот момент длинные, и в них светятся косточки фаланг. Причем не просто светятся — они еще и потрескивают, и я, забутыка, их слышу. Я — полная забутыка, но моя шлендра, на которую сейчас газует «рафик», забутык не знает. Она придумала только слово и купила на свое «ноу-хау» козьи носки. Но сути его она не чувствует. Я жду ее в своей каморке — сейчас светелке, потому что, когда приходит она, я забутыка — и у меня начинают разговаривать банки с пивом. Самые болтливые — наши, зато всегда молчит пиво «Козел». Однажды я его спросила: «У тебя есть точка зрения на жизнь?» Козел сказал, что он не дурей других, но его нужно переименовать. Ибо точка зрения козла, даже умная точка зрения, в расчет не берется. Я спросила, как бы он хотел называться, Козел ответил: «Ленин», вот такая жизнь, полная ленинизма, у забутык.

Тут она вошла, моя литература, и сказала, что купит сока, желательно грейпфрутового, потому что у нее давление. Я смотрю на пальцы. Они подтягиваются в длину, а фалангочки треск-писк, писк-треск. Я беру с литературы на два рубля меньше. Я снова говорю ей про старый завоз, который был до того...

— Вы могли бы, Раечка, меня и обмануть, — нежно говорит писательница, — но у вас высокий порог чести.

«Задница, — отвечаю я ей мысленно, — с высоким порогом. А я просто дую тебя в другую сторону».

Потом мы говорим как люди, и она жалуется на боль в колене. Я стряхиваю забутычные пальцы и говорю «кыш» банкам. Мы треплемся о житейском, о войне в Югославии. Это моя большая тема, мальчишка мои вполне могут успеть на это безобразии, о котором мечтает маслянистый депутат Бабурин. Я бы подарила ему остров, какой-нибудь Ньюфаундленд или Сахалин, нет, лучше Капри, только чтоб он замолк навсегда. Моя покупательница говорит, что у нее нет личных страхов, так как нет ни детей, ни мужа. Я думаю, как это правильно, что у нее их нет. Мне не хватило бы денег откупать у армии еще и ее мальчишек.

Тут-то и пришла Саша.

— Я за джином, — сказала она с порога.

Она смотрит на нас — литература. Глаза у нее мелковатые для просторного, как степь, лица, но в них такая пронзительность, которую я ощущаю уколом, а Саша ознобом: я замечаю ее поеживание. Я получаю деньги за брусочек сыра и говорю покупательнице, что всегда ей рада.

— Фу! — говорит потом Саша. — Тебе не противно так врать?

— А тебе не противно учить идиотов?

— Я учу. В этом деле всегда есть толика надежды. Ты же просто обслуживаешь противных людей...

— Не только, — отвечаю я.

— Кто ж спорит?

Саша нервна. Я знаю это ее состояние. У нее сморщивается лицо, оно делается острым и как бы сбегается к носу. Если учесть, что человеческий нос — не самое удачное Божье творение, то нос, к которому прибежавшие за помощью глаза и щеки притулились близко и виновато, выглядит совсем неважно. У Саши сейчас лицо пнутой собаки. Я так и спрашиваю:

— Кто тебе наподдал?

— Боюсь войны, — отвечает она. — Боюсь оказаться с Алешкой на разных половинках. Маразм-то крепчает.

Я ей не верю. Говорит не то, а главное, Сашка добра и деликатна и не станет бить другого там, где у него перелом. Это ведь моя проблема —

война и мальчики. Спроси меня, и я скажу: да, согласна жить на Венере, не то что на другой половинке, только бы их не поставили под ружье. Ведь случись война, какие деньги могут спасти детей? Саша знает, что я на этой проблеме свихнула себе и мозги, и шею, но сейчас она как бы забыла об этом. Она говорит, не помня меня, а значит, случилось что-то другое. Я предлагаю ей сесть на ящик из-под мороженого. Она садится, поджав ноги и сцепив руки. Очень собачий у нее вид. Этакая выброшенная на помойку такса.

— Я тебя знаю сто лет, — говорю я ей. — Войну ты уже победила. Что у тебя на самом деле?

— Еще не знаю, — отвечает она. — Но что-то скверное.

— Здоровье? — пугаюсь я.

— Это все-таки связано с Алешей, но я еще не пойму...

Она мне так ничего и не сказала. Когда дело касается детей, с нами со всеми — я имею в виду и себя, и Ольгу, и Сашу — происходит сдвиг по фазе. И я рассказываю Саше, в какой панике была недавно Ольга.

— Ты же знаешь, — говорю я, — Катька ее уже засиделась. Двадцать шесть — это уже критическое время. И тут Ольга замечает: кто-то есть, а Катька как партизан. Но ведь Ольга у нас Эльза Кох: надо щипчиками — возьмет и щипчики. Оказался трусоватый женатик, из тех, которым нужна честная, а значит, молчащая барышня. Уж не знаю, чем кончилось, но Ольга сказала, что член она кавалеру перевязет суровой ниткой.

Саша слушает вполуха.

— Она хорошенькая, Катька? — спрашивает.

— Все такая же. С пасхальной открытки. Губки изюмом.

— Я помню, — сказала она тихим пожухлым голосом. Бедная, бедная такса.

Что же тебя так вздрючило, подруга? И уходила Саша так же сгорбленно, как сидела. Я не выдержала и позвонила Ольге.

### Я — Ольга

Я у Марка и отключила мобильник. Я смотрю, как он двигается по захлавленной мастерской, такой гибкий, пластичный. Понятия не имела, что мне могут нравиться в мужчине извивы тела. Масса, мощь — да, тут же совсем другое. Тростник. И я еще не знаю, мыслящий ли. Он уже меня в плечах, про его попку даже не скажешь, что она есть. Штаны не облегают ничего. Ни спереди, ни сзади. Но вот он идет из одного угла в другой, такой весь не телесный, и вся моя физика криком кричит. Такого, пожалуй, со мной не было, а я не раз после развода выходила в открытый космос в поисках объекта для столкновения. Он сел рядом на диванный валик, и я вижу оторванную пуговичку на рубашке и просвет в его белую безволосую грудь.

Ему для обзора досталась моя макушка, тщательно выкрашенные волосы не выдадут степень моей поседелости. Он дует мне в волосы. Я дую ему в оторванную пуговичку. Два идиота. Из меня уходит жар по мере того, как он пальцем проводит по моему виску, от брови к уху. Мне надо его за чем-нибудь послать на кухню, чтоб он совершил этот свой проход сквозь вещи и предметы. Но в этом же есть некий казус: сидящий рядом, он возвращает меня в полное физиологическое спокойствие, тогда как отошедший он вызывает маточный вскрик. Это со мной что-то не то или с ним? Со мной... Марк мне нужен. Физически. Эмоционально. Социально. Я столько про это думала, что больше не бывает. Он — мой мужчина, хотя до конца я в этом не уверена. Я первый раз у него и всего пятнадцать минут. Но я уже и успела спятить от страсти, когда он шел от окна ко мне, и я уже вполне опала и хочу тихого семейного разговора с параллельным пришиванием пуговицы. Тут-то я и понимаю, что разговор мне гораздо важнее. Разговор! Потому как у меня большая беда, к которой я оказалась

не готова. У меня беременна дочь от трусливого полудурка, который не умеет пользоваться носовым платком и втягивает соплю внутрь с оглушительно сопящим бульканьем. Как же она могла, моя дочь, дойти до состояния, чтоб отдаться *такому*?! Может, он тоже шел как-то возбuditельно сквозь вещи, попридержав соплю, а у моей дурочки загорелось между ногами, и она приняла этот миг за суть желанья? Но ведь я ей ни разу не объясняла про это. Ни разу. На нее все паялились с пятнадцати лет, и я ей повторяла: «Не то! не то!» А однажды некто совсем никудышный вызвал в ней нечто, о чем она подумала: «То!»

— У меня дочь подзалетела, — говорю я Марку.

— Ты уже пять минут только про это и думаешь, — отвечает он мне. — У тебя жилка на виске едва не прорвалась. Нельзя идти к мужчине с беременными дочерьми в голове. Это негуманно!

— Да нет, — говорю я. — Я ведь к тебе пришла по-другому...

— Тронут, — насмешливо ответил он, поцеловав меня в макушку. Потом встал и сел напротив на табуретку. — Будешь рассказывать?

И я понимаю, что не буду. На каком-то крохотном расстояньице жизни — в пять минут и полтора метра — разрушился вполне добротный воздушный замок. Так лепо торчал весь из струй и потоков, так высверкивал изотопностью атомов, так манил причудливостью эфемерности, так возбуждал фаллическими символами — и на тебе, как не было замка. Я вцепляюсь глазами в живого неказистого мужчину с насмешливыми глазами, которого еще вчера поместила в графу: единственный. Хотя, честно скажу, не забыла, что в его единственности был изъян — хворая жена, но нет, замку это не мешало. А тут раз — и просто тощий дядька разглядывает меня с треногой табуретки. Разглядывает внимательно, как нечто, затмившее обзор. Мог быть дом, могло быть дерево, самолет с белым дымчатым хвостом, но не они — я.

— Извини, — сказала я. — Оно тебе надо, чужое горе? Я к тебе шла оттянуться, а оно просочилось за мной. Ты плохо закрыл дверь.

— Виноват, — ответил Марк.

Он принес кофе. Глотнув горькую чашечку, я засобиралась. В какой-то момент, когда он нес мне из прихожей пальто, я захотела, чтоб он меня задержал. Я даже потянулась к нему излишне близко, когда он растопырил надо мной мой кашемир. Марк не принял знака, но, уже перехватывая на талии пояс, я поняла: и хорошо, и слава Богу, так не случилось.

В лифте я почувствовала, как мучительно ненавижу дочь. За все сразу. За ее кокрушительную сексапильность, за неразборчивость, за дурь, но пуще всего за то, что она своей жизнью бьет мою жизнь. И я шестерка в этой игре, и не по незначительности себя самой, а потому, что сама себе я так и определяю место — шестерка, потому что дочь важнее. Она большая карта в том мироздании, в котором крутится ее мать. Ненавидь она, люби — один хрен. Это так — и все тут. И нет на свете силы и уж тем более мужчины, способных изменить этот расклад.

Я даже понимаю, как это неправильно, ибо очень по-русски. Ну какая, скажите, американка или англичанка будет брать в расчет беременность вполне выросшей дочери, которая не помрет с ребенком с голоду, у которой своя квартира и какой-никакой, но существующий отец ребенка?

Но что нам их заморские правила отчуждения? У нас свои. И наше отчуждение покруче и покровавей, но, как говорится, не в этом случае.

В случае детей мы одинаковы — и русские бабы, и итальянки, и еврейки: наша пуповина с детьми не разрезается до самой смерти родителей. Это не пуповина, это крест. Во мне болит моя дочь, и с этим ничего не поделать. Это я буду рожать ее ребенка, это у меня выступит на сосках молоко на третьи сутки после родов. Это у меня будут снимать послеродовые швы... Сколько бы филиппик ни произнесла по этому поводу Маша

Арбатова. «Какая умная дура», — думаю я о ней, когда слушаю ее речи. Я так хочу ею стать. В этот момент я то ли Мичурин, то ли Лысенко, но я скрещиваю ж... и палец.

Я включила мобильник и тут же услышала Раису.

— Наконец-то, — сказала она. — У меня была Саша. У нее что-то происходит... Не знаешь что?

— А что у нее вообще может произойти? — ответила я. — Школа ее никуда не денется. Муж тоже. Сын в хорошем далеке. Она у нас, как Микоян, способна проскочить меж струйками...

Это было нехорошо с моей стороны, потому Рая и положила трубку. Она одна из нас не приемлет дурных слов друг о друге, даже в тоне юмора. А я ведь говорила определенно зло. Пришлось набирать номер и объяснять Раисе, что это я так, от личной неудачи ляпнула. Но, мол, ничего про Сашу не знаю. Может, ей показалось?

— Нет, — ответила Раиса. — У нее вид больной таксы.

### Я — Саша

Когда мы вернулись в Россию, оставив Алешу, я забеременела. По абсолютной дури — почему-то считала, что это уже меня минет. И на тебе! Я никогда не разделяла мыслей, что аборт — убийство. Человек есть человек, если он явленный. Плод — завязь, живая, самоценная, но — допускаю — и ненужная. На аборт я пошла тайком от всех не из-за этих своих негуманных соображений. Я боялась, что некто *другой* может порушить мою связь с Алешей, которую не назовешь только кровной: она больше, она выше, она вне сущего. Я всегда все про него понимала. Я вынюхивала его физическое развитие, не было ни одного секрета, который бы не могла рассказать мне его манера вытирать руки и откусывать хлеб. Я по дыханию угадывала его мысли, но при чем тут угадывала, я их считывала. Я знала приближение его болезни за день до того, как та начинала громыхать вовсю. Я никогда не говорила об этом мужу и никому другому, потому что отдавала себе отчет: мое соглядатайство есть и дар, и наказание. Иногда думала: а если и он так? Если и он ощущает мое ежечасное присутствие в себе и тоже все знает про меня? Во всяком случае, про аборт он просек день в день и позвонил. Все сделав в больнице за два часа, вечером я отлеживалась уже дома.

— Мама, у тебя все в порядке? — закричал Алеша в трубку, едва я выдохнула в нее. Он мне не поверил, позвал отца, тот успокаивал сына, с интересом разглядывая меня на диване — очень тогда тянуло жилы вниз живота, и я не находила себе места. Потом муж сел рядом и спросил:

— А что с тобой? Ты правда выглядишь не на миллион...

— Я и на рупь не выгляжу, — ответила я. — Ты же знаешь, с бабами случаются разные штуки...

— Но я считал, что я это улавливаю, — сказал муж.

— Значит, проглядел, — засмеялась я дураку в лицо.

Был еще случай. У меня на работе набухла склока из тех, что возникают практически на пустом месте. Гаже их нет. Они потом, как нейродермит, истязают и душу, и тело, а жала как бы у них и нет... Чтоб взять пинцет и вытащить. И тогда Алеша понял все раньше всех и позвонил. Я еще подумала: «Господи! Зачем ему это? Спаси его и сохрани от моих корост! Ты же каждому даешь свой крест? Зачем же сыну чужой?» — «Чужой? — ответил мне Бог. — И язык твой не отсох?» Я поняла, что это я сама с собой бормочу и себе же ставлю подножку. Богу нет дела — и правильно — до наших нервных волокон. Спасибо, что хорошо оснастил на все случаи жизни... Поэтому не поминай всуе, не жалуйся — ибо богат всем и не приставай по мелочи.

Я топчусь на этой мистической связи с сыном, потому что уже какое-то время тонкая нить этой связи дрожит во мне и стонет. Не бывает такое

просто так. У меня не бывает. Конечно, я звонила, и, конечно, он мне со-  
врал, что все хорошо. Но врать мне — последнее дело, вранье я учувствую  
у всех, даже у первых встречных.

А тут вдруг... В метро... Встретила Катю, которую не видела с тех са-  
мых пор. С момента той фотографии. Вошла в вагон, а встала прямо пере-  
до мной. Я просто оказалась в ее глазах.

— Здравствуйте, тетя Саша! — сказала она, поглощая меня всю, какая  
я есть: со сбитым дыханием, в коротенькой дубленочке для пятнадцатилетних.  
В старые времена хорошие папы привозили из Болгарии такие пальтишки  
из кусочков для подрастающих дочерей. Я выросла до нее только сейчас.  
Но прямо скажу: ношу — не стесняюсь. Хотя одежда не по возрасту и не по  
чину. Но мне в ней удобно, и говорят, она мне идет. У Кати пальто длинное,  
в пол, и дорогая шляпка — причудливый сплав меха и фетра.

Я целую ее в теплый нос. Она меня в ответ — в ухо. Звук поцелуя про-  
бивает перепонку, и я гложу. Первые минуты я не слышу, о чем она мне  
говорит, и пальцем жму на козелок. Шум и гам вагона благодарно возвра-  
щаются в ухо, но я продолжаю не слышать Катю. Она ведь всегда говорила  
тихо, этакая тоненькая синичка в вороньем джазе. Поэтому, когда она,  
сделав мне до свидания, шагает к выходу, я иду за ней и властно тащу ее  
в межколонье.

— Повтори, — говорю я ей, — что ты мне говорила. К старости я сла-  
бею ушами.

— Да что вы! — сочувственно восклицает Катя. — Это у вас серные  
пробки. Их просто надо вымыть.

— Так и сделаю, — смеюсь я над собой. Зачем вышла за девочкой?  
Чтоб она мне прочистила уши?

Но тут Катя сообщает мне, что у Алеши все хорошо, что он меняет  
квартиру и прислал ей приглашение. Я сразу поняла всех древних греков  
вместе и по отдельности взятых, хорошо осведомленных в неотвратимости  
божественного рока, а потому попадающих в расставленные силки как бы  
без вариантов. Всякие там Эдипы, Оресты и прочие Дездемоны. Я ничего  
не знала (но дрожало-дрожало внутри тоненькое «ми») о съеме квартиры.  
Алеша жил у наших знакомых, в отдельной выгородке. Те нуждались даже  
в небольшой квартирной плате, так как купленный дом сжирал все. Алеша  
имел комнату с отдельным ходом, а также завтрак и ужин. Никаких знаков  
того, будто что-то его не устраивало, не поступало. Я спросила Катю, ког-  
да она едет, — она улетала через две недели.

— Позвоню, узнаю, что ему надо, — возмутилась я.

— Алеша мне запретил вам говорить именно поэтому — чтоб вы не  
суетились. Я бы вам обязательно позвонила накануне. Но раз уж встретились.  
Это судьба.

Конечно, это греки, кто же еще?

Я спрашиваю, на сколько она едет.

О, бессилие слов! Ну как описать это практически незаметное движе-  
ние плечами с одновременным легким взлетом бровей, которые говорят и  
о неопределенности времени (ответ на вопрос), но и намекают на нечто,  
что и определит, будет это четверг там или пятница. Годятся ли тут греки?  
Вне меня начиналась история, в которую мне заказано было вступать. Вы-  
ход из вагона и властное задержание Кати у колонны были пределом моих  
возможностей вторжения в историю моего единственного сына, выцело-  
ванного и вылюбленного до самых деликатных дырочек. Но я оказалась  
ничто супротив этого легкого взлета бровей девочки.

— Вы расстроились, что я лечу к Алеше? — почти нежно спросила  
Катя.

— Просто я и не подозревала, что ты с ним поддерживаешь отношения.

— Всегда, — ответила она. — Алеша ваш настоящий.

И я ее обнимаю, потому что, несмотря ни на что, благодарна ей за понимание сына. Но как же мне тяжело, как тяжело вот это все — то, что я держу ее, мягкокашемировую, что я ничего не знала, а мой сын даже просил мне ничего не говорить — чтоб дура мать не суетилась. И еще я нутром чувствую: греки приготовили мне еще что-то, и это предпоследняя минута прежней жизни, после которой начнется совсем, совсем другая. Так мы и стоим под красивой Катинной шляпой — дама в подростковой дубленке и девчонка в уборе королев.

— Поцелуй его, — говорю я.

В вагоне я начинаю реветь, и равнодушная публика, которая и не то видала, вдруг проникается ко мне почему-то сочувствием, мне суют в нос что-то ароматическое, кладут чужими руками в рот валидол, кто-то обмахивает меня журналом «Вояж». Все что-то говорят, говорят, пробивая штольню в мой оцепенелый мозг.

— Слезы — это благодать, — объясняет мне какая-то старушка из тех, что истово, до возможности убийства веруют в Бога и Сталина. — Слезами, баба, выходят душевные камни. Слезами! А которые не плачут — те мрут.

Значит, буду жить.

Дома я позвонила Ольге. Почему-то решила, что именно мне надо позвонить первой. Но той не было на работе.

Позвонила Раисе. Та спросила во-первых, во-вторых и в-третьих: ввяжемся ли мы в войну в Югославию? Снова греки. Снова рок. Кажется, я застонала, и Раиса стала кричать: «Что с тобой? Ты сына спрятала. Что может быть важнее?»

— А что со мной? «Которые плачут — не мрут», — ответила я. — Плачь!

**Я — Раиса**

Мальчишки, оказывается, ходили плевать на американское посольство. Вместе с дедушкой.

— Вы идиоты? — спросила я. — Дом-то при чем?

— Если народ будет молчать... — Это дедушка. Но и мама, и тетка тоже были готовы идти и не пожалеть яиц. Хотя недели шли предпасхальные. И яйца уже дорожали.

Муж сказал, что все обойдется. Выпустят пар и утешатся.

— Нельзя утешаться. Надо бороться. — Это снова все дед. Я-то размечталась, как он огородами будет уводить от войны внуков, а он вполне у нас партизан и, значит, наступатель.

Сашка сказала мне: «Плачь!» Но я не могу. Во мне нет слез. Я думаю, что теперь, в нынешней ситуации, военком, с которым я уже три года веду шуры-муры, затребует сумму покрупче. Он и так мне все время намекает на опасность, которой ради меня подвергается. Я делаю вид, что млею от его мужских подвигов во имя моих интересов. Но я просто вижу, как растет сумма прописью. «Не надо рожать солдат парами. Родина этого не требует. Отечество пока не в опасности». Так шутит военком.

Но я объявляю своей семье, что запрещаю военные действия против НАТО, что яички мне не просто так достаются, что пусть пишут в газеты, стучат в Интернет, но все эти походы под портретами и флагами — через мой труп.

В общем, я человек смирный. И ультиматумов никому сроду не предъявляю. Я как-то давным-давно поняла, что даже два самых близких и родных человека — два совершенно разных и чужих человека. И нет общей даже на всех мысли и тем более общей эмоции. Имеется желание этого, что, видимо, и есть любовь. Даже Бог. Даже Он... у каждого свой. А уж об объединяющей Его именем мысли-идее и говорить нечего! Его именем

убито не меньше, чем именем Гитлера, Ленина и Сталина... Спасаться и спастись можно только в одиночку. Меня почему-то особенно убеждают в этом красота и неодинаковость птиц. Боже, как они прекрасны! Иногда и на нас, как на птиц, смотрят художники. Тогда и мы ничего. Но Боже спаси сбиваться нам в человеческие тучи. Это самоуничтожение. Расклевывает биомасса.

Поэтому в семье у нас каждый и Бог, и Царь, и Герой. Вот почему мое категорическое «через мой труп» было сравнимо со взрывом гранаты, подрывающей свободные устои семьи. Но у меня не было сил что-то объяснить, плакаться я не умела, я оделась и ушла из дома.

Мои Елисейские поля — Звездный бульвар. Мы приехали сюда, когда это была еще свалка и наши пятиэтажки застили окна деревянным баракам. Сейчас бульвар засадили, но что-то плохо приживается дерево. Его как бы не принимает земля. Но я-то знаю, какая это была земля. В ней до сих пор столько железа, бетона и стекла, что вырасти на этом может некий флористический монстр, победивший саму возможность нерождения. То самое «Быть или не быть?» — это уже вклинивается задохшаяся от паров гнева ирония. Спасибо ей, моей мысленной птичке со слипшимся пером. Я дую на них, они трепыхаются едва-едва, но я знаю: птичка выживет, а значит, выживу и я. Я иду по звездно-елисейскому буераку среди хилых дерев-гамлетов, выбравших свое право «быть!». От хлебозавода дует хорошим духом, он бодрит и успокаивает. Рядом с ним вырос домушко — эдакий современный пижончик под боком старого хлеба. Какое-то издательство. От него мне навстречу ковыляет нечто знакомое, но мысли мои все, как одна, разбились в борьбе за сохранение семьи-индивидуальности, и поэтому я поздно сообразила, что тропинку жмет толстой реброй моя писательница, любительница «Чеддера», почему-то с палкой. Все правильно, ее место возле издательства. Это я тут просто мимо иду...

Она мне рада и объясняет про палку: на всякий случай. Плохая дорога, овраг. Спрашивает, как я здесь оказалась.

Я показываю ей свой дом, она мне — свое издательство. Теперь — сходите. Низкорослые кривоватые гамлеты машут нам ветвями-недомерками. Я иду проводить ее к метро, мне же все равно, как страдать. Она мне рассказывает, что хочет использовать эпизод из моей жизни.

— Помните, как татарки варили мясной суп, а вы упали в обморок?

Я великодушно ей разрешаю, но спрашиваю существо контекста.

— Ничего особенного, — скороговорит моя литература, — ваши татарки...

— Это могли быть грузинки, чукчи и братья славяне, — отвечаю я. — Татарки — не ключевое слово. Ключевое — отсутствие у меня денег.

— А у татарок они были. Почему-то были! — напирает писательница.

— И слава Богу! Их умение не оставаться голодными разбудило во мне Герцена.

— Кого? — не понимает писательница. — Вы не волнуйтесь. Это бесfamilьный эпизодик. Так... Деталь...

— Суп варили женщины манси, — говорю я строго, — и они разбудили в татарках Герцена.

— Второй раз вы поминаете Герцена. При чем тут он?

— Это не я, — отвечаю я. — Это есть такой стишок. Не помню чей. Сначала заклацали оружием декабристы, потом умом забузил Герцен, и уже они шумом своим разбудили Ленина. И там такие строчки: «Кому мешало, что ребенок спит?»

— А! — смеется писательница. — Я знаю. Но никакого отношения к супу это не имеет. Это Коржавин.

— Конечно! — говорю я. — Я просто шучу. Коржавин, говорите? Смотрите, как он тут к месту, пахнет хлебом. Хорошее пахнет хлебом.

На Цандера я прощаюсь и жму ее сухую и колюче-холодную руку.



— Пусть будут женщины манси, — смеюсь я. — Подальше от грубого факта.

— «Ман» и «си», — отвечает она.

В общем, она вполне ничего. Улавливает ход моих спяченных мыслей.

— Именно, — говорю я. — Суп, между прочим, был бараний. Они его называли «линхобуй».

— Я запомню. — Она уходит в переулочек, ведущий к метро. Издали видно, что она припадает на левую ногу. Вот так она ходит по свету и, как курочка, по зернышку наскребает на свой суп. Если бы я была писателем, фиг бы я что-то брала у других. Мне бы хватило своей головы и своей жизни. И у меня ботинок было бы две пары. А может, даже три. Непременно.

Во всяком случае, побег из дома пошел мне на пользу. Я распрямилась, потому как убедилась, что права. Не виновато посольство, не виноваты татарки. Виноваты другие. Я еще не знаю, кто они — звери или демоны, я не знаю, есть ли у них хвосты и гениталии. И у них еще нет имени. И я возвращаюсь домой с ощущением какой-то глупой детской радости от причудливости мира: «Мамочка! Мамочка! А наш Джек мою каку съел!»

— Это ему лакомство, — отвечает мама сто лет тому назад. И я замيراю над причудливостью загадок человеков и животных. Получается, я и сейчас так же глупа, как тот ребенок, что разглядывал первое чудо природы — поедание того, что считалось несъедобно. Но я сама недавно читала, как сокрушался один президент от людоедов, какие дикие люди эти белые. Они зарывают в землю своих мертвых врагов, вместо того чтобы съесть их по правилам.

Когда мы пойдем различать наших природ? А нас все сгоняют и сгоняют в общие системы, суют чужие буквы, дают не ту еду, и все потому, что у гордых белых больше оружия и из них вылупились Эйнштейн и Толстой? Мы вдругорядь ваяем вавилонскую башню, которую уже тогда Бог не велел строить, ибо это была гордыня. Вот и сейчас смердит в нас гордыня. У блондинов и брюнетов, у бегающих и хромоногих, у меня, у моих подруг, у всех уверенных, что знают, *как надо для всех*. Нет правила, нет. Есть одно: приятие любого другого. И он не хуже тебя, даже когда смешно молится, поднимая вверх попу. Как же мы ему смешны с размахивающими вокруг лица бестолковыми руками!

#### Тетрадка из ящика стола

Торгашка предлагает мне дружбу. Почему-то не хочет, чтоб в рассказе, что от нее, были татарки. Я никогда не была озабочена национальностью — ни своей, ни чужой. Это не значит, что я равнодушна. Нет. Все-таки я не люблю почему-то евреев. Знаю за что. За умение. За то, что ухватистые. Оборотистые. Смекалостые. Свойства выживания для долгой жизни. Если, не дай Бог, победит Макашов, я буду их спасать, потому что русские — совсем другие, они не любят жить, — это не я сказала — Чехов, а евреи любят! И чтоб что-то осталось после Макашова, надо прятать евреев, которые начнут все сначала, потому что им нравится жить. И они умеют сначала. А мы нет. Этим мы отличаемся. Этим же соединяемся, как жизнь и смерть, как сестры. Торгашка сказала «манси». Откуда ей знать, что «ман» — это мания, страсть, безумие. Суп безумия? А что тогда «си»? Нога, последняя в ряду, звук затухания, после которого надо шире открыть горло, чтоб идти дальше. Но идти дальше — это не для меня. Мне подходит «восвоя-си». «Си-дучи». И опять же *си-ница*. Птичка синичка, которая нападает на тех, кто слабее, убивает клювом, разламывает череп и жадно съедает мозги своих жертв. В детстве я была оголтелая брэмистка. Потом я поняла, что мой людской интерес всегда имел под собой что-то

из Брэма. Я люблю синиц и за красоту, и «за жадное съедание мозга». Это правильно для жизни. В общем, я подумаю над «ман» и «си». В конце концов, я хорошо отношусь к татарам. Из них Ахматова, хотя нос тяжелый, еврейский. Она меня возбудила, чертова лавочница.

### Я — Ольга

И все-таки после слов Раи я заехала в школу к Саше. У нее на работе другое, затворенное, лицо. Я это давно заметила. Сущность школьного лицемерия — и у детей, и у учителей — именно в этом: в спрятанности души. Саша по природе мягкая, добросердечная, смешливая баба. Сначала ее оскорбил антисемитизм, и она бежала, а потом — возвращение на лучшую из родин, не менявшую своих убеждений. Все вместе уже тогда придало ее лицу некую ненашенскую изысканность удивления, которую она в школе стирает меловой тряпкой, как неправильно решенный пример. Нет у меня изысканности, как бы говорит она, нет у меня душевности, я вообще не умею улыбаться, я — само прискорбие. Такое лицо у одной из Богородиц — я не знаю имен икон, — ну той, что держит Сына неправильно, на правой руке. Я запомнила ее именно за эту неправильность. Я знаю, как мне было неловко держать детей на правой руке, как я боялась их уронить, и у меня определенно было такое же лицо.

Саша концентрируется на мне и отворяет себя самою.

— Каким ветром? — спрашивает она.

— Ехала мимо. — Я даю ей журнал, в котором хвалю завуча соседней школы. Саше это не должно быть приятно — ее-то я не хвалю, но у меня такое состояние, когда хочется разбить к чертовой матери копилку и наконец узнать: а сколько там собралось?

— Я видела, — спокойно (Богородица же!) отвечает Саша. — Ты ей выдала большой аванс. — Это чтоб не сказать, что все наврала.

— Возможно, — отвечаю я. — Вранье — часть моей профессии. Что пишет Алеша? — Эти слова — тоже удар по копилке, она не может не помнить, как я категорически повела себя в том научно-фантастическом романе, который когда-то взбухал у моей ныне беременной дочери и ее ныне эмигрировавшего сына.

— Пишет, что ждет Катю. Уже снял квартиру.

Я никогда не падала в обморок. Я была уверена, что раньшие женщины просто придурялись, добываясь этим нехитрым сомлением у всех на виду каких-то своих насущных вещей. Их обморок — как телега в обком (при Ээсэсэре). Как нанимание киллера (при разгуле демократии).

Поэтому я не знаю, как это случилось со мной. Оклемалась я уже лежа на диване. Надо мной склонилась, видимо, медсестра и своим толстым пальцем совала мне под язык валидол. Палец пах укропом из бочки с солеными огурцами. Я посчитала правильным слегка, не больно прикусить фалангу, чтоб выплюнуть валидол. Потолок шел кругами, строго слева направо, его, потолка, получалось много в плывущем виде. Интересен был плафон, убегающий в угол, а потом хитро возникающий в противоположном. Я закрыла глаза и только тут услышала, что Саша вызывает «скорую».

— Не надо, — приказала я остановиться потолку и плафону, что они и сделали как миленькие. Потом, зацепившись за рукав медсестры, я попыталась сесть. Не дрогнувшей укропной рукой та завалила меня назад.

Все было быстро и профессионально. «Скорая» выяснила, что у меня зашкалило давление, мне всадалили магнезию, от которой внутри стало так горячо, что я открыла рот и высунула язык. Меня укрыли подручными средствами, чьими-то пальто, и я тут же уснула, а может, сомлела вдругорядь, но нет, не сомлела, я понимала, что сплю и даже слегка прихрапываю.

Когда я проснулась, Саша сидела возле меня, и лицо у нее было жалобное.

— Не имеешь права, — сказала она. — Ты из нас самая сильная. И я не сказала тебе ничего плохого...

А что она мне сказала?.. Я тут же все вспомнила, и к плафону вернулось свойство бегать по потолку. Я напряглась и усмирила стеклянную сволоочь. Этого еще не хватало, чтоб мной руководило всякое неодушевленное дерьмо.

### Я — Саша

У меня никогда не было своих колес. Поэтому сняла с урока физика, чтоб он отвез домой Ольгу на ее машине. Я поехала тоже. И правильно сделала. Ольга ничего не соображала, и мне пришлось быть лоцманом в деле, в котором я ни бум-бум. Но великое национальное умение «на все руки» тут же во мне выиграло и стало бойко заниматься неведомым делом. Поймала себя на мысли: в этом делании не знамо чего есть даже кайф. Не ведая, что творишь, — это высший восторг кайфа. Черт его знает, может, все наши открытия от этого? От отваги неведения? Десять раз мордой об стол, а на одиннадцатый — таблица Менделеева. Во всяком случае, я довезла понишку Ольгу домой, держа под руки, мы с физиком ввели ее в квартиру.

Трезвонил телефон. Некий Марк невежливо требовал Ольгу, а на мой ответ, чтоб он перезвонил позже, завершал что-то насчет того, что это он, Марк, и нет таких обстоятельств, при которых она не взяла бы трубку «от него».

— Пошел ты... — сказала я. — Есть такие обстоятельства.

Я знаю, что такое гипертонические кризы, и знаю, как они коварны для тех, кто их не ведал. Ольга сидела откинувшись в кресле, она спала, пугая булькающим дыханием. Видимо, ей дали большую дозу успокоительного, и теперь она будет долго в безвременье и безразличии. Надо было найти Катю, но я не знала ни места ее работы, ни адреса ее однокомнатной квартиры, которую ей подарили дедушка и бабушка на окончание института. Я попросила физика отвезти нас ко мне.

...То письмо от Алеши было коротким и каким-то бегучим. Так я называю состояние, когда все слова как бы опаздывают на поезд, ушедший с мыслями, настроением, событиями, и теперь вот баулы и чемоданы слов совершают нелепицу — бегут за поездом и цепляются за поручни. Видели бы вы фотографию этих слов. Даже муж заметил: «Как Алешин почерк испортил иврит. Смотри, какие у него оторвавшиеся буквы!» Уже через минуту мы не думали о буквах. Мы замерли над сутью.

«В апреле приезжает Катя. Я не писал вам, что мы встречались в Греции. Собственно, там мы и решили, что нам все-таки плохо друг без друга. Я уже снял квартиру. То, что у нее будет ребенок, значения не имеет. Вернее, не так. Это имеет определяющее значение. Я хочу ее ребенка. Я его уже люблю. А там у вас его никто любить не будет. Я еще помню правила вашей жизни. Я вас ошарашил? На это было рассчитано и еще на то, что вы — редкие особи и умеете понимать, а главное — любить меня. Мне так повезло с вами. Стреножьте тетю Олю, если она начнет проявлять силу и характер. Это единственное, что меня сейчас беспокоит».

Я постарела после этого письма в одну минуту на сто лет. Стосорокапятилетней было трудно встать со стула, и я ждала помощи. Сидевшему против меня человеку — мужу — было много, много больше. Ему перевалило за двести, его, можно сказать, зашкалило в годах, его руки на столе мелко выбивали дробь, и я, как истинный солдат своей всегда воюющей родины, поднялась под эту дробь и сказала, как мне казалось, голосом ведущего в атаку:

— Никто не умер! Наоборот! И сын не держит нас за идиотов. По нынешним временам мы получили Нобелевскую премию.

— Ты так и не поверила в генетику? — жалобно спросил муж.

— Я поверила в любовь, — ответила я так пафосно, что самой захотелось сплунуть, но я понимала, что эта красивая фраза — единственное наше спасение. С ней, конечно, не выйдешь в море, как с парусом, ею не покроешь крышу от непогоды, даже приличного платья с нее не сошьешь, ибо топорщится материал, не умеет ниспадать складками. Но ничего другого у меня против дрожащих на столе рук мужа, против буржуазно-продажной генетики и против Ольги не было и быть не могло. И я завершила слова в собственное сердце.

Теперь я ждала, когда проснется Ольга, которая, оказывается, до сих пор ничего не знала. Я уже приняла нашу общую судьбу, а значит, мне и помочь ей принять свою половину. Я даже была рада, что Кати нет и нам предстоит разговор на двоих, я жалела ее, дуру с откинутой головой и беззащитно выгнувшимся горлом. Есть некто Марк, претендующий на нее без остатка. Но для нашего случая он был не нужен.

Очухалась она быстро. Тряхнула волосами, слегка пискнула: «Кружится, сволочь», но смотрела уже ясно.

— Только не бери в голову, что я счастлива от такого поворота судьбы... — Это первое, что она сформулировала.

— Ты не дала мне возможности даже вообразить подобное. Так плюхнулась.

— Просто я себя не знала до конца. Во мне слабости оказалось, как воды... Сколько там процентов? Но теперь я в порядке и жду объяснения. Алешка в курсе, что мое дитя уже на пятом месяце?

— Он написал, что любит этого ребенка.

Мат, который сошел с ее языка, был мне неведом. Это было нечто! Все возможно непристойное встало в нем таким плотным непробиваемым строем, что другие, чистые слова супротив него были не просто тьфу на палочке, они ничего не значили в своей сущности. Чистота речи была отброшена за пределы языка. Она была пустым звуком! Я заткнулась — а что я могла? — и отошла к окну. На тротуаре торчал дядька, тощий, совсем без задницы, эдакий фитилек лампадки в сиреневом пиджаке, видимо, из вельвета. Он пялился именно на то окно, в котором выставилась я, сраженная могучим и великим русским словом. Я тогда думала такую мысль: «А каково тебе будет, сынок, когда Ольга скажет тебе эти же слова? Есть ли в Талмуде или Катехизисе соответствующий ответ на ситуацию не просто скверного слова, а русского мата, произносимого женщиной с ярко вычерченным ртом, возбуждающим мужчин возможностями многообразно прекрасного секса? Не свернется ли потуже свиток Торы, сомневаясь в нужности для людей правильных слов, когда уже есть такое словоизвержение?»

Сиреневый вельвет махал мне рукой. Видимо, это и был Марк, настаивающий на своей значимости.

— Там, внизу, Марк машет крыльями, — говорю я. — Позвать?

— Марк? — удивилась Ольга. — Теперь уже полный сюр... Марк, идущий по следу. Скажи, что меня нет... У нас разговор на двоих. И ты можешь задать мне любые вопросы... Где были мои глаза? Что я думаю о собственной дочери? Что я думаю о твоём дураке сыне? Кто обрухал твою будущую невестку? Отвечаю сразу и быстро: он не еврей. И как она его допустила до пиписьки, если я бы его до мытья полов не допустила. Вот сказала, и по потолку опять поехал плафон. Сволочь такая. Сядь передо мной, чтоб я смотрела на что-то устойчивое и положительное.

Я села напротив. У меня начинало болеть в солнечном сплетении — оно у меня нежное, как заря. Чуть что — туманится болью.

— У тебя хорошая девочка. Люди сразу рождаются или хорошими, или плохими. Природа их изначальна. И Катька у тебя всегда была славная, потому что мой, безусловно, хороший сын не мог бы влюбиться ни в дуру, ни в сволочь. Это мы с тобой тогда оказались не на уровне наших детей,

дети же были что надо... Теперь насчет пиписки... Ты меня знаешь. Я не из тех, кто заглядывает в это место... И тебе не советую... Там, внизу, по-прежнему колышется мужичок-фитилек... Он на тебя очень претендует как свой, как владелец... Я могу пустить его к тебе.

— Но ты бы его к себе не допустила... Я правильно выстраиваю мысль твою недосказанную?

— Я не в счет... Я полоумная и люблю своего мужа и сейчас, как в первый раз. Мне никто не подойдет, ни с какой статью... Так что не выстраивай за меня мои мысли. Мы с тобой теперь кто? Сваты? У нас будут общие внуки...

— Не ври! Не ври! — закричала Ольга. — Тебя ведь с души воротит эта беременная ситуация. Предположим, у молодого влюбленного дурака глаза не так вставлены, твои-то вставлены правильно! Этот ребенок — ничей!.. Понимаешь — ничей? Мне его, дурачка, уже даже жалко. Рожденного незнамо где, от сопливого полумужика, он будет лопотать на чужом языке, этот ничейный сын.

— Или дочь, — сказала я.

Странно, но ушла моя любимая боль, а вместо нее запеклась такая жалкая нежность или нежная жалкость, что я вдруг поняла своего сына и эту его готовность любить чужое и ненужное дитя.

На этом жалобном месте и пришла Катя. Она была беременна, что называется, вовсю... Коричневыми пятнами на лбу, подушечками отекавших стоп, не полнотой, а какой-то расширенностью в пространстве и времени. Большое ее тело будто кричало о том, что оно такое не навсегда, так дети понарошку надувают щеки за столом, раздражая родителей, а ведь всего ничего — игра.

Катя от соседей все узнала и тем не менее оторопела, увидев мать.

— Значит, уезжаешь? Значит, нашла дурачка? Значит, и мать тебе не мать, и родина не родина, — бормотала Ольга.

На «родине» я подавилась и засмеялась. Это было не специально, просто стал смешон поставленный на попа патриотизм, как шифоньер для выноса.

И Катя как бы увидела эту картинку и тоже засмеялась, и мы хохотали обе две над родиной, которую, по логике Ольги, надо бы, подвывая, оплакивать, а нам хохоталось.

— Значит, все в курсе, — смеясь, сказала Катя. — Ну и слава Богу! А то меня поносило от мысли, что что-то надо объяснять.

— А что не надо? — закричала Ольга. — На что вы будете жить, придурки?

— Я уже продала квартиру, — сказала Катя. — На первое время хватит, а на второе — пойду работать. Ты забыла, что я неплохой музыкант? Тетя Саша! — Катя смотрела на меня какими-то излишне большими глазами, в которых уже набрякали слезы. Так случается сразу после смеха. — Я люблю Алешу... Но я на него не вешаюсь... Он знает...

— Дуручка! — сказала я. — Я на твоей стороне, и к тому же я не патриотка. Ребенку там будет лучше.

— У нее есть младший брат и отец, — закричала Ольга, — который весь на виду! Еще неизвестно, как все на них откликнется. Была бы хоть в разводе. А то увозить нерожденного ребенка.

Тут на нас с Катей снова напал смех. Наверное, мы обе представили этот способ контрабанды русских и серьезность лиц таможенников, вставших во фронт перед широким Катиным животом, увозящим национальное достояние.

Ольга смотрела на нас смеющихся, решительно встала, что было неправильно, потому как она тут же решительно рухнула. Я объяснила Кате, что было с ее матерью. Девочка взволновалась, но потом сказала фразу, от которой уже у меня зашатался потолок.

— Ты встанешь, — сказала она матери. — Потому как я уеду, даже если ты будешь лежать пластом. Я найму тебе сиделку на все имеющиеся деньги, но я спрыгну с этого поезда. Я хочу быть с Алешей, и это больше, чем быть с тобой, думать о судьбе отца и брата, а уж родину твою, трахнутую всеми, кому не лень, я просто выковыряю из зуба. Ровно столько во мне к ней любви. Так что, дорогие мои, не трогайте лучше меня. Я хочу Алешу, я хочу ребеночка, похожего на мою бабушку, я хочу хорошей погоды круглый год, и не мешайте мне больше жить!

Она ушла в кухню. Мы сели с Ольгой на диван, держа друг друга в руках, наши экстрасistolы выстреливали в пандан, в голове у нас гудящий шмель совершал свой полет. И в какой-то момент я поняла, что нас не две, а одна. И почему-то это было в радость.

### Я — Раиса

Мы выгуливаем Ольгу. Самая крепкая из нас рухнула первой. Мы сидим на скамеечке у Патриарших, смотрим на черную воду. Нигде нет такой черной воды, как здесь. Место плохое, «со значением», но самое близкое и тихое к Ольгиному дому, который окнами пялится на перекрестье сразу четырех улиц. Мы похожи на уток, которые послеживают за нами, такие же нахохленные и себе на уме. Но иного вида у нас не получается. Во-первых, холодновато, во-вторых, мы все немножко злимся друг на друга. У меня должна быть встреча с майором, и на моем месте должна быть Катя, но она оформляет свой беременный обменный лист именно в этот момент. Я сама сказала, что это важнее, так как ее поджигают сроки. А теперь злось: а меня не поджигают? Все последние известия начинаются только с войны. Только с нее, проклятой. Саша тоже думает свою мысль — об Алеше и о всем том, что его ждет. Ольга видит наши затуманенные думой лица и гневится на себя, на свою немочь.

— Девки! Я выгулялась! — кричит она. — Я уже не могу смотреть на этих пернатых. И вообще у меня ощущение, что вы нарочно привели меня на лавочку Берлиоза. Сволочи такие!

Саша у нас про Булгакова знает все. И она показывает, где была лавочка Берлиоза и где бегал трамвайчик. Она вскочила с места и чертит нам прутиком на земле маршрут трамвая и поскальзывается на чьей-то сопле. Не больно, не страшно, но присела на попу прилично, задержавшись за железную лапу лавки. Мы смеемся. Мы говорим, что Мессир где-то тут от скуки щупает уток, оттого у них и вид заполошенный, а мы ему — какое-никакое развлечение.

— Мессир! — тоненько зовет Ольга. — Я девушка больная, слабая, дал бы чего укрепляющего.

На Ольгу капает огромная капля с почти сухого дерева. Где-то копилась, копилась влага и — бац! — прямо на горящую губу. Ольга жадно ее слизывает и кричит так, что утки начинают нервничать:

— Спасибо, Мессир! Девки, — говорит она, — я в это верю. Он мне подмогнет.

— Я бы с сатаной в такие игры не играла, — говорит Саша.

— Они — единая сила, Бог и сатана, а капля была, между прочим, сладкой. Они оба — создатели. И сволочь не получит от Бога благословения, а хорошему Мессир зла не сотворит. Они контролируют друг друга. Боженька солнцем восходит, чертушка его закатывает. Любить надо Бога, а его визави надо уважать за баланс.

Мы хохочем, потому что от всех своих глупостей Ольга порозовела, и откуда-то — от Бога! Бога! — выползло солнышко, и нам вдруг стало хорошо, как в молодости.

А тут еще Саша второй раз съехала ногой по тому же сопляку, и мы ее снова подхватили и совсем зашлись от хохота.

### Тетрадка

Так я их и увидела второй раз, хохочущих и обнявшихся. Я на свою голову написала пьесу, и вот Бронный театр согласился ее прочитать. Назад пошла через Патриаршие. Как ни странно, но я тут в первый раз. Не было у меня никогда пиетета ни перед Булгаковым, ни тем более перед его фанатиками, расписывающими стены его дома. Я по природе своей не мистик, и всякое такое, что нельзя пощупать рукой или увидеть собственными глазами, мне просто неинтересно. Не приемлю всю гоголевскую чертовщину, булгаковскую, а уж от зарубежного мистицизма меня просто с души воротит. У меня из-за этого дурная репутация у интеллектуалов. Но я их видела всех в гробу, как Хома Брут панночку. Только Хома — Господи, прости! — обосрался, а я бы ее Псалтирью по голове, по голове. Так шандарухнула. Это у меня ноги слабые, а руки — будь здоров!

Я иду прямо на них. Время ни черта с ними не сделало. Такие же красотишки. И моя лавочница стоит ко мне спиной — как же я ее не узнала? — и я вижу начало ложбинки на шее, которая побежит куда-то вниз и где-то там кончится, в загнеточке попки.

Зачем я иду на них? Есть тропинка налево, вступлю на нее и растворюсь в улице Сатаны. Я же почему-то иду...

Она меня ждала под хлябаной доской, которую я обхожу, как инвалид ноги, очень аккуратнo. Утка. Смирнейшая тварь, с точки зрения Брэма. Не синица. Но она вспрыгивает ни с того ни с сего мне на ногу и начинает ее остервенело клевать. Мне ничуть не больно, на мне мой ботинок, мне не страшно, одним движением я отгоню ее прочь. Но как же мне безнадежно и тоскливо — как тогда, когда я билась в стекло швейцару.

Они кинулись ко мне, спасительницы. Пнули птицу. Та плюхнулась в воду, и у нее — крест, святая икона! — были маленькие бесноватые и соображающие глазки. «Какая сволочь!» — подумала я.

Я поздоровалась с Раисой, кивнула барышням и пошла от них прочь, обьяснив уход каким-то срочным делом.

Они смеялись мне вслед. И хоть я отдавала себе отчет, что в смехе не было дурного по отношению ко мне — они ведь были так стремительно отзывчивы, — но все равно это был *их смех*. А я поняла, что я все еще жду их плача. Думала, что забыла, вот даже Раису за столько времени не узнала, а оказалось — жду. И желаю им «уткомести». Это мое слово, я на него заявляю права. Ведь тишайшая птица кинулась клевать самую беспомощную из ног, когда возле стояли сильные и красивые. Это можно простить? Или забыть, как не было?

И вообще сколько человек может прощать? Бог велит всем и всегда: «Простим врагов наших...» А как быть с порядком вещей в твоём мироздании, Господи? Ты за ним слежишь? Слежишь за синицей, которая может раскроить череп другой, ни в чем не виноватой птице? Слежишь за жирующими вождями и голодными детьми? Или ты так обиделся на дурочку Еву, что обида глаза застила? Прости ее, если нам велит прощать.

А на сатанинском пруду меня едва не заклевала утка. Птица, вдохновившая меня пойти в институт. И смотрела на меня с такой человеческой ненавистью, что я засомневалась: Ты есть? Ну да, Ты дал нам право выбора. Ни в коем случае Ты не имел в виду, что мы будем кидаться друг на друга, как красавицы синицы. Ты думал, что мы будем другими. Ты ошибся, Боже! Во мне клокочет ненависть на несправедливость жизни, и я готова раскроить череп красивым бабам, у которых все путем. Я не хочу быть хуже себя самой, но иногда нет выхода, а иногда очень хочется. Господи, прости Еве ее грех. Сделай это сегодня, сейчас. Не доводи тишайших тварей до «уткомести».

## Я — Раиса

Военком должен прийти ко мне на работу за деньгами. Мне это не нравится. Лучше бы встретиться на каком-нибудь углу. Но, видимо, Толик (его зовут Евгений Игнатьевич) заходом в ларек страшется. Мы ведь не так хорошо знакомы, чтоб он был во мне уверен, равно как и я в нем. Толиком я его зову, потому что он Толик и есть. Кругломордый котяра с игривыми усами. Евгений же — имя, меченное гением, не в смысле корня, а в смысле Пушкина. Евгении взяток не берут, у них другой состав крови.

Какая чушь! Я училась с милейшим человеком по фамилии Свидригайлов. У меня соседка Тереза четыре раза в год топит котят на виду у детей. «Чтоб знали жизнь», — говорит она. «Какая ж это жизнь? — удивляюсь я. — Смерть же...» — «Но чтобы по-человечески жить, — смеется Тереза, — надо убивать котов — чтоб не воняли, курицу — чтоб съесть, овцу — чтоб сделать дубленку, слона — чтоб отпилить бивни. Правда, детки?» — обращается она к поголовью шести-семилеток. «Правда!» — радостно кричит поголовье. Мать Тереза в эти секунды крутится в гробу, как на вертеле. Так что имя Евгений может носить и гений, и любая шваль. На нервной почве мне лезут в голову стихи, которые когда-то туда залетели. Я хожу и бормочу очень соответственные строчки:

Перешагни, перескочи,  
 Перелети, пере- — что хочешь, —  
 Но вырвись: камнем из пращи,  
 Звездой, сорвавшейся в ночи.  
 Сам затерял — теперь ищи...  
 Бог знает что себе бормочешь,  
 Ища пенсне или ключи.

А в голове деньги, деньги... Толик не Евгений — зайдет ко мне в подсобку, и я ему отслюю сумму прописью. За моих мальчиков.

Странно, но я зачем-то принаряжаюсь. Хотя, может, надо, наоборот, одеться в опорки, в ношеное и нечистое, чтоб в нос шибала жалкость, чтоб воистину выглядеть «Христа ради», хотя кто сейчас так побирается? Такая в глазах нищих ненависть, что лучше сразу дать, а то и придушить могут... Хотя о чем это я? Опять бормочу и бормочу: «...ища пенсне или ключи». Но ведь это я отдаю деньги, и я прошу, унижаюсь этим. А на кону — смерть — армия. Поэтому мне надо обязательно выглядеть сильной и красивой, у меня противник ого-го! Не хвост собачий, не какой-то там Евгений из двора, это ошибка, мой противник — Васька Буслаев, Василий Иванович Чапаев, Теркин — убийцы, одним словом, Василиски, игуаны-ящерицы страхоподобные. И я готовлю против их уродства свою красоту. Мне не раз шептали на ухо мужики, чтоб не слышали их подруги: «Ты лучше всех». Такой я и пойду, проверяя амуницию на встречно-поперечных. Оглядываются, сволочи! Но пристала и задержала дурацкая мысль.

У нее, у этой чудовищной бабы-смерти, — не лицо майора. Это-то меня и сбивает с толку. Мне надо найти такое лицо, которому я дам взятку, что оно — то. Получается глупость. Это — не майора. Мне нужно другое лицо. Я закрываю глаза и совершаю внутренний обзор всех знаемых убийц, насильников, маньяков. Очень долго кружит передо мной красавец Дантес, в конце концов они сливаются в одно лицо. Дантес и майор. От игры в лицо смерти меня начинает знобить. Я могу пойти облегченным путем — открыты Босха или Гойю, или вспомнить наше Политбюро, или Думу, бери любого — не хочу, или генералов с лицами боровов — почему-то других у нас нет. Но мне это надоедает, и я в конце концов делаю то, с чего и следовало начать. Я открываю альбом, и открываю его на лице обер-прокурора Победоносцева руки Репина. Вот оно — живое лицо смерти, поглощающей детей, молодых солдат, старух, беременных и только что



освободившихся от бремени. Ни грамма жалости, сочувствия, понимания. Одно сознательное и неостановимое поглощение человеческой жизни. Человек-смерть.

Но разве такой возьмет взятку? Разве она ему нужна для его деяний? Он же почти святой в своей смертоносной безжалостности. Дальше я совершаю глупость: я вырываю лист из альбома, сворачиваю и кладу в сумочку. «Помоги мне, обер-прокурор, нечистая сила, Константин Петрович».

Имя найдено.

Уже в лавке я заталкиваю в темноту полок дорогие напитки. Закуток у меня крохотный — на один стул и половинку стола, на котором стоит железяка сейф.

Когда «мой Толик» придет, я закрою изнутри магазинчик, рассчитаюсь с ним в подсобке и выпущу птицу на волю. Для этого надо три минуты, пять — если майор будет пересчитывать деньги.

Он опоздал на десять минут, и это было мое страшное время. Он мог передумать — раз. Он мог просто разыграть меня — два и сейчас явится не один, а с топтунами, которых оставит у дверей, чтоб уличить меня в даче взятки. Я отдаю себе отчет, что это дурь. Какой смысл меня уличать? Чтоб написали в газете, как бдительно работают наши военкомы? Он мог не прийти и потому, что решил накинуть цену. Тогда мне хана. «Три тысячи долларов, — объяснил он мне, — это минимум и скидка за парный случай». Да, у меня парный случай, на этом основана справка. Тяжелые роды близнецов, асфиксия, гидроцефальный синдром, последующие головные боли и возможная неадекватность. Боже, что я наговорила на мальчиков! Но воистину «перешагни, перескочи, перелети, пере- — что хочешь...». Все про меня.

Я нервничаю у дверей, туда-сюда дергаю внутреннюю задвижку, которая изначально на соплях и, как говорится, от честного человека. Ногтем я подвинчиваю шурупчик, и задвижка с грохотом падает мне на ноги. В этот самый момент Евгений Игнатьевич и поднимает ее, скорбно качая головой над качеством нашего качества. Он все-таки пришел! Он тут! Обойдемся без задвижки, ведь всего три, от силы пять минут, и подсобку из магазина не видно, она за плотной занавеской из гобелена, которую я принесла из дома.

Я поворачиваю табличку на «Закрото», прикрываю дверь, и мы идем куда надо. Конверт лежит на краешке стола. Я беру его и сама кладу ему в карман. И это — какая-никакая нежность, от которой Толик широко усаживается на стул и смотрит на меня, как смотришь в трехлитровую банку на свет, ища в ней пятна.

— Я вам так благодарна, — говорю я. Понимаю, это слова-паразиты, но куда без них, куда?

— Лично мне чего-то не хватает, — говорит Василиск, ерзяя на стуле.

Этот случай у меня предусмотрен. Он, правда, выходит из временного размера, но в концепцию отношений укладывается. На сейфе стоит коньяк «Багратион» и две стопки. Мне надо перегнуться через его колени, чтоб достать бутылку. Это моя ошибка. Он изо всей силы двумя широченными лапами перехватывает мои бедра.

— Евгений Игнатьевич! Мы так не договаривались. — Я как бы смеюсь. Шутки у нас такие. — Есть определенные услуги у женщин. Но у нас с вами другой бизнес.

— Будем считать прежние условия недостаточными, — говорит он, с мясом рвя на юбке молнию и резко подтягивая ее вверх.

У меня есть силы. У меня свободны руки. Я могу взять бутылку, за которой тянусь, и шандарахнуть его по дряблой плещи, которая ниже меня. Но она, плещь, отвлекает мои мысли. Она меня завораживает. Я знаю ее мягкость и слабость под рукой, плещь моего мужа, папы... Чуть вздыблен-

ная мелкой порослью нитяных волос плешь обер-прокурора, которая лежит в сумочке. Сейчас я ее достану и насмешу майора. О чем я думаю? Куда, в какие дали уплывают утлые челны с остатками соображения? Я ведь вижу, как он щелкает широким ремнем штанов и как визжит ширинкой.

— У тебя же нет выхода, — смеется он почти нежно. — Или — или... Деньги — бумажки, я хочу от тебя получить радость как человек.

Как мне не хочется бить его по голове. Я это не умею! Странное чувство, не правда ли? У меня же нет выхода.

И тут я слышу, как открывается дверь.

— Дверь, — говорю ему я. — Покупатель.

— Закрыто! — кричит майор каким-то не своим голосом. — Ревизия!

Он не оставляет себе надежды, я хватаю бутылку — очень удобно для удара, но он коленом раздвигает мне до хруста ноги.

### Тетрадочка

Теперь это сидит у меня в голове — «уткомость». Вот я вывожу про это буквы, а мне хочется про это рассказать, чтоб кто-то хмыкнул, услышав про утку, что бестолково билась в стекло шашлычной. Тут надо сказать: у меня никогдашеньки не было подруг. Хотя ребенком я была кондиционным. Меня не любили. Ни за что. Просто так, как ни за что меня стала клевать мирная птица. Я приняла судьбу сразу и никогда об этом не жалея. Мне хватало людей в редакции и там, где мне полагалось с ними разговаривать, идя на задание.

Когда я стала ходить в лавку к Раисе, я сразу была обескуражена ее готовностью к общению. Я ведь ее не узнала, а судьба-пряндильщица все делала и делала свое дело.

Она рассказала мне о своих подругах, прямо скажем, не без яда об Ольге и с нежностью о Саше. Но больше всего мне досталось ее мальчиков-близнецов, которые кончали школу. Она была ненормальная мать, и она боялась армии. Я никогда не думала об этой проблеме, мой сироталюбовник рассказывал об армии почти весело, он был переполнен солдатским фольклором, от которого меня слегка подташнивало. Но он кричал на меня, что я не знаю жизни. А армия — это зерно жизни, в котором все всегда существует вместе: голод и холод, жадность и щедрость, все виды секса и все виды издевательств и, наконец, в едином неразделимом объятии — жизнь и смерть. «Пишется вместе», — кричал он. Вообще после воспоминаний об армии он был особенно груб, он был груб и жесток, как убиваемый зверь. Однажды он мне стал выкручивать больную ногу. Я заорала так, что всколыхнулся подъезд и пришлось объяснять соседям, что мне на ногу упала книжная полка. Так как они у меня висят всюду и каждая может рухнуть на самом деле, меня пожалели коллективно и от души.

Я не выгнала сироту. Потому что он обплакал мне ногу так, как я обплакиваю себя, вспоминая стихи Анненского.

У каждого свое горе. Но после этого мы никогда не говорим о войне. Раиса вернула меня к этой теме своими мальчишками. Несчастливая в своем страхе, она все равно была выше меня полноценностью своей жизни. Даже голодный обморок был в ее жизни как цветок, который обернулся удачей — торговой точкой. И главное — она призналась: она нашла выход, как откосить мальчишек. Взятка так взятка — мне-то что? Но сейчас я думаю, не подвзорвать ли мне их общий детский смех именно в этом месте. Я знаю тутошнего военкома. Красивый кобель. Похож на Дантеса. Я бы его не вынимала из телевизора, возбуждая любовь к армии. Но теперь, в пушкинский юбилей, это негигиенично. Хотя если вдуматься: почему-то всегда гений облачен в некрасивую форму. Или снабжен изьяном. Мне приятно об этом думать, пеленая свою ногу. Сейчас я уже много знаю и много умею для «уткомости». Должен случиться петушиный вскрик.

Я пришла за «Чеддером». Мне прокричали, что закрыто и ревизия. Тоже хороший знак. Суд, посадка на хороший срок, деток в Чечню — ну смейся, ложбиночка, смейся.

Я ухожу и прикрываю дверь.

**Я — Раиса**

Ему меня жалко, он целует мне колени. Целует странно, прихватывая губами. Я бью его по голове, но, Боже, как слабо и немошно я поступаю. Я так хочу расстаться с ним по-хорошему, простив всю поруху. Странная, не моя, не из меня приходит мысль, что ради мальчишек я бы стерпела и то, чего этот обер-Дантес добивается. Но как ему объяснить про мужа? Как объяснить, что я другая еще от бабушки с дедушкой?

Он взял у меня из рук бутылку, почесал голову и засмеялся.

— Дурочка, — сказал он. — Бери назад свои деньги, только не сопротивляйся. Я хочу тебя уже сто лет.

— Я не хочу с вами ссориться, — говорю я.

— Вот и не надо, красавица моя. — И он почти спокойно, как обычное дело, рвет на мне остатки моей нехитрой амуниции. Я закричала.

**Тетрадь**

Через дорогу переходил сирота. Он шел *туда*. Я хотела его остановить, но он рванул дверь и скрылся в лавке. Я осталась его подождать, сейчас его развернут. Гадкая мысль, скажем, «уткомысль», пришла и села как навсегда. И как часто он ходит в эту лавку? Что-то он мне про это не рассказывал...

Кажется, это петушиный вскрик. И я иду, иду туда же.

У самой двери мы сталкиваемся.

— Не ходи, — говорит он мне. У него красное лицо и желваки, о которых я не подозревала.

— Почему это мне не ходить? — говорю я.

— Не ходи! — кричит он, разворачивая меня за плечи.

— А пошел ты! — ору я.

— Твое дело, — как-то стихает он и идет не домой, а куда-то совсем в другую сторону, и мне хочется спросить, крикнуть: «Куда?» Но я не могу, да и с какой стати, кто он мне? А вот почему он меня останавливал, интересуется меня много больше.

**Я — Раиса**

— Кто-то вошел, — шепчу я.

Он меня не слышит, он торопится, скрипит ремнями, дышит истошно, будто это я его давлю, там за тряпкой это определенно слышно. Я сгибаюсь пополам и бью его поддых головой, чем только злю его, и не больше. И полусогнутым телом я вижу толстое резиновое копыто палки, поднимающее гобелен.

Нащокина Полина Петровна с палкой «на случай». Я вижу, что она видит. Мой голый зад, стянутые колготки, мое согбенное положение и широкою грудь майора, который как бы приготовился меня пороть, что он и делает сильным шлепком, приговаривая: «Ишь как изогнулась, сука!» Я не помню, как он исчез, видимо, мгновенно. Подтягиваю на себе рвань.

— Сука, — повторяет писательница, — сука. — И бьет меня палкой по голо-рваной ноге.

У меня очень ясная голова. Мы сейчас с ней выпьем коньячку, я объясню, как было. Мне даже хорошо оттого, что как бы там ни было, деньги лежат в нужном кармане. Ничего не произошло, разве что синяк на ноге, который я получила палкой. Но когда я ей все объясню, она извинится передо мной. И Василиск-Евгений извинится. К нему я схожу сама и спрошу, пересчитал ли он деньги. Я объясню ему, что он хороший чело-

век, но просто я не могла иначе. Я не могу на углу стола, в рванье и чтоб силой, а главное — ни с кем не могу. Я объясню ему, что это дело «свойское». Это мне еще в детстве объяснила бабушка, что свойский от слова «свойство». А это родство по замужеству — это то, что не чужость. И я не могу просто так взять и раскорячиться перед даже самым лучшим, потому что у меня есть свой. Есть муж. Я понимаю, что для многих это дико. Другие понятия. И я задаю себе вопрос: а если бы это была единственная цена за мальчиков? Тут я не знаю. Но случись так, мне надо было признать чужого за своего. Принять его за своего и, может, даже полюбить хотя бы на момент. Я сейчас все это объясню писательнице. Она должна понять. Должна!

Она поворачивается ко мне и кричит:

— И нет и не может быть у тебя никаких слов, сука!

— Не надо, — говорю я ей тихо, потому что что-то горячее, горячее и черное, как асфальт, начинает заливать мне голову. Она вся — ужас и негодование, она — гнев и отвращение. Это я вижу по ее уходящей спине, хромающим ногам, по сумке, на которой Джексон.

Она уходит к себе домой, через дорогу. Я знаю ее подъезд. Я помогала ей нести сумки. Я мечусь на пространстве стола и стула, цепляясь за них своим исподним. Я должна что-то делать, но что? Она не захотела, чтобы я ей все объяснила здесь. Я попробую это сделать у нее дома. Я стаскиваю с себя рванье. Хорошо, что у меня длинное пальто. Я ведь голая до лифчика. Я ставлю в пакет коньяк. Мне надо ее догнать, я не знаю ее квартиры. И я лечу птицей. И догоняю у самого подъезда.

— Б..., сука! — кричит она, заметив меня. — Я застала тебя! Я достала тебя! За все!

— За что? — спрашиваю я.

— За все! — кричит она и идет в подъезд, и я проскакиваю следом.

Я иду за ней, теперь уже не зная зачем. Мозг мой черен... Я жмусь к почтовым ящикам, пока она вызывает лифт. Приезжает лифт — он пустой, и я достаю «Багратион».

Но когда я подымаю его над ее головой, с бутылки на меня смотрит обер-прокурор. Это лицо смерти. Я его сама выбрала.

### Я — Саша

Я оставила мать и дочь. Пусть разбираются. Я довольна собой, что не сорвалась с постромков, хотя временами так хотелось.

Мне нужно, чтоб кто-то подтвердил, что мое смолчание таки было золотом. Раечка! В ней больше всех из нас щедрости на добрые слова, хоть за дело, хоть просто так... Впрок. Нужный автобус подвернулся сразу, и уже через двадцать минут я остановилась на углу переулка, где работает Раиса. Я уже готова перейти улицу. И тут вижу ее. Она перебегает улицу и уже, в сущности, идет мне навстречу, но проскакивает мимо. Мне ничего не стоило схватить ее, и мне теперь думать и думать, почему я этого не сделала. Но меня остановило ее лицо. Такое лицо бывает у отчаяния. Я говорила с ней вчера, все было в порядке, а сейчас она проходит в полутора метрах от меня, не видя меня в упор!

И я иду за ней. Я иду за Раисой, иду без ее, так сказать, ведома, и у меня почему-то подламываются ноги. Поэтому я иду не зная куда, медленно.

Раиса вошла в последний подъезд. И я тоже плетусь к нему.

На лавке спит вусмерть пьяный мужик. Ему все — все равно. Блаженство равнодушия на побитой морде. Я отмечаю это — блаженство и равнодушие, как близнецы-братья. С момента пересечения с Раисой — это я пойму потом — я все вижу иначе, четче, стереоскопичней, будто я вышла на тропу охотника. Но это мне пока неизвестно. Я была тогда так напряжена, внимательна. И понятия не имею, зачем мне это.

Я вошла в подъезд, когда она кричала. Раиса. Крича, она волоком вытаскивала из лифта писательницу в толстых ботинках, которые недавно клевала утка. По лицу той бежала кровь.

Увидев меня, Раиса не удивилась, и мой верхний ум это отметил: она видела меня три минуты тому, видела, но отдала себе отчет в этом только сейчас.

— Это я ее убила! Я! — шепчет мне Раиса, и я вижу целенькую бутылку коньяка рядом с женщиной.

— Ты сошла с ума! — кричу я.

Я хватаю бутылку и бегу к пьяному на лавочке, я отвинчиваю пробку и лью жидкость в его хрюкающее горло. Он блаженно чмокает. Мне ведь не жалко алкаша, которого я подставляю. Абсолютно. Ощущение безгрешности собственной подлости наполняет меня каким-то странным чувством. Что-то иное, запредельное вошло в меня и осталось. Подселенцы от сатаны с ордером на проживание. И это они, а не я выстреливают в мой мозг мысль, что хорошо бы писательнице помереть. Я возвращаюсь в подъезд.

— Это сделала я! — повторяет Раиса.

И я бью ее по лицу изо всей силы. Из другого лифта выходит барышня, и я командирски велю ей вернуться и вызвать «скорую». Потом беру Раису за руку и увожу. Ближе всего — ее же ларек, и мы заходим в него. Он, оказывается, открыт. Бери — не хочу. Но в данном случае вористость нашего народа прошла мимо больших возможностей. Все на полках стоит. Раиса изо всей силы рвет занавеску, которая отделяет хозяйственный закуток. Там, на полу, ее трусики, колготки, кружево рубашки.

— Видишь? — спрашивает она. — Ее надо было убить.

— Это она на тебя напала? — смеюсь я.

— Она! — отвечает Раиса. — Все она. Она филер. Нет! Больше. Она обер-прокурор! — И добавляет каким-то не своим голосом: — А майор хороший. Денежки взял. Колено поцеловал. Сначала вообще брать не хотел. Я уговаривала... — Она меняется на глазах, моя подруга. Я собираю ее вещи. Из сумочки торчит вырванный из альбома обер-прокурор.

У Раисы страсть к художественным альбомам. По-моему, у нее есть все. Она на них молится.

— Это смерть, — говорит она. — Не читай, что написано. Это смерть. Она вот такая — белая, спокойная и красивая.

— Смерть — женщина, — говорю я, чтоб что-то сказать.

— Конечно, — отвечает Раиса. — Но ее еще не нарисовали. Она в лифте лежит.

Я вижу, как темнеет ее лицо. И тускнеют глаза. Одновременно я вижу «скорую», которая выезжает из двора, и милицейский «рафик». Их же видит и Раиса.

— Я ее убила, — шепчет она. Она падает прямо на пол, и мне бросаются в глаза синяки на ее ногах.

Я не врач и, наверное, не имела на это права. Но я раздвигаю ноги подруги и обследую, как могу, ее влагище. В нем не было мужчины. Это ведь простой анализ. Запах спермы не спутаешь ни с чем. «Лучше бы был, — думаю я. — Тогда бы можно было свести концы с концами. А так... Зачем ей было лупить по голове эту калеку, если ничего не было?» Я подымаю подругу. Сажаю на стул. Лежащим гобеленом прикрываю ей ноги. Чиню задвижку и закрываю изнутри лавку.

### Я — Ольга

Я все еще в кризе. «Первый звонок», — с какой-то злой радостью говорит мне врач. Платный, между прочим. Та, что приковывляла для выдачи бюллетеня из поликлиники, прописала папазол и велела не волноваться. Давление она мне мерила манометром, у которого стрелка не двигалась. Вот и выбирай: правду за деньги или инвалид-манометр. За так. Дети испуганы.

Но дочь говорит четко: «Мама! Я улечу по расписанию. Так что не делай из меня сволочь, а соскреби себя со стены, как ты умеешь». Сынок — тот мягче: предлагает охладить жар души мороженым «Альгида», своим любимым. Звонил бывший муж, тоже вполне человек и знает любых специалистов. Та, что сказала мне про первый звонок, была как раз от него.

Я всем объясняю, что справлюсь сама. Мне охотно верят. Но я-то знаю — не справлюсь. Себе ведь не соврешь, а я чувствую, что внутри у меня сумятица, что куда-то не туда тычется текущая кровь, что нервы перепутались и замерли в клубке и разбирать их надо осторожно и нежно пальцами Горовица. А не мне. Приходит Марк. Он не Горовиц. У него сто лет больная жена, с которой он возится, и каким же надо быть мазохистом, чтоб завести еще и больную любовницу? Он сидит далеко от меня, он меня даже не поцеловал. Тронул мой шерстяной носок, который торчал из-под одеяла. Ноги моей в носке не было. Он того не заметил. Погладил вещь. Если быть полной идиоткой, то можно присобачить к этой его ласке слова шлагера: «Я готов целовать носок, тот, в котором тебя носило». Но нам не до них, а Марк просто сторонится еще одной болезни в своей жизни, болезни как судьбы, как неизбежности... Я его не осуждаю. Я его понимаю. И отпускаю с миром. Тем более, что мне на самом деле самой надо подняться, чтоб проводить дочь. Хочется думать жалобную мысль, что другая бы дочь не бросила мать в состоянии криза, но как ни перепутаны мои нервы, они не сделали из меня полную дуру. И я понимаю. В той скорости, которую набрала Катя, есть свое отчаяние. Я стараюсь понять его глубину. Может, она все еще любит этого сопляка, на которого мои бы глаза никогда не смотрели, и тем не менее он сделал ей ребенка. Тогда бежать ей надо еще вчера. А может, он ее любит и держит, и она мечется между безусловно хорошим и надежным Алешей и пространственно неопределенным мужчинкой. У нее тот самый выбор, на который ни один разумный игрок не поставит и копейки. В русских бабах это существует изначально: без выбора. Какие-то инфернальные мичуринки — мы всегда находим тех, кто похуже, и прививаем к ним себя для исправления породы. Природы? Столько хороших холостяков без дела, а вся мужская мелочевка бракуется как оглашенная. И это не выбор мужчин — кто там их слушает... Это выбор женщин. Вот и торопится моя дочь от такой судьбы, что как крест, чтоб не повторить ни свою, ни других матерей, взявших на поводок недотыкомок.

Но хочу быть справедливой. Моя подруга Раиса из другого ряда. Хороший муж ее благоверный. И красивый, и умный, и рукастый. Держит вокруг себя такое количество родни и всем помогает, будто и не растеряли мы родственную привязанность, не стали Иванами, не помнящими родства. Нашей доброты хватает едва-едва на одного, четыре — уже оскаленная ненависть. Раиса приходит редко, а вот Саша — через день, а звонит по три раза на дню. Последние дни мне не нравится ее голос — он фальшиво бодр, но я никогда не поверю, что фальшиво ее участие во мне, ее беспокойство. Что-то там другое. Когда она приходит, я вижу это другое на ее лице. Оно у нее смято и как бы сдвинуто.

— Говори все, — требую я. — Иначе я навоображаю больше, чем есть.

Она долго смотрит на меня — я понимаю, она хочет мне дозировать отрицательную информацию.

— Что-то с Алешей? — спрашиваю я. И открываю ей шлюзы. Она спасает меня от мыслей о каких-то возможных неприятностях своего сына (а значит, и моей Катьки), рассказав мне всю эту нелепую историю с Раисой.

— Убила человека? — кричу я. — Бутылкой коньяка?

Оказывается, недоубила. Писательница в коме. Какая прелесть! Дурные сериалы имени Санта-Барбары подарили нам это понятие как обиход жизни. В них, сериалах, регулярно кто-то лежит в коме, а потом встает и идет как новенький, потому как койка надобится другому герою, но не

для криза там или поноса — глупости какие, — а опять же для очередной комы, блаженного (у них!) беспамятства, чтоб все остальные действующие лица прониклись временно вечным отсутствием вкомележащего и осознали свою подлую ничтожность.

Вот и мы сподобились. Недоубитая подругой писательница в коме, а нам надлежит осознавать...

Я смеюсь, объясняя Саше логику моих санта-барбарских размышлений.

— Нашла повод острить, — говорит Саша.

— Надо доубить, — отвечаю я. — Выдернуть трубочки.

Но лицо Саши искажает такая мука, что я извиняюсь и предлагаю уболтать писательницу, когда та оклемается, объяснив все чем-нибудь простым и не оскорбительным для Раисы, или дать ей денег в возмещение.

— Это было связано со взяткой военкому? — спрашиваю я, ибо не вижу в солнечном облике Раисы другого криминала.

— Все хуже, — отвечает Саша. — Писательница застала их с военкомом.

— В момент вручения?

— О Господи! — кричит Саша. — Военком полез к Раисе, все на ней разорвал, хозяйство вывалил, а тут — инженер души. И что думает инженер?

— Что Раиса — б..., — отвечаю я, до такой степени мне понятно устройство нашей женской психологии.

— Все правильно, — говорит Саша. — Но ведь она не знает Раису и даже слушать ее не захотела. Раиса испугалась огласки, позора, того, что узнает Миша, дети... Одним словом, она спятила от стыда. И лежит на стуле в лавке.

Я замираю.

...Я помню их любовь с ростка. Она вышла замуж раньше всех. Тростиночка сразу попала в тугой семейный сноп. Невообразимая и неприемлемая для меня лично ситуация. Я видела этих дядететок, улыбчиво-приставучих. Они могли бежать за Раисой любое расстояние, чтоб вручить забытые очки, часы, книгу, деньги, чтоб оторвать нитку, которая вынырнула из-под подола, была замечена, а на самый момент ухода — забыта. Я же, грешница, все представляла себе тот диванчик с громко падающей навзничь спинкой, на которой начиналось таинство их любви. Через стол для обеда стояло кресло-кровать, на котором спала одна из дядетет.

Так тогда жили все. Вповалку. Светлоглазые Раиса и Миша все время трогали друг друга руками, в этом было что-то от чувств слепых. Я очень их тогда жалела. Но надо отдать должное «снопу». Они поднапряглись и купили молодым однокомнатный кооператив. Это было что-то бракованное, уже не помню как: первый этаж, вся их комната представляла суженную ко дну часть квадратного стакана. Площадь потолка была больше площади пола, у белых стен был обморочно падающий вид. Но это все уродство было счастьем. Мы все вместе обряжали комнату как могли. Мы покупали какие-то несоединимые друг с другом картинки и вешали, как хотели сами. Почему-то я тогда запала на линогравюры, а Саша — на расписные доски. Господи, где это все сейчас? Я сто лет не была дома у Раисы. В большой квартире, возле Звездного, куда они потом опять съехались все вместе, я была только на новоселье. Было очень весело, прелестные были мальчишки. Им тогда было девять или десять. Я очень гордилась своим подарком — немецким чайным сервизом с охотничьими пейзажами и трофеями. Я требовала, чтоб из него немедленно пили чай, но сервиз был запрячен в сервант типа хельга и высверкивал из-за стекла чуждой нам жизнью баронов, бургеров и их породистых собак. Квартира была большая, стены стояли ровненько. Она образовалась от стечения чужих смертей и возникших возможностей приватизации.

— За мальчишками нужен глаз да глаз, — объясняла нам Раиса.

А то мы этого не знали! Матерями мы с Сашей стали раньше. Раиса несколько лет лечила свою рожальную систему, а я Катьку родила сразу. Саша своего — через пару лет. Поэтому наши дети были старше мальчишек Раисы. С начала Афганистана Раиса стала бояться армии. И мы все были в курсе, как она искала человека, который возьмет у нее сумму прописью за вольную для мальчиков. Значит, взяточнику денег показалось мало?

Саша долго выпрашивала, как я. Я поняла, что нужна.

Мы поехали в ларек.

— Я его забила гвоздями, — говорит Саша. — Прихвати клещи или плоскогубцы.

**Я — Саша**

Ольга медленно возит нас по Москве. Мы рассчитываем, что Рая потихоньку придет в себя. Но она ведет себя странно. Все время смотрит в окно. На лице ее недоумение.

— Что-то я ничего не узнаю, — говорит она. У нее и голос странный. Какой-то вчерашний...

— Ну и что ты не узнаешь? — спрашивает Ольга.

— Боже, это ты! — восклицает Раиса. — А я думала, что таксистка. Когда ты научилась водить машину?

Ольга резко тормозит и поворачивается к нам. У нее бледное лицо, и на нем графически нарисован ужас.

— Вот видишь, — говорит Раиса, — ты не очень это умеешь...

Ольга смотрит на меня.

— Отвези нас в какой-нибудь тихий скверик, — предлагаю я. — В Останкино, к примеру...

Но Ольга сворачивает к Чистым прудам.

Сквозь пыльные деревья Раиса высматривает ротонду «Современника».

— А разве «Колизей» работает? — спрашивает она.

— Интересно, — тихо говорит Ольга, — она в беспамятство уходит сознательно или на самом деле ее залило черными чернилами?

— Ты ее подозреваешь в лукавстве? Хитрости? Ты считаешь, она такая?

— Таких миллион, — резко говорит Ольга. — Самый примитивный способ побега: шандарахнуть человека и прикинуться шлангом.

— Молчи! — говорю я. — Бог ее спас от греха смерти.

— А если бы у Бога была другая забота? И вообще. Она ведь не знает, что помилована? Или знает?

— Я не говорила с ней на эту тему.

— А на какую говорила?

— Она говорит только про военкома.

— А инженерка, дура, как там оказалась?

— Когда-нибудь узнаем.

— Что? — Рая поворачивает к нам лицо. Оно у нее узенькое, напоминает зверушку. И взгляд у нее диковатый, лесной.

— Ты все деньги отдала? — спрашивает Ольга.

— Какие деньги? — отвечает Раиса и тут же начинает смеяться: — А-а, ты про это! Но ведь мы решили не брать палас. Он шире комнаты — загиб у стены будет очень торчать.

Ольга тормозит так, что я ударяюсь подбородком о ее кресло. Я помню этот палас. Мы с таким трудом нашли тогда что-то подходящее по деньгам, которые были у молодоженов. На Петровско-Разумовской в магазине «Ковры» высмотрели стоящий рулон подходящего цвета. Зелень и ржа.

Раиса щебечет. Она уже не зверушка, а птица-зеленушка. Такая вся порывисто-всклобоченная, прямо как с кустов Коктебеля. Я тычу пальцем



в Ольгу. Наверное, хочу этим древним немым способом что-то сообщить. Ольга прижимает мои пальцы к спине — значит, поняла и отвечает. Мы едем домой к Раисе.

— Куда вы меня приволокли? — смеется она.

Нам навстречу выходят все: ее отец, мать, тетка, мальчишки. Они любят, когда мы приходим.

— Мама, — растерянно говорит Раиса. Потом смотрит на сыновей. — А кто эти мальчишки? — Голос ее тонок. Она уже не зеленушка, она девятиклассница, староста класса и выясняет, кто новенький. Потом в смятении поворачивается к нам: — Оказывается, мы переехали. Я забыла вам сказать.

Тонкая морщина пополам прорезала ее лоб и поползла вниз. У нее стало два лица — левое и правое.

Она отодвигает сыновей и идет в глубину квартиры.

### Я — Ольга

До того момента, как она прошла мимо мальчиков, я думала, что Раиса придурится. Когда попадаешь в затруднение, потеря разума понарошку — ход хороший. Что с дурака взять? Я сама по молодости лет этим пользовалась. Вот, мол, дура я — и все тут. Ничего не видела, ничего не слышала. Позволяла приводить себя в чувство, в сознанку и все такое. Трюк хорош для молодых лет, чтоб была возможность оправдаться гормональной дурью и девическими грезами.

Но за Раисой ничего подобного никогда не замечалось. Она всегда была правильной. А теперь глубокая черная морщина вычертила два ее лица. Интересно, сколько их у меня? Или у Сашки? Могла ли я поднять руку для убийства? Сто раз могла бы! Тысячу раз! Конечно, при условии, что не поймают. Это единственное, что могло бы меня остановить. Перебираю в памяти, кого могла бы убить. Мужа. Марка. Сашку. Ее сына. Дуру Катюку. Могла бы и Раису. Из отвращения к благостности ее жизни. Но какая, к черту, благостность? Теперь я знаю — никакая. Значит, можно допустить, что и все другие мои гневны также безосновательны и бессмысленны. Хотя пардон. Мысленный грех разве не в счет? Он ведь суть человека, его составляющая, его выбор? Наказывать за намерение — не значит ли лишит человека выбора? Человек обязан иметь свой мысленный грех, чтоб знать себя. Поэтому все мои убийства во мне и при мне. Хотя по жизни я и пальцем никого не тронула.

Саша объясняла что-то родителям Раисы. Я не хотела в этом участвовать. Я не хочу знать подробности криминала. Я шепчусь с мальчишками. Рассказываю им, что мама откосила их от армии. Я вижу, что им это, как они говорят, по барабану, это игры взрослых, их счеты-расчеты. Они спрашивают меня про Катюку, и я говорю то, что не сказала никому: у Катюки будет маленький. Лица у мальчишек вытягиваются шире от улыбки. Эдакая широченная, на два лица, одна улыбка. Какие зубы у парней! Никаким американцам делать рядом нечего. Кончиком языка трогаю половинку зуба, с которым собираюсь доживать век. С половинкой уже завязались странные отношения, как уже не с зубом. Вижу, что мальчишкам неинтересно то, кто отец Катюкиного маленького. Такова реакция этого поколения. Раз не было свадьбы — значит, это дело не семейное и тем более не общественное, а единоличное. И ребеночек будет Катин. И ничей больше. Им нравится такой расклад.

— Будем нянчить, — говорят одновременно мальчишки.

— Не будете, — отвечаю я.

На краю безумия, где они уже оказались и где им надлежит теперь жить, я рисую им здоровую и сильную реальность, в которой существуют рыцари веселого образа. Это они собирают по миру брюхатых Дульсиной,

дабы тем не грустилось в одиночестве и не скисало от печали их кормильное молочко. Я рассказываю и о себе, гадине, которая против всего этого. Я жажду наказания дочери своей Катерине за грех. Они думают, что у меня такие шутки. Но я настаиваю, я очень противна себе в этот момент. Мальчишки удивлены, они мне не верят, они начинают искать глазами мать, которая другая, чем я. Дети мои! Если б вы знали, до какой степени она другая!

— Что это за мальчишки? — кричит из кухни их мать. — Познакомьте меня с ними! — И она идет к ним с улыбкой идиотки и протягивает руки.

— Меня зовут Рая, — говорит она, — я учусь в Автодорожном, а вы?

Я заполняю собой все пространство между ними; почему я не Демис Руссос в пору своей необъятности? Почему я не человек-гора; в крайнем случае, почему я не просто гора, а жалкая горстка рассыпанных камней?

**Я — Саша**

Это называется ретроградная амнезия. Рая забыла последние двадцать лет. Сейчас она только что вышла замуж и собирается покупать палас, для чего перевешивает дверь в кухне, чтоб та стала открываться в прихожую. Она еще не была даже беременной... Она еще не кончила институт. По ее потерявшей время логике у нее случилось носовое кровотечение, я взяла ее за руку и отвела домой, а она — такая балда! — забыла, что родители поменяли квартиру. Рая всхлопывает руками, ее левое лицо смеется над этим, а правое плачет. Ей неловко перед посторонними мальчишками. Они такие славные... Видимо, соседи.

Ольга вызвала «скорую». Рая села в нее спокойно. Объясняет врачам, как комками шла из нее кровь.

Мы с Ольгой возвращаемся во двор, где все произошло. Тихо, старухи сидят на той лавке, где лежал пьяный. Бутылки нет. В подъезде пахнет кислым, в лифте следы крови.

— Там у вас в лифте кровь, — говорит Ольга старухам как бы между прочим.

— Человека убили, — радостно сообщает лавочка. — Писательница у нас тут жила. Еще не старая. Но не богатая ничуть, если грабить.

— Убили? — обморочно спрашиваю я.

— Ну не до конца, но вряд ли выживет... Вряд ли... Кровищи было... А сколько ее в человеке, чтоб жить? Мерка.

...Но Полина Нащокина была жива. На следующий день об этом написали газеты. В лифте собственного дома... Удар бутылкой... С поличным пойман местный алкаш Друзенко, только что освобожденный. Писательница чувствует себя удовлетворительно, насколько можно при таком стрессе. И номер больницы.

Ольга говорит, что пока вариант идеальный. Раиса вне досягаемости, а за это время — время ее болезни — Нащокиной надо все объяснить, как оно есть. При условии, что она видела, кто ее бил, а если не видела, то вообще все тип-топ... Алкаша Раисе послал Бог.

— Он же послал и тебя, — говорит она мне. — Ты оказалась на высоте. — И смотрит на меня странно. Во взгляде много чего: и удовлетворение моей подлостью по отношению к пьянчужке, и восхищение скоростью моих преступных действий, и удивление чем-то ей непонятным... Глаз ее карий переливается то темной, то светом, я не вижу ее зрачков, и мне не до того, чтоб разыскивать их.

— Я пойду к Нащокиной, — говорю я. — К правде лучше приблизиться сразу. Раиса завтра придет в себя и сама все скажет.

— Не придет, — спокойно отвечает Ольга.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что не помнить — ее единственный способ жить...

— Степень вины... — бормочу я.

— Степень дури! — кричит Ольга. — Какая вина? Какая? Надо было дать той бабе по башке еще в лавке. Чтоб не топырила ушки и глазки. Стукачка проклятая. Она ее двинула позже. Это уже плохо. Нет оправдания аффектом. Но главное — она ее не убила. У жертвы состояние даже не средней тяжести, а удовлетворительное... Соберем на моральный и физический ущерб деньги.

— Ты не про то... Рая в психушке не из-за этого...

И мы сели на этого конька и как полоумные проговорили несколько часов. Неговоримая тема выпросталась из-под одеяла, и мы упоенно разглядывали все ее потайные места без стыда и смущения.

Странно, но остановила этот разговор не я — Ольга.

— Все, — сказала она и стала подтягивать колготки. В паху они у нее треснули, и я увидела нежно-белый кусок Ольгиного тела, который страстно захотелось потрогать. Ощутить подругу тактильно, интимно. Может, тогда я пойму ее лучше? Как понимаю Раису после всего. Помню, как я вынюхивала маленького сына, как мне сладостно было вторгаться носом в тугой сфинктер попки, это была любовь, и познание, и нежность, и закрепление завоеванного собой пространства. Я, видимо, по природе нюхач. Мужа я тоже люблю носом. Люблю запах его пота, по нему определяю его нездоровье. А вот Ольгу я бы раздела и прошлась по ней пальцами, прокатала бы подушечками все ее родинки, погрелась бы в ложбинках. Может, я извращенка? Но я понимаю, что это не секс. Это желание понять, которое мы стали утрачивать при помощи обильных и пустопорожних слов. Заглядывая в дырку Ольгиных колготок, я, кажется, поняла другую свою подругу, рухнувшую в несчастье, о котором говорят: «Не доведи, Господи».

— Ты про что это молчишь? — Ольга затягивает на себе пояс. — Нам нельзя с тобой впадать ни в жалость, ни в милость, у нас собственных проблем по кромку. И я бы не возражала впасть в безумие на срок, когда кто-то там родится и тамошние пасторы скажут над ним первое слово. Наши ведь определенно не знают, что говорить. Наши от сатаны.

— Ох! — говорю я. — У нас ведь с тобой не горе впереди — радость.

— Вот это мне не заливай! — злится Ольга. — Радости как раз никакой. У нас с тобой большие неприятности с рождением ничейного ребенка, на грешную мамашку которого нашелся дурачок — мальчик, идеалист пархатый. И если ты мне скажешь, что плачешь горькими слезами за сына и не проклинаешь меня и Катюку, я тебе все равно не поверю. Нас проклинать правильно.

Я помню, как выглядит белый и беззащитный кусочек Ольгиной плоти. Я ведь его почти люблю.

— Я вас почти люблю, — говорю я. — Почти я вычеркну, если ты, зараза, замолкнешь.

Она смотрит на меня. И я вижу ее зрачки. Они овальны, графичны и бездонны. Она кидается ко мне, и мы ревом вслух громко и сопливо.

А потом я еду в больницу к м-м Нащокиной. Она лежит в выгородке за простышкой. Лицо под марлевой повязкой выглядит серым, маленьким. Писательница меня не знает. Я чувствую, как она меня боится. Я кладу на тумбочку самый большой из возможных апельсин и такое же огромное, как глобус, красное яблоко. Как ей представится? Никаких проблем не возникает. Ложь льется из меня потоком. Теплая, мокрая, липкая ложь. Я — оказывается! — была там и видела, как ее ударили. Я — оказывается! — попросила людей вызвать милицию и «скорую», а сама тащила ее из лифта. Мое «я», такое вертко-героическое, так и искрится, так и искрится. «Бомжа взяли, — сразу выпеваю я. — Он валялся на лавочке».

Меня не остановить. И я уже лопочу, что ценю и знаю ее хорошо как писателя. Спыхватываюсь уже на минном поле. Она смотрит на меня, она не верит ни одному моему слову. А я бы поверила? Серое ее лицо сморщивается еще пуще, и я боюсь, что она начнет плакать. Я успокаиваю ее какими-то детскими сороковороньими словами. Она замирает и не произносит ни единого звука. У коридорной медсестринской стойки я выясняю, говорит ли она вообще. Сестричка интересуется, кто я ей. Я вру, что из Союза писателей. Волонтер. Сестричка объясняет мне, что никто к Нащокиной не приходил ни разу, что она все время молчит и на вопросы не отвечает. Была у нее милиция, выясняла, кто и что. Нащокина громко произнесла два слова: «блядь» и «армия». И закрыла на милицию глаза.

— Ее надо разговорить, — объясняет мне сестра. — Но нужен близкий человек. Иначе не понять, соображает она или нет. По тем словам, которые она сказала милиции, ведь точно: не соображает!

— Я приду еще, — обещаю я. — Буду разговаривать.

Возвращаюсь в палату. Серенькое личико сердито. Я глажу повязку на голове.

— Все будет хорошо, все будет хорошо, — шепчу я.

— Торговка, — говорит она мне. — Торговка, а не бомж.

— Ш-ш-ш, — шепчу я. — Придет серенький волчок, схватит Полю за бочок.

Я ожидала чего угодно, но она оторвала мне рукав платья. Вцепилась «за бочок» и так рванула, что выскочил подплечник. Я ухожу. Апельсин попадает мне промеж лопаток. Яблоко бьет по затылку. Кружится голова. Я сажусь на стул возле окна.

Она меня узнала, она видела меня, как видела и Раису, а бомжа не видела, что и правильно. И теперь я запутала историю, лично явившись, и мне за все отвечать, поскольку Рая отвечать не может. Я уже познала степень своей лживости. Буду на этом стоять. Найти бы мне еще лживое объяснение, с какой стати я была в том самом месте. И как мне вплести в узор эти два слова — «блядь» и «армия», которые выкрикнула Нащокина? Господи, прости! Но лучше бы Раиса ее убила. На этой христианской мысли я покидаю больницу. Слишком много знаний о себе за такое малое время. Я абсолютная лгунья, которой не стоит ничего переступить через любую правду. Оказывается, мне хочется трогать руками подругу в интимных местах, а еще вчера я бы за одно предположение закрылась домиком ладоней. И я приемлю чужую смерть за спасение тех, кого люблю. Как мне жить со знанием такого о себе?

Я рассказала все мужу, все, кроме дырки в Ольгиных колготках. Не сумела подняться (или опуститься?) до такого уровня подробностей. Он меня стал утешать. А как же иначе?

— Мысли — птицы вольные. Они ничьи. Они сами по себе. И могут посетить в любую минуту. И притвориться твоими. Но ты же поняла, что они чужие? Иначе чего бы ты со мной разговаривала? В какой-то момент человек может довериться не своей мысли. Но до поступка он не дойдет никогда. В каждом из нас есть стражники, стоящие на выходе наших поступков. Это когда думающий человек готов стать действующим. Вот тут и возникают стражники. Они от Бога.

— Значит, у Бога их дефицит, — говорю я, — потому как никто из них не остановил Раису.

— Тем не менее женщина осталась жива, — отвечает мне муж. — Пострадала Раиса. И ты бы ничего не могла сделать. Вы не такие девочки. Мне ли вас не знать!

Он обнимает меня. Я вдыхаю его теплую родную плоть. Меня пронзает ужас одиночества Раисы, Нащокиной, Ольги. Мне даже стыдно за то многое, что у меня есть именно в эту минуту.

Я — Ольга

Сашка — набитая дура. Какого хера поперлась она в больницу? Сдохла бы литература без этого апельсина из Марокко? А теперь она засветила всех нас сразу. И мы пойдем по цепочке к милицейским полудуркам для дачи показаний. И я, и она, и несчастная Раиса, если Бог ей вернет разум. Но раз началась большая идиотия — значит, все надо делать по-большому. Прежде всего главное: сходить к военкому и выяснить, как теперь обстоят дела у мальчишек, пока он не в курсе подробностей. А я приду как лучшая подруга Раи. У нас к тому же есть общие с ним знакомые.

Он выводит меня в хилый палисадничек под окнами военкомата. Я говорю, что Раиса заболела, но ей бы помогла уверенность, что у детей все в порядке. Я жду от него гадких слов. Я просто падаю на лавочку, когда он мне говорит:

— Скажите ей, что я для нее сделаю все. Чем она заболела? Может, нужны врачи, лекарства?

— Ничего, ничего, — бормочу я, не веря ушам своим. Я ухажу спокойной, он не в курсе, и знать ему лишнего не надо. Неожиданно он меня догоняет и берет за руку. У него абсолютно не его лицо: на нем слишком много влажных глаз и мокрых ресниц.

— Скажите ей, — говорит он, — что я скотина. Я для нее на все готов. Нет ничего на земле, чего бы я не сделал для нее.

— Вы это уже сказали, — отвечаю я, наблюдая рождение и взбухание вод.

Увы! Смешно, но над этим нельзя посмеяться. Не отъюморить никак-ому Хазанову. Стоит перед тобой сама искренность и честность, бери ее хоть горстями, хоть лопатой. Саму эту редкость нашей жизни.

— Скажите ей, прошу вас.

— Скажу, — отвечаю я.

Но смех все-таки настиг меня на улице. Мой собственный подловатый смех. Он тихо себя вел где-то в печенках, а по ходу моего движения все-таки поднялся к самому горлу.

— Деньги собирали, дуры, — клокотал он где-то в районе хронического ларингита. — А человеку надо было всего ничего — полюбить за так.

Я смеюсь громко. Более бездарной ситуации свет не видывал.

Бомжа выпустили. Он инвалид, без кистей рук, и ударить бутылкой не мог. Ногой, головой — пожалуйста, но не бутылкой. Милиция склонялась к тому, что хромяя Нащокина споткнулась на порожке кабины и ударилась головой об угол фанерного ящика, который кто-то ленивый выставил в лифт, как на помойку. Я видела этот ящик. Он стоял очень далеко. Но я могу забыть эту мелочь навсегда. Потому что все остальное получается вполне складно. Порожки же у лифта на самом деле есть. И есть тяжелая ортопедическая обувь.

Но остается недобитая Нащокина. Она оклемается и скажет правду — и будет права. Сколько может стоять ее молчание, чтоб прошла простоватая, но убедительная версия милиции с порогом и ящиком? Я понимаю, что узнавать это предстоит мне. Сашке-дуре нельзя появляться ни в больнице, нигде. Значит, я. И я навожу справки о писательнице. Делаю все до-тошно. Читаю Нащокину.

О, скудоумие и худосочие человеческой жизни! Нащокина проиграла всю гамму социалистического возвышения, не отклоняясь ни на единую ноту в сторону. Деревенская школа и серебряная медаль. Геофак пединститута. Корреспондент «Комсомольской правды». Пять книг типа «брошюра» под славной рубрикой «Советский характер». Приглашение на работу в ЦК ВЛКСМ — апофеоз этого периода. Комната в гостинице «Юность» с видом на кладбище, куда захаживал к ней земляк из Воронежа, тамошний комсомольский вожак, по простой мужской нужде. Она —

так запомнились истории ее жизни — тогда верила в любовь. Она не была полное чмо, после воспевания советского комсомольского характера она исхитрилась кое-где проговаривать правду. Про одну передовую малышку, которая долго носила триппер, не зная, что это такое. Другая героиня после целины страдала недержанием мочи, которое настигало ее в местах блистательных — типа Кремлевского Дворца или только-только открытого Дворца пионеров, где ей приспичило присесть прямо перед зеркальной стеной. Девчонку эту где-то на перегоне Новосибирск — Омск трахнули сразу три секретаря обкома большого промышленного края и своротили ей набок нежный мочеточник. Правда, в сочинениях Нащокиной это были не секретари, а уголовники, но я ведь тоже что-то знала про ту жизнь, какую-никакую правду. Кто бы посадил в СВ девочку из ЦК вместе с уголовниками? Подробности Нащокина вспоминала очень хорошо.

Нащокина так и не вышла замуж. В ее сочинениях полно больниц и операций, полно стыдных медицинских подробностей. Она быстро получила однокомнатную квартиру и какую-то ведомственную премию за сборник рвотных публикаций под самыми важными рубриками: «Навстречу тому и сему», «В мире всегда есть место тому и сему» и прочей хреню.

Теперь вот уже почти старуха. Лежит с пробитой головой, потому что черти ее принесли за «Чеддером». Что у нее тогда в Раисиной лавке шелкнуло в голове, я пока не знаю. Может, и ничего особенного, если она в своей жизни и не то видела. Она была Великая Лгунья и Великий Правдист, эта Нащокина. В своих книгах она получала оргазм от держания веревочек для поднятия флагов, был оргазм от сомкнутых под зеленым сукном коленей, потому что рядом был треугольный разворот коленей Евгения Тяжельникова. У него тонкие ноги и маленькие коленки. Чья-то мужская рука охватывает их без растопыривания пальцев. Невидимая жизнь подстола. Там остро пахнет вокзальным сортиром. Как это могло проскочить в книге? Как? Видимо, Нащокину не читала цензура. Нащокина была своя в доску и не могла выдать ничего такого... Но женщина выдавала, выдавала... Личного? Примеченного? Своего? Чужого?

Теперь мне надо продумать стратегию. Хорошо бы найти соглядатая нащокинской жизни, который бы знал про нее такое, супротив чего Райкин грех выглядел бы описанной детской пеленкой. Но где его найти? Соглядатая. Где?

### Я — Саша

Странно ведет себя Ольга. Как будто не у нее беременная дочь, которую надлежит отправлять в дорогу. Но это я перебираю Катины вещи, прикидывая, что брать, что оставить. Она не может взять багаж, так как поездка ее формально гостевая. Но в это же время едет семья, которая готова взять один ее ящик. Мы с Катей заполняем его книгами. Хорошо, что я рядом и помню, какие книги есть у Алеши. Но она мнет в руках каждую из отложенных книжек. Они для нее не просто тексты, они кусочки ее жизни, оставь их — и не сложится там мозаика по имени Катя. «Тогда бери! — говорю я ей. — А Алешкиного Гессе кому-нибудь подарите. К тому же он его не очень и любит». — «Да я тоже, — отвечает Катя. — Но он задел во мне какую-то струну, после которой я стала немножко другой...»

Кажется, я полюблю эту девочку.

Вместе с ней мы ходим к Раисе. С каждым днем ее левое лицо все больше отличается от правого. Она как бы это чувствует и движением мышц хочет исправить поруху. Красавица Рая вымарщивает лицом что-то свое, забывает. Кое-что она вспомнила. Признала мужа. Он сидит с ней все свободное от работы время.

Вглядывается в мальчишек. Я думаю, будь у нее один сын, она бы уже все поняла, но близняшки двоятся, и я просто вижу, как у нее начинают болеть глаза. Тогда их отец делает сигнал, и те незаметно уходят.

— Тут только что был мальчик, — говорит Рая. — Очень хороший мальчик. Куда он ушел?

— Он придет, — отвечает муж.

Врачи говорят: не исключено, что память вернется в одночасье. Но будет ли это хорошо? Дело в том, что я не рассказала родным всего. Равно как и врачам. Моя история такая. Рая шла к писательнице за каким-то делом и наткнулась на нее, лежащую в лифте. Счастливый случай — мое случайное появление. Я тогда догоняла Раю, потому что мы должны были встретиться и сходить в магазин за экологически чистыми подушками. Чушь! Я даже не знаю таких. Но я придумываю подробности как бы правды.

И вот представьте ее осознание в одночасье для всех нас! При придуманных подушках? Получается, что Рая с двумя разными половинками лица — вариант пока для всех лучший. Постепенно мы научим ее считать мальчиков до двух, постепенно она найдет ту мимику, которая смирит половинки ее лица. Я приведу ее в лавку, и она вспомнит, как выглядит «Смирновская» водка в отличие от джина и виски. И так шаг за шагом, вперед, вперед, хотя в то же время в сторону. От главной правды ее жизни.

Однажды на выходе из больницы меня перехватил какой-то военный. Он долго ничего не мог сказать, все оглядывался на беременную Катю. И я каким-то восемьдесят седьмым чувством уловила, что его почему-то успокаивает чужая беременность. Есть такой тип людей. Они душой припадают к беременному миру. Мол, не страшно, нечего бояться, если все продолжается...

— Как она? — тихо спросил он.

А! Вот ты кто! — поняла я. Лютый гнев охватил меня всю. И робкий взгляд военного в сторону Кати обернулся во мне жабой.

— Уже беременных переписываете? — почти закричала я. — Ваша армия когда-нибудь нажрется крови?

— Тетя Саша! — остановила меня Катя и сделала это вовремя: еще минута, и я бы его ударила, ибо в нем сейчас заключалось первозло мира. Собрание денег для спасения неузнаваемых сыновей, готовность матери идти в этом до конца. И вот он, конец. Она сидит там, у окошка с решеткой, красавица-чудовище. А он, жеребец, видите ли, интересуется: как, мол, и что... Катя рассыпала мое зло. Благодаря ей, хотя она просто была рядом, я увидела человека с измученным лицом, не вепря, не жеребца, не идолица поганого. Человек был несчастен. У счастливых нет органа, вырабатывающего муку сердца. Нет фермента муки. Способность виноватиться, а значит, сопереживать — уже поход в люди. И я еще не среди них. Я топчусь, стараясь выйти из слов и мыслей, которыми себя опутала.

— Как — как? — отвечаю я на вопрос, заданный мне сто лет назад. — Скверно.

— Но немножечко и лучше, — мягко объясняет Катя. — Нет, правда. Есть положительная динамика.

— Господи. Помогите ей! — бормочет служивый. Потом он лезет в карман и достает деньги. У него дрожат руки, когда он бросает их мне в полиэтиленовый пакет с портретом Киркорова, который глубокой глоткой обещает нам всем нечто по имени «шико дам». Хотелось бы знать: съедобное это или несъедобное?

— Ей они сейчас нужнее, — говорит человек. — Лекарства теперь дорогие. А мальчиков я уже прикрыл. Даже не сомневайтесь... Скажите ей об этом. И еще... что я...

Он плачет, этот военком, и я даю ему чистый носовой платок. Но он достает свой, блее белого, он тихонечко хрюкает в него, а когда он подымает глаза, я вижу, что они у него синее синего...

— Почему мы не сразу делаемся людьми? — спрашиваю я.

— Хотелось бы знать, — отвечает военком и обращается к Кате: — У вас уже скоро?

— Успеть бы доехать, — смеется Катя.

— Берегите себя, — бормочет военком. Ну прямо ангелы поют в районе психиатрички. И отнюдь не злыми голосами.

— Кто он? — спрашивает меня Катя.

— Кто — кто, дед Пихто, — отвечаю я.

— И мама молчит, как партизан, — говорит Катя, но я не лезу. Давно знаю: если чего-то не знаешь — значит, тому и не надо знать.

— Все не так, — говорю я. — Самое сладкое то, что скрывают и прячут. Хочется в это носом, носом... И рыть, рыть...

— Ваше поколение, — смеется Катя. — А все не так. Знание тут. — Катя подняла ладошку и как бы сдунула с нее перышко. — Знание всегда рядом, оно никогда с тобой не играет в прятки и тем более не побуждает делать лишнюю работу. Типа рыть. Надо слушать и слышать... Надо дышать в пандан ветру. Все уже было, и будет то же... Оглянись во вчера — увидишь завтра.

— Это чья философия — бедуинов или бабуинов? Или кто там бьет в колотушку?

— Не придуряйтесь душой, тетя Саша. Ваше поколение гибнет оттого, что вы назло всем слепы и глухи. Вас жалко до спазм. Я боюсь за близнецов. Они остаются с двумя безумными поколениями — отцов и дедов. Одни будут сажать их на коней, другие будут с них стягивать... Разорвете мальчишек. Тетя Рая совершила побег. Не дай Бог, конечно, но в своей темноте она определенно зрячее вас.

— Ты вот это все говоришь, а я думаю об Алеше. Вдруг он не такой, как ты? Он, хочется думать, не считает нас монстрами.

— А я разве считаю? Я вас люблю всех. Но вы тяжелобольные. Гораздо тяжелее тети Раи. Вы сумасшедшие с правом голоса и созидания.

— Как бы ты с нами поступила, с такими?

— Отдала бы вас животным на воспитание. Пусть бы вас облизали собаки, отогрели кошки. Птички попели бы вам песни. Муравьи научили работать, а трава — слушать. Люди так далеко ушли от зверей в своем блуде и зле, что мое предложение антигуманно для них. Есть фауна и флора. Божественное совершенство. И мы. Враги всего и всех. Нет, не надо нас к животным. Вымирайте, как считаете нужным, по вашим заветам, из которых ни один не направлен на сосуществование ни с подобными себе, ни с инакоживущими.

— Ты не боишься рожать с такими мыслями? Ты же носишь обычное дитя!

— Конечно, боюсь. Но где-то там живут иначе. Я хочу притулиться к иным и притулить свое дитя.

— А какое место возле тебя у Алеши?

— Я на него обопрусь. Честно... Я боюсь одиночества.

Мы расходимся в разные стороны, помахав рукой. Похожие в толпе на всех других. Но я давно знаю: это кажимость. Нет и не может быть похожести. Похожесть — горестный примитив, за который мы цепляемся, как за родство, от которого надо бечь, как бегу я сейчас в метро, оставив Катю у трамвая. В мире нет простого. А человек — самая сложная система, которой и овладеть надо сложным инструментом.

Примитивизм радостно обозвался «концом света», освобождая нас от ответственности за далеких себя. Мы же будем жить и после конца. Как жили. После чумы жили, после войны, после Чернобыля. Мы будем теми, кто от лени, бездарности, подлости ждет конца как спасения от решений и поступков, а он возьми и не приди. И мы остаемся теми же, но еще и обиженными, что приходится жить. Я тоже хочу притулиться для утешения. Любая гора сподится. Любая старше и многое видела. «Помоги мне, гора», — скажу я ей, но знаю, что только играю в эти мысленные игры, а на самом деле цепью прикована к той жизни, которая и дурна, и некраси-



ва, но во всем своем уродстве она мне дорога, и я люблю в ней все: мужа, сына, чужое дитя, которое будут клонить к иному, несчастье Раи, ее двуличность, люблю этого виноватого ни в чем военного, бросившего мне в пакет деньги, я даже Киркорова люблю за простоту и хитрованство, за крупность и мелкость... Ну что поделаться, если это все мое! И я не хочу ему конца.

Я по-хозяйски толкаюсь в метро, прижимая ценный пакет, который я отдам, конечно, Ольге. Кому же еще? Кто из нас самый практичный?

**Я — Ольга**

Эта идиотка привезла мне взяточные деньги. Как можно было их взять? Как? Теперь у него развязаны руки, и что бы он ни говорил, я не верю его русскому языку. Деньги надо вернуть со свидетелем. Тогда, и только тогда можно быть спокойными за мальчишек.

Но Саша категорически уперлась. Она сказала, что это тот случай, когда можно брать на веру.

— Ты же его видела! Видела!

Я его видела. Я даже с ней в чем-то согласна, но мне нужна десятикратная прочность гарантий. Я боюсь жестов, тем более мужских. Они всегда незаконченные и провисают по дороге.

А потом меня осеняет. Взятка как некая самость существует в пакете с рожей не Рафаэля. Взятка должна ею остаться, ибо лепилась, складывалась, множилась именно как грешная мзда. У нее нет другой, кроме криминальной, цели. Ее просто надо переложить в другие руки. Руки писательницы Нащокиной. И это еще важнее, чем вернуть военному, потому что только Нащокина может сообщить, что убить ее хотела Раиса. Сокрытие этой правды стоит денег. И может быть, еще и больших, чем лежат у меня на стуле.

Нащокину надо кормить с ложечки, но нет лишних рук. Я предлагаю свои. Ложечка стучит о желтые лопатистые зубы писательницы. Кажется, я что-то при этом приговариваю. В ее глазах насмешка, вполне осознанная, даже умная. Абсолютно без зла. По моей логике, быть бы ей жалкой и потерьной от беспомощности и зависимости от подносимой ко рту ложки. Но нет, ничего похожего. И я вступаю в арию, наклоняя ложку чуть боком, чтоб свалить синий ком овсянки на мокрый и дрожащий язык.

— Полина Сергеевна! — говорит мною альт Башмета. — Вы писатель — значит, понимаете: плохой мир лучше хорошей ссоры. Моя подруга тоже лежит в больнице, так же, как и вы, только ей много, много хуже. — Я кручу вынутую изо рта ложкой уже где-то возле виска, и остатки синей гадости плюхаются мне на шею. Не важно, не важно... Я делаю вид, что каша на моей шее — дело привычное. — Мы возьмем на себя все расходы по вашему выздоровлению. В сумке, — показываю я, — деньги. Когда все оклемаемся, соберемся за общим столом, и вы познакомитесь с большой, доброй, хотя, скажу честно, и не без нелепости семьей, где столько любви. У них даже мухи выгоняются в окно, потому как Божьи твари.

Каша холодеет и стынет на шее. Стынут и глаза Нащокиной. Они у нее стали сине-багровые от пролившейся в роговицу крови.

Приходит сестра, забирает тарелку, я иду в туалет, чтоб вымыть шею и окончательно стать душой с вымытой шеей.

Когда я возвращаюсь, меня отзывает сестра и говорит, что у писательницы была накануне милиция и та подала заявление на женщину, которая ее ударила.

— Как — подала? — тупо спрашиваю я.

— Сама напечатала на портативной машинке одним пальцем, но очень быстро.

— Вы случайно не читали это сочинение? — на всякий случай интересуюсь я.

— Не случайно, а намеренно, — говорит сестра. — Я подписала его как свидетель.

— И что там? — спрашиваю я.

— Ужас! — восхищенно говорит сестра. — Но не имею права рассказывать.

Я возвращаюсь в палату. Пакет с деньгами и стул лежат на полу — значит, исхитрилась жертва вечерняя двинуть стул ногой.

Беру его в руки и говорю:

— Хрен ты чего от нас получишь, старая сволочь. Каждая буква твоего доноса будет капать кровью исключительно на тебя.

Мне хочется ее убить. Боже, как я понимаю Раису, но тут я вижу, что она показывает мне язык, весь такой красный, в плоских горошинах овсяных хлопьев. Она смеется надо мной, сука. А у меня уже была замечательная возможность забить алюминиевую ложку с кашей ей в горло. Нащокина что-то и говорит. И через кашу, через паралич я все-таки ее понимаю.

— Пляди вы, — произносит она. — Все пляди.

Потом она с трудом сглатывает, хочет сказать что-то еще; но теряет сознание. Я кричу сестру, моля Бога о смерти русской советской писательницы Полины Нащокиной. Я прошу для нее не ада — райских кущ и чтоб те, кто озабочен пришельцами с земли, сделали ей хорошо и дали все, что она попросит.

Но она оклемалась через пять минут, а меня выставили.

Я ушла с денежным пакетом. Навязывать эти деньги недобитой тетке — не мой стиль. И я иду по улице, размахивая Киркоровым, никому в голову не придет, что лежит в нем конверт с тремя тысячами долларов. Иначе срезали бы на ходу. Но такими деньгами махают очень богатые, а я при всем своем прикиде такой не кажусь. Я — немолодая леди, там, за углом, стоит моя серенькая мышка, под стать мне — «жигуль». Мне надо ехать по Катькиным делам. Перевозить дурачий ящик с книгами. Вот заеду на какой-нибудь пустырь и скину ящик к едрене фене. Хотя из всех нас я самая ненормальная чтица. И книги покупались мной, не Катькой. Это с моих рук она ела и Гарсиа Маркеса, и Марселя Пруста, и Теннесси Уильямса, и Беккета, и Олби... А сейчас охает над ними, будто сама их родила. Не сама, дочь, не сама. Это я тебе их скормила, рассчитывала, что вырастешь — станем говорить на одном языке. Но сначала папа твой отплыл на утлой лодчонке с нешамаханской царицей, потом я хрустнула костями и пошла искать того, кто станет всем. И хоть бы один стоил больше, чем стоили мазилки для начинающих морщин. Выяснилось: единственная прочность на свете — это деньги. Я хорошо стала зарабатывать. Время было жирное. Икру черную ели как полоумные. С мясом выдирали засранные толчки и впячивали вместо них горшки нежнейшего колера. К новому яично-голубоватому искали в жены ванну и раковину. Евроремонт был еще завтрашним днем. Еще более жирным. Но я с ума не спятила. Стены не передвигала. Я обогатилась техникой, «жигулем», железной дверью. Я мыслила себе деревянный сруб из толстых бревен на солнечном пригорке. Я так быстро к этому шла, что ни хрена не заметила. Ни прыщеватого малого, который таскал Катьку на выставки, неведомые моему поколению. На одну они пригласили меня. На нас из будки залаял мужик. Он был не сумасшедший (хотя как он мог им не быть?), просто это был перформанс. Я три дня учила слово. Выучила. Сходила с детьми на мужика-собаку еще раз. Он сидел у будки. Член его висел печально и дрожал от холода, норовя втянуться вверх в густую рыжую шерсть новатора художника. Мне показалось, что все посетители только туда и смотрели. И моя нежная дочь тоже, и губы у нее при этом были мокрыми и оттопыренными. Я взяла ее за руку и отвела подальше от собачьей будки. «В следующий раз принесу ему кость», — сказала я. «Он любит немецкий шоколад», — это нас догнал знаток перформанса. Он норовил встать между

мной и Катькой, но я держала дочь крепко, а было уже поздно. Расквашенный рот моей дитятки уже объяснил миру, что член человекособаки ее не потрясает. Но в ту минуту я отогнала мысль как противную. Я была уверена: отобью дочь у мальчика, не стоящего доброго словца, я чувствовала тогда себя легко побеждающей и острой на язык, почему и лягнула, что, мол, песику надо сшить гульфик, а то, не ровен час, отморозит яйца. Катя выдернулась из моей руки и сказала: «Если ты, мама, не понимаешь концептуализм, то это еще не повод пошлить...» — «Не обижайся на маму, Катя. У нее нормальная реакция. — Прыщеватый старался быть человеколюбивым. — Люся, жена человекособаки, рассказывает, что от холода у него выросла эрекция. Ведь у волков и медведей нет гульфиков». — «Странно, — отвечаю я, — я была убеждена, что есть. У волков — бязевые. А у медведей — байковые. А шьют их слепоглухонемые лисицы». Малец хлопнул носом и сказал, что ценит мой юмор.

— Она смеется над тобой, смеется! — закричала Катя и побежала от нас.

— Догоняй, ширинка, — сказала я остолбенелому кавалеру.

— Если человек интеллигентен, то это не значит...

— Садиться на цепь и демонстрировать свой кривой отросток, — кричала я. — И вали отсюда!

— Скажите еще: «Козел!» — насмешливо посоветовал кавалер. — Это ваша лексика.

— И не подумаю. На козла смотреть после перформанса и тебя — одно удовольствие.

Господи! Когда это было? Полгода тому, а кажется, лет сто семьдесят. Где-то там, в Германии или еще где, у этого недопеска родится сын. И это будет мой внук. Меня откуда-то снизу охватывает счастье, что есть мальчик Алеша, есть на свете Сашка и есть куда бежать моей девочке-дурочке. Боже, спасибо тебе за это! Но тут же я вспоминаю Раису. И уже не счастье, а ужас охватывает меня, меня всю, потому что лежит сейчас в постельке писательница Нащокина, которая может быстро печатать одним пальцем, может ногой отшвыривать деньги и может погубить в одну секунду большую и хорошую семью. Как их спасти? Куда их спрятать от этой «пляди»?

**Я — Саша**

Мы заколотили ящик. Сбоку, на полу, лежала стопочка того, что не влезло. Не влезли поэты. Ни Фет. Ни Хлебников. Ни Клюев. Ни Мартынов. Из тоненьких и беленьких женщин втиснули Юнну Мориц. Ахмадулина кривовато улыбнулась нам с пола, подтверждая правильность нашего выбора. В последнюю минуту, согнув книжку вдвое, Катя положила какою-то Веру Павлову.

— Не знаю такой, — сказала я.

— Я могу вам оставить, — ответила Катя.

Невесомость — это фуфлю.

Все живое имеет вес.

Все любимое тяжело.

Всякой тяжести имя — крест.

— Она мудрая, и хитрая, и насмешливая. И никого не обижает.

— Я найду ее тут, — сказала я. — Хотя как странно, что ты мне прочитала именно это. Совпадаю.

— Нет, я вам оставлю. — Она вынула гнутую книжечку и стала смотреть на оставшуюся стопку. Я загадала, что она выберет. Загадала на Алешу. И на их совпадение. Но она ничего не взяла с пола, а пошла в комнату и принесла два забубенных рапана.

— Это Алеша мне привез, когда вы его отправляли в лагерь. Он еще не ходил в школу, и вы ему наврали два года. Когда мы поссорились, я их

выбросила, а потом ходила на помойку и все перебрала руками. Нашла. А если бы не нашла, спрыгнула бы с крыши. Мне тогда очень хотелось умереть об землю.

— Господи! — плачу я. — А мы, дураки родители, живем и ничего не знаем.

— Папа тогда уходил. И очень стеснялся нас. Рапаны были поводом, главным же был папа. Но я нашла рапанов, вымыла их, они стали такими хорошенькими. А папа сказал, что очень меня любит, даже больше своей женщины, и вообще жизнь, мол, у нас только начинается. И будет она — во жизнь! Он выставил большой палец, а ноготь у него был синий-синий, он его прищемил дверью. Поверить в синий ноготь сил не было. С тех пор я и не верю никому. Кроме Алеши.

— Но разве... — начала было я.

— Нет, — сказала она. — С Димоном было чистое любопытство, познание — и не больше. Куда, чем, зачем, как и что.

— Понравилось? — спросила я, удивляясь самой возможности этого вопроса. Как будто я всю жизнь умела сконфузить человека желанием получить такого рода подробности.

— Хорошо было только предвкушение и ожидание. Остальное — боль и липкость. В сущности, я, тетя Саша, целочка. Опыта — ноль.

Это приходилось воспринимать все сразу: семимесячную беременность де-юре, девственность — де-факто или де-юре? — и девочку с рапанами в руках, которые подарил ей шестилетний мальчик, а мальчику вынула из комода рапанов мама, которая сказала: «Нехорошо, Лешенька, возвращаться из путешествий с пустыми руками. На вот, возьми для Кати...»

Мне же эти рапаны достались от бабушки. Когда я ездила ее хоронить, я просто взяла их с трюмо, потому что они всю жизнь на нем стояли, а я сколько приезжала к бабушке, столько и торчала у трюмо. Сначала строила рожи в зеркале, до пупа вываливая язык, потом отслеживала набухание почеч под маечкой, было, что и раздвигала ноги, дабы увидеть, побеждаю ли я в интимных кудрях соседскую девчонку Аньку или мне придется воспользоваться растительностью из кукурузного початка. Бабушка мне сказала, что методом засовывания в трусы травы можно довести до белого каления какую-нибудь особенно мящую себя взрослой соплюху. Отвернешь свои штанишки, и той от зависти станет плохо. Полная победа над врагом. Бабушка много знавала ухищрений для обмана соперниц. В ящичке трюмо у нее лежала настоящая коса, которую она закручивала на затылке, когда не носила платочек, а выходила в свет, в бакалею или галантерею, а также на концерты художественной самодеятельности, где у нее был самый главный номер — выход через всю сцену чечеточкой с перебором, с одновременным выбросом газовых платочков на танцоров-мужчин, которые картинно ловили их, прижимали к пиджакам, вязали вокруг шеи, а некоторые даже страстно целовали.

Вот чьи рапаны увозила моя невесточка. Было в этом всем некое головокружение времени, смещение потоков, и в эту круговерть должен будет в свое время выпрыгнуть очередной мальчик (только я знала, что будет мальчик, от всех остальных Катя скрывала результат ультразвука).

— От вас почему-то не могу. Даже Алеше не скажу, и вы не говорите. Я назову его Адамом.

— Будешь смеяться, — сказала я. — Алеша мне признался, что хочет девочку, что назовет Евой.

Ах, рапаны! Ах, бабушка! Ах, брезгливая улыбающаяся поэтесса, лежащая на полу! Ну куда тебе в наш ящик? Мы ведь зачинаем человечество. У него будет — даст Бог — не твое выражение лица. Наслаждайся тварным миром здесь, и пусть будет тебе хорошо.

Где-то черти носят Ольгу. Нам пора грузить ящик. Девочка начинает нервничать, наполовину высунулась из окна. Я вижу набухшие вены на ее

ногах. Синие реки по белому полю. Красиво и графично. Сволочь болезнь умеет приукрашиваться. Я знала туберкулезников с идеальным цветом лица и особой выразительностью глаз. А освященные предсмертьем жалобные лики инфарктников! Откуда в них свет и щедрость, если сроду не было у здоровых? Боже, о чем я! О легком следе тромбофлебита у беременной девочки, а наворотила кучу страхов. Так я вожую. Я создаю среду для несостояния прогноза. То, чего боишься, не случается. Судьба любит разить неожиданно, врасплох. Намысленное горе не приходит.

Я увожу Катю от окна, я помню ее слова «умереть об землю».

На этом и Ольга явилась. Злая, гневная, пнула ногой ящик, пообещав выкинуть его по дороге.

— Интеллигентка сраная! Без книг она, видите ли, не может! Без матери — может. Без страны-отечества — очень даже, а вот без какого-нибудь долбаного Рильке ей не прожить.

— Рильке я оставила, — говорит Катя.

— И что я буду с ним делать? На хер он мне!

— Мама! Не изображай из себя чмо. Ты мне его покупала. Ты!

— Я много в жизни совершила глупостей, — отвечает Ольга. — Ладно, едем. — Она поворачивается ко мне: — Недобитая уже написала в милицию. Вот я ехала и думала: «Какое место лучше — сумасшедший дом или тюрьма?»

**Я — Ольга**

Газеты уже булькнули об избиении в собственном подъезде уходящей надежды нашей новой литературы Полины Нащокиной. Крест, святая икона! — именно так было написано. Я знаю, как это могло получиться. Кто-то первый из молодых написал просто: старую писательницу стукнули по голове. Тот, что постарше, велел сделать текст жалобнее, хотя старыми писателями дороги мостить уже давно начали. Этот другой был, видимо, дурак с претензиями. Он сочинил «уходящую надежду», хотя хотел сказать, видимо, «натуру». Был там и третий. Любитель перформансов, Пелевина и Сорокина. Всех других он имел в виду, всем бы им дал по голове. Он-то и вставил новую литературу. Все эти молодцы пера еще не видели заявление пальца Нащокиной. Это у них впереди.

Я иду в военкомат. И говорю майору все открытым текстом. В смысле: полетишь с работы, майор, если заявление прочитают.

Он блаженный. Он меня не слышит. Он спрашивает, как чувствует себя Раиса и что он лично может сделать для нее. Я повторяю еще раз, что не о ней речь, я пугаю его, как могу. Невероятно, но, оказывается, правда: русский солдат ничего не боится, когда думает о своем.

— Они ее вылечат? — спрашивает он. — Вылечат?

— А надо ли? — говорю я. — Чтоб сразу в тюрьму?

Он тяжело вздыхает, видимо, ему надо было заглотнуть побольше кислорода, чтобы пошел процесс осознания.

— Надо не дать делу хода, — твердо говорю я. — Изъять заявление.

— Толку-то? — печально отвечает майор. — Склочница напишет еще одно.

Нет, тупой была я. Он был абсолютно прав. Дело не в заявлении, а в быстро работающем пальце старой онанистки. Я так живо представила последнее, что чуть не сблегнула.

— Ее надо уговорить, — говорит майор.

— Деньги она отпнула ногой.

— Это вы зря с деньгами. Я сам к ней схожу.

Камень с плеч. Почему-то я была уверена, что именно мне предстоит расхлебывать эту историю. По идее, по совести, конечно, Саше. Она там была. И она соучаствовала. И может лжесвидетельствовать, что важнее всего. Но она занимается моей дочерью. Она ведет ее сегодня к ангиоло-

гу, ей не нравятся Катькины вены. Видела бы она мои, когда я носила Катьку. Электрические кабели, а не сосуды. Ну и где они, где? Одно воспоминание. Но я молчу. Ребенка ведут к врачу. Даже слегка панический поход лучше бездействия при возможном осложнении.

И вот есть человек, который говорит: «Я сам к ней схожу».

Я обнимаю его и даже целую куда-то в воротничок. В конце концов, все правильно. Это их дела. Но любопытство выше целесообразности. Я берусь его сопроводить и стоять на стреме, чтоб какая-нибудь тоже любопытная сестричка не явилась как бы из ничего.

Он предлагает мне ехать в его машине. Честно, я боюсь оставлять свою, но он что-то строго говорит солдатику, показывая на моего «жигуленка», и я целиком вверяюсь нашей непобедимой и ужасной.

Он вошел в нашокинский закуток, а я притулилась за ширмой, возле которой лежала молодайка с капельницей. Я попросила разрешения постоять рядом. Она заполошенно замотала головой, и я не сразу сообразила, что под ней утка. Я махнула рукой, мол, дело житейское, и пусть она мне посигналит, когда закончит, она ответила, что уже. И вот на вынесении горшка я пропустила начало разговора майора и писательницы.

Майор говорил тихо и любезно. Забыла сказать, что он пришел с цветами и сам их поставил в широкогорлый кувшин.

— Давайте не увеличивать количества беды, — говорил майор.

Я заглянула в щель ширмы. Оказывается, он держал ее за руку, и только средний палец Нашокиной оставался на воле и покрывал кулак майора, расплющенный от стучания подушечкой, с широкими фалангами, окольцованными крепкой мозолистой плотью. А ноготь как раз был нежен, овален и светел.

Лицо у Нашокиной было удивительно спокойным и даже счастливым, и я не могла сообразить, что бы это значило. Победу майора или полный его крах? Потом она что-то говорила, и майор наклонился низко-низко, а она вдавливала голову в подушку, потому что как бы не хотела, гребовала такой близости.

— Она все время кричит: «Бляди! Бляди!» — тихо сказала молодайка. — Я так поняла, что ее какая-то проститутка шандарахнула по голове.

Вот, оказывается, как можно понять эту историю.

— Нет, — сказала я. — Нет. Она получила по заслугам. Она стукачка.

— Да нету их уже, — засмеялась женщина. — Зачем стучать, если все и так открыто. Включишь телевизор, а там голого прокурора девки треплют. Кому стучать? Архангелу Гавриилу? Ленину в Мавзолей? Слышали, попы уральские мальчиков портят, и все про это знают! Ну и кому стукнуть? Разве что самому попу по яйцам. Третьего не дано. И второго тоже.

Майор уходил. Я сама своими глазами видела, как он поцеловал мосластый палец.

Мы вернулись с майором в военкомат. Я пересела в свою машину. И он мне тоже поцеловал руку. Я ехала и ловила себя на мысли, что жалею сейчас писательницу больше Раисы. А на Раису злюсь, потому что вдруг четко так вижу: не за что было бить по голове старуху. Мне надо поговорить об этом с Сашей. Историю надо разматывать мягко, по ниточке, как начал майор, о котором еще вчера я слова доброго не сказала бы. А у него были нужные слова.

Я подхватываю Сашу у школы, и мы едем с ней к Раисе. Я нервничаю, я не знаю, как мне сказать эти свои смутные мысли. Как мне начать обвинять Раю, которая ради сыновей... Вот тут я и начинаю путаться. Все понятно до взятки, и все не ясно потом.

— Майор заберет писательское заявление, — говорю я ей.

Саша кидается мне на грудь, и мы чуть не попадаем в аварию.

— Чтоб забрать заявление, ему придется, — говорит Саша, — что-то рассказать. Что это будет? Правда о себе или правда о Рае?

Оказывается, мы стоим в пробке. И, видимо, большой. Машины — дверца к дверце. Сбоку ввинчивается наглый «мерс» — если он меня заденет, я выйду и убью его. Я начинаю смеяться, и он таки слегка щечочет мой бампер.

— Сука! — кричу я ему. — Блядь такая!

Мне грозит кулаком огромный дядька, но не из «мерса», а из такой же банки, как у меня.

— Спокойно! — кричит он. — Спокойно!

Но именно после этого все начинают дудеть, кричать в окошки, включать громкую музыку.

— Глупо умереть в давке, — говорю я.

— Нашего внука назовут Адам. Он будет первый после нас, когда ненависть взорвет эту консервную Землю. Если мы выберемся, не выдавай меня, а если сгорим тут все, то знай: Адам.

Я ничего не понимаю, потому что описываюсь. Или описываюсь потому, что не понимаю. Только недавно я выносила судно за чужой женщиной. Почему-то мне приятно это вспомнить. Значит, Адам... Господи, спаси его, если мы тебе так опротивели.

**Я — Саша**

Мы вылезли из этой пробки. Потом замывали Ольгин детский грех. Приехали в больницу поздно. Дивная липовая аллея уже была в сумраке, и из нее тянуло свежестью и прохладой. Какой-то человек нес на руках ребенка. Подол девочкиного платья свисал к самой земле. Он дошел до конца аллеи и повернул обратно и шел прямо на нас.

— Смотри, — сказала Ольга.

Я узнала платье. Из штапеля в мелкую белую розочку по черному полю. Забытый крой — клеш-колокол. Это тетка Раи умела делать классно, как никто. Платье это шилось к прошлогоднему лету для сбора малины. Муж Раи придерживал подбородком ее волосы, а те, которые задувал ветер, он держал губами. Это было так красиво — не сказать. Липы, клеш и волосы сумасшедшей женщины в губах абсолютно ненормально счастливого мужчины. При чем тут могли быть мы?

**Я — Ольга**

Улетела Катя. На вокзал приехал ее отец, увидел дочь беременной. Очень хотел устроить допрос с пристрастием. Но его увела Саша, и вернулись они в обнимку, как родственники.

Рая стала потихоньку вспоминать то и се. Точкой отсчета был майор, потом мальчишки. Они хорошо поступили в вуз, деньги, что на взятку, ушли на репетиторов.

А тут он и явился. Как он меня нашел, понятия не имею. Но он пришел ко мне в редакцию и сказал моей тетехе секретарше, что у него «очень личное». Здоровый парень с жуликоватой улыбкой. Представился: «Микола Сирота».

— Не знаю такого, — пробормотала я, потому что ждала звонка от Алеши, психовала. У Катьки прошли все сроки.

Он положил мне на стол клеенчатую тетрадь с загнутыми мятыми углами.

Моя жизнь состоит в том, что мне каждый день приносят то тетради, то аккуратно сброшюрованные страницы — тексты, написанные на обороте других текстов.

— Читаю долго, — говорю я, — если вы считаете, что это должна сделать я. Но если вы сформулируете суть — соль материала, я могу отправить вас в отдел, где все будет гораздо быстрее.

— Не советую, — сказал он. — Это касается вас и ваших подруг, и вы должны быть очень заинтересованы прочесть это быстро. Пока Нащокина

в больнице. Я оставляю вам на день. Завтра заберу, и будем договариваться. Она ждет эту тетрадь в больнице. Я отнес ей уже ноутбук. Она напишет все как есть. Но вряд ли она захочет рассказать, какая она сама.

Так я прочла тетрадь. Позвала Сашу. Поздно ночью мы перечитали ее вместе.

— Он, видимо, хочет денег, — сказала Саша, — которых уже нет.

— Ну были бы... что с того? Это история ее горя и одиночества. Это разве можно выкупить? Или разменять на горе Раи? Главное, она забрала заявление. Ты не знаешь, на чем она основывала свое решение?

— Что в подъезде было темно. Она упала, и сразу появилась женщина, которую она посчитала толкнувшей ее.

— А разве там не было ничего про то, что она видела в подсобке?

— Не было. Ей нравится майор. Она не хочет его выдавать, потому что всегда на стороне мужчин. Ты поняла, как она нас ненавидела? Как желала нам беды?

— Этот сирота хочет, чтоб мы перекупили ее ненависть.

— И сколько это может стоить?

— Завтра узнаю.

...Он пришел как часы.

— Я знаю, что деньги ушли на репетиторов, но не все... Отдайте мне остаток — тысячу. И я потеряю эту тетрадь, вернее, оставлю вам.

— Это ничего не стоит, дружок, — сказала я. — Чужую ненависть не покупают. Это заразно. Так что отнеси своей подруге или кто она тебе там, и пусть стучит пальцем. Знамя ей в руки!

— Имейте в виду. В романе будет все. И даже больше.

— Вот его я куплю.

Странно, но он как бы и не удивился. Как это в классике? Не удивился, а засмеялся.

— Ладно, — сказал он. — Из меня бизнесмен фиговый, хотя нутром чую — товар хорош.

— Это вещь шитая на нее и ни на кого больше. Пусть надевает и снимает сама. Вы кто по профессии?

А потом случилось невероятное. Я взяла Сироту на работу. Хороший оказался работник. Одновременно и не брезгливый, и чистоплотный. Он покупал — теперь уже за свои — фрукты писательнице и носил ей их раз в неделю, по субботам.

— Как из пушки строчит, — сообщал он мне в понедельник.

...На годик Адама мы с Сашей летали к детям. Там узнали, что писательница Нащокина получила какую-то престижную премию. Молодец, бабушка! Вставила пистон молодым.

Адам — писанный красавец. С ним просто опасно выходить, все хотят его сфотографировать и хуже того — пощупать.

Только мы знаем, что он первый настоящий человек после человеческих консервов.

### Я — Саша

По приезде первым делом я купила роман Полины Нащокиной «Уткоместь». Он начинался так:

«Она убила меня вечером, возле лифта, пока я, вечная клуша, переминалась с тремя набитыми пакетами, чтоб освободить средний палец и нажать кнопку вызова.

— Вот и все, — сказала она мне, материализуясь из темноты пристенка почтовых ящиков.

Палец успел вызвать лифт, и я очень долго падала в него, оглушительно шелестя пакетами. Какая дура! Я думала о неприличии моего падения лицом вниз в загаженный пол. Я всегда думала не то, беспокоилась не о том, боялась незнамо чего.

Ее я не боялась никогда.



Беспольное, бессмысленное, безнадежное осознание правды, лежа лицом в плевок».

Мне стало плохо. Рая уже была почти похожа на себя. Две половинки лица притирались друг к другу, как бы вспоминая раннее сосуществование. И если не знать всего случившегося, то и необразишь, что этому лицу пришлось пережить. Главного она так и не знала — как пряталась в подъездной темноте с бутылкой «Багратиона».

Теперь есть «Уткось». Она валяется всюду и везде. И что толку, что майор забрал заявление? Я листаю книжку и вижу, что имена здесь другие. Спасибо тебе за это, тетя! На последних страницах я замираю.

«Она собирает деньги на взятку и говорит, что это трудно. Я не верю. Красивым трудно не бывает. Им стоит протянуть руку, раздвинуть ноги. Я же вижу, как на нее смотрят, когда она двигается по магазинчику. И как они на нее пялятся. Я часто сидела на стуле, опираясь на палку, сидела в центре, под лампой, но была ими всеми невидима. Это было само воплощение слов „с ней не надо света“. И тогда я придумала: раз она — свет, то я, естественно, мгла, мрак, тьма. У всех этих слов четыре буквы, но они легко раздвигались, мгла легко входила в могилу, мрак — в морок, тьма превращалась в темень тумана. Вот какой я была на стульчике крохотной лавки, тогда как она была Светом и Раем.

А однажды в лавку забежал мой подкидыш. Он как раз меня увидел, за что ему спасибо, но когда купил сигареты и Регина сказала: „Заходите еще“, он вылетел как из пушки и вернулся только через пять минут: я заметила время. Вернулся за мной, очень испуганно спросив, не поплохело ли мне, снял со стула и вывел. Я же полно прожила те его пять минут, на которые он меня забыл.

Я представила их вместе: ее легкую откинутую назад голову. Его ладони на ее изящной груди, выпорхнувшие соски, его грубые тяжелые чресла, которыми он не давил ее, а держал их на весу, давая простор ее движениям. Когда он вспомнил о ложке своего супа? Когда она боком выскользнула из-под него или он сам осторожно перекинул через нее ногу?

Я поняла, что не забуду никогда этих пяти минут, на которые он меня забыл навсегда.

— У вас такой заботливый сын, — сказала она мне на следующий день, провожая за порог.

— Племянник, — ответила я. И в ту же секунду кусок асфальта оторвал мне подошву, как бы вдругорядь. Холод пошел знакомым путем — к сердцу. И я поняла, что непобедимых в жизни не бывает, непобедимые могут умереть. Просто от укуса осы. Но где взять осу? Чтоб стало больно и страшно.

И чтоб померк вокруг нее свет, на который они слетаются.

Я стала следить. О! Какое замечательное было у меня время. Я просиживала у нее часами, узнавая подробности жизни ее семьи, семей подруг.

Я познакомилась с мальчиками-близнецами. Однажды они перевели меня через улицу к дому. Увидела я и военкома-взяточника. Нет, она была полная идиотка, если не понимала: никаких денег ей, в сущности, не требовалось. За одну ее улыбку козловатый майор мог предать свой долг со всеми военными тайнами. Странно, но именно его я не судила. Он мне нравился такой, готовый на все. Как я. Я даже придумала тогда мысль: мужчинам надо уходить к женщинам в плен, как в спасение. Хорошо бы косоваркам дружно лечь под натовцев, а нашим — под чечен. Соединение истеченных соков склеило бы мир и мир накрепко. Перепутанное потомство забыло бы напрочь корни вражды, ибо зло в них, живущих и в темноте, и в смраде. Где было бы тогда мое место в разноцветье других лиц? Может, нашелся бы некий с семенем, пробившим мою застуженную, забитую, не вылеченную женскую снасть. А может, пришел бы лекарь из евреев и сказал: „Мадам! Я вам сделаю такую ножку, что вы сможете поста-

вить ее себе на комод. Я прочищу ходы вашего чрева, это вообще на раз. И я вас сам трахну, чтоб вы поняли, как цветет жизнь. Фригидных женщин нет. Есть мужики-идиоты”.

В один из таких мечтательных дней я и пошла в лавку. Я подслушала, что деньги готовы и должен был прийти майор.

Они, видимо, хотели закрыться, но задвижка была некудышная, и я вошла тихо. Гобелен был опущен. Я не раз была за этой занавесочкой. Она меня угощала бутербродом с тунцом и портером. Там было тесно, и мы никогда не опускали гобелен. Я подняла палку и отодвинула ткань. Я замерла, потому что никогда не видела более красивых солнечных бедер. Кажется, я выдохнула из себя весь воздух, и они увидели меня. Я исчезла с той скоростью, с какой может исчезнуть колченогая женщина. На улице я вздохнула. Когда я уже переходила улицу, я увидела, что она идет за мной. Она меня не окликнула, она шла за мной тайком. В руке у нее была сумка.

Странно, что за мной идет она, а не красавец майор. У него сильные руки, которые в один обхват возьмут мое горло. Но что я пишу! Какую дурь! Он — мужчина, он смылся. Он сделал свое дело. А эта с божественным телом, спрятанная в длинное пальто, идет спасать свое имя. Я разопью с ней бутылку, если не ошибаюсь, что в сумке она, за все самые что ни на есть подробности того, что бывает у красивых и никогда не было у меня. Пусть она мне прозой расскажет Анненского. Я подарю ей за это подкидыша. Даром. Чем он хуже майора? Но есть вариант гаечного ключа, молотка, бутылки, той самой, что могла быть и не для распития. Тогда не будет романа, подкидыш. Тогда тебе меня хоронить. Сделай это по-людски. Поплачь над теткой с непропеченными оладьями. Тебе это зачтется. И хорошо выпей за упокой. И попроси Бога простить Еву. Уже пора».

Так она закруглила нашу историю, в которой, слава Богу, мы все еще живы. «Уткоместь»! Какое точное слово-урод. Но почему я плачу? Почему не выкидываю книжку в урну? Я разглядываю портрет автора на задней обложке. Фотограф ей не польстил, если не сказать больше. Она смотрит мне прямо в глаза, и я говорю ей, что выпью за ее роман, за нее, живую, и за ее талант.

Я обязательно выпью за то, чтоб ей попался тот самый еврей, о котором она мечтает. Пусть сделает ей ногу как на комод. И все остальное по желанию.

Господи! Научи нас. И правда, прости Еву! Мы еще только-только расщеперили глазки. И без тебя, Боже, нам не справиться. Все у нас туманится, все не в фокусе.

Я плачу над твоей книгой, Нащокина. Дай тебе Бог здоровья! Мои слезы падают на твои пронзительные маленькие глазницы и тихонько сползают по твоей щеке. Получается: мы плачем вместе — значит, квиты. Адам сказал мне по телефону: «Ich liebe dich, баба».

Я позвонила Ольге. Она хлюпала носом. Он ей сказал то же. Целых два liebe — это уже Дар.



---

---

ВИКТОР ЧУБАРОВ

\*

## ГРЕХОПАДЕНИЕ ЗВЕЗД

\* \*  
\*

Извлекая из мрака свет,  
я ослеп и опять прозрел.  
В этом времени нас как нет.  
Брат, вне времени наш удел.

Наливается колос зла.  
Распускается цвет добра.  
С чем пожаловала, пчела?  
Мед твой больно горчил вчера.

\* \*  
\*

Прихожу к искомому итогу:  
Прочен мир, в котором мы живем!  
Выхожу один я на дорогу.  
Возвращаюсь тоже не вдвоем.

\* \*  
\*

Заблокирован мозг,  
осаждаемый слева и справа.  
А единственный мост  
взорвала,  
отступая, держава.

Там, где свет кое-как  
пробивался и бил из-под камня,  
как последний дурак,  
я стою  
и не знаю — куда мне.

---

Чубаров Виктор Васильевич родился в 1951 году в Риге в семье военнослужащего. С 1974 года, после окончания Рижского института гражданской авиации, 17 лет проработал инженером смены в аэропорту Вильнюса. Автор трех поэтических книг. В 1993 году окончил Высшие Литературные курсы. Живет в Москве. В «Новом мире» печатается впервые.

\* \*  
\*

Грехопадение звезд.  
Мертвого марта привет.  
И крестовиной — внахлест  
чуть подмороженный свет,  
небом дарованный сверх  
странноприимного сна

в ночь с четверга на четверг,  
в день с понедельника на...  
Чуть подмороженный свет,  
перестилаемый вновь.  
Незаживающий бред.  
Остолбеневшая кровь.

\* \*  
\*

Ничего не получается  
в мире мнимых величин.  
Я — угрюм.  
И ты — печальница.  
Но об этом помолчим.  
Всюду мгла — как ни расписывай.

Но, светясь, снимает боль  
теплый крестик кипарисовый,  
крест, подаренный тобой.  
И прилюдно сердце кружится,  
разметав грудную клетку.  
Боже мой, даруй мне мужество  
долго любить и дотерпеть.

\* \*  
\*

Пепел в груди.  
В легких — светлое марево.  
Две головы у орла государева.  
Лет временных  
раскулачены повести.  
Рыщешь и алчешь  
чего позабористей.  
Точку поставь.  
Повезет — успокоишься.  
В банные дни все равно не отмоешься.  
Молодо-зелено.  
Велено: «Весело!»  
Дутое золото закуролесило.  
Расдухарилось.  
А мне-то что, мне-то что...  
Грех многоклеточен.  
Жизнь одноклеточна.

\* \*  
\*

Если долго я проживу,  
много разума наживу.

Столько разума наживу,  
что умру — и вновь оживу.

Буду жить себе поживать.  
Разум нажитый проживать.



---

---

БОРИС ЕКИМОВ



## ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

### МИШКА

**З**имним ранним утром зашел я навестить старинную хуторскую жительницу Чигариху. Сидели беседовали. Тут и объявился Мишка, а вернее, Михаил Васильевич, хуторской фельдшер, возраста немолоденького, давно ему за пятьдесят перевалило. Но мужик еще крепкий, бегучий. Жил он в соседнем хуторе Арчадим, навещаясь к своим пациентам дважды в неделю. Придет, обойдет стариков по домам. С тем и до свидания. Вот и ныне свершал он свой обычный маршрут от дома к дому.

Поздоровались. Теплой, довольно изношенной одежды лекарь снимать не стал, лишь шапку на крючок повесил. Разложив на столе нехитрую снасть, он измерил хозяйке давление, посетовал, что оно немного повышенное, сказал, какую таблетку проглотить.

— Сын приезжал с друзьями, охотились, — объяснила причину своего недуга хозяйка. — Два дня с ними колготилась. Вот и болит голова. Может, вы закусите, Михаил Васильевич? — спохватилась она. — Рюмочку выпьете, ныне — праздник. Гости оставили...

Фельдшер, поглядев на меня, решительно отказался: «Нет-нет», — и, сложив инструмент в заплечную сумку, подался из хаты.

— Не пьет... — со вздохом проводила его хозяйка.

В окошке промелькнула фигура лекаря: он спешил по тропинке к займищу, к Дону. Видно, низом решил пойти, берегом. Там дорога — длинней, зато под береговыми кручами от ветра затишка.

— Не пьет... — задумчиво повторила Чигариха. — И слава Богу. Такую головку сгубить, Господи... Бывало, мамка его радовалась да гордилась: доктором будет сынок... А к людям он — желанный... Старикам всегда помощь окажет.

Живет Мишка в хуторе Арчадим, что в семи верстах от Ендовского ниже по Дону. Сюда ходит два ли, три раза в неделю, получая за труды фельдшерскую ставку. Прежде добираться от хутора в хутор было нетрудно: всякий день возили учеников в станичную школу, механизаторов — на работу, в ремонтные мастерские, хлебовозка навещалась, другой транспорт. Теперь все это в прошлом. Никто никого никуда не возит. Вот Мишка и бегаёт то вёрхом — через курганы, то низом — по берегу. Летом да посуху велосипед на подмогу.

Наша первая встреча случилась два ли, три года назад, когда в январскую пургу понесла меня нелегкая в Ендовской хутор. Зима была снежная, ветреная, но в тот день с утра будто утишилось. Спокойно добрался я асфальтом до станицы, потом — проселком, порой пробиваясь через заносы до хутора Арчадим. Поднимался ветер. На бугор стал выбираться, а там, на юру, метет и пуржит. В двух шагах ничего не видать — белая муть. Дорога нечищенная, неезженная, ошупкой ползешь. Конечно, залез в канаву, забуксовал, стал тонуть в сыпучем сухом снегу. Из машины вышел. Снежная круговерть. Свистит и воеет степной буран. Обжигает лицо и просекает насквозь теплую одежду.

Понял я, что судьбу пытаться нечего. Слава Богу, что от хутора недалеко уехал. Он — вниз. Надо подобру-поздорову возвращаться.

Но чтобы вернуться, нужно еще выбраться из снежного плена. И тут послал мне Бог нечаянную подмогу.

Снизу, по дороге от хутора, из снежной круговерти вынырнула фигура человека, который без лишних слов все понял и помог, ловко орудуя лопатой и подсобляя машине, которая с его помощью вылезла на полотно дороги, развернувшись вниз, чтобы катить к Арчадиму.

— Поехали... — сказал я нечаянному своему помощнику.

— Нет. Мне — туда, — махнул он рукой в другую сторону. — Мне в Ендовку.

И ушел тут же, утонув в белой метельной мгле. Я его и не разглядел толком. Худошавое красное от ветра лицо под надвинутым башлыком куртки. И все.

Благополучно скатившись в низину, к жилью, я остановил машину возле домика хуторской начальной школы. Всегда я туда заглядываю. И нынче зашел. Порадовался на ребятшек, поговорил с учительницей, давней знакомой, рассказав о своей задаче и нечаянном избавителе, вызволившем меня.

— Это — Мишка, — с ходу угадала учительница. — В Ендовку пошел. Он там фельдшером.

И тут же коротко, сожалея, поведала повесть простую и грустную: своей, хуторской, светлая голова, медицинский институт закончил и даже еще какой-то, работал, дослужившись до главного врача больницы. А потом — семейные нелады, пьянство. Вернулся к матери на свой хутор, и хорошо, что место фельдшера в Ендовском было не занято. Который уж год ходит туда два ли, три раза в неделю. Платят копейки.

— В такую метель... — посетовал я.

— Весь месяц метет... Да ничего, — посмеялась учительница. — Мы привычные. В школу как раньше ходили... Через бугор и подались...

Может, и впрямь привычные. На обратном пути, в теплой машине, выбравшись на асфальт, я катил и катил через белесые волны метели; но становилось мне зябко, когда порою вспоминал о человеке, который теперь один в чистом поле. Буран к вечеру стал сильнее. В двух шагах белая мгла. Фары пришлось включить, сбавить ход. Доехал благополучно.

Тем же годом, но в конце лета приехал я в Ендовской хутор за шиповником. Товарищ мой, у которого обычно нахожу я приют, охотно составил компанию, тем более что шиповник нынче в ходу: меняют его на картошку, крупу да сахар, на одежду и обувь, которые привозят прямо на хутор расторопные люди.

День-другой не торопясь собирали мы шиповник в местах для души и глаза приятных: Семибояринка, Большой да Малый Демкин, придонские кручи, откуда видишь просторные воды реки, округу.

Потом хозяин мой, помыслив, решил привезти соломы.

— Сгодится. Сено сеном... — рассуждал он. — Но и соломку зимой погрызут в охотку. А чего не съедят, на подстилку пойдет. Надо съездить, пока не растянули. Сосед на тракторе подъедет, накидаем тележку. Мишку надо позвать, он поможет.

— Чего нам помогать, — возразил я. — Тележку и вдвоем накидаем.

— Ничего, лишние руки не помешают. У него два института за плечами. Пусть работает...

Когда утром мы поднялись, на скамейке возле крыльца уже сидел наш работник, тот самый Мишка — фельдшер ли, доктор, которого встретил я нынешней зимою, в пургу.

Скоро подъехал трактор с громыхающей тележкой. Покатил. А мы, на машине, следом.

Единственное поле, на каком еще нынче сеяли да убирали, лежало от хутора далеко, за курганом. Пока доехали, разглядел я ближе нашего помощника. Но что в нем: человек как человек, не молод, на лицо довольно приятен. Помалкивает.

Но когда начали солому грузить, понял я правоту моего хозяина: «Лишние руки не повредят...»

Приятель мой — хуторской рожак, а нынче который уж год летует и зимует на хуторе. Я, грешный, порою горжусь, что коса ли, вилы — снаряд для меня привычный. Но начали мы грузить солому на просторную тракторную тележку с высоченной огорожей, и все — налицо. Мы с товарищем подавали солому. Мишка раскладывал ее по тележке, утаптывал, чтобы больше вошло. В распоясанной рубахе, голова плотно косынкой повязана, Мишка все успевал да еще подгонял нас: «Шевелись, мужики...» Тракторист нам стал помогать. Но за Мишкой разве успеешь. «Шевелись, ребята...» Вздыхался за навильником навильник. Мишка успевал и принять, и разложить по телеге, и утрамбовать. Утопал в соломе по пояс, но вилы работали без останова и устали. Мы покряхтывали да пот утирали. Соломенная труха да пыль забивали дых и глаза. Пока прочихаешь да просморкаешь, передохнешь, опершись на вилы, а Мишка подгоняет: «Шевелись, мужики...» — и без усталости топчет, набивает телегу. Все ленивее мы работали. А потом вовсе забастовали: «Перекур...» В машине дожидались своей поры арбуз да дыня. Уселись мы возле телеги. Ветерок, желтая стерня, хлебный запах соломы, огромный запах земли до самого Дона, чистое небо, тишь. Арбуз оказался сочным и сладким, с коричневым мелким семенем. Спелая дыня с розовым душистым мясом. Мишка снял косынку и рубаху. Тело его было мускулистым: широкие плечи, узкая талия, могучая спина, упругая кожа. Не скажешь, что почти наш ровесник, под шестьдесят. И на лицо он гляделся гораздо моложе. А уж работал...

Отдохнули. А затем докладывали воз. Свершили его. И поехали.

Потом было долгое застолье, до которого я не большой охотник. И потому скоро ушел в займище, к Дону, пробыв там до темноты.

Поздно вечером, когда уже спать ложились, я вспомнил о Мишке.

— Какой он здоровый... С нами разве сравнить...

— Батрачит по людям, — объяснил мой приятель. — Сено возит, солому, чистит базы, навоз тягает... Кто чего скажет. Зимой дрова привезти, напилить... Коз чесать, репы выбирать... Лишь кликни... Копейку заплатят. Скотину за людей пасет... На все руки...

Сердобольная жена моего хозяина, услышав наш разговор, со вздохом сказала:

— Ныне вроде не напился. Я ему все подкладывала, чтобы ел дюжей...

Это было осенью, в сентябре. Нынче — зима, но какая-то квеляя: снегу — лишь земля забелилась, тепло. Скотина в поле пасется.

На хуторе погостил я несколько дней и, распрощавшись, двинулся к дому. На пути — еще одно малое селенье. Там — начальная школа, знакомые люди. Заглянул, проведал. До вечера было далеко. Не утерпел, к Дону свернул и, оставив на берегу машину, медленно пошел через замерзшую реку к лесистому займищу на той стороне.

С вечера подморозило. Ночью прошел небольшой снег. Дул ровный ветер. По гладкому зеленому льду скользила поземка. Бегучие низкие облака порою закрывали небо, и валил снег. Туча пронеслась, и снова слепило белое зимнее солнце. Вдали через Дон бежали чередой дымные серебряные столбы легкой метели.

Замерзшая река была безлюдной. Хуторские рыбаки сидели по домам. Чужие в такую даль не забирались. Зимнее безмолвие смыкалось над рекой и округой, простираясь на многие десятки верст. Лишь ветер, шуршание поземки по льду. Лишь низко летящие тучи. Оловянный зрак солнца.

Миновав реку, я поднялся на берег в займище, густо заросшее тополем, вербой, осиной, а чуть подалее дубком да вязом. И здесь, в безветрии, услышал, а потом увидел человека, который занимался дровами.

Большие деревянные сани стояли на льду, в заливе. Человек тянул из леса и укладывал дровяное жердь, сляги, годные для топки и дворовых дел. Это был Мишка-фельдшер, одетый уже по-рабочему: телогрейка, кирзовые сапоги.

— Бог в помощь, — приветствовал я. — Вozить не перевозить.

— Понемногу... — откликнулся он. — Нынче уголек дорогой, людям не по карману. Дровишками тоже можно прозимовать...

В займище, среди стволов и веток, было покойно. По Дону — поземка да метель. Над вершинами старых тополей да верб — верховой ветер. А здесь — словно в тихой горнице: желто светит береговой камыш, багровеют талы, уже выпуская серебро сережек, теплит взгляд зеленая кора тополей. И вдруг — бесшумный снегопад размывает и закрывает желтое, багровое, зеленое. Лишь — бель. А потом снег редет. И снова вокруг — верба да камыш.

Просторные сани у берега, на них — жердь, рядом — Мишка-фельдшер в старом ватнике, шапке-ушанке. Тащит дровиняки, укладывает, стягивает веревкой. Лицо от мороза ли, работы — румяное, молодое; посмеивается:

— Сейчас потянем. И-го-го! И поехали, — взглянул на солнце. — Еще две ходки можно сделать дотемна. Бывайте здоровы. Приезжайте к нам... — попрощался он, груженные сани сдвинул плечом и покатыл их по гладкому речному льду.

Ветер дул ровно, поперек Дона. Снежная крупа сыпанула, шурша по одежде. А потом повалил густой снег, обрезая округу: ни хутора на той стороне, ни человека с санями. Лишь — снег, тихий лёт его, бесшумное движение. Да молчаливое дерево, к которому я прислонился.

Снегопад стал редеть. И открылась замерзшая река, заснеженные холмы высокого берега, в распадке — горстка домиков, тоже прикрытых снегом. Дымов не видно. Печи уже протопили. Зимний покой. Тихий мир. Ни движенья, ни звука. И лишь по льду к тому берегу подбираются дровами груженные сани. Мишку не вижу. Но Бог ему в помощь.

## УГОЛОК ГАЙД-ПАРКА В КАЛАЧЕ-НА-ДОНУ

Начало этой истории — в прошлом. Весною 1987 года ездил я в Англию, туристом на две недели. Прокатился: пара дней — Оксфорд, столько же — Кембридж, остальное — Лондон. С тем и до свидания. Москва — Волгоград — Калач-на-Дону.

Вернулся. Особых расспросов нет. Да никто, кроме домашних да ближних соседей, и не знает, куда меня носило. Привыкли, что порой уезжаю и возвращаюсь.

Но в бане, в парной, в субботние дни, отсутствие мое всегда заметно. Тем более что завсегда таев, с которыми вместе паримся, Виктора Инькова или другого Виктора — Соловьева, я предупреждаю: «Убыл на такой-то срок. Обеспечьте порядок».

Так было и тогда: уехал, предупредив; вернулся. В субботу, как и положено, парная. Тем более с дороги.

— Ну и как там? — первый вопрос.

Про заграничную западную жизнь в ту пору рассказывать было очень не просто. И дело не в какой-то боязни. Просто жизнь тамошняя и поныне настолько отлична от нашей, что рассказать невозможно. Тем более



тогда и — в Калаче-на-Дону. Другой мир. И потому на расспросы отвечал я всегда невсерьез.

— Ну и как там? — спросили в бане.

— Плохо, — отвечаю. — Загнивают.

— Чего?

— Вот тебя, к примеру, послала жена в магазин, за сыром. Пришел в магазин — и чего?..

— Как — чего? Спрашиваю: сыр есть?

— А дальше?

— Ну, есть — значит, купил, нет — значит, развернулся.

— Вот видишь, как просто. А там, в магазине, сто пятьдесят сортов сыра. А бывает и больше. Ломай голову...

— Правда, что ль?

— Чего мне брехать.

— Да... Обнаглели...

— Это уж точно.

Посмеялись. И ладно. На том разговор и кончился. Но позднее черти меня за язык потянули, и вспомнил я о лондонском Гайд-парке, где страсти кипят: речи льются и прочее. Вспомнил и рассказал, как англичане там митингуют, ругают свое правительство, королевскую семью, церковь — словом, всех и все. А полицейские охраняют эту свободу слова. В моем присутствии кого-то из ораторов пытался один из слушателей урезонить, за рукав потянув, и тут же получил от полицейского выговор: «Не мешайте! Человек выражает свое мнение».

Рассказал я об этом. Мой рассказ мимо ушей, конечно, не пропустили. Был разговор. Не очень долгий, но со значением. Вернувшись из бани домой, я записал его. Есть у меня тетрадь для сюжетов. Что-то любопытное случится ли, придумается, не надеясь на память, запишу. Иногда потом получается рассказ. Но бывает, что и ничего не выходит. Остается лишь запись. Так вышло и тогда. Рассказ не написан. Осталась страничка под заголовком: «Баня и Гайд-парк». Видно, чего-то не хватило. И лишь теперь я вернулся к той давней записи. Тринадцать лет прошло. И еще один банный день в Калаче-на-Дону.

Год нынешний. Суббота. Вениками в парной помахали, сидим в раздевалке, отдыхаем. Конечно, с разговорами: где да что... Позади — неделя, да еще — субботный базар. Хватает новостей.

Негромкие разговоры понемногу перекрывает стал басок, серьезный такой, уверенный. И речи льет не шутейные, неволею слушать будешь.

— Вешать... — значительно произносит он, во всех углах бани слышать. — Вешать! — Мой сосед, после парной разомлевший и придремавший, вздрагивает и поднимает голову. — Всех вешать. Первого — этого борова. Попил нашей кровушки, алкашина. Все продал, все расторговал. Лес, нефть... Такие у нас богатства. Союз развалил... — подробно и обстоятельно объясняет банный оратор. Не кипятится, и никакой матерщины. Серьезный мужик. Знаем его. Не горлохват, не пьяница. Всю жизнь проработал на заводе. Но крепкий еще: телом и на лицо — полный, седовласый. Густая грива седых волос порой закрывает лоб, и он их отбрасывает спокойным движением большой руки. И продолжает речь: — Вешать. И никаких оправданий. И всю породу его поганую, ненажористую. От и до... И до наших начальников пора добираться. Все эти губернаторы, администраторы, мэры... Вешать. Я это прямо говорю, никого не боюсь. Никаких органов. Вешать — и весь разговор... Тогда будет порядок.

Баннные речи обычно длинны. Сиди да слушай. Отдыхай после парилки, готовься к очередному заходу, справляясь: «Как там парок?..»

Вот и я посидел, отдохнул и, нахлобучив шапку, двинулся к парной с дубовым веником наперевес. Провожали меня те же речи:

— Вешать. Первым — алкаша, президента нашего дорогого, а за ним остальных. Я это везде говорю открыто. Нехай слушают...

Когда я вернулся из парной, в раздевалке было тихо. Седой говорила то ли подустал, а может, ушел.

В тиши и покое мне вдруг пригрезилось давнее. Хотя какое давнее? Вот оно — на глазах. И баня — прежняя, и люди — все те же. Конечно, постарели. Но когда на глазах, это — незаметно.

Давно ли, кажется, в этой самой бане, вернувшись из Англии, рассказывал я про Гайд-парк, про тамошние порядки, где свобода речей полная, кого хочешь громи: правительство, королевскую семью, Господа Бога. Было это в 1987 году. Все помнится, так что — без вранья: что было, то было.

Меня тогда внимательно выслушали — про Гайд-парк, конечно, интересно. Послушали, повздыхали. Кто-то позавидовал:

— Вот бы у нас такое!

— Зачем? — спросили его.

— Как — зачем? Начальству — под шкуру... Нынче пошел на базар. А там дорога вся перекопана. Горсовет себе трубу тянет. Отопление. Надоело углем печку топить, они тянут трубу. Канав понарыли. И все — мимо людей. Лишь себе. Я еще подумал: людей бы тоже неплохо согреть, всем печки надоели. Власть... Чего хотят, то и воротят. А мы лишь под одеялкой корим их. А если б кто вслух сказал. Напрямки. Как в этом, в парке...

— В Гайд-парке, — подсказал я.

— Ну да. А у нас ведь негде и сказать. Посеред улицы? В дурдом забегут, скажут — с ума сошел. Да и на улице народу мало.

— Иди на базар, — посоветовали. — Там — Тришкина свадьба.

— На базаре милиция. Враз на пятнадцать суток определяют. Скажут: пьяный.

— Тогда на собрании. На производстве собрания каждый месяц. Вот и выскажись. Руку подыми, пригласят на трибуну, и валяй...

— Ну да... У нас где подымеешь, там и опустишь. Шкороборов как глянет своими глазыньками. А то ты его не знаешь...

— Уж тот глянет... — со вздохом согласились с ним. — Тот глянет, аж конь прынет. Без зарплаты останешься.

— Выходит, лишь в бане митингуй... — хохотнул кто-то. — Тут ни начальства, ни властей. Свобода.

— А вот этого не надо! — произнес чей-то тревожный голос. — Не хватало еще парной лишиться. Да-да... Можем наговорить на свою голову. Запросто. Плетем что ни попадя, а кто-нибудь — на карандаш и доложит.

— Вполне возможно... — согласились с ним.

— Не вполне, а точно... Еще и приплетут чего. Через неделю придем, а на дверях — замок и написано: «Капитальный ремонт». Они это — запросто, чтоб меньше рассуждали. Нынче — про горсовет, про трубы... А завтра — еще про чего... У кого-то язык чешется, а мы бани лишимся.

Раздевалка разом завздыхала, заохала. Бани лишаться никому не хотелось. Какая жизнь без парной?

— А у кого дюже свербит, — посоветовал заботник наш и мудрец, уходя в парилку, — про рыбалку гутарь, про огороды. Сосед у меня говорит, надо под огурцы конского навозу подсыпать пополам со свиным.

— Дурак твой сосед! Погорит все от свиного...

— А это смотря в какой пропорции...

— Погорит, говорю. Для огурцов самое полезное — свежий коровяк, и настоять его надо...

Про огурцы, про навоз у нас все знают. Как прежде, так и ныне.

## ПРОВОЖАЮ

В моей комнате, в книжных шкафах, украшая быт, лепится по краешкам полоч, за стеклянными створками, всякая всячина: безделушки, рисунки, памятные открытки... Что-то порою выбрасывается, что-то объявляется. Прижился там и простецкий черно-белый снимок, сделанный нашим газетным фотокором на одном из хуторов. На снимке — мазаная хатка в два оконца, зубцы дворовой огорожи, старая женщина. Голова ее укутана теплым платком несмотря на летнюю пору; большие тяжелые руки лежат на планках ограды.

Когда меня порой спрашивают об этом снимке, я отвечаю: «Акуля». — «Родня, что ли?» — «Нет, просто Акуля».

Хатенка. Сарайшко в глубине двора. Склоненная к плечу голова. Большие руки с шишкатыми пальцами отдыхают на планках ограды. Запавшие глаза еще и прижмурились. Не разглядеть, что в них.

Встречались мы с Акулею несколько раз. Беседовали. Теплой порою — на воле, в непогоду — в тесных стенах хатки-мазанки, где умещались кровать, деревянный сундук, скамья, две табуретки, печка, столик с нехитрой посудой: кастрюля, чугунок, пара мисок. Вот и весь нажиток ли, скарб.

Акуля погибла зимой, в конце января. Я жил тогда в городе, и хуторские вести до меня не доходили.

Лишь весной, в теплом апреле, я приехал на хутор. Как всегда, переехав Прощальный курган, остановился наверху, вышел из машины, чтобы оглядеться.

Все было на месте: просторная долина, еще не затравевшая, но в нежной желтовато-зеленой дымке, кучка домиков — внизу, в затишке, чуть далее — синеватый Дон.

Рядом с дорогой кормилась на старых травах овечья да козья отара. Пастух, скучающий в безлюдье, поспешил ко мне с расспросами да хуторскими новостями. Он и сообщил про Акулю, про смерть ее.

— Отвезли, — указал он на хуторское кладбище, которое было рядом, на бугре. — Зарыли...

— Понятно... — вздохнул я и пошел к машине.

Долгий Акулин век кончился. Память о ней рассеется скоро. Ветхая мазанка быстро обвалится без хозяйского догляда, а потом рухнет и оплывет бугром. Еще скорее сровняется с землей могилка на старом хуторском кладбище, осядет и затравеет. Вот и все.

Из-под ног моих выпорхнул жаворонок и пошел вверх, заливаясь переливчатой трелью. Он поднимался все выше; и вот уже нет ни серого комочка, ни трепета крыл, лишь весенняя птичья трель льется и льется с неба, завораживая. А мне чудится не птичья, а молодая девичья песнь:

Придет пра-а-аздник!  
Придет праздничек!

Несколько лет назад, в такую же весеннюю пору, привел меня на этот хутор нечаянный случай. Районные газетчики ехали в Задонье по своим обычным делам. Пристроился и я, чтобы прокатиться, проветриться.

Приехали на хутор. Скатились с горы и встали возле запертого на замок магазина. Но с ним по соседству в своем дворе копошилась старая женщина. На машинный гул да на наш зов она откликнулась и, к забору подойдя, объяснила, где и как искать хуторское начальство. Тогда еще колхоз был живой. Она стояла у заборчика, повязанная теплым платком, тяжелые большие руки отдыхали на планках ограды. Газетный фотокор, человек быстрый, навел аппарат и щелкнул. Получился снимок, который теперь у меня. Для газеты он не сгодился.

А в тот далекий уже день мои спутники, ревностно исполняя газетную службу, помчались по хутору, я же — казак вольный — остался. Мне некуда и незачем было спешить.

Хуторская тишина, весенняя теплынь, дух первой зелени, вскопанной земли и близкой воды, щебет ласточек, которые лепят гнездо под ветхой крышей сарая, воробьиный гвалт да залиvistые трели нарядных, сияющих вороненым пером скворцов.

Да еще — старой Акули нехитрая повесть о жизни.

Как много в наших краях старых людей, доживающих долгий век в одиночестве! Скольких я знал... Терпеливо слушал и переслушал столько рассказов. Они так похожи. Тетушка моя — Анна Алексеевна, соседка Прасковья Ивановна... Василий Андреевич, бабка Надюрка, Паранечка, дед Лащонов... На одной земле, под одним белым небом прожили жизнь. Провожая их. Нынче — просто Акулю, чья фотография в городской квартире моей, за стеклянную дверцей шкафа.

— Это кто?

— Акуля.

— Родня, что ли?

— Нет, просто Акуля.

Сижу на высоком кургане. День весенний, апрельский. Просторная долина, полого стекающая к Дону. Внизу лепится хутор: горстка домиков. Когда-то их было много больше, целых триста дворов. Теперь на пустырях, на выгонах до самой речки чернеют старые груши. Возле них — заплывшие, затравевшие канавы, знак жилья, знак жизни, когда-то кипевшей здесь.

— Народу... Как в Китае... — вспоминала старая Акуля. — На сиделки собирались. Я дишканила... С Васей...

Бывало, соседи спросят: «Нынче идете на гулянку?» — «Идем». — «Тогда будем ждать...»

И до позднего часа ждали, когда будут возвращаться молодые с гулянки.

Ой да дорогая моя девчоночка!  
Ой да раздушоночка!  
Кото... которую я люблю!  
Люблю крепко!  
Ой да дай срок, дай срок,  
Я тебя распроведаю.  
Придет пра-аздник... —

обещал бархатистый, еще ломкий мужской басок.

И в лад ему, вначале несмело и будто не веря, вздымался, а потом расцветал в ночи серебряный высокий «дишкан» молодой Акулины.

Придет праздник! —

счастливо голосила она, —

Придет прааздничек!

То не голоса людские, то летняя ночь благовестила, то молодость, то любовь ликовали:

Придет праздничек!!  
Распроведаешь!!

А потом — война, Великая Отечественная.

Пошли, пошли с Дона казачоночки,  
Назад, назад донцы поглядают.

Эту песню пели на Прощальном кургане возле хутора старые деды: хромой Евлампий, Семен Фетисыч, Евграф Абрамович Пристансков...

Уходили казаки с окрестных хуторов. До Прощального кургана проводжали их всем миром. И потом глядели с кургана вослед.

Пошли, пошли с Дона казачоночки!

А они пошли и пошли, все далее уходя. Пока еще на родной земле.

Назад, назад они поглядывают!

Они оглядывались и еще видели своих невест, жен, матерей, детей. А вослед им, словно трубный глас, прокричали старые деды страшную правду:

Гибнут, гибнут казаки молодые!

И облились сердца кровью. Плач и стон смешались на Прощальном кургане.

Гибнут, гибнут казаки!!

Все в этой песне оказалось для Акулины правдою. Погибли и Вася, и папа, родной братушка Андрей, родные дядья Матвей да Терентий, да братья двоюродные...

Началась другая, долгая жизнь. К нынешней ее не приложишь.

— Потом, в совхозе, как-то было странно, — вспоминала Акуля, — пять часов, конец работы, домой идут. А солнце еще высоко... Аж не верилось.

Но до совхозных порядков еще было далеко.

Работала Акуля всю жизнь при колхозной скотине. Зимой коров держали близко, от хутора в трех лишь верстах. И теперь возле речки еще остались следы коровника, базов да флигеля, в котором всю зиму жили доярки, навещая свою хуторскую домашность лишь раз в неделю, на час-другой.

От темна до темна — работа. Поднялись, позавтракали: кружка молока да желудевые пышки-джерекки, сухие, черные, их грызешь-грызешь, никак не проглотить. Двадцать коров у доярочки. Кормить, чистить, стелить. С гумен сено возить, это — рядом. А солома — в поле, в снегу. Туда еще пробейся на заморенных быках. Они встанут и не идут. «Цоб-цобе! Цоб, Лысый! Цоб!» А вода — в речке, в проруби, ее начерпай да привези. А с телятами сколь колготы! Детвора. Не успеешь оглянуться, время — к полудню. В обед постных шей нахлебаешься. И снова за работу. Теперь дотемна. На ужин — тыква. Ее запаривали в больших чугунах, нечищеную, нарезаая кусками с кожурой. Это была хитрость. Тыква дояркам не полагалась, ее для скотины заготовливали. Поэтому кожуру не срезали, чтобы иметь оправдание, если начальство нагрянет с проверкой. «Это для скотины. Видите, нечищенная... Для скотины...» И никакая комиссия не придерется.

Вспоминаю Акулин рассказ. А может, чей-то еще. Они ведь так похожи: Акуля, Катерина, вовсе старая Евлаша.

— Хлебушко обдутый едим, — это уже потом, через долгое время, умеря вечные жалобы детей своих, внуков. — Ломоть хлебушка можно солечкой посыпать и с водой... Или сахарком сверху... Хрум-хрум. В постное маслице помакать хлебушком, такая сладсть...

Дальним полем зовутся хуторские уголья, что лежат и в самом деле далеко — за двадцать пять километров, у Фомина-кургана. Там вольная вода, богатые травы. Туда угоняли скот на летнее время. Там работы и вовсе как на точилье. Доить коров, пасти, телят сторожить и отвозить молоко в станицу на сдачу. Да еще сено косить, сгребать, копнить, скирдовать. Вроде долгий день, летний. А приходится ночь прихватывать, особенно если луна.

— Девки-бабы! — приказывает бригадир. — Ныне заскирдовать Панское поле, до самой Студенки! Девки-бабы, зимой дремать будем! Председатель обещал премировать всех по два с половиной метра штанной материи. Так что старайтесь.

«Штанную материю» дояркам сулили уже который год. «Ныне будет, — обещал бригадир. — Готовьтесь».

Верили не верили, но мечтали: «Я юбку пошью...», «А я сарафан...». Бедность была после войны. На Акуле юбка — не схоронишься. Сшила ее из белой немецкой нижней рубахи, а покрасила красным порошком из ракеты. Такой добыла. Слава Богу. Форсила, не снимая эту юбку, зиму и лето. Красное издалека видать. Когда раз в неделю прибегала на хутор к семье, дочка издали ее по юбке угадывала: «Это — мама!»

С обувкой — вовсе беда. Зимой короткие валяные чуни-«обрезки», к ним вязаные поголенки пришивали, для тепла. Но какое тепло... От холода трескалась кожа на ногах, кровоточила. Летней порой — босиком. Весной да осенью чирики из сыромятной кожи, шитые и сто раз чиненные хуторским чеботарем. День-деньской ноги мокрые стынют. В обед чирики клали на печку, чтобы они не высохли, но согрелись. Хоть минуту, но в теплом. Про руки нечего говорить, им работать.

Газетный фотограф, человек хваткий, щелкнул навскид аппаратом, а получилась вся жизнь Акули. Вот она — на виду. На планках ограды руки лежат: корявые, узловатые.

— Грабушки мои, грабушки, — горевала порою старая. — Все повывернулись, закостенели, не владают. А мозжат — спасу нет. Реву по ночам... — И тут же об ином, в раздумье: — Господи, как работали... То ли строгость была, а может, совесть была...

Дед Афоня, баба Поля, пополам согнутая Агриппина Исаевна Бирюкова, могучий и в старости Харлан... Провожая ушедших и доживающих век.

— К детям, в город?.. Сядь со мной на рядок и послухай старого человека. Я тебе все обскажу. Тама, в городе, — глушно, один об другого бьются люди. Воды и той власти не попьешь, она горчей полына. Я не брешу, у меня крест на шее. — А порой прорвется иное, со вздохом: — Лучше бы я его трактористом зародила, жил бы да жил возля... а там... От нас отчурались. Свое дельце в руках, свой адат. А ты — на прилипушках, как в плену. — И — решительное: — Нет уж!.. Пока в силах... На своем базу... Коровку — нет мочи, а поросенка держу, курят. Огород, слава Богу. Все по-людски. Никто слова не скажет. Из своих рук...

Старая Кацуриха, однорукий дед Евсеев, Прокопьевна. Нынче — вот Акуля, чья фотография прижилась у меня в городской квартире, возле книг, за стеклянной дверцею. Просто Акуля.

## ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА

На другой день хуторского житья собрался я порыбачить. Не набегом, как по приезду, а всерьез, чтобы с утра до вечера, не спеша. Хозяин мой сопутствовать мне отказался, позвали его на подмогу — свинью завалить. Меня это вовсе не огорчило, даже напротив. Своя воля милее: куда хочу — туда и ворочу. Без знатоков и советчиков.

Собрался я. В рюкзак сложил удочки, наживу, прикормку. В руки — пешню. Не забыл раскладной стульчик. День долгий, а в ногах правды нет. Собрался и пошагал напрямую к речке, чтобы вначале попытаться окуней да плотву, а уж потом спуститься к Дону, для серьезного лова.

С вечера шел мокрый снег. В ночь подморозило и утром не отпусало. Солнца не было видно, но мир окрестный смотрелся приглядно, как и положено в день Крещения. Заснеженный хутор дремал, несмотря на позднее утро. Редкий петуший крик, а людей не видать. Хлебовозка нынче не обе-

щалась приехать, скотину на попас выгонять не надо; колхозной работы нет, потому что колхоза нет. Вот и зорюют до поры обеденной.

От хутора к речке путь недалекий, через просторный луг вилочей дорогой, обходящей какие-то низины да мочажины, теперь прикрытые снегом.

А вот и речка с милым названием Голубая. У нее и впрямь вода голубая, чистая. Невеликая речушка — всего лишь тридцать верст пробегает она в степном безлюдье, собирая родники да ключи. Местами она звенит по каменистому мелководью, местами дна не достать.

На просторном лугу понизывает легкий ветер. Возле речки — тишь. Высокие обрывистые холмы — ее левый берег: Кораблева гора, Меловский курган. Старые тополя да вербы по правому берегу, луговому. Где-то дятел стучит, добывая корм.

С берега, с обрыва увидел я рыбака: промышлял он блесной. И довольно удачно. Десяток лунок. И возле каждой — россыпь. Окунь. А точнее — окунишки.

Спустившись на лед, я осмотрел чужую добычу. Завидовать не стал. Мелочь. Что называется — детва. Будь со мною мой товарищ, то не теряя времени он бы уже лунки бурил и покрикивал на меня: «Давай-давай... Шевелись... Нам и такой сгодится... Кошкам... Курам...»

Но нынче я — хозяин себе. И потому поглядел, похмыкал, но «зарубаться» под носом удачливого рыбака не стал, а спустился вниз по речке на сотню-другую метров. Лед был не толстый и еще молодой: прозрачные зеленоватые глыбки летели из-под пешни. Очистил лунку от шуги. Заглянул в черный зрак: что там кроме тьмы? Измерил глубину. А ее и нет. Как говорится, «меляк». Но попробуем. День светлый, но пасмурный. Блесна желтенькая, золотистая играет в воде. Опустил ее и поддернул, подождал, опустил и поддернул. Возьмется — значит, слава Богу, не возьмется — тоже не беда: пойдем дальше.

На речке, на льду ее, совсем тихо. Прикрывает от ветра просторная Кораблева гора. А работа моя простая: опустил — поддернул. Опустил — поддернул. А глазами по сторонам гляди.

Дятел стучит в маковке высокого тополя. Я поднял голову, чтобы отыскать красноглазого красавца. А тем разом почувал удар на леске. Подсек и понял: взялось, и что-то хорошее, тяжеловато идет. Осторожно подвел к лунке. Первая добыча... В руке и в теле дрожь. Не сорвалась бы... Поднял. На снегу заплескал увесистый окунь-горбач в зеленом панцире чешуи, с черными полосками. Зубастый, сильный, молотит по белому снегу алым плавником хвоста. Полтора фунта, не меньше. Это вам не какой-то окунишка. Это — добыча.

Радость плескалась в душе. Вокруг словно посветлело. Скорее в лунку блесну. Опустилась. Поддернул. И снова удар! И снова — не мелочь идет, чую, как упирается, леска внатяг. Поднять бы...

Еще один окунь. Большой, даже страшный. Головища... Мощное туловище. Иглы спинного плавника грозно топорщатся, словно у змея-горыныча. На два фунта потянет. Если не более.

И снова скорее блесну — в воду. Удача одна не приходит. Опустил — поддернул, опустил — поддернул... Ничего мне теперь не надо: ни курганов, ни тополей, ни дятлов, никаких пейзажей. Добычу мне подавай! Опустил — поддернул, опустил... Вот он! И снова неплохой. Нам мелочишки не надо. Детей не губим. Работаем всерьез.

Опустил — поддернул... Опустил... Еще один! Скорей, скорее... Сердце колотится... Опустил... Чего не берешь? Проверим вторую лунку. Опустил... А он словно ждал подо льдом. Иди сюда, дурашка... Да это не дурашка, а целый дурак. Вот это окунь! Поленом, мощный. Лапоть. Килограмм точно... На такой мели... Давай, давай, ребята...

Великое дело — азарт. Ведь шел я не на добычу, а считай, на прогулку. Не спешил, поглядывал вокруг да посвистывал. Небо, холмы, округа,

теплый январский день, тишина. Такая благодать после городской суеты и гвалта. И все разом забыл: лишь леска, темный зрак проруби и ожиданье, мольба: «Ну давай берись». А потом обморно-счастливое: «взялся», и, затаив дыхание: не дай Бог сорвется, и вздох облегченья, когда окунь трепещет, взбивая снег. Слава Богу... И снова мольба: «Ну давай еще...»

Полтора десятка окуней выволок, накидал за каких-то полчаса. И лишь когда клева не стало, опамятовал, посчитал добычу и загордился: «Так-то вот... Не то что некоторые...»

А «некоторые» мою удачу издали углядели. Тот мужичок, возле которого я на лед спустился, прибыл ко мне со всей снастью.

— Вот это да! — удивился он. — Это окунь.

И тут же начал рубить лунки. Именно рубить. Потому что не пешней он орудовал и не буром, а обыкновенным топором. Я поглядел, подивился. Мужичок — молодой, в кучей бородаке, незнакомый. Сейчас много на хуторах всякого люда, пришлых да приبلудных. Одной водой их принесет, другой смочет.

А мой рыбачий азарт погас. Собрал я добычу и побрел потихонечку вниз по речке, временами останавливаясь и лениво пытая удачу. Две лунки пробью, опушу блесенку, подергаю. Не берет. Ну и ладно...

Зимний день. Солнца не видно. Но светит тусклое серебро снегов на холмах и в просторной долине. Ветер где-то там на вершинах холмов, а здесь на речке — тепло и тихо. После городской неумолчной жизни, после машинного и людского гула, в котором живешь день и ночь. Так славно.

Понемногу подбираюсь я к устью. Высокая Меловская гора, умаливаясь, полого перетекает в придонскую равнину. И здесь, от воды поодаль, чернеет первая усадьба давно уже не хутора, а горького пепелища. Малый Набатовский... Где люди твои? Где Пристансковы, Мушкетовы, Адининцевы, Батаковы, Стародымовы, Кибиревы, Алифановы... Рыбари, бахчевники, пахари, отарщики... Революция, сибирские высылки, последняя война. Скоренили вас начисто, разбросав кости и племя по великому миру.

Заснеженная земля от Кораблевой горы, от Меловой стекает к Дону и к малой речке, притоку ее, просторным подолом, словно предлагая: селись и живи. Пусто кругом.

Чернеет поодаль чеченское гнездо: старый флигель в окружении скотских сараев, базов. Даже издали глядится жильё неудобным, каким-то раздерганым вороньим гнездом. Чужие живут.

Остановился. Пробил две лунки. Подергал блесной. Молчит окунь, не отзывается. Опустил удочку с наживкой. Может, красноперка возьмется? Стульчик разложил, уселся, поглядывая на «сторожки» удочек. Темные оконца лунок завораживают, притягивают взгляд. Словно видишь, как там, в глуби, в зимней тьме, лениво стоят возле дна тяжелые, будто сонные красноперки. Шевельнут плавниками, что-то поищут, найдут в мягком иле речного дна. И снова стоят, смутно, белесо светясь в темной воде. Разбуди их попробуй...

От чеченского подворья пришли две большие черные собаки, каждая — в хорошего телка величиной. Видно, решили познакомиться с новым человеком. Уделил им по краюхе хлеба. Они приняли дары молча, аккуратно съели и прилегли рядом на заснеженном льду.

Когда я уходил, собаки проводили меня недолго. И все это молчком — ни лая, ни визга. Серьезные псы, сторожевые. Овец да коз пасут.

В километре от подворья чеченского — еще одно гнездо, вовсе зоренное, с изломанной городьбой, с дырявой крышей сараев. Там живет Сашка по прозвищу Марадона. Беженец из далеких краев — то ли из Киргизии, то ли из Таджикистана. А может, просто бродяга. К тому же не болон здоровый. Летом он занимается работать на бахчи. Зимой живет промыслом Божьим.



Вот он — на льду сидит, возле лунок, с головой укрывшись от ветра целлофановым куколом. Подхожу к нему, спрашиваю:

— Ну чего?

— Молчит... — глухо отвечает мне Сашка, не поднимая куколя. — Вчера просидел весь день и сегодня с утра. Ничего.

Шагаю дальше. Чего приставать... Тем более рыба не ловится. Это для меня баловство. А для него — харч. Не ловится — значит, и жрать нечего.

Оставив Сашку, решил я одним разом спуститься до устья. Речное мелководье позади. Здесь — глубь от самого берега, от подножия, от корневых тополей, что стоят на обрыве.

Летом тут можно прыгать в воду с разбега. Детвора, для пущей лихости, придумала даже «тарзанку» — нехитрую снасть, всего лишь длинный трос, одним концом укрепленный на толстой, над водой нависающей ветке тополя, а другой конец свободно качается, на нем петля, чтобы руками хвататься. Разбежался, за петлю уцепившись, и — в полет. Бросил петлю и рухнул посередине речки. Чем не Тарзан? Оттого и снасть зовется «тарзанкой».

Постояв возле берега, вспоминая теплое лето, отправился я далее, намереваясь без остановки дойти до речного развилка, где влево уходит протока, отделяя от берега коренного просторный остров Голубинский. Там, по уверениям товарища моего, всегда хорошо клюет.

Но нашлись люди не глупее, а главное, шустрее меня. Еще издали, не видя лиц, я уже понял, что это развеселые Рахманы, их племя. Переселенцы из России, Рахмановы прижились удачно, бурно плодятся и полоняют хутор, словно дичина в неухоженном саду. У одного лишь Федора Рахмана десять детей, половина уже сами плодятся, с юных лет. А еще — старый Рахман, а еще Рахмановы дочери, зятя. Словом — орда.

Они и на рыбалку прибыли целым табором. Двое ли, трое возле лунок орудовали, а мелкота шастала по заросшему береговому займищу, что-то промышляя. Уже костер дымил, над ним чернело закопченное ведро. Ох, кто-то на хуторе нынче недосчитается курочек, а может, и овечки.

Рахмановский табор миновал я стороной, но углядел, что возле лунок какая-то рыбешка лежала. Значит, и впрямь на этом месте клюет.

Но шумное соседство меня не устраивало, и я ушел с речки на тихую протоку. Справа тянулся заросший багровыми да сизыми талами песчаный просторный остров, слева — пустынный обрывистый берег. Вглуби его — старые донские груши-«дулины», которые и теперь, по осени, щедро усыпают землю сочными «черномясками», желтыми бергамотами. Скотина их любит, по ночам приходят лакомиться лисы, волки, дикие свиньи. Сейчас вековые деревья одиноко чернеют на белом снегу, на пустой земле, еще полвека назад знавшей иную долю.

Потихонечку брел и брел я старицей, оставляя первый человеческий след на просторном заснеженном полотне льда и берега. Даже заячьих троп не было видно, хотя обычно зайцы жируют на Голубинском острове, в зарослях краснотала. Но нынче, другой уже год, много волков в этом углу. Нынешней осенью двадцать овечек да коз волки у чеченца порезали. Местная гольтьба пировала, бараниной да козлятиной объедаясь. А год назад, здесь же, серые напрочь вырезали отару в сто голов. Стаю видели не раз, в ней полтора десятка волков. Рыщут. Оттого и заячьих следов нет. Передавили.

Тропу свежую волчью увидел я, сразу признав ее. Это не собачья. Тропа тянула наискось, через протоку, от берега к острову. То ли последних зайчишек пошли гонять, а может, далее, через Дон, к озеру, за дикими свиньями. Вольному воля.

Пусто вокруг: зимняя немая округа, серое небо, ветер. Страха, конечно, нет, но появляется какая-то смутная тревога, оглядываешься, будто чужей-то холодный взгляд. Из вербовых ли зарослей или еще откуда. Озираешься. И с каким-то облегчением видишь невдалеке торчащую из-за бугра маковку дома: шиферную крышу, печную трубу, телевизионную антенну.

Продолжаю путь, и помаленьку на берегу поднимается и встает над округой высокий просторный, в два этажа, да еще с «низами» кирпичный дом.

Прошлой осенью поздним вечером возвращался я с Дона к ночлегу дальней дорогой, которая кружит по лесистому займищу. Листья уже облетели, воздух был напоен их настоянной горечью. Над головой через голые ветки проглядывали звезды. Ночная тьма клубилась по земле, наползая из лесной чащобы.

И вдруг, выйдя на опушку, увидел я вдали, на взгорье, электрические огни. Светили окошки дома, фонари на подворье — целая россыпь. И все это — среди осенней тьмы и безлюдья. Тогда я долго стоял и глядел.

Теперь, зимою, я тоже остановился, глядел и глядел на этот дом. Глядел и вздыхал... Всякий раз, когда я вижу его, на сердце — невольная тревога. Дом новый, добротный. Хозяин все еще строит его. Глядеть бы да радоваться... Но когда вспомнишь, что рядом, что вокруг на многие десятки верст лежит пустая земля... На редких хуторах — старые люди, ветхие домики, лишь бы дожить. Старики умирают, а с ними уходят селения и хутора. Акимов, Картули, Евлампиевский, Тепленький... Глухое безлюдье все шире расправляет крыла, накрывая округу. Даже пеший сюда не всегда пробьется: речка лежит поперек пути.

Но вот поселились: хозяин еще не старый, жена, малый ребенок. А ведь жили в районном центре. Зачем сюда забрались?.. Знает лишь Господь.

Станичный доктор рассказывал, как осенью целый день пробивался он к этому дому, когда заболел здесь ребенок: сначала машиной, которая застряла, а потом пешком по грязи, потом через воду, чуть не потонул. Но вот живут... Дом достраивают. Единственный в этих краях новый дом. Поглядел я на него. Хозяев не видно. На льду — против дома — следы застывших лунок. Рыбачат. Здесь сподручнее: с порога.

А меня голубинская старица нынче хорошим клевом решила не баловать. Менял я места, берега, глубину, наживу, приваду. Печеный хлеб крошил в лунки, сыпал комбикорм и опускал мешочек с толченым подсолнечным жмыхом, от которого такой сладкий дух — как говорится, сам бы ел, да рыбу надо. Если и бралась, то какая-то мелочь: ласкирики в ладошку да страшномордые ерши-«бирючки». А вот красноперок лишь пяток удалось взять. И тоже неожиданно, на одном месте, прямо под берегом. Лишь лунку пробил — и сразу взяла взаглот, без поклевки. Одну за одной вынимал. Лишь опустишь, крючок не доходит до дна. Хвать!.. И тянешь. Хорошо идет красноперка, тяжело, упористо, чуешь рукой ее тяжесть.

Пять штук вынул. Увесистых, грамм по шестьсот, в золотистой чешуе, с малахитовой спинкой, пузатенькие, икряные, красные плавники жаром горят на снегу. Не какая-то прощельга, не худорба вроде чехони, синьги, а мясистая красноперочка, завидная рыба. Но пять штук — и отрезало.

Долбил, долбил лунки. Понятно, что на стаю напал, но куда она сдвинулась? Всю протоку изрешетил. Сбросил теплую куртку в задоре. Так хотелось хоть десяточек добыть. И она ведь здесь где-то, на попасе. Бралась хорошо. Значит, не стоит, кормится. Лишь искать надо.

Уходил на глубь и на берег почти вылезал. Но отказала — и все. Как отрезало.

Не сразу, но пришлось успокоиться. Собрал раскиданные по всей протоке снасти, оделся. Сел на стульчике, горячего чаю попил из термоса. Волнение ушло, успокоилось сердце. А то ведь колотилось. Азарт. Попил чайку, посмеялся над собой. И пошел полегонечку той же старицей, просторной белой дорогой, обнесенной по краям желтым сухим чаканом-камышом. Справа вздымался обрывистый донской берег, слева — алая гушина краснотала, за ним — могучие тополи да осокари. Выше их только небо, зимнее, мглистое. Порой не солнце, лишь оловянный зрак его пробивался через пелену облаков, заливая округу мягким серебряным светом.

Тишина. При ходьбе слышишь, как похрустывает снег под ногой. А когда сидишь возле лунки, зимнее безмолвие смыкается наглухо. В отвычку, это — странно. словно нет в мире шумных городов, дорог земных и небесных, где режут неумолчные моторы, нет людских голосов и прочего. Лишь застывшая вода, укрытая снегом, в зимней спячке деревья, немая земля, пустое небо. Тишина, сбереженная и словно накопленная за долгие дни и за долгие годы. Здесь, и возле, и там, вдали, за далекими гранями. Кажется, что поведешь рукой — и воздух хрустнет, словно молодой ледок.

К вечеру из тихой старицы, через остров, я вышел к Дону. Проглянуло солнце. Желтое, с красноватым ободом, оно повисло над задонскими холмами. По реке, по льду его, тянул ветер и знобил лицо.

Просторный замерзший Дон был пустынным. Лишь на той стороне его, по течению ниже, чернели две ли, три фигурки рыбаков — охотников до судака. И все. В редких застывших лунках лед желто отсвечивает. Скоро вечер. Пора прибиваться к дому.

Возле самого хутора, на льду, увидел я человека. Когда подошел, он уже заканчивал свои труды.

— Рыбалим? — спросил я.

— Поставил сетчонку, — ответил он, сматывая бечевочный урез. — Завтра поглядим, чего она нам покажет.

На деревянных санках стояли алюминиевые фляги, обычно в них молоко держат, они и называются доильными.

— Водички донской набрал. Бабка велела. Ныне ведь Крещение...

Он жил на самом краю хутора. Старый человек, небольшого росточка, сухонький, в солдатском зеленом ватнике, не по росту долгополом, с ремнем для тепла. А жена у него была крупнее: дородная, смуглая казачка.

— Ну, бывайте здоровы, — попрощался он и потянул груженные санки своей дорогой, через камыш и займище.

— Бывайте... — ответил я и вспомнил, как прошлой осенью, еще по теплу, шел вечером от речки к своему ночевью, к дому, а они с бабкой сидели рядком на скамеечке, в глубине двора, за сараем, откуда открывался вид на просторный выгон и луг, на речку, на далекую Кораблеву гору, за которую солнце зашло. Темнело. Но все еще виделось: просторный зеленый луг до самой горы, купы деревьев.

Вечер. Люди немолодые. За день наработались. Вон у них какой огородище, двор, базы. Нароботались, устали. А теперь отдыхают молча, рядком. И глядят. Всю долгую жизнь это видели: луг, над речкой — вербы, высокая гора, далекие холмы, небо. Всю жизнь видели. И не нагляделись.

А я здешней округи гость недавний, все мне дивно и ново. Потому и день пролетел незаметно с утра до вечера.



---

---

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ



## ПОДЗЕМНЫЕ МУЗЫКАНТЫ

### Оккервильское привидение

Человек-тыква, сиречь человек-буква,  
Не скажу как стар, до нас еще постарел.  
Он приходит, когда под землю идет расстрел,  
И от тамошней крови спелее возрастает клюква  
В заповедных болотцах у знающих все карел.

Он рассказывал сам: «Чухонским метеоритом  
Я свалился сюда (мною выстрелила праща).  
Век спустя нашли меня, вынули из плаща,  
Отнесли в участок, велели считать убитым.  
И тогда я воскрес, пророча и вереща».

Его знать не знают в домах из пастил бетонных.  
То он ставит сети на раков в речке весной  
(Он-то помнит, где зимовали они со мной),  
То он черной крысой фыркнет в дальних промзонах,  
То на стенах напишется охрою земляной.

А потом, в ноябре, обернется крохотным лихом,  
Под колеса шмыгнет, о борт ударится лбом,  
Разобьется, поднимется вверх эфирным столбом —  
И опять воскресает где-нибудь в месте тихом  
С тем же страхом в глазу — то сером, то голубом.

### Подземные музыканты

Есть под городом город,  
Где скитаются сонмы плосколицых людей кочевых,  
Что сошли с электрических горок,  
Чтобы плавать среди четырех заплетенных кривых.  
А еще там ночами  
Миллионы ненужных палат из стекла и серебра,  
И холодное пламя  
Их съедает с утра.

Желтоокие черви  
В жирном теле подземного спрута снуют.  
В час вечерний  
До зари их скуют.

Кто ж здесь ночью живет, чьи с рассветом забытые тени,  
 Рассыпаясь, звенят,  
 Когда в чреве червя начинается пенье  
 Опустившихся ангелов и нездоровых менад?

Уж не срок ли отбывшие духи,  
 Постаревшие призраки тех,  
 Что когда-то во двор староневский несли с голодухи  
 Коробок музыкальный для вещей утех?  
 Шли к ним толстые пары,  
 Их дыханьем кормили сверчков,  
 Но точился убийственный воздух о песню Тамары,  
 И Лебядкин боялся сквозь дыры очков.

По железному домику движутся трое,  
 И за ними музыка ползет, дребезжа, —  
 От нее ли порою  
 Пробуждаются боги на лезвье ножа,  
 В колесе сумасшедшего автомобиля,  
 В нашей собственной плоти, в пьяных волнах беззвучных высот,  
 Убивая нас или  
 Убирая туда, где никто не убьет?

Вот с гармошкой  
 Серокожая девочка в платье из дыма и мха.  
 То скулит обоженной кошкой,  
 То, как корюшка в Невке, тиха.  
 Только б жалобе литься,  
 А она — весела,  
 И летят к ней за то разноцветные мелкие листья  
 С расплетенного на сто ствола.

А второй — прыщеватый, губастый, небритый  
 Великан-Сатана.  
 На его балалайке разбитой  
 То и дело хихикнет и взвизгнет струна.  
 Низкий голос не в лад со струною  
 Так мычит, обличая немого врага,  
 Словно море из семени, пота и гноя  
 В ледовитые бьет берега.

На сосновой тележке качается третий,  
 Заостренною песней пробив себе путь.  
 Он таков, что почти его нету на свете,  
 Только было б чем в дудку подуть  
 И пропеть: «Я уродец,  
 Я родился без рук и без ног,  
 Двадцать лет я ночами в колодец  
 Все лечу, одинок.

А когда долечу я  
 До пахучей зеленой воды,  
 Эту пеструю жизнь превращу я  
 В золоченую кожу звезды.  
 Все спасется, я вам обещаю,  
 Но сейчас, среди длинного страшного дня,  
 Ради этого легкого рая  
 Вашим каменным хлебом накормите меня».

— Этот голос вскипает и вьется,  
Сквозь гудроновый череп всходя.  
Так взбирается в небо вода из колодца,  
Чтобы снова скатиться по иглам дождя —  
Чтобы стечь желобами, которыми прежде  
Кровь расплюснутых шинами кошек стекла,  
И воскреснуть в какой-то ненужной надежде  
В тайных комнатах из серебра и стекла,

Где таится под голосом голос,  
А под голосом голос еще,  
И по днищам его электрических борозд,  
Распадаясь, визгливое эхо течет.  
И когда оно своды обрушит  
И, слабея, достигнет последнего дна —  
Из прохладного ада оплывшие души  
Грубо вытолкнет вверх звуковая волна.

### Киев, 1945

На вокзалах гвалт. Размозженный Крещатик тих.  
Потерявший кровь, обессиленный от пожара,  
Недоевший галушек, город не ждет своих,  
Сыт и пьян солодким дымком, ползущим из Яра.

Так и будет здесь все, покуда я не приду —  
Только как сыщу тебя в переполненном зале  
Средь вернувшихся жить в пологом жарком аду  
Из сибирского рая, где души в скалы вмерзали?

Этот мир, где можно держать тебя на руках,  
Утешать и дарить дешевые куклы... Позже —  
Пустота, разрыв. Сладкий дым и беженский страх  
Повредили грядущее, прошлое уничтожив.

Но ведь мы не в обиде. Мы так благодарны за  
Свет и зелень, за то, что живы, за то, что живо,  
А в другие жизни недаром смотреть нельзя —  
Так там нижние улочки загибаются криво.

Кто прикажет тебе опять вернуться туда,  
К обожженным домам — потрогать мякоть речную?  
До конца сибирские, райские города  
Тебе снились, но я там не был, и я ревную.

А над этим городом зреет зарытых мечь,  
Тыловые крысы ведут учет повреждений.  
Тем, кто выжил, тесно, а прочим просторно. Есть  
В этом воздухе воздух еще для нескольких теней.

Ты сейчас в пути — я далек, и все далеки.  
Но когда через двести лет представится случай —  
Жди за Жовтневою, у в бетон забитой реки,  
Где дички гладкокожие ртутью звенят певучей.

Там за красной стеною ходят туда-сюда,  
Ударясь о свет фонарей, облаков робея,  
В огнедышащих шляпах древние поезда.  
Там калитка есть — оттуда выйду к тебе я.

Мы взойдем вверх по склону в город (он мой, не твой,  
И меня бояться его додревние силы),  
И потом по ступенькам, полузакрытым листвою, —  
Чтобы скалы сломались и сном заросли могилы.

### Песня о кольцах

Ползет, плывет сквозь ряд пустот некрашенная нить:  
Одним — стареть, другим — сгореть, тем — до рожденья сгнуть.  
Но все, что в русской сырости мигали светляками,  
И все, что в мерзлое стекло стучали кулаками,  
И все, что стали розами, уйдя в пустые рвы,  
Так славно нынче ожили, что больше чем мертвы:  
Их вновь пустила в оборот расчетливая прялка,  
Но это было так давно, что никого не жалко.

Не в склянке у монаха задышит пламень пестрый:  
Факир подует в дудочку, змея покажет острый  
Немного влажный язычок, начнет свиваться в круг.  
И времени для пляски не нужно ног и рук —  
Оно — ученая змея: кольцо, еще кольцо,  
И в этих кольцах за лицом скрывается лицо.  
Их рай — огонь алхимика, их ад — воронья свалка,  
Но столько их туда ушло, что никого не жалко.

Кукушкою закуковать или завуть совой,  
И всех по имени назвать, и всех забрать с собой —  
Что нужды: и тебя, как нить, веретено волочит,  
Душа другого имени и хочет, и не хочет,  
То слишком яркий свет, то мрак, и ты опять слепцом  
Идешь за свежую судьбой, за ксивой, за лицом.  
Но зря по бугоркам стучит, ища дороги, палка:  
Ты вновь помянут и забыт, и ничего не жалко.

Я отсеку змеиный хвост, я выйду из спирали  
И там узнаю: мертвые еще не потеряли  
Свои земные голоса, они поселены  
Не в пересыльном лагере с той стороны Луны,  
А в злато-синем воздухе, и тщетно ищут хода  
К истокам обмелевших рек из молока и меда  
И в сплюснутый, заполненный зародышами ад.  
Идем со мной, но не забудь — дороги нет назад.

## Вторая баллада

В. Л.

Индевелым снежком, упавшим с луны,  
Ссыпались истраченные века  
С пестрой полы поющего старика  
Возле полога чайханы.  
Медноруких людей лудили внутри  
Замороженной пахлавы.  
Было страшно от тусклой зимней травы  
И от быстрой зимней зари.

Двухметровый с серым царским лицом  
Наседал, торопился, лез:  
«Через десять минут отбывает рейс,  
Пропусти — я в праве своем.  
Уж какую хочешь поставь печать,  
Без меня не взлетит твой гребаный „ТУ“:  
Я *оттуда*, и гроб уже на борту —  
Не тебе, а мне отвечать».

Я запомнил, я понял — уже тогда,  
Сквозь подгнивший коричный дым,  
Сквозь мороз, входящий гостем ночным  
В разогретые города,  
Регистанский забытый джиншей фарфор,  
Пыль, которой стала река,  
И мычание лунного старика,  
Не умолкшее до сих пор,

То, что сроду стоит во взгляде слепом,  
Что глухому немой говорит в тоске,  
То, что в тюркской пустыне шуршит в песке,  
А в еврейской горит столпом,  
Что выходит с дымом из русских труб,  
Бьется ласточкой о стекло,  
В первый раз проступило и обожгло —  
И от тока дернулся труп.

Столько мертвых отцов воскресло с тех пор,  
Столько умерло тех, кто жил,  
Столько порченной крови вышло из жил,  
Столько пара вышло из пор,  
Что пора б серолицему долететь,  
Отпустить товарища в чернозем,  
Но исхода не видно, а под крылом  
Тьмы и света мелкая сеть.

Видно, рано еще, коли жив старик  
И еще не истлел халат,  
И с луны созвездья еще летят,  
И мерцает мертвый арык.  
Знает Бог, что будет после грозы,  
Когда по земле проскользят шасси,  
Когда поплывет по шоссе такси  
И сомкнутся в небе пазы.



## Геральдика

## 1

Ручной кабан, болезненный, нежирный,  
 Жует в дощатом стойле корм эфирный,  
 Костлявый вол — в чем держится душа! —  
 В кормушке не находит ни шиша,  
 Забитый Буцефал, лишайный мерин,  
 Что завтра встретит утро, не уверен,  
 Топтыгин дня не прожил бы в лесу,  
 Цыганское кольцо в его носу,  
 Бурчит он на потеху детям малым  
 О том, как слыл свирепым генералом.  
 Давно уж он невинных не казнил  
 И напрочь вкус малины позабыл.  
 И надо всем, томясь ненужной славой,  
 Висит орел, двугорлый, но безглавый.

## 2

Но есть в веках геральдика иная.  
 Ее, еще доподлинно не зная,  
 Провидел мир в цепляющемся сне:  
 Кровавые красавицы в волне  
 И в камень заточенные титаны,  
 Качающие горы неустанно...  
 Не в том ли стихотворца ремесло,  
 Чтоб укротить пленительное зло  
 И сделать тварью, образом и знаком  
 Тех, что кочуют меж огнем и мраком?  
 Сумей назвать и приручить сумей  
 Стокрылых птиц и семиглавых змей  
 И поселить чудовищ земнородных  
 На гербы царств, нетленных и свободных.



---

---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН



## УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

*Очерки изгнания*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(1982 — 1987)

Глава 9

### ПО ТРЁМ ОСТРОВАМ

**А** затем азиатская поездка завязалась и сама собой. Летом 1981 мой первый японский переводчик Хироши Кимура написал, что будет в Штатах и хотел бы меня посетить. При встрече в Вермонте он поразил близким знакомством с сегодняшней советской жизнью, не раз там бывал, многих литераторов знал. От природы ли у него была такая вроде бы не-японская черта или сообщилась ему от касаний с русскими, но постоянно встречал я в нём — и все наши потом недели в Японии — открытую русскую сердечность. Я под секретом рассказал ему о намерении попутешествовать в Японии после Южной Кореи, просил его содействия: поездить вместе по острову Хонсю. Но ещё не было у меня чёткого плана общественных выступлений в Японии. Прошло с полгода — и вдруг Кимура шлёт мне (будто не сам затеял, а к нему обратились с поиском) приглашение от крупной японской газеты «Йомиури»: просят три моих выступления — по их телевидению «Нихон», по их же радио «Ниппон», статью в «Йомиури» о положении в СССР — и обязательно не сноситься с другими компаниями «медии». А за всё то — никаких хлопот об организации, автомобиль с шофёром для поездки по стране и немалый гонорар. Никогда прежде я подобного приглашения не получал — а все ведь именно так и ездят. Я охотно принял. И при таких заботах согласился на их просьбу переставить Корею на второе место, чтобы посвежу выступить в Японии. Позже они просили добавить в условие ещё дискуссии за круглым столом в «Йомиури». Я согласился. Затем — сменить выступление по радио на речь «к избранному кругу руководящих лиц Японии». Что же, как раз руководящих лиц и надо поворачивать. Считать выступление закрытым или открытым? (Разная степень откровенности и резкости выражений.) — Считать открытым, и будет 500 человек. — Отлично, согласен, лучше не придумать!

И я стал готовиться. Закончил Вторую часть «Зёрнышка», сед читать — к Японии и вообще к Азии. Для путешествия, для ориентировки — надо было много начитать, и всё по-английски, и делать выписки. Статью об СССР

---

© А. Солженицын.

Первая часть «Очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире», № 9, 11 за 1998 год, № 2 за 1999 год, Вторая часть — в № 9 за 2000 год.

японцы особенно требовали написать ещё до моего приезда в Японию, чтобы успеть перевести, не опоздать с публикацией. И «речь к руководящим кругам» была настолько ответственна, что я, конечно, должен был не только обдумать её заранее, но и дословно написать, лишь позже поправив на путевые впечатления. Полтора месяца ушло на всю эту подготовку, никогда я так не удалялся от своей основной работы.

Что могла быть за статья об СССР? «Как коммунизм калечит народы» (вообще всякие народы, но на примере СССР)? Я знал о том слишком много, но и слишком же много в разных местах об этом говорил, — не повторяться, хотя японцы, может, того ничего не читали. А наверно, надо дать очень сжатый, плотный и конкретный обзор сегодняшней жизни. Статья становилась не собственно моей, а компилятивной, как я никогда ничего не писал. Публицистической задачи я тут не решал, а — уплотнить всё огромное в малый объём, это я умею. (С годами наращиваются уже тысячи страниц в моих книгах, а всё же я считаю, что я лаконичен: по объёму втиснутого.) У «Йомиури» — 9 миллионов читателей. Материал должен быть доступный массам, очень конкретный, применённый к японскому уму-практику, и передавать советскую невыносимость, главным образом хозяйственную и бытовую.

А что с речью для руководящих кругов? Даже скромное изучение Японии, в которое я погрузился, выявляло мне три узловых точки их новой истории: начало эпохи Мэйдзи — крушение 1945 года — и то, что случится или не случится с ними в ближайшие годы, а назрело. Такое построение не далось мне трудно. Но трудно было русскому решиться — давать советы Японии, смею ли?

Сверх всего схватился читать и Пильняка, и Гончарова «Фрегат „Палладу”», не пропадать же опыту, кто когда из русских писал о Японии и о тех краях. И о Тайване прочёл книгу, Корею уже только едва схватывал, и времени не хватало до отъезда, и устал же от таких непривычных занятий.

Но более всего для меня было важно — попутешествовать по Японии вполне частно, чтоб не было шумихи, чтоб не обступали корреспонденты. Из Штатов летел со мной Хироши. При выходе из самолёта нас встретили от компании «Ниппон» и полицейские в штатском; и, стороной от публики, провели через «иммиграцию», мимо таможни — и вот я уже сижу в «мерседесе», рядом — директор радио «Ниппон» Кагехиса Тояма. Он оказался примерно мой ровесник. Из первых слов сказал, что не похож на японца, и действительно: высокий, не черноволосый, и глаза недалеко от европейского разреза; не уравновешен, чрезмерно энергичен, с резкими театральными движениями. Оказывается: до речи Хрущёва на XX съезде он был... коммунистом, а теперь — готов умереть в борьбе против коммунизма. Вскоре мы сидели у него в загородном доме, нам подали зелёный чай (жена его — только за прислужницу, как по традиции у японцев). Несколько приближённых членов фирмы сидели вокруг низкого стола по-японски, на запятках (с непривычки — впечатление подобострастия), а бездетный Тояма объявлял мне: «Вот они, мои дети, я завещаю им всё богатство». И это, видимо, соответствовало истине.

Тут мы касаемся тех особенностей японских отношений, где служебное и как бы родственно-семейное не разделены чётко: нечто семейное есть в попечении главы о своих служащих и в искреннем долге служащих к главе, а значит и к исполняемому труду.

Ещё до моего приезда Тояма уже расписал по дням всё моё месячное пребывание в Японии, более того: его друг и шофёр Мацуо (впрочем бизнесмен и богатый человек, непонятно почему он служил Тояме в такой роли, вероятно тоже вот эта полусемейность) объехал заранее — верх японской заботливости! — весь будущий мой маршрут и наметил и забронировал гостиницы. Но я сразу же обнаружил нелепость: предлагалось мне почти трое суток «отдыхать» в доме Тоямы, лишь затем поехать вместе с ним к бывшему премьер-министру Японии Киси, старику, домой. Я резко запротестовал: не хочу отдыхать, завтра же с утра я должен ехать к северу от Токио — в непарадные, не посещаемые туристами места. Тут произошёл мой первый истязательный спор с Тоя-

мой, на полтора часа: он доказывал, что менять график невозможно, и уже поздно заказывать гостиницы, а главное: нельзя так подводить полицию, ей сообщён точный график моих перемещений. Как??? — полиция будет всюду меня сопровождать? — так это не путешествие, я отказываюсь, я ничего не увижу! Новый взрыв спора, уже поздно к полуночи. (Вспомнил я сразу Гончарова: как изнурительно часами спорят японцы по поводу церемоний.)

Всё ж я настоял: поехали мы назавтра на север, и без всякого сопровождения, сделали петлю через Никко (не знал я тогда, что Колчак посещал Никко со своей возлюбленной — перед тем, как ехать на сибирское заклание), Фукушиму и вернулись к свиданью с Киси.

Этой встрече с Киси Тояма придавал большое значение, подчёркивая свою идейную дружбу со стариком. Сейчас тому было 86 лет. Как я потом узнал, Киси был один из главных создателей марионеточного Манчжоу-го. После войны, при Макартуре, больше трёх лет отсидел в тюрьме как «военный преступник» — но выпущен Макартуром при начале корейской войны, когда американцы схватились, где их истинный враг. С 1958 по 1961 был премьером, сейчас на правом крыле своей либерально-демократической партии и видный «протайванец». Я с интересом ждал встречи.

Поехали мы к Киси с переводчиком Нисидой, невысоким, невыразительно-равнодушным, прежде переводчиком Министерства иностранных дел (и Киси знал его, он переводил его встречу с Хрущёвым). Там застали и профессора Кичитаро Кацуду — обаятельного, седовласого. Говорил он по-русски стеснённо, но всё понимал. (Он подарил мне свою книгу по истории русской политической мысли с милой надписью по-русски: «это — памятник моего пыла юности» и портретами от Чаадаева до Достоевского.)

За ужином сидели впятером — одни мужчины, за очень большим (по-европейски высоким, нормальным) столом и на нормальных стульях; женщины (и жена Тоямы) не высывались из кухни, а обслуживали нас — официанты, в чёрных костюмах и бабочках, оказывается — из близкого тут «русского» ресторана «Балалайка». Подали очень правдоподобный «борщ», а второе переиначено японской разделкой овощей. Киси был достойный старик, но уже, кажется, за пределами действий. Я пытался взбодрить его, как преодолется беззащитность Японии, однако и как предают Тайвань? — он ничего существенного о том не выразил. Кацуда ярко рассказал, как его травят за «консервативные» мысли, студенты киотского университета выставляют во дворе плакаты с требованием, чтоб он извинился за какое-то место в лекции. (Уже и в Японии такое!..)

Ещё утром того же дня в Фукушима я был свидетелем впечатляющей демонстрации: несколько тёмных крытых грузовиков с динамиками громко разносили по привокзальной площади японские военные марши минувшей войны (увидя во мне светловолосого иностранца — при подходе устроили громкость), затем с фиолетовыми флагами поехали по городу, громко призывая всех вступать в их патриотическую организацию и добиваться возврата «северных территорий» — тех самых четырёх малых курильских островов. Болело это у них! Теперь у Киси я готов был к ответу об островах — но меня не спросили (из тактичности?).

Приехали к Тояме назад в половине двенадцатого ночи, я уже до смерти хотел спать — а Тояма завёл новое требование: чтобы я по возвращении из путешествия дал общую пресс-конференцию. Я отказался: подобного раньше не требовали, пресс-конференцию я вообще не признаю как форму, это не для писателя, не желаю спотыкаться вослед корреспондентам, кто куда меня поведёт. (А ещё же: не хочу растеребить по мелочам, опережая, — тезисы моих уже подготовленных выступлений.) И снова спорили до часу ночи. (Ещё — он сопроводивлялся моему желанию побывать на школьных уроках, настаивал, чтоб я ехал на высоко технологичные промышленные предприятия.) На следующее утро мы с Кимурой и Мацуо продолжили путешествие.

Продлилось оно 12 дней. Доброжелательный и приметчивый Хироши Кикура много мне переводил и удачно сам догадывался, о чём рассказать.

А глазам открывалась страна со многими холмами и горами, ничем особо не выразительными; равнинная жилая площадь не просторна (к югу острова Хонсю пораскидистей), — и всё это застроено современными индустриальными зданиями и посёлками, безо всякого следа гнутых «японских» крыш — так что если только сменить иероглифные вывески на английские, то и не отличишь, какая это страна. И почти весь современный Токио я нашёл таким же безликим: город, построенный на редкость без чувства архитектурного единства, ансамблей, стиля. С переходом от прежних крохотных домиков к большому строительству не найдено крупных самобытных архитектурных форм. (Но освещён Токио не стандартно. Поразило одно здание: по многоэтажной серой стене то и дело местами — редкими, и в этом прелесть, — вспыхивают отдельные серебряные точки — и погасают, а новые — в новых местах. Это и не реклама, и что хотят выразить — неизвестно. А хорошо.) — Перед городком Курашики видели наклонный (с тем и построенный) дом — гораздо наклоннее башни в Пизе. И ряды окон — наклонны к земле, а друг другу параллельны. Как там люди живут?..

Обычно в Японии сентябрь погожий, но в нашу поездку почти не было солнечных дней, а всё дымка, смог, тучевое небо и духота. «Необычайной японской сини» (Пильняк), или «такой ясной погоды, какой в России не бывает» (Гончаров) — я не заметил за месяц ни разу. И птиц не слышал, кроме противных (на свой, не наш лад) ворон. — В парке Нары вместе со всеми гладил доверчивых оленят (бродят сотнями). В японских городах не удушены велосипедисты, но разрешено им ездить даже по узким тротуарам — и насколько же это не мешает пешеходам. У магазинов велосипеды стоят многими десятками, все с приделанными корзиночками, никому не мешают. А магазины, как всюду и в западном мире, переполнены и множеством необходимых, и множеством лишних вещей.

Зато, по соседству с недошедшим тайфуном, мы были застигнуты на подъёме к Хаконе — водяной пургой, не знаю, как иначе назвать, никогда в жизни не видел. Как у нас бывает снежная пурга, когда крутит и ни зги не видно, — так налетела с жарой и закрутила пурга водяная: водяные капли густо неслись и крутили наось, а не падали как дождь — и это с волнами кипящего тумана. Как Мацуо-сан довёз нас по витой горной дороге — удивляться надо, не видно было фар встречных машин (ещё ж и левостороннее движение, нас оно нервирует с непривычки), — и вдруг на последних двухстах метрах перед гостиницей всё очистилось так же внезапно, как началось.

В гостиницах японских — многому поразишься, как они сохраняют своё исконное. Уже перед дверью низко кланяются мужчина или двое. А за дверью на возвышенном, через порожек, полу — уже трое, пятеро, а то и семеро женщин (изобилие женской челяди в гостиницах, нельзя представить, как оно окупается) в будничных кимоно в ожидании нас уже стоят на коленях, и едва мы у порога — кладут ладони на ковёр и молча кланяются нам земно: в благодарность, что мы снизошли остановиться в их гостинице? (Так же и при провожании из гостиницы каждого постояльца — выстраивается для поклонов вся прислуга.) Перед порогом мы непременно снимаем ботинки (ботинки каждого запоминают, никогда при выходе не подадут чужих), надеваем какую-нибудь пару из выстроенных шлёпанцев, без задника. Все вещи, какие несут постояльцы, хоть и мужчины, и самое тяжёлое, — перенимают служащие женщины и несут. (Я всё отбивался, не давал.) Прошли коридорами гостиницы (если по пути надо пересечь двор — то ещё раз сменить шлёпанцы на наружные и потом снова на внутренние), перед новым возвышением самой комнаты, перед раздвижной перегородкой — шлёпанцы надо вовсе снять и остаться в одних носках на чистой цыновке. (И сколько бы раз к какому бы месту ни возвращаться — чья-то невидимая рука уже успела повернуть твои шлёпанцы носками вперёд — как удобнее тебе снова вставить.) А внутри номера — при

переходе в ванную ещё новые шлёпанцы; при переходе в уборную ещё свои. (Уж о сквозной, сквозной чистоте — и поминать даже не надо.) И каждому новому постояльцу выложен выстиранный халат с широкими рукавами, принято тотчас переодеваться. Ходить около гостиницы и в столовую — принято в этих халатах. Немедленная процедура для гостей — приносится зелёный чай (со странными японскими конфетами), потом на низкий стол подаётся многоблюдный ужин (ничто не вносится на полном росте прислужницы, но всегда она присаживается на пятки перед перегородкой, отодвигает её, передвигается на коленях, переставляя и блюда, лишь в комнате ей уже можно подняться. Бывает так: одна — только подаёт, другая (старая, в строгом чёрном кимоно) только наливает вино и занимает разговором. После ужина этот стол сдвигается в сторону, на полу посреди комнаты стелется постель и показывается постояльцу — так ли всё постелено? надо кивать благодарно. И по полу же к постели приставляется ночной светильник. На ночь японцы принимают ванну — и притом нестерпимо для нас горячую, и притом почти стоячую, глубокую (прежде это был деревянный ящик, теперь из современных материалов). Ванна заранее уже налита, приготовлена.

В этой многовековой неколебимой обрядности, которую не сотряс даже XX век (и Хиросима), — ещё ли бы не загадка! Загадка в ней самой, но ещё более — в японском характере. И не мимолётному путешественнику в те загадки вглядеться.

Из-за бумажных стен гостиница прослушивается, как и всякий японский жилой дом, — вечером долго слышны разговоры, ходьба. А ещё каждый японский дом старается вечно слышать шум текущей воды — и где нет ручья, там хотя бы сочилась вода из трубы, падая в каменную углубину, — и всё-таки плеск.

В комнатах, вестибюлях — много заботливой красоты, раскреплённой по мелочам, уже даже избыточной, неоценяемой? невозможно всё охватить по нашей динамичной жизни: какая виньетка на стене, какие цветы стоят в вазе (и как расположены! — это у них сложное искусство «икебана», многолетне изучаемое), иногда в нише с отдельно для неё зажигаемым светом, иногда только одна хризантема в отдельной вазочке. То в ванной замутнённое стекло украшено лилией. На чёрном лакированном шкафу горельефная резьба. То в спальне на двух стенах висят — не картины, а скорей плакатики из иероглифов. Один золотой: «Собирается 8 счастливых» (цифра «8» у японцев — много счастья). Второй — вертикальный голубой с кистями, а надпись: «Если люди знают свои годы — то не знают печали» (из китайской классики, для японцев литературная высшая классика — китайская). В каждой гостевой комнате есть почётное углубление — токонома, всегда украшенное чем-нибудь, и главный гость садится к столу именно с этой стороны. (И музыка — во всех общественных местах или классическая, или приятнейшая лёгкая, и всегда тихая, ничего похожего на американский ужас. И японские книги — табакерки, сравнительно с американскими кирпичами.)

Очень запомнилась гостиница близ Хаконе — Кан суи-ро («Среди зелени»), — в густом лесу, и ещё отдельный павильон, где нас поместили; по преданию тут, у прежнего хозяина дома, как-то останавливался император — и для одной ночи ему выстроили всю эту красоту. Полная тишина — и вечный шум воды, ручей протекает под зданием. Павильон окружён японским садиком — кусты мирта, азалии, между ними — витые каменные дорожки со спусками, подъёмами и переходами через ручей — где мостиком, где переступным камнем. Под ногами — то крупные плиты, то небольшие вбитые камни, то просто насыпанная галька. В потоке и заводях открыто привольно плавают крупные карпы. Местами расставлены каменные фонарные столбики «пагодной» формы.

Искусство малых садов — особое японское искусство — и крохотные водопады, и карликовые деревья, и мохотравные садики, и просто «каменные сады»: камни разных форм, одиночные и группами, возвышаются над галечным полем — вот и всё, но долгая пища для глаз и размышления. Такие ка-

менные садики, даже два метра на два, устраивают и в городах при доме, где нет участка, земля дорогá — и всё же место для отдыха души. И где нельзя устроить течения воды — то поток изображается галькой — как в садике «Любоваться луной» при большой статуе Будды в Камакуре. А уж где реальная вода — всюду во множестве крупная разноцветная рыба, а то и утки. И во всех (коротких) реках всюду крупная рыба, и в пруде перед императорским парком в центре Токио, и даже в малых городских канавках, как в Цувано (сетчатые перегородки держат рыбу на участке своего дома). В Токио построили на малой площади новое четырёхэтажное здание «Нихон-ТВ», но при этом сохранили рядом японский садик, с водоёмом, с отдельным чайным домиком для чайной церемонии — и ещё даже, при земельной тесноте, сумели под садиком в земле расположить очистное сооружение для воды главного здания — так, чтобы воду можно было пить из крана. (Это удобство — у японцев часто.)

К чему я за весь японский месяц не мог привыкнуть — это к их еде. Не говоря уже о том, чтобы управляться палочками (обе в одной руке, и, как челюсти крокодила, нижняя не движется, а только верхняя), но к самой еде: ни даже рис (совершенно сухой и безвкусный), ни даже вермишель (оливкового цвета, из гречневой муки), ни один их соус, ни одна подливка, а что уж говорить обо всей морской пище — омарах, креветках, моллюсках, и даже если рыба — то сырая. Конечно, я был несправедлив, наверное, можно было отбирать, но даже куски простой курицы, как-то особенно изжаренной в кипящем жиру, я не мог признать за знакомое. Меня всюду преследовал запах сырой рыбы, где, может, его и не было; когда уже и мясо подавали — так и оно, вроде, пахло рыбой; да и все помещения; а на народном гуляньи близ водопада Кегон такой густой тошнотворный запах из «обжорного» ряда, что еле пройти. Около озера Чузенджи девушки, сидевшие рядом, угостили нас домашними пирожками — я еле съел, мне казалось, что они жарены на рыбьем жире. Говорят, «японцы едят глазами», это правда: каждая еда прежде всего сервирована для глаза, множество кушаний малыми порциями разложены то на фарфоровых пластинах изощрённой несимметричной формы, то в богатых плоских мисочках (тарелок наших не бывает), как натюрморты, то три предмета, то пять. Вот — на трёх чёрных камешках-гальках — раскрытая ракушка, приготовленная к поеданию содержимого; на листке фольги — щупальцы как бы рака с черепушкой головы. Даже когда утром подадут к пиале зелёного чая одну кислейшую сливу, и больше ничего, — и то мне казалось бессмыслица. В Японии я открыл, что нельзя полюбить страну, если ты несродни к её еде. (Живя в токийской гостинице, я малодушно заказывал простую европейскую яичницу.) Да ещё ж — и сидеть надо на затекающих поджатых ногах; скрестить ноги по-мусульмански (куда к нам ближе!) — уже развязность, а уж распластать их по полу вбок или вперёд под низкий стол — совсем неприлично (но именно так я то и дело вынужден был делать). А к чайной церемонии я заранее вёз большую симпатию: это искусство превратить самое повседневное занятие в наслаждение жизнью, покой душ и символ дружбы! — но когда первый раз мне подали при храме этот особый горько-зелёный, невыносимо густой чай с непроходящей пеной (взбитой кисточкой) — то только эту первую пиалу я из уважения одолел, и никогда больше не потягивал предложенное.

---

Осмотр храмов, храмов и храмов, синтоистских и буддистских, как-то невольно составил стержень нашей поездки: это именно те заповедники, где стуже́нно отстаивается японская древность, не потревоженная современностью, где Японию не спутаешь с другой страной. (В одном Киото, говорят, больше 2000 храмов? — больше, чем церквей в старой Москве?) Правда, в памяти все эти храмы — и названия их, и особенности построек — быстро перемешались, и даже к концу поездки я только мог различить их и вспомнить по дневнику: где и что́ был Хаконе-джингу, Исе-дай-джингу, Касуга-джингу, Хейан-джингу

(джингу — синтоистский храм), Хаорью-джи, Тошо-дай-джи, Якуши-джи, Тен-дю-джи, Нинна-джи, Риоан-джи (джи — буддистский храм), То-шо-гу, Дай-кото, Дай-буцу. Названия храмов — иногда по личностям, а чаще значат: Храм со многими фонарями, Большой Восточный, Храм дракона неба, Храм драконов, Храм священной чистой воды.

Осталось общее впечатление и главное различие: синтоистские храмы — эстетичней, изящней, легче, буддистские — тяжелей и огрублены статуями, хотя и синтоистские не без них: устрашающие оранжево-красные великаны-сторожа у входов. Ни чрезмерная резьба, ни смешение ярких цветов (красного с зелёным, с золотым) как-то не вредят синтоистским храмам, выручает неизменный японский вкус. На подходе надо омыть руки из черпачка, потом обычно идти прямыми долгими ступенчатыми всходами, мимо какого-нибудь священного кедра, посаженного в IX веке, а теперь обвитого для стяжки толстым канатом; мимо «омикудзи», лотереи Бога, — стояка, на котором вешают бумажки желаний, как скрученные папильотки, или дощечки, продаваемые тут же. Пространство вокруг синтоистских храмов обычно засыпано некрепленой галькой, которую не без усилия промешиваешь ногами, — осмысленное замедление. Вход в главное помещение храма (алтарное направление — на север) — всегда в тапочках, ботинки оставляются снаружи либо берутся с собой в хлорвиниловую сумку и таскаются. Иногда создается впечатление, что это уже не святыни, что храм обращён лишь для туристского показа, через них только шаркают экскурсии. Но нет, вот мелькнул в оранжево-белых сарафанах *мико* — невинные девушки, служащие при храмах в помощь священникам, а вот и священник — в белом кимоно и сиреневом обмоте как бы юбки. Вот глухой барабан сопровождает молитву за тех, кто пожертвовал деньги, вот и общее моление: под чтение сидят на пятках, потом как по команде кланяются и дважды хлопают в ладоши — тоже способ привлечь внимание божеств. Но нет единого Бога, ни даже божеств, обожествляются предки и сама природа, души предметов. Странно услышать в храме и смех — но у японцев смех входит в речевую манеру.

Вот такой видится религия — набор поверий, примет и призываний об удачах...

Большой синтоистский храм в Исе связан с императорской семьёй и считается настолько центральным, что когда-то было: каждый японец один раз в жизни должен здесь побывать. До Второй Мировой войны и каждый новый премьер-министр со всем своим кабинетом приезжал сюда представляться, но послевоенная конституция запретила смешивать политику с религией, и обычай прекратился. К храму долгий путь по парку (и всё увязая в гальке) — мимо весьма причудливой площадки для священных танцев, дворца священной музыки. А сам храм: на каменном основании просто старая веранда под соломенной крышей. Но оказывается: этот главный храм (или ещё какие то же, я не понял) не может находиться на одном месте больше 60 лет, через 60 лет его должны перенести на другое место, хоть рядом. Так и сейчас строится другой рядом. А брёвна старого пойдут на использование в одном из 120 отделений (по всей Японии) главного храма. Очень тут выражено японское сознание всеобщей недолговечности — страны, сотрясаемой землетрясениями, тайфунами и где излюбленная красота цветения вишни облетает в час от внезапной бури.

В Киото я видел маленький храм, где невесты молятся о хорошем женихе. Так же привязывают бумажки желаний, а потом вывешивают благодарности об удавшемся замужестве. На площадке перед храмом такое гадание: девушка замуривает глаза и осторожно идёт, пытаясь выдержать прямое направление, около 15 метров (а подружки что-то кричат сзади), — если не минует, наткнётся на узкий стоячий камень, то любовь её исполнится.

В Наре, в синтоистском храме, довелось мне увидеть церемонию освящения семидневного ребёнка. Приходят родители, обе бабушки и оба дедушки, и маленькие братья-сёстры младенца. На лоб его наклеивают косо-крестообраз-



но какой-то красный пластырь, окутывают специальной белой пелеринкой — и дальше его держит только бабушка по матери. На крытой веранде перед как бы алтарём все родственники садятся на подогнутые ноги, на пятки. Сбоку — два священнослужителя в золотистых халатах и чёрных шапках. Перед ними — вроде барабана, иногда постукивают, иногда на струнном, вроде зурны, иногда хлопают дважды в ладоши. Но главная фигура — мико, вся в белом, да ещё попалась стройная и хорошенькая (не все они такие) и потому особенно впечатляет, что она делает. То становится на колени, лицом к алтарю, воздевает тонкие оголённые руки к небу, с немой просьбой о судьбе этого маленького (выразительные, художественные жесты). То встаёт, медленно поворачивается к сидящим — это всё вид строгого танца, ответственно каждое движение и отрешён взгляд. То откуда-то взяла золочёную погремушку, вида человеческой головы, — и с нею в правой руке производит полуповороты, двумя распротёртыми руками как бы передавая младенцу уже полученное благословение небес. Время от времени сбоку поддерживают зурной, ладошами. Родители кланяются. Мико входит в алтарь. Потом священнослужитель тоже идёт в алтарь и оттуда выносит подарки, какие-то шкатулки одна на одной, чашу. Что-то даётся родителям. А бабушка с младенцем (он не плачет) всё время торжественно-неподвижна.

Так синтоизм служит японцу для всего радостного. А для всего горестного и для смертного обряда — буддизм. (В Японии все кладбища только буддистские, других нет.) Это поражает: одна и та же нация, одни и те же люди исповедуют в разных случаях жизни две разные религии. Обнадёживающий ли это признак для будущего человечества или признание недостаточности обеих религий?

По содержанию буддистская религия несравненно глубже, но по исполнению кажется холодной синтоистской. В полутьме буддистских алтарей, иногда под узорчатыми шатрами — нагромождение статуй, самого Будды и его учеников, большей частью — давящее ощущение, особенно этот избыток величины, количества (18 рук, 30 рук). Буддистское учение выше и своих храмов. В некоторых храмах ощущаешь, правда, грандиозность, как То-дай-джи в Наре, самое большое в Японии деревянное здание. Перед храмом, как почти всегда, — курильница, горячая зола в большой чаше. Покупают тонкие стержни, тоньше наших тонких свечей, поджигают их от уже тлеющих и вставляют в золу. Но запах — не благовонный, до ладана далеко. (В некоторых храмах ребятишки держат над курильницей свои шапчёнки: от окуренной станешь умней.) В храме горят и настоящие свечи. К большой центральной фигуре преогромнейшего сидящего бронзово-чёрного Будды поднимаются ступенями черномраморные скамьи жертвенника. На нём на разных уровнях: ещё крупные свечи горят, горки свежих фруктов, букеты цветов. В храме висит гонг, и посетители бьют в него ударником по разу, по два, чтобы пробудить Будду и напомнить ему о своих желаниях. Бросают монетки в решётчатую крышку большого ящика. (Когда буддисты молятся — они строго, но недолго стоят перед фигурой Будды, сложив ладони пластинкой от груди вперёд.) — Есть в том храме одна колонна с пробитым в низу её прямоугольным лазом — только-только пролезают дети лет до шести (родители специально привозят их), — на счастье жизни. Часто рядом с храмом стоят и отдельные пагоды — по 3, 4, 5 этажей гнутых японо-китайских крыш. На пагодах не звонят, но они напоминают наши колокольни этой своей многоэтажностью: издали видны, чтобы людям напомнить о вере. Большой колокол иногда висит во дворе храма под отдельной обвершкой, как у нас колодезная. Под Новый год в него бьют 108 ударов — чтобы 108 известных по буддизму человеческих мучений ушли из мира. Иногда мелькнёт знак свастики — на барабане, на стене: свастика — знак счастья, благополучия и плодородия в Юго-Восточной Азии. В Киото храм Сайхо-джи, известный своим окружающим моховым садом, нам посетить не удалось: туристы вытаптывают мох; можно только присоединиться, и не сразу, к

двухчасовой процессии молящихся. Уважаю такой отказ! уже все храмы превратили в проходные.

Бывает и так: Дай-буцу (Великий Будда) — статуя метров 20 высоты, широкоплечая, из позеленевшей меди, высится отдельно, без храма, руки покойно сложены на подвёрнутых коленях. Сзади в фигуру зачем-то вход — через подземный тоннельчик и потом витую лестницу. Посетители бесцеремонно бродят внутри святой статуи, пробуют рукой нагретую солнцем бронзу, смеются. В Камакуре есть и такой храм — Тоокей-джи (Храм радости Востока), куда жёны бежали от мужей, если было им нестерпимо, и отсюда муж не мог возвратиться. (Потом иные становились монахинями, другие возвращались в мирскую жизнь, значит — и к другим мужьям.)

Но есть и такие храмы (Нонна-джи), где вовсе нет буддистских статуй, а вдруг — комнаты с японской живописью, это непередаваемо даже и в поблекшем виде — как они утончённо и ритмично изображают стволы деревьев, ветви, птиц, животных!

Перед многими храмами, и синтоистскими, и буддистскими, — вереница ларьков с сувенирами и священными предметами, охранными талисманами для хорошей карьеры или сувенирами для туристов, которые невозможно даже оглядеть, не то что перечислить (веер, исписанный буддистскими истинами). Но что делается с этими ларёчными рядами в момент храмового праздника! — добавляется ещё множество ларьков с игрушками, сладями, обжорствами. — Вот проходит рядом торжественная процессия из 30 священников — а неуёмные игрушечные зайцы громко стучат в барабаны, и продавец не останавливает их.

Такое празднество мне случайно досталось увидеть в Камакуре: было 850 лет от рождения какого-то известного священника какой-то буддистской ветви. Сперва ещё по городу мы увидели предварительное шествие монахов в чёрных рясах и широких соломенных шляпах, затем близ самого храма Каомио-джи (Храм ясности света) мы застали это шествие священников в фиолетовых ризах с белыми подшейниками и золотыми накладками на плечах. Впереди процессии — несколько мальчиков в шапочках, тоже фиолетовых. Передний священник постукивает в малый колокольчик, несомый в руке. Затем — два молодых монаха в чёрном на каждом шагу ударяют в плитчатую дорогу высокими жезлами чёрного металла. Потом идёт священник с чёрной малой дымящейся курильницей. Ещё — с белой метёлкой или, сказать бы, гривой. Почти все остальные — со стекловидными чётками или веерами. К этому времени внутренность главного храма изукрашена золотыми свесами, золотым балдахином и ещё многими непонятными предметами. Вокруг центрального помоста с трёх сторон сидят на подогнутых ногах верующие — больше старые, обоего пола, они не шевелятся час и другой, но и не поют вместе со священниками. Густо курит по всему храму большая курильница от главного входа. Уселись на помосте на подогнутых ногах и 30 священников, и так же не шевелятся, едва ль не часами. Старший священник в белом трубчатом (как горизонтальный изогнутый лист) головном уборе сперва постукивает палочкой по предметам, попарно подносимым мальчиками, как бы отпуская их. Потом надолго всякое движение прекращается и лишь тянется заунывное пение священников, иногда какой-то постукивающий звук.

Итак, вот — несомненное богослужение. Но ото всех посещений синтоистских, а особенно буддистских храмов охватывает ощущение крайней чужести и пропасти между нами, которой я не ожидал, когда ехал в Азию, я полагал — они всё-таки ближе нам. В чём смысл рас? В чём замысел Божий? А жить нам — на одной планете, и надо друг друга понимать. Никогда нам по-настоящему не сойтись — и смеем ли мы претендовать обращать их в свою веру? Я думаю — нет.

А вот в Токио пошёл я и в православный, мощный, Воскресенский собор на литургию — и хочется ответить: а кажется — и да? Вот те же японцы — три священника, два дьякона (и голос прекрасный, представляется: «я —

Иван»), несколько десятков прихожан, вся служба и пение по-японски — а забирает теплота: не так, как до сих пор повсюду. Умильно видеть японцев в православном храме и слышать наши песнопения на японском. Очень душевная служба тут. (Христианство в форме католичества проникло в Японию к середине XVI в., но через несколько же лет, в 1558, было грозно запрещено, со смертными казнями христианам, а все миссионеры высланы. Когда, через три века, в 1861 в Японию прибыл из России иеромонах Николай, будущий «Апостол Японии», — смертный запрет на христианство был в силе, и японцы боялись даже давать миссионеру уроки японского языка, а первые тайнообращённые подверглись жестоким гонениям. Однако, в духе новой эпохи Мэй-дзи, с 70-х годов наступила свобода вероисповедания, Николай стал епископом, в 80-е возведен был этот собор, а в русско-японскую войну православные японцы уже деятельно оказывали помощь русским военнопленным, изумляя их самим своим явлением.)

---

Я ехал в страну с надеждой, что мне будет внят японский характер: его самоограничение, трудолюбие, способность глубокой разработки в малом объёме. Но странно: в Японии я испытал непреодолимую отдалённость. Пойди их пойми. Не растворяешься в теплоте. Не растапливает сердца и преобильная японская вежливость. (А поражаешься часто: в парке застал нас дождь, мы сели на перила крытого моста. Вдруг видим: идёт наш таксёр с тремя зонтиками, ищет выручить.) Странна и эта речевая манера — много смеяться в неподходящих местах разговора: ждёшь японцев невозмутимо-ровными. В экскурсионных массах японцев замечаешь преобладание не-тонких лиц (особенно почему-то — среди мальчиков-гимназистов). И полны жестокости их ежедневные телевизионные фильмы, уж не говорю о военной борьбе. А вот — на улицах никто никого не грабит, и ночью может безопасно идти одинокая женщина. На обложках журналов есть приятные девичьи лица, но нет ни раздетых, ни полуодетых: цензура. И ещё посегодняя две трети браков заключаются по воле родителей. И японский таксёр возвращает владельцу забытые в такси 2 миллиона йен (8 тысяч долларов). Одна из самых нравственных стран?

Восхищает: насколько ещё устойчиво хранится духовный мир Японии от размётного дыхания современности.

Но и жалко их в их нынешней беззащитности. В дождливый день на пешеходных переходах Киото — толпа покачливых хрупких цветных зонтиков. Ах, не добрался до вас коммунизм, забудете вы свои и зонтики! Да у них и окончившие (бесплатно) военную академию вдруг решают: «не хочу быть офицером!» — и уходят на гражданку...

Наиболее симпатичны, как и во всех народах, крестьяне. Их мало сохранилось, больше старики, а молодые работают в городах, и на клочки рисовых участков если приезжают помочь, то в воскресенье. В деревнях на севере острова ещё встречаются старые соломенные крыши (но с телевизионными антеннами), а чаще железные. В самые глухие деревни — асфальтные подъезды. В деревенских домах — довольно сарайно, и, как у нас, хранится всякая устаревшая утварь, которую хозяевам жалко выбросить. А рядом с новым телевизором — изящная старина: лакированные шкатулки, статуэтки.

Не пропустили мы и красот природы и архитектуры. Видели водопад Кегон — белопенистая струя в скалах высотой 97 метров и в секунду падает 10 тонн воды. (Четверть века назад молодой студент кинулся сверху, — японцы нашли это самоубийство «философским», сыскалось немало подражателей — и теперь в нише подходного коридора стоит статуэтка Будды в память всех этих покончивших.)

Что бы из этого всего я мог узнать, уловить без постоянных объяснений Хироши, очень умно рассчитанных, умело выделяющих — и что вообще непонятно иностранцу, и что может быть особенно интересно мне.

Среди общей хрупкости японских конструкций — поразишься настоящему замку (Хакуроджо, замок Белая Цапля), построенному в 1333 году. Гора среди равнины, основание замка до верхнего двора и первые этажи — крепчайшие каменные стены и откосы (скреплённые каким-то масляным составом), тут и артиллерией не возьмёшь. А выше, в несколько этажей — деревянные надстройки с японскими гнутыми крышами, в этот раз серебристо-белыми. Внутри — дубовые полы, дубовые стенные панели, выставлены рыцарские латы и шлемы с рогами. (Как-то не ждёшь всего такого в Японии. Хироши, «Кимура-сан», позже, дома, надевал при мне доспехи своего прадеда-самурая — угрожающее впечатление.) На всех этажах замка — бешеный ветер в окна и дальний обзор. (И у каждого посетителя в руках — свои ботинки в хлорвиниловой сумочке, на все этажи надо карабкаться в шлёпанцах.) На 6-м этаже — миниатюрный храм (домашний алтарь), принесенные верующими дары, — и желающие могут поставить себе в тетрадь красную печать с изображением замка. (Я — поставил, конечно.) Среди замковых построек — отдельный дворик и зданьце — «харакири-мару» (тут — делать себе харакири). — В Киото видели мы и Золотой павильон — из красивейших зданий Японии, если не символ её, изумительные пропорции. Правда, ждёшь несравненного и в красках, а они сильно поблекли. Вообще-то павильон — уже восстановленный: подлинный был некогда сожжён молодым честолюбивым священнослужителем, свой Герострат. Другое название места — «шари-ден», «священное место, где сохраняются кости» Будды (они — во многих азиатских странах, да по несколько).

А из самых сильных впечатлений красоты была — ловля раковин с жемчугом в Тоба. Ныряют девушки в белых одеждах — (тут глубина 6 метров, бывает и больше) — ныряют надолго, в остеклённых масках, чтобы держать глаза под водой открытыми, но почему-то без аквалангов. Нырок художественный: уже находясь в воде, они подымают нижнюю часть тела и ноги ровным столбиком в небо и уходят в воду вертикально. Долгий перехват дыхания изнури-телен, требует тренировки, не сразу вздохнёшь и после него. Вынырнув, они, привязанной к поясу верёвкой, подтягивают свою большую плавающую корзину и кладут в неё добытую ракушку. (Глядя на жемчужные украшения, вспомнишь эти перехваченные дыханья.)

С «жемчужной дороги» по берегу — видишь «жемчужные острова» — маленькие, горбатые, а во всех заливах — плоты-плантации жемчуга. (Под ними в воде подвешены корзины, где растёт жемчуг, и во время даже тайфунов как-то они уцелевают.)

И ещё поразил городок Курашики, изобилующий музеями и лавками народных ремёсел. Ему 400 лет, весь продуманно устроен, как внутренность одного дома у хозяев со вкусом. Извивчивая река обсажена ивами и одета в чистенькие каменные набережные. Тут и все музеи, и лавки, и за низкими столиками там и сям сидят гадалышки (по дню рождения и имени — исписывают иероглифными столбиками расчётов), а где продают нехитрое домашнее мороженое, а где и молодой рикша ждёт покатасть туристок. Домики удержали перед собой палисадники по 50 сантиметров ширины — и там у них садик растительный или каменный. В лавках — керамика, хрусталь, литё иковка, медальоны, лакированные и плетёные вещицы, плетёная мебель, изрисованные подносики, связки для ключей, шкатулки под замочками — искусство всех видов, не переглядеть. Разрисовывают тарелки и тут же их обжигают. Вдруг через боковой переулок попадаешь к домам и стенам, сплошь заплетенным плющом. — Как будто не в Японии: аркады, торговые пассажи, среди квартала кирпичных зданий — мощёная кирпичом площадь, метров 60 на 60, стоят алюминиевые круглые столы, плетёные стулья, как в Венеции, — и тут досматриваешься, что именно как в Венеции площадь обрамлена каналом. А то через маленькую калитку неожиданно попадаешь в замкнутый дворик малень-

кого буддистского храма с массою каменных стоячих фонарей (без огней) — и в полном вечернем безлюдьи по склонам горки вверх видишь наросшее множество каменных надмогильников; а по ступенькам горы поднявшись выше пагодки с гнутою крышей — ещё успеваешь увидеть с вершины кладбища тёмно-красное послезакатное небо.

Тут сразу меня узнала дочь хозяйки гостиницы, столичная студентка, — и к ужину нашему пришла хозяйка, удивительно интеллигентная, тонкая, умная старушка в очках. После традиционного земного поклона с колен — рассказывала о далёких годах этого города, как в её детстве река была вдвое шире, а набережная совсем узкая, и дети зимой ждали, когда по реке поплывут лодки с апельсинами, и гребцы будут бросать их из лодки детям на берег. (И около того примерно года мы зачем-то с этой страной воевали...) А теперь боится она, что стало слишком много экскурсий, и слишком много продают сувениров — загубят городок.

Испытали мы и ужин с гейшами, в Киото, это было гостеприимство Мацуо-сана и стоило, кажется, очень дорого, и добыть ему было трудно, по знакомству: гейши теперь редки и заказы задолго. В тихом закутке тихий ресторан («чайный домик»). Обычный земной поклон прислужницы у перемены ботинок на шлёпанцы. Я ждал большого зала, много столов и где-нибудь эстраду, — ничего подобного, ввели в комнату три метра на три, пол в циновках, с низким квадратным столом посредине (шлёпанцы за дверью, мы в носках) и сели на предложенные подушки — а ноги опять куда девать? Стараюсь только одну неприлично вытянуть под стол, а вторую поджать под себя. Прислужница в синем непарадном кимоно, каждый раз сперва вползая на коленях и что-то ставя за загораживающим экраном, потом оттуда, мало поднимаясь с колен, с поклонами каждому, — вспененный невозможный горький густой зелёный чай, с миниатюрной конфеткой на отдельном блюде, — и, оказывается, в ходе полной чайной церемонии пьющие должны трижды прокрутить чашку в руке перед тем как пить (выразить наслаждение), а выпив — ещё подержать чашку, как бы любуясь ею. (Я уже этот вкус знаю, и не пью, и нет у меня сил крутить чашку.) Затем (как и всегда при всякой японской еде) вносятся на отдельных подносах (и несколько раз в ужин обновляются) скрученные горячие влажные салфетки для обтирания рук. Затем (всё так же каждый раз на коленях ставя за экраном, а потом каждому кланяясь низко) церемонно приносит на подносах художественную посуду — миниатюрные блюдечки, миниатюрные судочки с крышками, изрезные платы, каждому одинаковый набор. Сперва какая-то морская загадочная закуска, к которой я боюсь притронуться, потом какое-то первое блюдо (дурнит даже от запаха, спасибо скоро открыли окно в сад).

Вдруг входят (не становясь на колени, а лишь слегка кланяясь) сразу три (по числу посетителей) гейши, все три в светлых кимоно (белых и кремовых), но ведь кимоно некрасивы: портят их широченным поясом (шириной сантиметров 40, от груди на весь стан), переходящим сзади в нелепый горб наспинника. А главное: две из трёх упущенно стары (под 60?), третья далеко за сорок, и все три собой нехороши. Садятся на свободные места на полу, уже без подушек, каждая около одного посетителя, — и начинает его угощать, наливать ему в рюмку из крохотного кувшинчика горячую водку sake (она некрепкая, 16°) и усиленно улыбаться. И более всего ранило, как они напряжённо должны были быть говорливы (умный разговор — приправа к мужской еде), внимательно непрерывно оживлены, поспешно кивать, согласительно улыбаться, строить глазки — а при этом сами они ничего не едят и не пьют, перед ними нет даже посуды, лишь потом заказчик, хозяин стола (Мацуо-сан) распорядился угостить их пивом, вот и всё. (В Японии пиво пьют очень серьёзно, тосты поднимают.)

А блюда носят и носят, я в ужасе: когда ж они кончатся? И запах гаже и гаже. Пью sake, а закусить нечем, кой-как палочками донёс до рта два изуродованных кусочка огурца, третий раз — горку подпорченного хрена. В керами-

ческих накрытых тазах внесли что-то закрайне недобровонное, я надеялся подать знак, чтобы передо мной не открывали крышку — нет, открыли: какие-то раки, креветки, створчатые раковины, обезображенные овощи, подозрительные грибы — всё раскалено, распарено, и ещё для раскала подложена чёрная галька внутри таза. Вижу: с утра ничего не ел и до следующего утра ничего не придётся, воротит. Обо мне (я — «профессор Хёрт, швед») — только всеобщее сожаление, что я не ем, и одна гейша стала подливать мне пива. Но всё бы отлично, если б я тут же мог записывать наблюдения в дневник — а неприлично, и новые усилия: запомнить все подробности и их очередь. Идёт болтовня по-японски, я уже и не спрашиваю у Кимуры перевода. Но независимо от моего европейского отвращения и от старости этих гейш: никакой эротики и не предусматривается, ни даже касаний руками, не то что объятий, — а только напряжённо-«умное» поддакивание, чтоб не умолкала болтовня (и цитаты из китайской классической поэзии, если гость способен оценить).

Затем появилась на столе ещё особая фарфоровая чаша с горячей водой, это вот для чего: если мужчина хочет угостить sake гейшу (а ей отдельной рюмки не положено), то он прополаскивает свою рюмку в общей чаше и наливает гейше. (Сам себе никто никогда за японским столом вообще не наливает.) Я думал, на том и конец, — нет. В изумительных лакированных чёрных чашках — опять оливковая вермишель при ещё какой-то добавке. Вермишель безопасна, можно брать её палочками, но при соединении всех запахов тоже не идёт. Теперь несут керамические чайнички, сверху — не лимона кусок, но какое-то японское подобие. Ну, теперь наверно нормальный чай? — ничего подобного, горячий солёный суп. И чашка риса — вот поесть бы! — так до того сух, до того ничем не приправлен — не идёт через глотку. И наконец дольку дыни и даже ложечку к ней.

Однако: во второй половине еды вплыла в комнату молодая *майко* — как ожившая фигурка из японской живописи, — сколько же времени надо делать такой туалет! Всё лицо как отштукатурено — покрыто непроницаемым слоем белой мази, кусочка живой кожи не увидишь. Нижняя губа намазана красным, верхняя — сиреневым. На голове у гейш у всех волосы убраны гладко, но не слишком затейливо, у неё — сложная фигура с круглым навесом, как японская крыша, как крыло, ещё *два* букета на теменах и *две* разные подвески — с левого боку (висящих фитюлек полудюжина) и с полубоку. Майко — в голубом кимоно, но сзади у неё — не уродливый за спинник, а золотисто-оранжевые крылья. Стройна, довольно высока, но кимоно — длинней её фигуры, подворачивается под ноги, майко движется с опаской, в белых носках. Держится именно как картина — неподвижно показывает себя, почти не говорит. Из почёта присела, строго ровная, сперва рядом со мной, но вскоре перешла к Мацуо-сану, стала немного говорить и зажигала ему спички к папиросам. Но даже подо всей штукатуркой видно, что красива, тут мне Хироши и перевёл, что ей — 16 лет, что амплуа майко — вообще только до 20 лет, а потом либо переходят в гейши, либо уходят прочь. И что во всём двухмиллионном Киото сейчас только 30 майко, эта профессия угасает.

В конце ужина объявили, что сейчас майко будет танцевать. Да как же? — и пространства нет в комнате, и она же запутается ногами в избытке кимоно, в нём и ступить нельзя. К тому времени вошла (чуть раньше, и уже посидела у стола) ещё одна страхолюдина, грубое, неженственное лицо. Она внесла самисен — простой трёхструнный инструмент. Теперь она села в углу (убрали загораживающий экран и дверь в коридор задвинули), стала играть примитивную унылую, однообразную мелодию. Одна гейша села рядом с ней и стала так же примитивно однообразно петь. А майко, сперва поклонившись нам земно, невозмутимо гордо начала танец («кленовый мостик») на пространстве двух квадратных метров. В руках у ней оказались два красных веера, она и играла ими, руками, лицом, а ноги мало двигались. То складывала веера так, что получался полный красный круг у её пояса. (Пояс на ней тоже очень широкий, с захватом груди, и туго затянут.) Потом веера исчезли (не заметил: в

карманы?), стала играть одними руками без них, то рассматривая свою отставленную ладонь как бы с удивлением, то рассекая ею воздух по дуге. И даже отдельными пальцами, с большим значением. И отдельно — большими голубыми свесами рукавов, натягивая их. Как бы любясь то своими выставленными руками, то рукавами. (Тут я нашёл общее между этим танцем — и ритуальным танцем мико на освящении младенца в синтоистском храме: большее значение рук и лица, чем туловища и тела; важность отдельных застылых положений, знакомых из японской живописи. Позже, познакомясь с театром «Но», VII века, я увидел, что всё из одного корня.)

Мы аплодируем, майко снова делает земной поклон нам, и танцует второй танец, «песенку о Киото», однако мало чем он отличается от первого. Затем опять села к столу, но уже не была такая дутая отрешённая, самоуглублённая красота — а разговаривала простым девичьим голосом. Промокала вспотевший лоб платком, но так ничего и не пила. А уродина стала играть какое-то барабанное соло на самисене, а та гейша петь. Оказалось: популярнейшая «песня о Сакуре» (вишне). Затем Мацуо-сан тут же на цыновке, ниже стола, положил деньги своей знакомой гейше, та свернула, заложила за запах кимоно. И почти тут же, безо всяких церемоний, прислужница вынула из шкафа мою женскую куртку — и все встали. Дождя уже не было — и все гейши вышли за порог дома нас провожать (японцы-то переобуваются проворно, мгновенно). Обычные взаимные поклоны, мы сели в автомобиль. Вдруг показали мне открутить стекло. Подошла майко и протянула мне руку. Не знаю, как требует церемониал, а я — поцеловал руку. Другим не протягивала.

---

Был у меня план ещё проехаться на пароходике по «внутреннему» (между тремя большими островами) морю, старой японской магистрали, множество там островков и полупокинутой тишины. Тут помешало надвижение очередного тайфуна. Однако прямого налёта тайфуна я не испытал. Тайфун тем страшней и сильней, чем он медленней движется. Так и надвигался этот, поперёк нашего пути. Вдруг — ускорился внезапно, изменил направление, от того сильно ослаб — и бессильный упал на Хиросиму. А мы как раз туда и ехали.

При въезде в Хиросиму — уже испытываешь обжигающее чувство. (А ещё почему-то именно здесь, в виде какой-то рекламы, висели в воздухе один зелёный и один жёлтый шары — как будто нависшие неразорвавшиеся бомбы.) В музее, посвящённом атомной бомбе, — круговая модель оставшегося города: мало зданий, и не в центре, — и такой же вот красный шар, в знак взрыва, свешивается над ней. Стенд: как от президента Трумэна и через нескольких генералов спускался приказ — с 23 июля до 6 августа. Хиросима была выбрана как крупная военная морская база с сильной концентрацией военнослужащих и военных устройств, и за то, что окружена горами, радиация сгустится (чистота опыта! или предохранение для других?). И посегодняя — американцы считают жертв 120 тысяч, японцы — 200 тысяч. Из трёх прилетевших самолётов в ясное безветренное утро один сбросил — и так круто стал убежать, что в момент взрыва удалился уже на 16 км. Бомба падала в красной колонне пламени, а через 43 секунды разорвалась на высоте 580 метров. Невообразимый огненный бело-жёлтый шар, столб дыма поднялся до 9 километров и перешёл в грибообразное облако (его сфотографировали через час, всё не разошлось). Множество пожаров, и всё пространство обратилось в пепел, от жары люди прыгали в реку, надеясь там спастись. Кто-то успевал делать фотографии: столпившихся раненных и растерянных жителей. Теперь перед моделями жертв за стеклом, — кончики их пальцев стекают расплавленные, облезшая кожа, обезумелые глаза, — один пожилой японец сложил ладони буддистским

молитвенным жестом, а среди экскурсии школьников — обычный стандартный неуместный смех, — не над жертвами, а по своему поводу. Остатки полу-сожжённых одежд. Трамвай, откинутый с путей. Лошадь с оторванной мордой (жила до 1958 года). Во что сплавились монеты, гвозди, часы, бутылка. Откопанные черепа.

А рядом — Мацуо-сан: летом 1945 он и стоял тут, в хиросимском гарнизоне. Но 1 августа был откомандирован в Ямагучи, вернулся 15-го, ещё видел трупы в воде. И думали тогда: никогда больше не вырастет на этом месте зелени. А — выросла. Как и новый город.

Эта живая судьба рядом — человека, случайно миновавшего бомбу, и такого славного, расположенного человека, даёт нам идти по городу — одной ногой в *тот* день, одной сегодня.

Знобко в Хиросиме. Даже ходить, оставаться, переночевать.

В Ямагучи мне удалось посетить школу — два урока математики, один физики, — всё как «шведский профессор Хёрт», интересующийся постановкой образования в разных странах мира. Так представляли меня и классам, потом учителя фотографировались со мной (когда ж иностранный гость заедет в Ямагучи!). На обсуждении уроков в директорском кабинете один из математиков вдруг спросил Кимуру-сана: а отчего это шведский профессор говорит по-русски? Кимура не растерялся: я (Кимура), мол, не знаю шведского, так решили говорить по-русски. Было стыдно их мистифицировать, и из Токио, тотчас после моего оглашения, я написал директору извинительно-благодарственное письмо. Уроками я остался доволен: при предметной насыщенности, ученики отданы уроку, внимательны. Учат их серьёзно.

И можно было ездить по Хонсю ещё, завернуть на западное побережье, — но уже был полон впечатлениями, а время утекало — и надо было ехать в Токио, готовиться к выступлениям. Ещё предполагал я тем же экспрессом вскоре вернуться сюда, в Симоносеки, и переплывать зловещий Цусимский пролив — именно таким путём в Корею.

Вечером с просторного балкона моего номера вид на токийские светá — заглядываясь. После ночной лесной глуши с вермонтской веранды — сильное впечатление.

А Тояма теперь сам дал обещанную им пресс-конференцию о моём приезде в Японию, и тут, со своим «правым» завертом, — без надобности вставил, что Солженицын рассматривается как возможная жертва терроризма и потому охранные власти предупреждены заблаговременно. И потекло в газеты: вот почему я путешествовал инкогнито! Тояма затем и во вступлении к моей речи хотел объявить, что меня могут убить, как убили Льва Троцкого, — еле я удержал его и от гнусного сравнения, и ото всей этой мысли.

Но полиция, начавшая меня в Токио охранять (это было настоящие уже не Тоямы, а властей), охраняла действительно первоклассно: быстры, обходчивы, находчивы. В мою часть коридора на 12-м этаже нельзя было пройти непрошенным и незамеченным. Куда б мы ни подъезжали, — а главный полицейский, всегда провожающий из отеля, уже как по воздуху перенёсся, уже там, и показывает, куда ставить наш автомобиль. Полицейская машина всегда имела со спутниками в моей машине радиосвязь, давала команды, как ехать, как уходить от корреспондентов, а то, с вертящимся на крыше красным шаром и сиреной, сама выходила вперёд и влекла нас между струями затормозивших машин. Так — меня никогда не возили. (И — кого из русских писателей возили? О, век! Жить так — несладко. Но и: как быть, после моих безоглядных выступлений? Через сколько-то лет эти предосторожности будут непонятны; но наши годы — расцвет терроризма, сильно направляемого советским КГБ.)

В последний момент огласки приглашавшая меня («правая») газета «Йомиури» побоялась назвать себя (не испортить отношений с советскими властями, чтобы корреспондента её не выслали из Москвы?) — и поручила необузданно-правому Тояме взвалить всё приглашение на себя, на радио «Ниппон». Вот такие «правые» храбрецы.



Всё важное и главное, что я хотел и мог сказать в Японии, было в этой моей речи («к руководящим кругам»), подготовленной ещё в Штатах, и почти ничего не пришлось изменять после путешествия, всё так. Но до речи предстояло два других обещанных выступления: интервью с «Нихон-ТВ»<sup>\*</sup> и круглый стол в «Йомиури»<sup>\*\*</sup>. Я опасался: будут ставить такие вопросы, что вытянут главное ещё до речи, — и во что превратится речь? И на телевидении пришлось-таки поспорить — насчёт «миролюбия» красного Китая, остальное шло — боковое. Потом оказалось: и хорошо, что высказал тут, иначе совсем бы пропало, нигде больше меня о Китае не спрашивали. А тут — вступил со мной в спор бывший замминистра иностранных дел Синсаку Хоген, что Китай — родственная Японии страна, и коммунизм там совсем не опасный: «Китайский народ — очень умный народ, и они сейчас направляются в сторону прогресса». Я страстно доказывал, что — *такой* же коммунизм, как и советский, везде одинаков, это и главная цель моей поездки была. (А — с чего японцам мне верить? Азиаты, тут по соседству, разве не лучше знают друг друга?..)

Речь «к руководящим кругам Японии»<sup>\*\*\*</sup> я готовил открытую для прессы, как мне заказали, — однако прессу не допустили. Было два министра — образования и Ичиро Накагава, науки и технологии. Было сколько-то интеллигенции, сколько-то социалистов (записывали места о социализме), а то всё бизнесмены. В современном зале Торговой палаты трогало меня: прямо против лектора в просвете единственного центрального прохода в зале — единственное же окно, но — в сад! Зелень пасмурного дня. Умеют же. — Аудитория дружно хлопала в начале и в конце. К сожалению, переводчик мой Нисида читал робко, невыразительно, не принимая текста к сердцу и не стараясь передать чувство. (От нескольких человек я слышал, и писали в газете потом: «оказывается, русский язык — какой свободный, сильный, звучный». Им по-настоящему и не приходилось слышать русской речи.)

На другой день была самая сдержанная информация — в немногих правых газетах, кратко. А саму речь фирма Тоямы продала журналу «Синтё», а тот исковырял её всю, выбросил остро-политические места, наверно треть, — и такую напечатал. (И даже не указал, что текст сокращён...)

И так Япония — не услышала моей речи вовсе, и не прочла, составлял я зря. И моё интервью для «Нихон-ТВ» хотя и хорошо сделали — а передали почему-то в 12 часов ночи, нормальные люди не могли смотреть, — да люди-то смотрят больше общенациональный канал NHK. Дискуссия в «Йомиури», правда, прошла интересно, за 8 лет на Западе такой интересной не помню, нельзя себе представить подобную в американской газете. Поражает, насколько японцы не поверхностны, а глубоко смотрят на вещи, доискиваются глубины. (В этой дискуссии касались и загадки, на чём держится нравственность Японии: на чувстве красоты! на чувстве достойного! Вот тебе и «красота спасёт мир».) Но — для массового ли это читателя? Опубликовали дискуссию уже после моего отъезда, не знаю — оставила ли какой след.

Прошли все интервью, и никто не задал мне самого ожидаемого вопроса — о Курильских островах. Такова ли японская тактичность? или профессорская высота?

В день дискуссии в «Йомиури» должен был норвежский Нобелевский комитет присуждать премию мира, я очень ждал для Валенсы, и собирался что-нибудь сказать. Однако норвежское время намного позже японского, всё не передавали, до нашего позднего вечера. Скажу завтра? Но Хироши убеждал меня подготовить заявление с вечера, а он переведёт и будет дежурить у изве-

<sup>\*</sup> Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль. Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 3, стр. 46 — 59. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы.)

<sup>\*\*</sup> Там же, т. 3, стр. 74 — 95.

<sup>\*\*\*</sup> Там же, т. 3, стр. 60 — 73.

ствий, а как поздно ночью объявят — так и он сразу передаст в бюро прессы. Ну что ж, я написал заявление заранее: «Присуждение Нобелевской премии мира Леху Валенсе — высокодостойное решение Комитета. В прошлой деятельности Комитета, увы, были случаи, когда за деятельность мира принималась капитуляция перед агрессором. Сегодня этой премией награждён безоружный человек высокого духа, самый выдающийся борец не только за права народных масс, но за будущность всего мира, на самом горячем участке борьбы и в самые мрачные месяцы Польши, в дни разгона „Солидарности“». А утром узнаю: дали премию прелёвой госпоже Мирдаль и какому-то мексиканцу за их борьбу против ядерного оружия (обезвредили они хоть одну бомбу?). И вертится новое заявление: «Трусливое решение Нобелевского комитета отражает упадок духа всей Европы...» — да не совсем для Японии. А как ждал Валенса и все поляки! Как бы это их поддержало! Жена Валенсы не сдержалась, сделала заявление. (Прошёл год — и Валенсе всё-таки дали премию. И поляки просили меня высказаться. Хотя я тогда уже совсем замолкал — но в салют Валенсе это несостоявшееся заявление чуть подправил — и дал.)

Позже, в Штатах, предложил я свою японскую речь в «Форин эфферс» и получил отказ от её издателя Вильяма Банди с таким разумным обоснованием: они готовы стерпеть мои заявления об импотенции Америки; согласны с моими советами Японии вооружиться сильнее для защиты самой себя и окружающего морского пространства. Но я предлагаю ей активно защищать и другие нации Восточной Азии и даже освобождать от коммунизма Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу (этого-то в моей речи не было?), — свободные нации Азии встревожатся и оттолкнутся от такой японской помощи. Таким образом мои советы могут оказаться опасными для Азии, создать опасные трудности, даже разрушить нынешнюю систему безопасности — ещё раньше, чем Япония как следует вооружится.

Очень это интересно. Ведь мой совет был не рассчитанно политический, а чисто этический: коль скоро у Японии есть силы, а перед Восточной Азией она так виновата — то и должна приложить свои силы в искупление вины? А — нет: видно, в международных отношениях вина не проходит так просто, декларацией об искуплении? — теперь Японии никто не будет верить и все пути закрыты?

И тогда: этические советы в современной политике — вообще не реальны? Который раз на это натываюсь.

Ещё на Тайване через полгода напечатали мою японскую речь — но тоже сокращённо, тоже из «Синтё». И так речь, продуманно направленная к японцам, никогда никем не была прочтена, кроме русского языка, и то в эмиграции, — да ещё, всё-таки, в Штатах, через год, в дружественном ко мне «Нэйшнл ревью», но с характерными купюрами: убрано всё, что не льстит американцам! — как же в Америке не терпят критику!

Зато статья в «Йомиури» об СССР\* прошла неплохо, её заметили, цитировали в частях, потом полностью напечатали в Штатах в «Нэйшнл ревью», во французском «Экспрессе», передавали по-русски по радио на СССР не раз.

Уже в Токио я почувствовал, что — устал.

Побывал на спектаклях театров «Кабуки» и «Но». Посмотрел несколько знаменитых японских фильмов. Театры были удивительно характерны, но труднопонятны. Фильмы — замечательные. И слишком много перевидал храмов. И теперь ехать в Корею, — опять закрытый отель в Сеуле, с полицией? и потом по таким же бесчисленным буддам? И вот — столько готовил для Японии, столько сказал — а почти всё впустую? Я раньше писал председателю приглашавшего меня южнокорейского Культурного общества Киму Кью-Тей-ку: что хотел бы свою поездку провести как культурную миссию. И он не воз-

\* «Публицистика», т. 3, стр. 168.

\*\* Там же, т. 3, стр. 31 — 44.

разил. А сейчас, оказавшись в Токио, он выразил мне, что повезёт меня смотреть, как северокорейцы подкопали уже третий тоннель под нейтральную зону. Так этак меня и на Берлинскую стену звали выступать! — уже совсем превратить в политика? Мне и самому понятно: не избежать уговаривать бунтующих корейских студентов, что они не знают цены имеющейся у них свободе, рвутся не в свободу, а в концлагерь. И что ж: призывать студентов не бунтовать, а подчиняться военному правительству? ещё раз выступить «реакционером»? Но в Корее — что-то мешает; там недавно разоблачали коррупцию правящих — а мне для кого надрываться? Вспомнил, как год назад они загубили русское радиовещание (Алексея Ретивова) из Сеула. А тут ещё: их президент вдруг принял трёх корреспондентов ТАСС, беседовал 50 минут, сказал, что для такого приезда им нужна была смелость (? — простое служебное распоряжение). Это была всё та же слепая южнокорейская линия: только Северная Корея им враг, а СССР и красный Китай — не полностью враги, или даже не враги. (Несколько дней спустя перелетел в Южную Корею китайский военный лётчик — они стали жаться, как бы даже лётчика на Тайвань не отдают, не разгневать Пекин, а самолёт — конечно назад Пекину. Потом вернули ещё гражданский с пассажирами, а в Китае беглецов от коммунизма — будут судить.) Жалко не повидать Корею, люблю корейцев ещё от Казахстана, но ведь жизни их всё равно не увидишь при полиции. И: для русской судьбы Корея — не решающая, их конфликт не задевает будущую Россию, всё дело — в Китае (значит, Тайване) и в Японии. И Южная Корея — не покинута Штатами, как Тайвань.

И я переломился: не еду в Корею. Предложил им прислать в Токио телевизионщиков, взять интервью. Так нет!! — оказывается, вражда Кореи к Японии за колонизацию так велика, что корейцам невозможно брать у меня интервью на японской земле, они лучше приедут в Вермонт! (Даже и мой приезд в Корею *после* Японии — уже был бы тем подпорчен. Тут ещё обострилось у корейцев из-за недавнего исправления в Японии учебников по истории: не стали признавать японской вины во Второй Мировой.)

Да и более широкие мои планы закачались. Ехать в Сингапур, Таиланд, Индонезию? — мало что экватор и жара, которой мне не вынести, и без гида, без хорошего переводчика нигде ничего не увидишь, не найдёшь. Но даже и не могу я быть частным путешественником для удовольствия — пропущено, положение связывает меня.

Нет уж, видно, в этой поездке — задору хватит мне только ещё на Тайвань.

\* \* \*

В Тайбей я летел на втором этаже самолёта тайваньской компании, верхний салон был совсем не полон — и я до конца так и не узнал и не сообразил, что ехавшие со мной и моим спутником У Кай-мином (сыном приглашителя) наверху — были полицейские в штатском. А стюардессы-китайки (сразу дают тип в отличие от японок: мягче и милей) тут же узнали меня, просили автографов и сфотографироваться. А дальше узналось, что на первом этаже самолёта летит группа тайваньских корреспондентов из Токио, тоже почему-то знают, что я лечу, — и на выходе общёлкали меня со вспышками. Только через несколько дней мне объяснили: пригласивший меня Фонд поощрения искусств У Сан-лина перемудрил: *чтобы* не разгласилось, они сами объявили корреспондентам о моём приезде — под честное слово, что те не разгласят. И, удивительно: из тридцати газет — *все* и сдержали слово! — китайцы! выдержка! — кроме одной: англоязычной «Чайна таймс», она опубликовала. (И воспалилась на несколько дней газетная стычка: все возмущались изменницей, а она провозглашала, конечно, «свободу печати» и «все имеют право всё знать», объедки западного стола.)

Проследила пресса, что я уехал на загородную виллу к основателю Фонда У Сан-лину, — и успокоилась. А я-то, оказывается, был отвезен туда лишь на

чайную церемонию, после чего в соседнюю гостиницу Ян Мин-сан. И — не заметили моего перемещения. И так выиграл бы я два спокойных дня для составления речи, если б наутро не повели меня завтракать на виллу — а туда-то и нагрянули корреспонденты, и несколько часов не мог я оставить дом Ян Мин-сана, чтобы не дать след к своей гостинице. Вышел, прошёлся, чтоб отсняли да ушли. И секретарь Фонда У Фенг-шан объявил, что едет в Фонд дать пресс-конференцию, дабы увлечь туда всех корреспондентов. Но там он, чтобы больше прозонить укором изменнику «Чайна таймс», придумал и объявил, что я бушевал от разоблачения, хотел уехать, и эти несколько часов ушли на уговаривание меня остаться. Оказал мне медвежью услугу: тайваньский корреспондент ЮПИ — видимо ядовитый, поспешил сообщить на всю Америку весьма пространно: и как я бесился от разоблачения, и как требовал отправить меня с первым же самолётом, — ну, значит, полный псих, — и как умоляли меня, что это обескуражит антикоммунистический народ Тайваня, и как я считаю себя первой мишенью коммунистических террористов, и как согласился наконец задержаться временно, но намерен покинуть остров при первой же возможности! И это пространное враждебное сообщение было распечатано по Америке — и осталось единственным свидетельством там за всё моё пребывание на Тайване! И когда я уже произнёс в Тайбее речь и нельзя было совсем замолчать её, тот же тайваньский ЮПИИский корреспондент — буркнул про речь, но тут же вставил объяснение, что я — «перебежчик из СССР, 1974 года». И высококомпетентная «Нью-Йорк таймс» ничего другого о моей речи тоже не напечатала, а именно это: что я «перебежчик» (defector). Как же мне с этим миром и с этой прессой быть в приятелях?.. (Кто уехал по соглашению с советскими властями и по израильской визе — тех американская пресса называет «изгнанниками»...)

Сперва я думал, что всё-таки ускользнул в гостиницу незамеченным. И так было до вечера. Гостиница захудалая, но милая. Мебель из бамбука и из соломы, плетенная всё старинно. Из номера открывается дверь на просторную крышу здания, где клумба, и можно гулять под горным ветром (к счастью, выдался один «прохладный» день, всего только 23°). Сел работать над речью. (Утром познакомился с моим будущим переводчиком — профессором Ван Чао-хуэем из Харбина, по-русски говорит еле-еле, и переводить с почерка тоже отказался, прислал мне русскую машинку, чтобы я напечатал. А между тем именно он — «перевёл» на китайский и произвольно сократил «Телёнка». Воображаю! А «Архипелаг» перевели с английского — и вот всё, что есть тут на китайском...)

Но не заметил я опасности от внешней лестницы на крышу, вроде пожарной. И вдруг вечером через окно — вижу, какая-то женщина, что-то по-английски. Я отмахиваюсь — а она через дверь с крыши, и вот уже в моём номере, даёт свою корреспондентскую карточку, требует интервью. Еле выпроводил её. Тут узнал, что внизу уже целая толпа корреспондентов (одна эта исхитрилась на крышу). Ждут меня. Но я спокойный мог сидеть над речью: проход ко мне, а теперь и пожарную лестницу охраняла полиция. Нет, настоял Фонд, чтоб я ещё раз вышел погулять перед фотографами и телевизионщиками со стариком У Сан-лином в китайский садик (с гипсовыми фигурами животных). С этого дня все три канала телевидения уже показывали меня ежедневно. Надеялся — нащёлкаются и отвалятся, не поедут в путешествие, и я постранствую по Тайваню так же беспомешно, как и по Японии, — ну, куда там.

Так и поехали мы в четырёхдневное путешествие по Тайваню, преследуемые двумя десятками корреспондентских автомобилей. «Переводчика» моего нельзя было и думать отрывать от речи, да и не годился он для устного перевода. Так пришлось мне ехать с одним английским языком — но с моим неразлучным У Кай-мином объяснялись хорошо, у него очень чёткий английский.

---

Мы двинулись сперва по западному Тайваню. Здесь равнина раскидистой, чем где-либо в Японии, и приятнее русскому глазу. А реки (по рельефу и размерам острова короткие) — в летнее недождливое время стоят совсем сухие, без воды. Мы начали поездку из Тайбея уже с 25-й широты, а на второй день предстояло пересекать и тропик Рака. И сразу поразила растительность: пальмовые аллеи и обсадки дороги, банановые рощи — и даже в городах, на автомобильной улице, банановые деревья, а за зелёными (второй урожай) рисовыми долинками — и целые пальмовые леса. Белесоватые, как у тополя, стволы пайхуа. На дневной перекус нам подали невиданные фрукты: ребристый янтау, папайя, шангуа, манго и знакомец ананас. Поднимаемся в горы — и всё то же тропическое богатство растений, от которого захватывает душу веселье. Лотосы. Мелькает узкоколейка для вывоза сахарного тростника. Таскают бананы в двух больших корзинках через плечо, и маленькие придорожные лавчёлки забиты бананами. И приятно, что ничто не содержится в специальной опрятности и приукрашенности как туристские места, а — будничным труд, красота брошена в невнимании. Соломенные тайваньские конические шляпы на работающих (на полях — всюду работы до позднего вечера). А китайскую гнутую крышу редко встретишь — всё теперь индустриально. Но как милы скромные горные посёлки: сохранилась провинциальность прежнего запущенного острова. Домики сляпаны кое-как, лишь бы жить, климат позволяет.

Поднялись на высоту 750 метров к горному озеру — «солнечно-лунному» Рью-Э-тан. (Транскрибировать точно по-русски китайские названия и имена — трудно, надо просить несколько раз повторять и вслушиваться, звуки всё промежуточные, не совпадающие с нашими. На русской карте, например, второй город острова называется Гаосюн, а он точней гораздо — Као-Шьён. Так и все окончания «нг», записываемые по-английски, — такая же неловкая попытка записать китайский звук, у китайцев не слышится это «нг», и секретарь Фонда Фенг-шан склонялся, чтобы я записал его имя: Фон-сан. Обратно, и китайцам трудно воспроизводить в точности русские звуки, и кто ни пытался научиться правильно выговаривать мою фамилию — не устигал и с пяти попыток.)

На Солнечно-лунном озере кончал свои дни Чан Кай-ши, проигравши Китай. Это было — любимое место его отдыха, уединения и работы. Против дома его, с видом из окон, через озеро высится — на горе, да ещё и сама высокая тонкая, — пагода в честь матери Чан Кай-ши. А сам он, оказывается, был христианин, — и здесь, на откосе, построен протестантский храм — для него и жены. В его доме теперь гостиница, где мы и остановились.

Мы приехали перед закатом. Вода в озере была голубовато-зелёная, а вершины обмыкающих гор, среди которых налилось озеро, покрыты дымкой и облачной рванью. Озеро очень украшено ещё маленьким островком посередине — купа деревьев за белым заборчиком, откосы мощены камнем.

Встречу мне устроили — как самому бы Чан Кай-ши. Открыли специальный построенный для него закрытый ход к пирсу, там подали катер (а корреспонденты уже наняли другой и следовали). Обошли островок, пристали к другому берегу, взбирались по лесенке к буддистскому храму. Уже в сумерках сделали угол по озеру — обширному, даже и для моторки. А потом я поднялся в половине шестого утра — текла богатая, быстропеременчивая игра красок на очищенном небе, слева над горой, перед восходом солнца! и какая гладь озера, какой покой! И замечательно поставлена на верхнем горизонте, против глаз, пагода матери.

Бедные, пренебрежённые миром тайваньцы, не избалованные вниманием иностранных гостей, встречали меня повсюду триумфально. Остановились мы на дневной завтрак (я в них не нуждался, только потеря лучшего времени, но У Фон-сан жить без них не мог) в Тайчжуне, в отеле нам отвели номер просто президентский по объёму и обстановке, и сразу же появился мэр Тайчжуна — вручать мне ключи от города. Для этого спустились в фойе, там он вручал при трёх десятках корреспондентов и двух сотнях сбежавшихся жителей. Аплоди-

ровали, махали, очаровательная китаяночка прорвалась пожать руку\*. Позже вручали мне ключи и от крупного промышленного Као-Шьёна, и от мелкого, но исторического Лу-Кана, затем уже и просто от гостиницы «Амбасадор». Всё представлялись, представлялись в разных местах ответственные лица — путались у меня и наружности, и посты. Со второго дня распорядился президент республики Чан Чин-куо (сын Чан Кай-ши) усилить мою охрану, добавилось спереди и сзади полиции (и всем же надо протяжно завтракать, удлиняются дневные перерывы). А само собой добавлялись местные корреспонденты, уже следовало машин до сорока, — и со всем этим кортежем я появлялся в людных местах и под непрерывное общёлкивание. Это привлекало жителей, они сияли, махали, приветствовали, хлопали, там и сям я жал руки, снимался со стариками, с мальчишками (у китайчат волосы жёсткие, как проволока). Такой же кортеж шёл за нами в нагорный университетский парк Чи-Тоу, где ждал нас для завтрака отдыхательный дом с изумительным запахом деревянной — но не простого дерева — постройки, ещё усиленным от тайваньской орхидеи, не так благоухающей вблизи, как по всему помещению. Чтобы пройти по парку в одиночестве, надо было ускользнуть лесной тропкой.

На прядильной фабрике сажали в мою честь пу-ти-су (липу) и фотографировали с работницами. Прядильная фабрика, правда на японских и германских станках, — поразительно механизирована: от хлопка Африки и до нитяных катушек на экспорт — почти никого нет в огромных цехах: хлопок перегоняется по трубам, машинами скручивается, растягивается, снова скручивается, сами меняются шпульки, и бочки со скрутками сами движутся по полам цеха хитроумными зацепами из пола.

В Као-Шьёне вошли в зал в перерыве концерта — тут же заметили и стали аплодировать ближайšie, затем встали все тысячи полторы, откуда-то поднесли букет. (Бедные, бедные тайваньцы! — почти обречённые, всеми покинутые.)

Посетил я и верфи в Као-Шьёне — потрясающее кораблестроение, огромные танкеры на экспорт, а сухой док, говорят, второй в мире по величине, не знаю. Впечатления были так велики и натеснены, что я и не пытался записывать. Великаны корабельных корпусов, уже готовых в море. Запахи моря и слитный шум работ, как бы пескоструйный. Сварка готовых блоков в сухих доках. Каждая мелочь качества деталей и блоков проверяется компьютерами. Хотелось остаться дольше, вникнуть — а стыдно занимать собой внимание инженеров и рабочих.

Но ещё нет на острове всеобщего процветания. Тайвань одновременно: и процветает и выволакивается из нищеты японской колонизации. (Впрочем, остальному Китаю сейчас только пожелаешь такого уровня.) Побывали мы во многих и нищих местах, особенно в приморских. Тут и свои тяжёлые промыслы. Сушка соли из океанской воды: приходит вода по канавам, разливают её по ямам 1-й концентрации, затем 2-й, потом по сушильным квадратам, из них сгребают соль, несут в кучи, всё босиком. — Мелкий пруд, куда запускается из океана мелкая рыбка сабахи, здесь подкармливается (но при слишком большой жаре рыба погибает). Из нищей избушки рядом выходят двое рыбаков в одних юбках, заплывают на плоту, соскакивают и тянут сеть (обычно — ночью, чтобы к утру — свежую на рынок). — Немало обшарпанных лачуг, кирпичи как будто даже не цементированы, торчат свободно, да ведь зимы тут и не знают.

И в Лу-Кане — узкие, довольно зловонные переулки и задворки с неприглядной жизнью, как там живут и дышат? Тесная двухэтажная открытая жизнь. Вдруг на втором этаже над грязным переулком мост, и о нём тут же мемориальная доска: построил его Чен-Чи, на нём встречались поэты и писатели обмениваться идеями о каллиграфии, живописи, садовом искусстве, поэзии, шахматах, музыке и для приветствий луне.

\* И сколько сейчас в Тайчжуне попали в уничтожительное землетрясение... (Примеч. 1999.)

В городе Тайнани (прежняя столица острова) встретишь и телегу, запряжённую волами. Но и в нём, и ещё больше в Као-Шьёне, и повсюду — изобилие мотоциклов (как в коммунистическом Китае велосипедов): в конце рабочего дня едут сотни и сотни, запруживая улицы, — главный вид транспорта, хотя и автомобилями немало. (Даже большую живую свинью везут в мотоциклетной прицепке.) А светофоры — только в крупных городах, всюду на дорогах — регулировщики, дешевле. (И в гостиницах — изобилие прислуги, как в Японии.) Улицы переходят где хотят, даже дети. Хоть на всех нестроишься быстро — но строят и новые 10-этажные дома, с лифтами, был я в такой четырёхкомнатной квартирке учителя начальной школы.

Улица торгового ряда вся голубая: от солнца голубые навесы с обеих сторон перед магазинами. Но днём торговля вялая, днём и едят мало, а начинается торговая жизнь с 5 вечера — и до полуночи. К 9 вечера мы застали её разгар на торговой (и обжорной) улице Као-Шьёна. Множество ларьков сплошь по тротуарам, изобилие запасов и готовки, жарят, парят, кричат, — правда всё больше морское и на мой вкус запахи невыносимые. Тут же закусьвают, поставив в темноте мотоциклы (никто их не запирает и не уводит, в городе жителей под миллион, а жизнь вполне безопасна всю ночь). Китайцы много едят, и в обильных количествах. И пить не боятся, их водка — около 70°. Хотя в китайской пище многого я избегал, но и куда больше ел, чем при японском «глазоедстве». Пища китайцев несравненно вкусней. Как и язык на Тайване мягче японского, на мой слух. Как и сами китайцы теплей.

Не пропуская я, разумеется, и храмов. Немало тут буддистских (40 процентов тайваньцев исповедуют буддизм, он укрепился после Второй Мировой войны). Такие храмы уже знакомы были мне по Японии. Тут отметить лишь — буддистский центр Фо-Гуан-шань (Гора Света Будды) под Као-Шьёном. Огромная золочёная статуя Будды над зданием — свыше ста метров над уровнем местности. Очень простая прямоугольная конструкция храма. Три огромные фигуры рядом — сидящие, поджав колени: Будда Амитабха, Будда Сакья-Муни и Яусен-Будда (лечащий). А в нишах — 14 800 маленьких будд и над ними маленькие огоньки. Ещё «свет сокровищ» — многосветный вращающийся конус из многих застеклённых окошечек, в каждом — маленький будда с лампочкой: зажигает эту лампочку тот, кто возносит молитву за здоровье или удачу, и снаружи на бумажке — его имя. Когда конус вращается — раздаётся музыка. Погоню буддистов за огромностью и за количеством — нам трудно понять, не улавливаю, как это связано с проповедуемой брэнностью бытия. Так и подходы к главной статуе ещё обставлены сотнями совершенно одинаковых золочёных будд. У самой большой фигуры: левая рука вниз означает мудрость и приветствие из рая, правая вверх означает милосердие. Тут живёт 250 монахов (в чёрном, но иные — с фотоаппаратами, и тоже щёлкают).

Теперь предстояло смотреть конфуцианские храмы и прямо языческие. Они иногда и сочетаются. Такой большой комбинированный храм — на склонах всё того же Солнечно-лунного озера. Три храма, один за другим в глубину, почти вплотную, и ещё некоторые — из трёх зданий в ряд, все с китайскими гнутыми крышами и щедро изукрашены резными фигурами и лепкой. На площадке перед ближним — два больших стерегущих краснолицых дракона, опёртых лапами на белые шары. И ещё с боков — по китайской беседке. Первый центральный храм опоясан галереей с красными лепными колоннами, и галерея посвящена материнскому божеству Матсу, сторожащему остров (уж отсторожила бы от коммунистов!), — «святая мать в небесах» по легенде родилась на малом острове близ Тайваня, взята живой на небо, спасает людей и особенно моряков. Перед храмом дымит курильница. Молящиеся тут не снимают ботинок. Перед нишей алтарной части — жертвенник с денежными бумажками, бросают «на счастье». Всей резьбы и лепки невозможно описать. Из каждого нефы свисают узорочные фонари. В глубине алтаря уже другие божеества — Ю-Фей и Кан-Нюи, сидят рядом в креслах как два соцарствующих

царя, оба чернобородые, в одеяниях золочёных, лицо Ю-Фея ближе к нормальному цвету, у Кан-Нюю ярко-красное. В приделах — ещё фигуры других божеств.

Глубже и выше переходишь в конфуцианский храм Та-Центи. Тут в глубине алтаря сидит уже просто Конфуций, не раскрашенный, тёмный, он в шляпе с полями, загораживает рот каким-то жезлом или свитком, изображено лицо мудрое и даже хитроватое. И перед ним тоже жертвенник, как перед всеми божествами, лежат бананы. Над алтарным углублением надпись: Великий Учитель Всего Мира. По бокам — красно-золотые ковчеги. В двух приделах фигуры учеников Конфуция Йен-Хуэ и Мэн-Цзы. Ещё какие-то щиты, секиры, конские головы на шестах.

А в конфуцианском храме в Тайнани (300 лет ему) — напротив, украшений мало, очень скромно внутри, разве что два симметричных оранжево-фиолетовых фонаря, и нет статуи Конфуция в алтарном углублении. (От частого мелькания статуй может быть потерян его авторитет, вместо этого — щит с изречением из него, и ещё по верху его слова: «Каждого можно научить». Как из Толстого...) Рядом с храмом — учебные помещения учеников. (И ещё рядом — спортплощадка для бейсбола простых школьников. Докатился и сюда.)

В большом языческом храме близ Тайнани — добрая сотня красных колонн, больше десятка изогнутых черепичных крыш, по их карнизам — драконы, всадники, орлы, лебеди, лодки, несдержанная щедрость фигур. Мой вход приветствовали звоном колокола и каким-то шумовым бубном. Жертвенники тут посерьёзнее — под листовым железом, ибо закалывают свиней и телят. В мою же честь устроили густое курение и отперли мне главный алтарь, а там в алтарной нише пять богов: У-Фу, Чен, Суй... А на боковых стенах — лепка тигров и вроде морских скорпионов, неописуемые чудовища: головы — с длинными рожками усов и развевающимися струями волос. За храмом дальше — обширный цветник с дугвым бассейном, причудливыми нагромождениями камней (избыточно, не по-японски) и множеством каменных фигур — зебра, жираф, косуля, журавль, лев, орёл, верблюд. Кирпичные переходы, цементный (но под вид бамбукового) мостик через водоём, потом лабиринт в камнях по грудь — и поднимаешься к двухэтажной галерее, где на стенах — китайские картины тушью и откуда просторный обзор на низменную приморскую местность.

Подобен этому и храм Матсу в Лу-Кане, где также встречали меня боем колокола. Всё то же изобилие гнутых цветных драконов на гнутых цветных крышах. Курильницы и посреди двора и внутри храма, сильный запах курений. На алтарном столе много приношений продуктов. Заимствованные из буддистского храма многолампочные конусы, но в каждом малом углублении — не Будда, а Матсу. Густорезьбяной алтарь, а за стеклом — ещё изваяния богов. А за алтарём — ещё небольшой дворик с фонтаном-драконом, тут же второй храм, двухэтажные и башенные надстройки прелестной архитектуры. Этот храм посвящён китайскому божеству Юй-Хуан-таты: бородатые старики по трое сидят под стеклянными колпаками. Но во всей суе и фотовспышках корреспондентской толпы — стоит женщина на коленях перед алтарём и, ничего этого как бы не замечая, прилежно молится.

А ещё — всюду по острову рассыпаны, близ дорог стоят — маленькие, иногда вовсе крохотные, часовенки-алтарики с огоньками внутри — крупней или мельче, по средствам округи: каждая малая местность имеет своего отдельного покровителя и строит ему такой храмик. Тянется к Небу душа. Есть культ Чен Хуан-йе — божество защиты людей, даёт здоровье и счастье. Вот часовня Фу-Ан-мяу: на четырёх красных столбах — крыша над столом для приношений, за железной дверкой — маленький алтарик, как печь, там какие-то предметы — и крохотная сидящая чернобородая фигурка в золотой короне.

На Тайване вовсе нет расслабляющего дневного телевидения. А в Као-Шьёне вечером перед зданием «культурного центра» — стихийный массовый танец молодёжи на полуосвещённой площадке. И что же? не прижимка, не развязные раскачивания, но девственно-невинно: то хоровод, как в прежних



русских танцах, то круговое касание плеч руками, то, попарно разделяясь, обходят друг друга по малому кругу, то прихлопы и притопы. Да нигде не увидишь обнявшихся парочек. Вошли мы и в сам «центр», на концерт: студенческий квартет из классики, потом девичий хор, человек 40, нежными голосами спели две песни местного композитора, очень чистых, вроде нашего церковного пения.

Видел на Тайване и один замок — Су-Кан-Лоу, построил его 320 лет назад Ко Син-е, сам из династии Мин, при её свержении бежавший с материка от династии Цин. (Как бы предшественник Чан Кай-ши...) Скульптура изображает и голландских послов к Ко Син-е. (Остров «открыли» португальцы, но затем захватили и грабили голландцы.)

Поездка была — и испытание жарой, уже ходил я в сетчатой рубашке, пересеча тропик. Уже нигде в душе не бывало холодной воды, а всё тёплая. Всё же много у меня ещё сил оказалось, на моём 64-м году: прокрутился в жаре 6 недель, и ещё мог бы, если бы располагался к тому смысл. Но уже не поехал в тропический Кен-тин-парк и к коралловым рифам, ни в горный восточный Тайвань, как собирался.

В Тайбей мы вернулись накануне моей речи. Поработал я с переводчиком — он понимал как будто больше, чем я ожидал. Убедили меня надеть чёрный костюм, хотя и середина жаркого дня. А отстранил из программы задуманное подношение букетов: слишком трагическая тема, и я не артист.

Речь заняла 50 минут, с переводом. Отзывно было говорить перед такой на редкость понимающей аудиторией (больше 2000 человек, зал с амфитеатром). Во всём сочувственны и чутко аплодировали в каждом задевающем месте. По окончании зал встал, аплодируя. Среди подошедших потом — молодой толковый министр информации, спикер парламента и глава не гоминьдановской «молодёжной» партии (а сам старичок). Министр информации просил разрешения распространять речь по миру по-английски. «Только если у вас есть хороший переводчик». Будто бы есть. Ужли?

После речи принесли мне в номер разбирать разные приглашения, предложения, нескончаемые изнурительные подарки — и в самом лишь конце подали письмо, задержавшееся на четыре дня, от русского — Георгия Александровича Алексева, бывшего крупного деятеля власовского движения. На Тайване! — вот неожиданность. Я тотчас ему позвонил. Пришёл, 74 года, собранный, умный, волевой. Счастье же какое — вдруг встретиться с русским человеком и говорить на полный объём, густоту мысли и свежесть. (Оказалось: это он и сделал английский перевод моей речи, а китайский переводчик за объяснением каждой второй фразы приходил именно к нему, отсюда и его «смышлёность», меня удивившая.) Я тут же стал интервьюировать Г. А. о Власове, о Пражском собрании ноября 1944, где его подпись под манифестом стояла третья, — а он переводил разговор на будущее России. Разочарованный в дрязгах австралийской эмиграции и её подорванности советскими агентами, он переехал на Тайвань работать в студии «Свободы» — но Киссинджер в своей «разрядке» с Китаем закрыл её. Теперь, пользуясь моим приездом, Г. А. хотел просить тутешнее начальство выделить из тайваньских передач специальный русский час на Сибирь.

Я бы и попробовал провести это через президента Чана, который всё собирался меня приглашать, да что-то не приглашал. Мне-то эта встреча, после отказа от рейгановской, была даже неуместна, но русский радиочас хорошее дело, для этого стоит. (Встреча так и не состоялась, и мне потом объясняли: после моей речи, с большими резкостями касательно Америки, Чан Чин-куо не мог открыто солидаризироваться со мной, это поставило бы его в неудобное положение. Тайваньское правительство хотело бы выиграть, не рискуя. Да никогда не посмеют они ссориться и с Советским Союзом, начинать русские радиопередачи. Ещё позже узнал: да в молодости своей, живя в Москве, Чан-младший был настолько ярым коммунистом, что в долгой ссоре с отцом, — и помирился с ним лишь после того, как бежал из СССР от ожидаемого ареста. Но закваска-то молодости — осталась...)

Вечером речь мою передавали по всем трём каналам телевидения одновременно, но по-разному снятую. Дали сплошь полностью русский голос, а китайский перевод иероглифами.

В речи моей явственен был оттенок, неприемлемый для Соединённых Штатов: что они отреклись от Тайваня. А ещё: я упомянул Грузенберга, посадившего Китаю Мао Цзе-дуна, да сравнил судьбу тайваньского народа с судьбой еврейского — это напрашивалось от равной численности этих народов, от сходной и несходной судьбы в ООН\*. Этот новый ракурс в Штатах заметили сразу, тайваньскую мою речь поддержали только правые газеты, либеральные даже не упомянули. На «Голосе Америки» несколько дней «зажимали» текст, не решаясь по-русски передавать его в СССР. А для русской секции «Свободы» третьеземigrant Шрагин поспешил составить «круглый стол», чтобы опакостить мою речь. «Как вы объясняете такие похвалы Солженицына Тайваню?» — спросил он американского *слависта* Альфреда Френдли-младшего. И тот бойко: «Наверно, его там накормили хорошо». И передачу такого уровня тут же совали в эфир на Россию — директор Бейли на «Свободе» успел снять, но это ему потом припомнили, при увольнении, как одну из главных вин. — (Позже достиг меня текст и московской радиопередачи «Мир и прогресс» на Китай, 18 ноября. Каждый в Советском Союзе и во всех частях мира знает, кто такой Солженицын: фанатический антикоммунист и адвокат автократической монархии, изменник своей родине, сейчас на Западе защищает интересы богатых. Заявление, которое он сделал на Тайване, несомненно доказывает, что поездка предателя — часть вашингтонской враждебной политики по отношению к Китаю. Расточая похвалы режиму Чанг Чинг-ку (Чан Чин-куо), этот ультраантикоммунист стряпал разные слухи про Китайскую Народную Республику (это — Грузенберг...). В роли агента Вашингтона Солженицын применил высшие усилия своей элоквентной риторики, чтобы заострить амбиции тайваньских тиранов. — Как и всегда: жернова с двух сторон.)

Ещё три дня я пробыл на Тайване после речи. Уже хотелось кончать путешествие, встал ехать раньше, да не позволяло самолётное расписание.

Позвали меня посмотреть фильм «Портрет одного фанатика» по «Горькой любви» Бай-Хуа, запрещённой в континентальном Китае. Очень он меня взволновал, так щемили даже обрывки реальных сцен из краснокитайской жизни. Вот что значит сохранить кусочек своей территории — хоть для изречения правды. Сказал им: «Такие фильмы могут делать только перестрадавшие люди. Ни в какой Америке такого фильма никогда бы не сделали. Нигде нельзя так выразить Китай, как с территории свободного Китая. Завидую вам: у нас, у русских, нет такой территории, и мы не можем сделать подобного».

Осматривал музей китайских сокровищ. На поездку железной дорогой по восточному берегу (что-то вроде нашей Кругобайкальской) не хватило уже времени. Даже и Тайбея толком не видел: совпало их празднество, годовщина освобождения от японской колонизации, митинг, парад, — неудобно мне было мельтешиться. А остался на лишний день — новые приглашения. Не поехал в университет получать докторскую, не поехал в академию за тем же, — а тут приглашение генерала от гарнизона Пескадорских островов, — нет уж, увольте. Всегда надо знать точную меру отъезда.

Приготовил прощальное заявление для прессы. Спустились прочесть его в вестибюль гостиницы. Человек 30 корреспондентов засвечивали лампами, шёлкали, подсовывали микрофоны целыми связками.

Ещё предстоял мне прощальный ужин, который устраивал старик У Санлин и его Фонд. Поехали ещё в другой отель. Тут увидел я руководителей трёх тайваньских партий — гоминьдана, всё той же «молодёжной» и — социал-демократической. Последнего спросил: разделяете ли вы положения моей речи? — и с удивлением узнал, что — да. (Но, передавали мне, в либеральных

---

\* «Публицистика», т. 3, стр. 96 — 102.

интеллектуальных кругах недовольны: почему я не требовал беспредельной демократии в Тайване? Даже какой-то ответный «круглый стол» из профессоров успели составить по телевидению.) Уже все собравшись, ждали ещё 40 минут, пока министр информации привёз мне подарок от президента Чана: книгу по-русски его отца Чан Кай-ши «Три народных принципа». Не смели начать раньше...

Потом сели 15 китайцев за круглый стол — и начался двухчасовой изнурительный для меня ужин. Посреди круглого стола — концентрический вращающийся диск, на него и ставится каждое новоприносимое блюдо, а потом всего одна официантка, крутя диск, накладывает палочками в тарелки в строгом порядке: мне, потом справа от меня двоим, потом слева двоим, опять справа и слева (и вращает диск в разные стороны и всё время бегает вокруг большого стола), потом против меня хозяину, лишь потом трём второстепенным гостям около него. И эта процедура тоже продолжалась раз 16, сколько было блюд. Затем я заметил, что никто не начинает есть, пока не начинаю я. А некоторые блюда я и в рот взять боялся, затрудняя общую череду. Но вот — подали несомненную свинину и несомненную говядину — тут мне пояснили, что по китайскому обычаю нельзя доедать всё дочиста, а обязательно оставить что-нибудь на блюде. Напротив, заметил я: из рюмки лучше и не отпивать, сколько бы ты ни отпил — сейчас же дополняют. Китайцы пьют не так, как японцы, не осторожничают. У них даже изматывающая система поодиочного вызова на питьё: достаточно одному поднять рюмку в твою сторону — и ты должен с ним отдельно выпить, затем со следующим, со следующим (и вино пьют — горячеватое). Был, конечно, и омар — целый, в чешуе, с искусственными красными глазами, а куски вынутого и распаренного мяса отдельно, запах невыносимый. Был суп из птичьих гнёзд. Была свинина в четырёх видах: сперва целый большой кусок, но от него выдают только по кусочку жареной шкурки; потом — нарезанные ломтики её; потом грудные косточки, сильно зажаренные; потом отдельно жирные поджаренные куски. Я думал — не дождусь, кончится ли когда ужин. А серьёзно разговаривать было нельзя: переводчик мой никуда, и только у двоих чёткий английский — так мой ограничен. Кроме двух дюжин комплиментов о моей речи, и что мой приезд составит эпоху в Тайване (потом, действительно, постановлением парламента включили мою речь в школьные хрестоматии), да моих соображений им о русско-китайских путях, разговаривать не пришлось, они взялись между собой по-китайски, а я скучал. Наконец дождался десерта, но и это не конец, теперь фрукты в несколько приёмов (официантка художественно раздавала). Затем все стали слегка кланяться, чтоб я ещё более поклонился, я так и сделал — и стол распался.

После моего прощального заявления корреспонденты дежурили и на аэродроме и в гостинице. Но отъезд был устроен умно: из гостиницы уехали с чёрного хода, гнали на аэродром уже с опозданием, когда шоссе было чистое. На аэродроме ввели ждать в совсем отдельное помещение и на самолёт посадили отдельным трапом, прежде всех. И в пустом салоне второго этажа китайской линии ехали со мной только трое мужчин, теперь я уже понимал, что охранники. (Походило это в чём-то на мою высылку из СССР...) Через Тихий океан летели 11 часов без остановки, утомительно.

В Лос-Анджелесе на пересадке так оскорбительно неприятно ударил грубый американский дух: взрослые мужчины в вестибюле свистят, развязные девицы, преувеличенно важные толстые негритянки. Ощущение страшно чужой страны, не ближе Японии! — и почему я тут живу? Неужели не мог найти породней? И внутренность самолёта TWA — как тёмный неуютный сарай, в который натыкано кресел. Нерасторопные неряхи-стюардессы. Сколько самоуверенных лиц, и привыкли американцы к самолётам, как к трамваю. Ноги задирают. А на экране три часа выплясывал дурацкий фильм, спасибо что хоть звук — в наушниках, можно не слышать.

При полуночном подлёте, с большой высоты поразил ночной Нью-Йорк: не различить никаких отдельных огней, ни даже магистралей, а как будто всё

это крокодиловидное удлинённое пространство освещено каким-то адовым солнцем, вырвано им из тьмы. Источник света как будто внешний к освещённому предмету, но непонятно откуда идёт.

Считать ли, что хоть тайваньская речь разнеслась, поработала, может кого и усовестила? Не знаю. Прошло несколько месяцев — ещё меньше понимал.

Нет, вся эта поездка на Дальний Восток, да ещё со специальной подготовкой, — потерянное время, слишком роскошная трата его сравнительно с писательскими задачами. Наверно, не надо было мне во всё это вступать, а сидеть да работать дальше.

\* \* \*

С бодростью я ехал в дальневосточную поездку, но с каким же наслаждением вернулся домой: вот оно, моё истое место, теперь опять годами не сдвинул! Хватайся опять за «Красное Колесо»! — вот оно, счастье: работа.

Так несомненно казалось, что теперь — никуда, а прошло всего две недели — письмо от Джона Трейна, из правых американских кругов (финансист и консервативный журналист): если будет мне присуждена Темплтоновская премия (религиозная, никогда о ней не слышал), — то приму ли я её? поеду ли получать в Лондон из рук герцога Эдинбургского, супруга королевы?

При сём брошюра, со спиральной туманностью на обложке, в ней — пояснение этой странной премии: «установлена, дабы привлечь внимание к лицам, нашедшим новые пути для возрастания любви человека к Господу или понимания Господа... новые и эффективные методы внушения Божьей мудрости». Немного отдаёт каким-то масонством? розенкрейцерством? Но успокаивает, что они не ищут отменить все религии ради единой сверх всех, а премия «скорей стремится поощрять преимущества разнообразия». Присуждается «лицам, имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в мире». Мать Тереза получила, брат Роже Шутц. Десять раз присуждалась, а православному ещё ни разу, — как же не использовать момент, сказать на весь мир о своих? Но неприятно, что десятым, моим прямым предшественником, оказывался Билл Грэм, в самые дни получения этой своей премии скандально заявивший, что *не заметил* преследований религии в СССР (он только что был там впервые, и его пышно встречали).

Пишут: объявление премии — 2 марта, а получать в Лондоне — 10 мая. Так ещё полгода до нового разгона, и зиму на месте? Согласился.

(О самом Темплтоне ничего не было известно, кроме того, что миллионер. Лишь весной прислал Трейн книжку: разбогател на том остроумном методе, что надо покупать акции, которыми большинство пренебрегает, или вовсе даже бросовые, в момент кризиса, если впереди ожидаешь бум. Остроумие — разве не более приемлемый источник, чем капиталы братьев Нобелей, по оплошному простодушию российского правительства почти безналогово вывезенные из России? А ещё Темплтон «иногда покидал выгодные занятия, если отнимали слишком много времени: никогда не следует быть так занятым, чтоб не хватало времени думать — обдумывать и свои вложения, и большой мир, и религиозные аспекты». Вот такой американский протестант-пресвитерианец, в колоннадном белом доме на Багамских островах.)

Согласился я: ещё ли там и дадут — а пока открыта была полугодовая протыжка для работы. Почти вся она пошла на 3-ю редакцию «Марта». С удовольствием вёл её после дальневосточного перерыва. Собственно, это было моё первое прочтение «Марта» сплошное, подряд: такая четырёхтомная машина, что, прорабатывая её в разное время в разных частях, чаще прослеживая горизонтальные персонажей и действий, я только мысленно держал в голове, как это представится по вертикалям дней, — а вот впервые прочёл по вертикалям. И они — не обманули меня. Но в самих главах, и в мелочах, и в повторах — ещё совсем не мало оказалось работы. И после 3-й редакции только тот и вывод, что понадобится ещё 4-я, — да не сразу, а ещё с перерывом же. В эту

зиму много надо было докончить, чего не успевали с Алей раньше: отпечатку конца «Октября», второго тома, а значит ещё редакция.

И ещё: настойчиво хотел я напечатать в «Вестнике» «Наших плюралистов» (сперва стояли они фрагментом главы «Тараканья рать» в «Зёрнышке»). Собирался ещё годом раньше, Аля была против. Составлял я «весы», и даже не один раз. За было то, что не следует так уж многолетне покорно уступать русскоязычную аудиторию и в эмиграции, и в России, дать же проясниться и сознанию сторонников; вовремя отметить опасное течение будущих новых февралистов; это — естественное продолжение моей «Образованщины», отчего ж не проследить её дальше, за семь лет один раз и ответить, неверно давать клевете присыхать; да уже написано, сейчас не напечатать — через 10 лет совсем остынет, никому не нужно будет и в «Зёрнышке». Против — что, однако, нет и острой потребности, и что главное моё дело — совсем не в этой полемике. И, настаивала Аля: они, мол, и так блекнут, тонут (о, ошибочное предсказание), не надо до них опускаться, и такая мелкая побочная дискуссия не интересует наших на родине, я только оторвусь от России. (И тоже не так.)

Всё же я решил печатать. Аля прежде всего, по своей хватке, кинулась строго проверять цитаты из «плюралистов» — а страницы не все у меня были точно указаны, листала она эти сотни мерзких страниц вновь. Когда я все эти книжёнки сам прочитывал в прошлом мае, мне все жилы тоской вытягивало, что я делаю ничтожную бесполезную работу, — а в таком пренебрежительном состоянии нельзя работать: обнаружила теперь Аля, что я наторопился, наошибался при выписке цитат, — большей частью безвредно, а всё равно неуместно, ибо будут вцепчиво придираяться. Всё нашла, всё перепроверила, — неуязвимо. Затем, доказывала: не имею я опыта спора со многими мелкими, переносу сюда страстный тон, уместный в противостоянии с Чудищем, но не с тараканьей ратью, — и, во многих спорах, срезала мою раздражённость, ковала в сдержанность. (Я и сам знаю, что сдержанней — всегда внушительней, но трудно удержаться.) А центральное её предложение: я указывал опасность, что «они хотят вернуться и руководить по меньшей мере русской культурой», — она убеждала, что *эти* уже неплохо устроились на Западе, не всем им так сладко и возвращаться в голую страну, а реальная опасность, что *такие вот*, и в ещё большем множестве, созрели в СССР под чугунной коркой режима — и вот *они-то* встряхнутся в тот день Икс. И ведь права, зорко видит. Это я принял, наверное так: там, под советским панцырем, не созрел ли уже такой же резвый рой, если не десять их? И ещё убедила меня Аля на несколько важных композиционных перестановок в статье, верное чутьё и на композицию.

А за всем тем объявили мне в Вашингтоне премию. Даже — за три недели раньше поздравили меня и Темплтон, и Трейн, и даже... американский экс-президент Джеральд Форд, который, оказывается (это не было объявлено раньше) состоял среди присуждающих международных судей. И теперь Темплтоновский фонд сверхпрограммно звал меня в Вашингтон, чтобы я присутствовал при объявлении, и даже бы пресс-конференцию давал. (А Форд — тоже приедет и будет демонстрировать наше «примирение».) Да разорваться! Такого условия вы мне не выставляли, я б его и не принял никогда: не говоря уже — сейчас работу расстраивать, но за одной и той же премией два раза ездить? — да в чучело превращают. Так и ответил: нет, не могу, поеду только в Лондон. А пока — отделался малой телеграммой. (Так понимаю, что Темплтоновский фонд обиделся на меня.)

Но оглашённые в Вашингтоне и присланные мне материалы по присуждению оказались глубже, чем я от них ожидал. Самой удивительной была формулировка, что «доказана жизненность православной духовной традиции в России» — о чём и идёт наш самый горячий спор с врагами России. Референты Темплтоновского фонда — или судейской коллегии? — потрудились, искали, понабрали по моим книгам, чтоб бы положить в присуждение. Верно нашли: и моё стихотворение в лагерной больнице, в «Архипелаге», и мою отдельную «Молитву».

И поразился я непредвиденным путям. Ведь уже который раз печатают эту Молитву, ссылаются на неё, впечатлены ею, — а ведь я её в мир не выпускал — это сделала Елизавета Денисовна, самовольно, и я её как бранил за то! Так же самовольно, как и дохранила «Архипелаг» до гебистов, и выпустила «Архипелаг» в мир. И за оба самовольства я должен только благодарить покойницу. Была она — орудием Божиим.

Значит — на премию надо готовить ответную речь. Ещё задача. Все годы я интуитивно избегал прямо говорить о вере: и нескромно, и оскорбляет чуткий слух: не гоже декларировать веру, но дать ей литься беззвучно и неопровержимо. А вот сейчас — подошёл момент, нужна речь именно на религиозную тему. Однако от первизны эта речь и для меня самого оказалась ещё ступенькой. Особенно — в понимании земной жизни как ступени развития жизни бесконечной. Я и давно уже так понимал и писал, что цель земной жизни — окончить её нравственно более высоким, чем начал. Однако цель духовного развития не простирается ли и за земную грань?

Тут ещё, из глубины десятилетий, мне подал руку земляк Игорь Сикорский: аэроконструктор, он, оказывается, занимался и философией мироздания. Одну из таких речей его, 1949 года, перед маловнятливыми американцами, мне внезапно прислал его сын — и она ещё подтолкнула меня в соображении, что загробной жизни доступны скорости выше световой — а только при этом условии и может Вселенная быть обиталищем. (И только тут я понял окончательно, почему самоубийство — такой великий грех: это — добровольный срыв развития, отталкивание Божьей руки.) Стало для меня всё — твёрже на места.

Конечно, как всегда у меня, создался и в этой речи избыточный политический заряд, но без этого на Западе мне выступать не удаётся, всегда набирается что-то им высказать. И о Западе вообще, и как они безнравственно ввели в мир ядерную бомбу — уже побеждая! — и на гражданское население. Не так проста мировая картина. Не мог я не зацепить и подозрительно просоветенный Всемирный Совет Церквей. И нельзя было смолчать о прошлогодних лукавых выступлениях Билла Грэма. Теперь ещё потому нельзя, что они кляли пятно и на саму темптоновскую премию.

Но если и в такой речи я не могу отвлечься от политики — значит, мне вообще лучше не выступать. Надо кончать.

А ещё, оповестил Фонд, нужно сказать и 4-5-минутную благодарственную речь принцу Филиппу в Букингемском дворце. Что же делать? Моя главная речь и так раздувалась больше заказанного. Я решил разделить материал и сделать малую речь как бы частью целого.

Но и речи уже были готовы — оставался до Лондона месяц. Набиралось разной подготовки — для встречи с издателями, для встречи с переводчиками: излюбленным моим Гарри Виллетсом, который так медленно, но так успешно переводит мои книги, с милым Майклом Никольсоном, который переводить чаще не берётся, но экспертирует переводы и так пристально собирает всю библиографию обо мне, очень помог Але с примечаниями к публицистическим томам Собрания. Ещё — с Мартином Дьюхерстом, — тоже, казалось нам, обещающим переводчиком. А тут ещё неожиданно вышли по-английски мои «Пир победителей» и «Пленники», и ещё два новых имени переводчиц, — так надо их повидать, может они — находка? Так ещё раньше надо анализировать их переводы? (Автору это бывает доступней, чем даже и знатоку обоих языков.) Сел, немало потратил времени, нашёл и достаточно ошибок, но и, показалось мне, неплохо передан тон, настроение, несмотря на прозаический перевод стихов. (Отчасти и доказательство, что есть в «Пире» неутериваемое зерно. Я к этой пьесе сохраняю нежность.)

Да небольшое чтение об Англии как таковой.

А тут как раз, в марте (1983), навис арест над Сергеем Ходоровичем. Он успел выпустить заявление, и мы успели поддержать его своим, но тщетно: в начале апреля его арестовали. И не успела обернуться наша с Москвой пе-

реписка, что, при андроповском крутом повороте, лучше бы следующему распорядителю официально не объявляться, не класть себя обречённой жертвой, — как Андрей Кистяковский (его кандидатура была согласована с нами прежде) объявился — и в этих днях пришло известие, что тут же и хватали его в ГБ и предупредили о скором аресте. И вот, против всех сил физических полей, когда не этим заняты уши и внимание Запада (да и понятно), — Аля начинает кампанию в их защиту: ведь, по-андроповски, им придумали клеить *измену родине*.

Тайные движения в сферах советской власти не всегда предугадаешь. Несколькими месяцами я не высказывался, выдерживал срок, пока Андропов проявит себя яснее. Ускорением поворота северных рек и с ареста Ходоровича он для меня уже определился до конца: всех-то его новых идей — закручивать гайки под Сталина.

И в это же время пришла просьба от Темплтона: дать в Англии пресс-конференцию. Самая бесполезная форма, но отказать Темплтону я не мог. Поставил только условием, чтобы — малое число корреспондентов, не толпа.

Что ж, и так уже перекорёжены эти месяцы для работы, погибайте и до конца! Часа по три в день ещё успевал я окунуться в газеты «Апреля Семнадцатого», только растрата. А занялся, как и перед Японией, приведением в порядок публицистической картотеки (заготовок), теперь европейской. Что ж, это тоже не без пользы, и даже уместно какое-то уравниловеньё с дальневосточной поездкой?

С западными журналистами не намного трудней, чем с советскими бонзами: в общем, всегда известно, что у них дежурное, на кончике языка. Сейчас первое, конечно: как я отношусь к противоядерному движению в Европе. Самое простое сказать, что движение подпитывается Советами. И так оно и есть. Но, посетив Хиросиму и после учёных предложений профессора Гёртнера, как уничтожать избирательно этнических русских, — имея повод лучше обдумать американские ядерные достижения, я уже в темплтоновской речи поднялся осудить и их, и всю идею ядерного зонтика. Так ясно мне увиделось, что, потянувшись за сатанинским даром ядерной бомбы, Запад тогда же и лишён был разума: он держался за этот смертельный цвет как за свою защиту, а в ней-то и таился губительный соблазн: вослед западные мужи — Рассел, Кеннан, Гарриман и десятки — стали умолять своих к уступкам, уступкам, уступкам коммунизму, только бы не было ядерной войны. (Впрочем, я никогда не верил, что она разразится: это было бы уничтожением замысла Творца о человечестве.)\* Приготовил я для пресс-конференции подробный чёткий обзор проблемы, хотя длинный. (Я опять забыл главный-то порок пресс-конференций: что ни один ответ не пронырнёт целю и связно, а каждый корреспондент выдёргивает из него клочки и лохмотья.)

Были и другие вопросы-ответы, мы с Алей отвечали попеременно. И о Ходоровиче, о судьбе нашего Фонда в СССР\*\*. Пресса раздёргала по мелочам, кто что в клюве унёс.

Между тем необходимые или даже неизбежные встречи в Англии всё налипали, и все стягивались на Лондон, как будто он давно заказан, только туда и ехать. Но сверх их всех — ещё же скорпионный Флегон там. И уже с год у меня переписка с О. С. Ленчевским, из-за меня попавшим тоже в судебный переплёт с Флегоном. Да просто: самую первую из всех лондонских встреч и надо назначить с Ленчевским. А значит: ещё пачку судебных документов, при-

\* Все 70-е годы и начало 80-х я бесспорно ожидал новых побед коммунизма. Да в те, дорейганские, годы Америка только проигрывала и отступала везде, и брежневская клика имела все силы успешно кинуться на Европу, и Форд, и Картер сплошали бы. Но наши постаревшие вожди ещё хотели пососать жизнь в своё удовольствие, а тем временем Рейган укрепил Америку, — и перед новой гонкой вооружений советская экономика (но не наука!) спасовала. Так, ещё до Андропова, кончился ленинский натиск на планету. (Примеч. 1990.)

\*\* «Публицистика», т. 3, стр. 104 — 119.

сланных им раньше, по своему делу, успеть прочесть до Лондона — хорошее занятие для писателя!

Олег Станиславович Ленчевский, 67 лет, высокого роста, жилистый, энергичный, оказался неуклонен к истине и несгибаем в принципах, — какие люди в наше время встречаются нечасто. В 1961, бывши успешным научным исследователем и притом членом партии, посланный на конференцию в ЮНЕСКО, он стал невозвращенцем и оставил в Москве беззащитную семью — ради того, чтобы выступить с публичными обращениями к Хрущёву — об ошибках внутренней и внешней советской политики, росте правящего класса, контроле над мыслями, а он не хочет постоянно покорно со всем соглашаться и голосовать всегда «за». Кроме русского желания выговорить душу — была у Ленчевского и (призрачная) надежда найти на Западе сочувствие к страданиям нашего народа.

И попала его семья в жестокие притеснения, и самому ему нелегко далась эмиграция, перенёс он и рак (однако одолел его). Устоял в новой трудной жизни, одно время работал на Би-би-си, потом зарабатывал техническими переводами. А через 20 лет, в 1981, попал в горшую беду, когда вмешался защитить меня от флегонской грязи. С этого момента потянула его в себя заглывающая машина неперемняемого британского суда, по моим впечатлениям — гниющая язва современной Англии.

Флегон тотчас принял меры запутать Ленчевского, а после достойного ответа его — подал в суд. (Не знаю почему, но в Англии такой суд сразу оказывается «Высоким».) Ещё месяцем спустя «Гардиан» напечатала пошлую статью: «...русские писатели устроили бурю в самоваре... Каждый русский эмигрант, который чего-нибудь стоит, уже покупает билеты — ехать в Лондон на суд». Тут же не кто иной, как Давид Бург, благосклонно комментировал книгу Флегона. Ленчевский тотчас вослед в «Гардиан» ответил о ней: «Многие ли читатели „Архипелага“ и „Ракового корпуса“ согласятся считать автора их — лгуном, предателем, трусом, лицемером, сплетником, прелюбодеем, лжесвидетелем, мегаломаном, параноиком, болтуном, бесчестным демагогом, к тому же скрывшим своё еврейское происхождение, и к тому же антисемитом... Изобилие грязных русских слов должно [по расчёту Флегона] сделать книгу приманкой для покупателей». — А дальше, покидая свои заработки, ушёл в суд с Флегоном с нарастающей страстью. Хотя Флегон и знал Ленчевского по Би-би-си, а недооценил его упорства и принципиальности, тронул его сутяга себе на беду.

Ленчевский надеялся: по мерзкому качеству книги Флегона почти на каждой её странице, — легко набрать 15 — 20 свидетельств добрых людей и завалить ими стол суда, чтобы качество флегонской книги, недоступной английскому читателю, кроме наглых иллюстраций, не вызывало бы сомнений. — Но как бы не так, не рассчитал он духа российской эмиграции, да впрочем вполне и естественного; запрошенные им в Париже эмигранты отвечали: «да нечего с Флегоном связываться, лишь делать ему рекламу». И дал просимый «аффидевит» (свидетельство под присягой) лишь один Олег А. Керенский (с которым мы совсем недавно перед тем спорили о роли его отца в революции): «Я никогда не читал ни на одном языке более оскорбительной, непристойной, порнографической, поносной и расистской книги... текст написан матом и оскорбительными выражениями, не употребляемыми в нормальной русской литературе».

Однако Ленчевский, по своей страсти к справедливости, уже раззадорился: раз и навсегда прижать этого «уникального террориста с печатным станком», во всех прошлых судах уходившего от наказания. Текли месяцы и месяцы обычной судебной затяжки — а Ленчевский систематизировал флегонские дела всё по новым и новым реестрам: и почему эта книга — ниже уровня литературного произведения; и набор порнографических мест; и сравнительные перечни цитат, как благожелательно отзывается Флегон о КГБ и как враждебно о ЦРУ; и подборка антисемитских мест (антирусскими английский суд не заденешь). Всё это заставило оборонщика моего произвести самому более 70 страниц доказательных переводов из 1000-страничной книги Флегона, огромная работа, потом заверить точность этих переводов у авторитетных двуязычных англичан — Питера Нормана и — неожиданные для меня фамилии — Джеральда Брука и Майкла Гленни. Сочувствующий мне Л. Финкельштейн-Владимиров, тоже с Би-би-си, управился получить письмо от исполнительного директора



Совета британских евреев в книжный магазин Фойлд: «Книга враждебна к евреям, я не хотел бы дать ей незаслуженную публичность». (На самом деле книга Флегона — резко анти-русская, а не антиеврейская, но и тут он вывалил несколько скользких выражений и анекдотов.)

От этих проявленных шагов Ленчевского Флегон замылся, не ожидал такого упорства, в прежних своих судебных историях он скорее встречал жажду примирения от напуга. Он — затаился, не стал отвечать на вызывные повестки, не стал являться к «Мастеру» (низовой судья для промежуточных процессуальных решений), — впрочем, в очередной рекламе своей книги ещё по-новому исказил слова Ленчевского, последовал новый протест Ленчевского: запретить и ту рекламу! Извивчив Флегон, за ним только следи.

На долгих этапах всегда длительного процесса прославленная английская Фемида проворачивает свои жертвы по чисто формальным внешним признакам, с упором на сверхтщательную процедуру, безо всякого вникновения в суть дела. Тщетно взывал Ленчевский, чтобы кто-то в суде хоть перелистал, в чём же состоит дело, и какова многотяжебная история самого Флегона, и что это за фигура. Он набрёл и на такую статью, 3390, английского закона: об ограничении безосновательных тяжёбников, — но как её применить? А Флегон — как рыба в воде в этой судебной мути, и очень к нему благоволят судебные власти как к фигуре обиженной, беззащитной и безденежной. Вот, он успешно оттягивал невыгодный для себя суд. Возник слух, что он тем временем готовит английское издание своей книги, и, вероятно, сократит в нём неприемлемое, и ещё придётся заново доказывать в суде, что это — «не то».

Ещё летом 1981 Ленчевский послал мне письмо — но не по почте, через Яниса Сапиета, — а тот решил меня не отвлекать и не передал, мало веря, что у Ленчевского что-то выйдет, его и все вокруг отговаривали: бросить дело, покинуть, даже хоть откупиться. И о его деле я узнал стороной, с опозданием в несколько месяцев, написал ему первый, уже летом 1982. И тогда он отозвался: надеется — уже близок конец суда с Флегоном, «теперь уже не он, а я настаиваю на передаче дела к слушанию, преступный истец стал ответчиком по моему делу... такой увёртливый сутяга просто не предусмотрен английскими законами», но надо его уловить. Этот твёрдый уверенный тон поразил меня. Напротив, Флегон проявил слабость и в том ноябре написал Ленчевскому письмо, притворно раздвываясь в боевой вид: что он *согласен* остановить свой иск, если Ленчевский заплатит ему расходы по суду, потерю дохода от письма в книжный магазин и возьмёт назад свои обвинения о книге.

«Платить» — это было выдвинуто с запросом, а из десяти человек в положении Ленчевского девять согласились бы на мировую, только бы отвяжаться. Но — не таков Ленчевский, он видел тут защиту не столько меня, сколько «Архипелага»: «Вечная память о моих сгноенных родных и долг перед ними, у меня тоже пепел Клааса бьётся в груди».

И уже назначали дату суда — на июнь 1983. А Флегон применил вот какой изумительный ход: он попросил теперь суд о разрешении переформулировать свой первоначальный, уже полуторагодичной давности иск к Ленчевскому, — так расширить, чтобы иск распространился и на Солженицына, и на «Имку», — то есть зигзаг кляузы, какой не снился и Диккенсу: за *свою* клеветническую против меня книгу подать в суд *на меня же* (при полном моём бездействии) — *за клевету!* (Всё-таки нужно ему непременно, чтобы процесс был между им и мной по поводу этой книги.) И чтобы судил не судья, а присяжные. (Ленчевский: тогда — больше расчёта напасть на дураков.)

И что ж постановил Мастер? Что надо было думать раньше? что негодно менять иск на ходу? Не-е-ет! — разрешил Флегону сменить иск.

Вскоре Ленчевскому удалось добиться (это сколько ещё усилий) летуче-мгновенного приёма у Мастера, и он поспешил втолкнуть тому, что Флегон — профессиональный сутяга и нельзя так срамить британскую Фемиду. Тот в ответ: готов ли Ленчевский согласиться на прекращение дела, с компенсацией за счёт Флегона? И разумно б ему согласиться, да уж разгорячился: «Нет, настаиваю на широком судебском разборе, чтобы всю историю осветить поучительно в общественном плане!» — И пишет мне: «У друзей создаётся впечатление, что я по децибелам начинаю перефлегонивать самого Флегона. Но — сознание затянувшегося бессилия, рот заткнут юридическим кляпом. Сознание, что в ослеплённую Россию ползёт эта мерзость». Атакующий дух! «Теснить и теснить его без устали! Он всегда выигрывал из-за оборонительности и пассивности другой стороны. Раздавить его как любое вредное пресмыкающееся целиком и поскорее, чтоб не мог за всё взяться сызнова!» И накапливает всё

новые папки аргументов и доказательств, всё новые переводы кусков из книги, уже перевёл оттуда больше трёхсот страниц, — «мой флегоноведческий опыт». Уже собралось 9 папок досье — «а в случае суда присяжных это надо размножить в 12 экземплярах, руки опускаются». (Общее впечатление от судов, не только британских: грандиозное перелопачивание пустоты, малый формальный повод распухает столбами бумаг.) Ленчевский надеется, что теперь-то, после двух лет процесса, «игра переходит в эндшпиль... близится разгром супостата». Он всё бодрится, но вот уже «усталость от борьбы начинает давать себя знать», перед моим приездом болел. Он ждёт же, что и я наконец буду сопротивляться и действовать! — недоумевают, почему же пассивен такой энергичный человек, как я?

Да, вот такая кусливая гадина, как Флегон, сколько же отнимает времени, сколько сил заставляет тратить! Но — разве есть они у меня? Мы с Алей на всё везде вдвоём, и еле-еле вытягиваем. Редкий случай вот — повезло на содействие благородного человека. Господи! Как бы мне жить, никогда не имевши дела с адвокатами? И 55 лет в Союзе ведь жил. Но на свободном Западе что ни шаг — то бери адвоката: я к тому времени уже и взял в Англии адвоката Сайкса, заочно, по рекомендации Э. Б. Вильямса. Ещё и к делу не приступав, за одни свои никчемные, и мне непонятные, свидания с Флегоном, да ненужный розыск о его истинном (скрываемом) адресе, да одну бумагу по делу — Сайкс уже отнял с меня увесистую сумму. И вот теперь в лондонской гостинице он сам, — высокий, грузный, крайне самоуверенный, — еле поместясь в кресле, поглядывает на неистового доморощенного правдолюбца Ленчевского и на мою беспытную неосведомлённость. Только презрительно кривится на нашу уверенность, что Флегон и взаправду агент КГБ, — «да такого бы они не взяли», то есть такое ничтожество, — знает Сайкс КГБ?.. Он знает — свод английских законов, набор юридических приёмов, — но уже давал советы Ленчевскому, и всё ошибочные. И как же ему вести моё дело, где я именно назвал Флегона агентом? Уже в это свидание я решаю, что надо нам расставаться.

Весь Западный мир взаимно пронизан международными договорами о судебном розыске — да не уголовном, а сугажном. За всякое свободное прямое слово — из любого дальнего угла планеты выползает на тебя иск о клевете. (Не влезла бы хоть будущая Россия в такие договоры!)

Повидавши своими глазами всю безнадёжность, непроницаемость грузного Сайкса, я только и хочу: как бы мне отвязаться и от него, и от судебного процесса, нет у меня жизненного времени для кляузных этих судов и несчётных судебных бумаг по-английски.

Умный на суд не ходит, а глупый с суда не сходит.

И снова настойчиво бьётся во мне мысль: да зачем я признал английский суд? зачем я брал этого неловкого адвоката? — ну пусть себе судят заочно, присудят сколько-то, наложат штраф на мой счёт в английском издательстве. А *выиграть* суд против Флегона мне никак невозможно: он всё равно объявит себя банкротом, и вся оплата ляжет на меня же. Да надо признать, что и пойманная в «Телёнке» фраза действительно трудна к защите, ибо сравнением со «Штерном» вроде ясно, какой это «Центр» руководит ими. Однако вот ведь затагивающая воронка: Ленчевский-то все силы до измота отдаёт этому процессу — по сути, в защиту мне. Горят его глаза азартом борьбы: неужели же я не поддержку фланга? Получается, что надо поддержать. Надо — отбарываться. Ах, кто хочет драться — тому надо с силой собраться.

Что Сайкс ничем не будет мне полезен — это Ленчевский видел ещё раньше меня. Но советует мне: взять настоящего боевого адвоката, он поможет найти такого.

Может быть, и правда так? Поручаю ему присматриваться. А сам, воротясь в Вермонт, пишу Сайксу категорически: замереть в действиях, не предпринимать без меня ни единого шага. Да успокаивает и оценка: что суд не состоится раньше как через полтора года, — а полтора года это прекрасная отложка, сколько льготного писательского времени, сколько ещё можно сработать!

В том 1983 году Ленчевский нашёл мне в Лондоне трёх кандидатов в адвокаты, я вступил с ними в переписку. Один, Лионель Блох, весьма к себе располагал: энергичен, резко политически настроен, понимает игру КГБ, знает и прошлые судебные случаи Флегона. И я бы заключил с ним, — но он стал рисовать мне, что нужен самый широкий процесс с привлечением экспертов по коммунизму, с моим непременно приездом в Англию на суд, — ну, на это всё я никак не размахнусь, лучше трижды проиграть.

И — зависаю опять на Сайксе. Как глупо, ведь каждое дело надо делать или изо всех сил, или вовсе не делать. Раз я не готов ехать и бороться — то не надо было и соглашаться ни на какие промежуточные меры.

Ведь из суда, что из пруда, — сух не выйдешь.

В бездействии проходит и 1984 год. Но суд всё-таки надвигается. В тревоге пишу Э. Б. Вильямсу: ведь погубит меня Сайкс, нельзя ли мне вовсе уклониться, не вести защиты? А оказывается: Вильямс когда-то кончал вместе с Сайксом учебное заведение, тот слушается старого приятеля, ставшего сверхадвокатом. И Вильямс берётся руководить Сайксом из Америки, а мне не надо ни о чём беспокоиться. Пишет мне: «Беру на себя полную ответственность за всё, что произойдёт отныне». А я всё-таки ещё уговариваю Вильямса: Сайкс проявил непонимание политической подоплёки дела, методы его не в уровень с задачей, ему не выиграть этого процесса. Пишу опять Блоху, а Блох стоит на своём максимальном размахе суда. И проявляю слабость: чем плох мне вариант Вильямса? Мне же только это и нужно, чтоб не читать судебных документов и голову не ломать. Прошу Вильямса взяться — и успокаиваюсь на два года. (Недопустимая никогда ошибка: жить чужим умом, вопреки своему прямому чувству. И опять же, опять же забываю о замурднёной английской системе: адвокат, то есть *солистор*, дела в суде не ведёт, он только подготавливает бумаги. А в суде ваше дело ведёт другой адвокат — *барристер*, которого вы не нанимали и в глаза не видели, — это для двойной ли оплаты адвокатов? И какой может быть у Сайкса барристер? Такой же, конечно, второй.) И сколько мы с Сайксом переписывались, и вот же выделись в Лондоне, — никогда он меня не предупреждал, что потребуется моё собственное свидетельство в суде, хотя бы письменное. А весной 1986, когда суд подступал, — пришлось срочно изготовлять такое свидетельство, и опять же Э. Б. Вильямсу, в Штатах. Ах, этот Сайкс! Да что же мне всё такие попадаются!..

А что с судом Ленчевского в июне 1983? Флегон извернулся, не явился — и с опозданием узнал Ленчевский (вымотка нервов, ведь как он готовился), в чём именно состояло перед тем декабрьское решение Мастера: пока Флегон пересоставляет первоначальный иск — весь судебный ход останавливается *без ограничения сроков!* — хоть десять лет, раз истец не готов к суду! — таков у британского суда неизменный перевес симпатий в пользу истца. Но за это время я пригласил Ленчевского сходить к нескольким юристам, и те убедили его: ходатайствовать об аннулировании флегонского иска за отсутствием состава обвинения. И потом было решение суда: аннулировать. И снова был протест от Флегона. И постановили: восстановить действие иска! Судебный марафон потянулся ещё на новые годы.

Прилетели мы в Лондон (Темплтоновский фонд перенёс на сверхскоростном «Конкорде») незамеченными, но фамилия «Солженицын» на первых газетных страницах того дня была, — на этот раз не моя, а 12-летнего Ермолая. Перед самым нашим отъездом из дому он успел отличиться в собственной школе: их посетила дутая советская делегация (замглавред «Известий»), а Ермолай, уже втравленный в политику, задал им супротивный вопрос насчёт разоружения, да на отличном русском, какого они здесь не ждали. И сразу это подхватила американские корреспонденты, для них забава, — и даже, вот, в Англию перекинулось. Выпирает из Ермолая политическая страсть, тоже в меня? Ещё не знает, бедный, что это за трёпка, и сколько надо сил, и высшего сознания, и внутреннего устояния.

По срокам вручения премии пришлось нам приехать в Лондон как раз под православную Пасху. Из кругов Темплтоновского фонда Зарубежная церковь знала, что на заутреню мы придём в их собор. Уже днём передавали мне, и теперь у входа встретил послушник, зовя не стоять в храме, как все, а скрыться на клирос, за большую икону. Я отклонил, мы с Алей стали, где все. Прошло несколько минут, снова послушник: епископ Константин приглашает меня в алтарь. Я спокойно отклонил: хочу — где все. Аля уже сильно нервничает: несмотря на всю интеллигентность, она перед священниками — трепетно преклонная, как простонародная баба. И вот, стали собираться на крестный ход — опять за мной: епископ просит меня пойти в крестном ходу с иконой. Я и не колебнулся: я пришёл молиться среди всех, и не обращайтесь на меня внимания. Но Аля — почти в отчаянии, напряжённо шептала: «Я тебя прошу!

я тебя прошу!» Отказала и мне трезвость, я уступил. (Простодушно подумал: а ведь никогда в жизни не ходил в крестном ходе.) Пошёл в алтарь, дали мне с престола икону сошествия во ад и поставили в крестный ход — сразу за епископом. А только этого было ему и нужно: тут же появился заготовленный фотограф со вспышкой, и пока мы ступали между наставленными автомобилями (весь-то и ход, вокруг храма и ступу нет) — он меня щёлкнул два десятка раз. И в этом положении — не отмахнёшься. (И с тоской я подумал, какова Зарубежная церковь, где ж её святорусская простота: второй раз меня прихватывают фотографы при храмовой службе, и каждый раз — в Зарубежной. В Американской православной церкви в Монреале я всю Страстную неделю простоял, и они не соблазнились.) Всё. На другой день на первой странице «Таймса», на главном месте: я с туповатым видом и икона с полотенцем в руках, — в такой форме огласился мой приезд в Лондон. Для современной Европы — почти карикатура, и ликование левых.

Жаль. Это не только срывало строгую взвешенность моей послезавтрашной речи в Гилдхолле — но вредило как раз тому особенному соотношению, которое мне до сих пор так естественно удавалось: сцепление веры христианина с тоном, приемлемым для современности, никогда не перебор, — тот верный, естественный звук, которым только и допустимо не-священнику призвать, повлечь потерявшееся общество к вере.

Весь пасхальный день мы с Алей плотно прозанимались, готовясь к намеченным в Лондоне деловым встречам. Они нарастали так внезапно, как будто меня в Лондоне только и ждали. (Комната номера была без письменного стола, без места для рабочей беседы. Мы попросили убрать одну кровать, заменили нам ломберным столиком.)

Ещё ж моя вечная судьба — обсуждать поправки и поправки к переводу моих текстов, в этот раз — предстоящей речи. Всю речь ещё в Штатах тщательно перевёл А. Климов, через океан советовался с М. Никольсоном; уже и я проверял дома и просил его там-сям об изменениях. Теперь — Лоуренс Келли, сын бывшего английского посла в СССР (и автор книг о Лермонтове), светловолосый, очень живой лицом, не по-английски открытый, ему предстояло читать английский текст на церемонии, и с ним седой изящный Джон Трейн — представили мне новый реестр поправок. (Тут играли роль и американо-английские различия в выражениях.) И приходилось вникать и порой давать согласие уже без ведома переводчика — и срочно это шло на перепечатку. Забытое счастье молодости: писать по-русски и ни о каких переводах не думать.

Ещё я должен был с Келли проверить разметку — где ставить паузы кроме точек, чтоб он не переводил ни больше, ни меньше, чем я произнёс, иногда и по синтагмам, — такой метод перевода я считаю наилучшим для восприятия переводимой речи, от неё выигрывает и русское звучание. И затем — такая же работа с Трейном по короткому Ответному слову принцу Филиппу, но затруднённая тем, что Трейн не знает ни слова по-русски.

Вечером в Светлый понедельник в программе стоял «приём в палате лордов», мы с Алей прочли с большим удивлением. Оказалось — совсем не лорды, а только лордское поместье, вестибюль, арендованный сэром Темплтоном для своей многочисленной родни и друзей, съехавшихся из разных концов света: премия вручалась только 11-й раз и процедура сохраняла характер семейности. Был это, по американскому обычаю, невыносимо пустой приём: стояние с бокалами в левой руке, а правыми рукопожатия, представления, представления, тут же и забывание. — Пользуясь близостью, нас с Алей сводили в зрительскую ложу и самой палаты. Ещё не кончилось вечернее заседание, на котором присутствовало, не совру, — 10 лордов, остальной зал пуст (наверное, не пленум, а комиссия), и в пустой глухоте большого зала докладчик важно разбирал вопрос о ловле красной рыбы.

Хорошо, что весь приём длился всего полтора часа. А оттуда сразу мы поехали на ужин к архиепископу Кентерберийскому Рамси.

Архиепископ живёт в полузамке, выдержанный английский стиль и двора, и здания, и внутренних помещений — и в духе том же всё убранство. Госте-

приимство, приятный ужин не охлажден чопорностью ни изготовления, ни подачи. Архиепископ ко мне чрезвычайно ласков (но, вероятно, и ко всем, а среди его предшественников были и прямо красные) — и я спешу просить его публичного заступничества за арестованного Ходоровича. Обещает. (Наслышанный о дипломатии англиканской церкви, не имел я уверенности.) Было у меня задумано что сказать архиепископу и более наглядное: как в январе тут обнимали митрополита Киевского Филарета и аплодировали политическим ораторствованиям ленинградского профессора Сорокина, — и ни один англиканский священник в ответных словах ни звука не проронил о преследованиях религии в СССР, — да ведь зачем им ссориться с могучими на пропаганду советскими властями? Сокращённо — я сказал своё приветливому архиепископу — но без надежды: броня благополучия — самая толстая из бронь. (Через несколько дней я прочёл в «Таймсе», что в последние десятилетия английские церкви заметно теряют молящихся. Да это и всемирный процесс.) На ужин порывалась приехать и Маргарет Тэтчер, но не удалось ей, да тут была бы и не встреча, скомкалось бы. Однако присутствовал милый старый джентльмен Лоуренс ван дер Пост, доверенный и её, и принца Чарльза.

---

Солнечным утром в наш Светлый вторник мы поехали в Букингемский дворец, миновали перед воротами всегда дежурящую публику любопытных, затем — незапоминаемая череда ступенек, вестибюлей, служителей (но куда, куда до нашего Зимнего, и не сравнивай!), — и вот уже были в каком-то зале с умеренным числом зеркал, отделанных стенных панелей, канделябров, старинных кресел и диванчиков. Присутствующим была всего дюжина. Церемониймейстер выстроил нас изогнутой вереничкой по одному, начиная с меня, Трейна, Али, четы Темплтонов, за тем — не знаю, кто были, меня не знакомили, ну и администратор Фонда Форкер.

Принц Филипп — высокий, за пятьдесят, а стройный, с военной выправкой (морской офицер), в обычном костюме, — вошёл в одну из дверей несколько не важно, не чинно, с ненаигранной простотой, притом и быстро, по-деловому. Обошёл всех, пожал руки, сказал мне, что и он по рождению православный (греческий принц, я знал), — тут ему поднесли грамоту, перевязанную трубочкой, коробочку с медалью, конверт с чеком, он с простыми жестами произнёс перед вереничкой несколько приветственных слов, передал мне (всё фотографировалось дворцовым фотографом), я — Але, и стали мы с Трейном читать Ответное слово\* — вероятно, слишком значащее для этой небольшой аудитории и церемонии, но, наблюдала Аля, — и принц, и присутствующие были тронуты. На всех снимках мы видим скромную светлую улыбку Джона Темплтона (так он слушал потом и мою речь в Гилдхолле), — естественная и добрая у него скромность, и видно, что радуется укоренению своих премий — своей будущей памяти на Земле.

В дневной перерыв между церемониями мы ещё успели повидать приехавшего из Кента достойного Николая Владимировича Волкова-Муромцева, одного из наших замечательных стариков-воспоминателей, с чьей книги мы начинаем мемуарную серию. К сожалению, к тому моменту всё ещё не вышла его книга (а он уже так стар), у него же написана, оказывается, и история русского флота. Посмотрим. 60 лет он в эмиграции, и всё — в Англии, в русском разрезе, годами не говоря по-русски. Свои воспоминания по-английски он предлагал издательствам, никто никогда не заинтересовался\*\*.

---

\* «Публицистика», т. 1, стр. 445 — 446.

\*\* Его книга в нашей серии потом впечатлила и советские власти, и присылали к Н. В. на консультацию восстановителей грибоедовского имения Хмелита Смоленской области, узнавать подробности уклада и мебели. (Примеч. 1990.)

В предвечернее время мы уже ехали в Гилдхолл. Это — как бы дом городских лондонских приёмов. Он построен в 1411 году (но ещё прежде на этом месте стояло нечто подобное), затем пострадал от большого пожара в 1666, полностью восстановлен, вместе и с девятифутовыми фигурами Гога и Магога, сторожившими вход в Музыкальную Галерею, — а в 1940 немецкой бомбёжкой снова разрушена крыша большого зала, лопались стально-стеклянные стёкла, — и снова восстановлен, но уже без загадочных Гога и Магога, которые очень бы уместны были к моей сегодняшней речи. Но и без них — хорошо подошёл к ней этот стрельчатый средневековый зал, молитва в начале (капеллан королевы), молитва в конце. Я совсем не жестикулировал и сдерживал форсировку голосом, — однако всё равно писали потом корреспонденты, что перевод Келли звучал намного примирительней.

На другой день напечатал «Таймс» — но со значительными, произвольными сокращениями, от которых меня всегда коробит: что за газетная развязность? выношенные, долго строенные авторские мысли — посечь, посечь самоуверенным пером за пятнадцать минут. (Полностью речь была передана по русскоязычным станциям, не знаю, многие ли на родине слышали через заглушку.)

А ещё на следующий день, 12 мая, в «Таймсе» появилась передовица: «Самое главное» (Ultimate Things). Кто-то неизвестный, идеалист (потом оказалось: сам главный редактор «Таймса» Чарлз Дуглас-Хьюм, вскоре за тем умерший безвременно), вдохновясь, что и в наши дни можно так не стыдясь говорить о вере, написал, — в стране, первой родившей устойчивый материализм! — что вера, а не разум лежит в основе свободы; вера, а не разум даёт нам вообще независимую точку опоры, с которой мы можем оценить условия нашей жизни; а политики в оценке положения общества полностью захвачены материальными и рациональными критериями. — И вослед поднялась, из номера в номер, дискуссия, как это бывает у англичан, — с самыми залихватски-резкими крайними мнениями, и в возмущении, и в одобрениях. И — что Запад всегда понимал свою веру как рациональную, на Западе религия вышла из рациональных корней (увы, коли так); и первая христианская церковь была-де коммунистической, а иррационально то государство, которое основано на терроре и лжи; и именно, мол, от религий, а не атеизма шли в истории все раздоры и преследования; «мы протестуем против темптонской речи Солженицына и отрицаем, что зло в каком-либо веке происходит от утраты веры в Бога, а безбожие ведёт к гонениям; в течение веков всевозможные страдания и преследования принимались и оправдывались религией вообще и христианством в частности». — И, напротив, — что оппоненты Солженицына своими письмами и «гуманистическими псалмами» как раз и доказывают тезис, что «люди забыли Бога», — и тем более настоятельно надо во влиятельных органах печати говорить о религиозных истинах; что божественная праведность вытекает из индивидуальной веры, а не из социального единодушия большинства; и что экономические решения — ничто, а человеческий разум сам по себе может причинить самоуничтожение, которого мы все боимся; и даже что женщины не должны, в погоне семьи за вторым телевизором и экзотическими вакациями, поступать на работу, а ребёнка запирать с телевизором на ключ.

Кажется, в этот же день была и встреча с Маргарет Тэтчер. Аля была у неё на приёме ещё несколько лет назад, когда ездила хлопотать об арестованном Гинзбурге. Тэтчер тогда тепло её приняла, в чём-то помогла, и говорила, что читала мои книги, любит «Круг». — Теперь мы поехали на Даунинг-стрит даже не вдвоём, а втроём: с нашим вермонтским другом И. А. Иловойской, специально для ответственного перевода прилетевшей из Парижа.

Заранее пресса запрашивала офис Тэтчер, согласен ли я на совместное фотографирование. Я-то — отчего же, но она — не побоялась испортить реноме через день после объявления избирательной кампании. Фотографы, вероятно, постоянно дежурящие, были у входа на Даунинг-стрит, 10, затем и в одной из комнат.

Прочь от формальности, я поцеловал руку Тэтчер — редко бывает женская рука достойней, а я испытывал к этой государственной женщине и восхищение, и симпатию. К сожалению, Тэтчер была изрядно простужена, глухой сорванный голос в напряжённом горле, но держалась собранно, как, очевидно, и всегда. И ход и власть мысли её были мужские.

Мы просидели ровно час, через низкий столик, на диванах, — час самого плотного разговора, при точном и незатруднённом переводе И. А. Мест пустой вежливости не было, и никакого отвлечения, — только сегодняшняя мировая и английская политика, — вот так внесло меня всем ходом жизни.

Кажется, началось с её вопроса: что я могу сказать об Андропове? (Как хотелось западным лидерам увидеть в Кремле вождя с умом и сердцем!) Я сказал, как это уже стало ясно мне за полгода, что — предсказуемая личность, без каких-либо высоких или оригинальных идей, всего лишь убогое повторение сталинского закручивания. (Но — государственный церемониал? — это не мешало ей через год, к смерти Андропова, дать телеграмму в Москву: разделяем *«скорбь всего вашего народа»*. А с приходом следующего вождя — затевать дружбу с Востоком визитом в Венгрию.)

Состояние дел я видел для Запада — мрачным (Рейган — ещё не успел его переломить), я так и высказывал: что Англию ждут грозные испытания. Тэтчер возражала, что не так уж плохо, — вот, выравниют ракеты, создадут баланс. (С помощью Рейгана, — и права оказалась.)

Да в такую редкую встречу и с таким центровым лидером, как она, — мне хотелось подняться выше политики, до взгляда зрело нравственного. Сколько уж я призывов и делал — к самоограничению, к отказу от излишних приобретений и побед. Все уроки мировой истории — неужели для *всех* мировых политиков проходят мимо и зря?

А тут ещё был недавний и разительнейший случай: война за Фолклендские острова. Прямо на другой стороне земного шара! Остаток заморской империи, и такая малозначная земля. И гнать флот из-за неё, проливать обуюдную кровь? Как красиво и благородно было бы — от этих островов отказаться, отрешиться! Но так сильно Тэтчер была простужена, такой сорванный голос — не мог я затевать такой спор, не мог этого выговорить. Ведь фолклендская война — была её личная гордость, и успех её партии, — да вот перед новыми выборами...

Нет, наверно надо покинуть всякие надежды призывать когда-либо, кого-либо из политиков к нравственным решениям.

Не успел я потом записать разговора. Запомнилось, ещё посоветовал ей: да освобождайтесь вы от этого неуклюжего Британского Содружества Наций, оно ничуть не укрепляет Великобританию, только искажает и политическую линию, и международное лицо, и национальный состав метрополии. Тэтчер грустно усмехнулась, отмахнулась: «А-а, да оно уже почти не существует». (И правда же — идёт к тому.)

Унёс я горькое сочувствие к ней.

Во всех мельканиях по Лондону, в эти дни солнечному, город казался очень привлекателен. Но побывать почти нигде и не пришлось: каждый промежуток мы с Алей отдавали какой-то надвинувшейся встрече.

На гилдхоллскую церемонию приезжали из Парижа Клод Дюран с Никитой Струве. Вместе с ними встречались мы с английскими издателями — из Коллинза, Бодли Хэда. Обсуждали внутри себя — дела французские и скучно-эмигрантские русские. «Имкинское» собрание сочинений в крупном формате выходило тиражом пятьсот штук, ещё пара тысяч «малышек», утекающих в Россию. (Почитаешь письма Бунина — он и такого не дождался, бедствовал.)

Из Оксфорда приезжал встретиться наш уникальный Харри Виллетс, милый и печальный. Он потерял жену в минувшем году. («И со временем — только тяжелей».) И болеет сам. За годы Виллетс так проникся русской культурой — мы ощущаем его будто соотечественником. И ко всем текстам моим он относится внимательно, бережно, любовно. Оттого и работает медленно.

Очень близкий человек, но раскиданы мы расстояниями. А писем — он органически не пишет, или уж с большим усилием.

Встретился я и с Мартином Дьюхерстом, выясняя возможность и его привлечь к переводам, хотя бы публицистики. Однако, остро активный в общественной жизни, он более склонен к публицистике собственной; замысел не дал плодов.

Надо было встретиться и с загадочными новыми переводчицами моих пьес. Из них пришла только одна, оказалась русская, внучка Родзянки. А другая — англичанка, не знает русского, лишь критикует уже сделанный перевод. Увы, не перспектива. Так и остаюсь в Англии с одним Виллетсом.

И — пора бы нам улетать в Америку. Но ещё в Вермонте я получил письмо от букингемского чиновника, что принц Чарльз приглашает меня на ланч 17 мая, а до этого он будет в путешествии, закован в график. Встреча с ним могла быть интересна, принц Чарльз не раз публично высказывался с поддержкой моих взглядов. Но — ждать ещё четыре дня, ненаполненных?

А ещё осенью 1982 Аля, ездивши в Нью-Йорк защищать Зою Крахмальникову (и успешно: ей удалось убедить американскую делегацию в ООН поднять этот вопрос, и это, быть может, подействовало на Советы), — встретила там с группой создателей фильма (производства «Англо-Нордик») по моей нобелевской лекции: они ездят по разным странам, пытаются демонстрировать фильм и пропагандировать его идеи. Это — группа энтузиастов, собравшая деньги от жертвователей, все они работают бесплатно, из одного убеждения. С дерзкой задачей фильма справились неплохо, передали сумасшедшую атмосферу нашей современности. Среди той группы познакомилась Аля с Патриком Кохуном — высоким, худым, породистым полушотландцем, по отцу из старинного клана, и с такой же старинной фамилией, еле напишешь (Colquhoun). Отец Патрика был — из славнейших преподавателей Итона, Патрик и вырос там, под итонской сенью, кончил его, затем Оксфорд, — и все лучшие карьеры английского преуспевания были ему открыты. Но ото всего отказавшись, он самоотверженно ушёл в безнаградную, бескорыстную жизнь, где и женился на такой же Френсис, очень огорчив свою аристократку-мать.

Теперь в Лондоне Патрик одновременно: уговаривал нас задержаться до возвращения принца Чарльза из путешествия, и предлагал частную квартиру — тут же, в центре Лондона, — и, если мы хотим, — несколько дней анонимного путешествия по Шотландии. Шотландия решила дело.

И дом, куда мы тотчас передвинулись из гостиницы, и устройство поездки в Шотландию принадлежали Малколму Пирсону — шотландцу же, финансисту, с которым Патрик когда-то познакомился через то, что тот пожертвовал деньги на фильм. Малколм оказался с весьма живыми, широкими интересами, и чрезвычайно доброжелательный, для нас создалась сразу дружеская обстановка. Оказался и он в родстве с Итоном (вторым браком женат на дочери итонского пророва, то есть ректора). Так решилась и встреча с принцем Чарльзом, о чём мы дали знать в окруженье его. И — затягивало меня на неожиданное выступление в Итоне.

Чтоб не терять дневного времени на путь, мы в первый же вечер сели на ночной поезд в Шотландию. (Приятно — поезд, и ещё даже более удобные купейные устройства, чем мы видели где в Европе или чем канадские «руметы».) Хорошо было отдыхать в этой покачке после плотных лондонских дней.)

Утром мы проснулись уже после Глазго. Свообразный и сумрачный пейзаж, очень незаселённый. На скудных нагорьях, безлесных холмах в пятнах рыжего вереска — медленный разброд равнодушных овец, никем не пасомых. Редкие тощие лески. Сотни пенистых белых потоков. Мы сошли на станции Раннох, в самом центре Шотландии, и поехали автомобилем в имение Пирсона — при котором оказалась оленья ферма: постоянно живущие его служащие там занимаются разведением оленей.



Повидали окрестности и более культурные, как маленький городок Питлохри и картинный шотландский замок Блеер Кастл, со всеми аксессуарами, — музейными внутри, а снаружи — фазанами, спокойно перебраживающими дорогу, и, в определённые часы, вольтничком, играющим у входа в замок. Но больше всего я был поражён нашим, одних мужчин, путешествием по бездорожью около озера Раннох: мы довели туда на прицепе многоколёсный приземистый вездеход, и на нём полезли в гору по тундро-валунному бездорожью, с грохотом переползая канавы, проваливаясь одним боком в ямы, — и на фронте я не испытывал подобного, — и как-то не перевернулись, взлезли на вершину, очень холодный ветер сдувал туман. Оттуда спускались к озеру пешком по моховым кочкам, перепрыгивая канавы и ямы, а сопровождавший нас пойнтер с длинными свисающими ушами то и дело дрожал в стойке, приподняв лапу, на угадываемую где-то тут добычу, — и по разрешению хозяина кидался искать. Перебегали, перелетали вокруг бело-чёрный красноклювый кулик-сорока и свистящий серый большой кроншнеп.

Скучно-суровый мир, многие дни под тучевым небом, но таким и формуется — и рисуется нам — шотландский характер. (А и редко встретишь такое теплосердечие, как у нашего хозяина.)

После холодных прогулок — традиционное сидение у камина, с горячими напитками.

За два дня в имени Малколма я обдумал и примерно набросал свою предстоящую итоговую речь.

На третий день мы поехали автомобилем в Эдинбург через Аберфельди и Перт. В более дикой части близ дорог иногда видишь одинокие стоячие камни с утерянным древним смыслом. Потом — всё культурнее, возделанная местность, с богатыми посевами. Я особенно был вознаграждён видом рокового Бирнамского леса: действительно, лесная полоса так изогнута по холмному хребту, как изготовленный к движению войсковой строй.

Через эдинбургский глубокий морской залив Форт — мост того же типа, что теперь стоит на Босфоре. Целый день мы бродили по широкоуличному позднему Эдинбургу (верхушки и фронтоны жилых домов вот, кажется, откуда и взяты для многих петербургских улиц), а в центре города — высокая обширная скала, на которой поразительно картинный сохранился единовентный, единостильный замок, башня в виде короны, а вокруг него лепится средневековый город. В мемориальной торжественной постройке при замке — списки всех битв, где воевали шотландцы, также и в составе Британии (сегодня в Шотландии как будто утихло раздражение против англичан), и списки всех погибших. Уже как шаг в расширение древнего города — королевский Холирудский дворец, очень шотландский. А Холирудское аббатство сожжено безжалостным Кромвелем (в его развалинах меня узнал и подошёл к нам печальный католик-поляк; узнававшие шотландцы — не подходили, характер). У подножья замковой скалы на осушенном озере — парк Принцесс-гарден, и в нём певуче заливаются чёрные дрозды. На одном из холмов — кладбище и могила Давида Юма: кусок древней травянистой земли, огороженный каменной ротондой с решётками. На Принцесс-стрит — памятный башенный монумент шотландцу Вальтеру Скотту. — И вдруг, с нарастающим топотом, орущая бессмысленная толпа воскресных футбольных болельщиков бежит мимо нас под дождём, не помня ничего из былого. — Тут же внизу, под мостом, и вокзал, откуда мы уезжаем в Лондон, так же поездом в ночь.

Расстояние ближе, и поезд скорый, он приходит в Лондон в предутреннюю рань, — но вот английское удобство: пассажиров не изгоняют из поезда, можно досыпать, а уйти лишь в 7 часов утра.

---

Отдохнувши в поездке, снова был готов к прежней плотности, — и в ней прошли следующие два лондонских дня. Радуюсь, что я эту нагрузку выдержи-ваю, ещё очень мне может понадобиться выносливость в будущей России.

В первое же утро к нам, в дом к Пирсону, приехал сотрудник «Таймса» Бернард Левин, не похожий на обычный тип корреспондентов, пронизательно умный, взвешенный (а оказывается, ещё и глубокий музыкальный критик). С ним — отличная переводчица, русская эмигрантка Ирина Арсеньевна Кириллова, с которой мы начали работать ещё семь лет назад, в чарлтоновском интервью для Би-би-си. Предварительно мне был известен круг вопросов Левина, но в зависимости от моих ответов он тут же гибко менял их связь и постановку, а я старался ответить без повторов с тремя уже бывшими интервью (освободиться от повторов полностью невозможно, ибо отчаянно повторяются вопросы интервьюеров). Работа была напряжённая для обоих, но, кажется, удалась\*.

С Левиным у нас было дружелюбие ещё от встречи в 1976 (он последовательный враг коммунизма), сейчас он пришёл к нам и со своей важной поддержкой Ходоровичу в «Таймсе» (напечатано было, пока мы в Шотландии, мы и не знали).

Затем мы с Алей поехали ещё в какой-то частный (и роскошный, старинно обставленный) английский дом — и там происходило телевизионное интервью с достойнейшим Малколмом Магэриджем, так и светящимся седым стариком\*\*. В этом году ему исполняется 80 лет, он делал попытки устроить со мной интервью раньше, я отказывался, и он грустно написал мне: «Значит, в этом мире мы уже не увидимся». А вот — увиделись. У него была социалистическая юность, и с этими воззрениями он попал в Москву 30-х годов корреспондентом. Но собственная духовная ценность дала ему разглядеть обман и начать отворачиваться от советского социализма, когда этого ещё никто не делал. Он тогда напечатал книгу о московских впечатлениях — но Запад не хотел понять её и признать: в ту пору, по моде, полагалось думать иначе. (Недавно Магэридж решил её переиздать, просил от меня предисловие, — но это самое обременительное из того, что просят у меня: опасаясь высказываний по поводам, не во мне возникшим, без потребности для меня; и не считаю возможным писать предисловие, не прочтя книги детально и не обдумав её, — а если это ещё и по-английски, откуда времени набраться? Я отказался, и Магэридж пошутил в ответ, что Сэмюэл Джонсон говорил: «Да легче мне похвалить книгу, чем читать её».) За последние десятилетия Магэридж стал заметным христианским и нравственным мыслителем Англии.

А утром 17-го Патрик повёз нас в Итон. Текст моей короткой речи был ясен мне в главных чертах, скажу ли я её как набросал или иначе, но конечно не буду пользоваться шпаргалкой. Старшие воспитанники Итона — это не дети, предупреждали меня, им по 15 — 17 лет, а по развитию они старше того. А мне как раз такое и доступней всего, это как раз тот возраст, какому я всегда преподавал, мне очень легко взять с ними тон. После первых приветствий с провостом лордом Чертерисом и хэдмастером Андерсоном (как бы президент и премьер-министр Итона, сравнили они сами), нас сразу повели в капеллу, тоже стрельчатую, 1440 года, ровесницу Гилдхолла, — где и должна быть речь. Центральный проход от входа до кафедры свободен — и мы шли по старинному плитчатому полу между двух рядов скамей, около которых воспитанники, старшеклассники, в долгополых чёрных сюртуках и нагрудной белизне (когда-то объявленный траур по Генриху VI, а потом никто не отменил, и осталось на века), стояли, с полутысячу, в несколько рядов, лицами к проходу. Сколько успевал, я на медленном ходу осматривал лица, — все были прилично ухожены и многие холены, однако не скажу, чтобы много заметил напряжённых интеллектов, были и средненькие. Но так или иначе — рассадник будущей английской элиты, и речь, может быть, не будет бесполезна. Переводила снова И. А. Кириллова, стоя рядом. В меру были расставлены где-то по залу громкоговорители, я их не слышал и невольно говорил так громко, что хвата-

\* «Публицистика», т. 3, стр. 120 — 136.

\*\* Там же, т. 3, стр. 137 — 144.

ло голоса на всю высоту и длину капеллы, в другом конце которой сидели гости. Затем ученики подходили к микрофону посредине зала и задавали вопросы, слышные публике, а нам с Кирилловой почти нет, но всё же как-то она расслышывала. Один мальчик, с русского курса, задавал и по-русски. В ответах я опять невольно повторялся с цепью своих интервью, не избежать, — в один приезд и в одной стране выступления — всегда нечто цельное. Затем были долгие, громкие аплодисменты, как пишут — не принятые в этой капелле, опять я шёл между двумя вереницами мальчиков и рассматривал их лица со смешанным чувством. Во дворе появились и фотографии прессы (прессу, по традиции, не пускают внутрь итонских помещений), — этим снимкам с воспитанниками придали какое-то повышенное значение, их воспроизводили потом газеты, и не только английские, может быть, и с осуждением меня (якшаюсь с «аристократами»). Само по себе выступление в Итоне\* было сильно замечено (хотя текст оставался не оглашён).

Тут же вскоре повёз нас Патрик на ланч в Кенсингтонский дворец. (В 1689 он был построен, ещё как загородный, Вильямом III (Вильгельмом Оранским), надеявшимся облегчить свою астму на сельском воздухе; с тех пор тут умерло несколько королей и родилась Виктория, а сам дворец уже давно в городской черте, — и вот теперь здесь наследник со своей юной женой. С нами опять — И. А. Иловайская, ещё раз специально приехала из Парижа, жертвенно, переводить ещё этот неразглашаемый разговор. Процедура, подходы и число служителей намного скромней, чем в Букингемском. Нас ввели в пустую гостиную. Провожажущий ушёл — но тотчас из узкой малой служебной двери, едва помещаясь в ней по узости, прошли ещё более узкие, оба высокого роста, принц Чарльз и принцесса Диана — скромные и даже застенчивые, особенно Диана. Сели мы вокруг низкого гостиного столика впятером — и после нескольких фраз разговор так повернулся, что Диана вышла, получила тут же за дверью, приготовленного, своего первенца, годовалого Вильяма, продолжающего английскую королевскую линию, принесла нам его представлять, и он вёл себя отлично, приветливо, не капризничал, Диана сияла (она картинно хороша), и Чарльз тоже — умеренной, по-мужски. И как-то всё вместе, — этот здоровый ребёнок, и одиночество родителей в бездействующем полупустом дворце, и их затравленность пошлой прессой, и известный пристальный интерес Чарльза к глубине вопросов — более, чем этого требует нынешний урезанный английский трон, и само мрачно-туманное будущее этого трона, — создали у меня (и у Али, сверили потом) щемливое сочувствие к этим молодым.

Появился уже знакомый нам благородный старик Лоуренс ван дер Пост, мы перешли в соседнюю столовую и шестером просидели за ланчем около часа, — и тоже так плотен был разговор этот час, как и с Тэтчер, я не мог бы вспомнить ничего, что промелькнуло на столе, хотя я ел же и пил. Наш разговор с Чарльзом переводила И. А., на другой полудне Аля живо (она размяла английский язык в эту поездку) разговаривала с остальными, затем и они прислушались к нашему.

Собственно, этот разговор должен был повторить почти то же, что и с Тэтчер, с добавкой только введения-оговорки, что я понимаю: у английского короля по конституции почти нет государственных прав, зато есть высокий моральный авторитет, и оттого принц может в своей стране возглавить пусть не политическое движение, но сильное духовное. (И он согласился.) А затем, как и с Тэтчер: не воевать и не настраиваться против *русских* как таковых (во всех английских газетах вижу в эти дни — невыносимая «Россия» везде там, где подразумевается СССР). И надо громко, решительно осудить выдачу русских Сталину в 1945 году. И в этот раз — гораздо подробнее о Би-би-си как оружию, которое может оказаться сильнее всего английского морского флота.

\* «Публицистика», т. 3, стр. 145 — 155.

Принц Чарльз слушал вбирчиво, иногда добавлял вопросы. О Фолклендской войне — и тут я сказать не решился.

Не монархист я укоренённый, чтобы безраздельно сочувствовать каждому трону, а к английскому есть у меня и тяжёлый укор — как Георг VI из испуга перед общественным мнением отказал в простом приюте своему сверженному двоюродному брату Николаю II. Всё старое — не ушло из памяти, а владело щемящее сочувствие к этой милой молодой паре в безвоздушном предгрозы. (Чарльз захотел получить полный текст моей гилдхоллской речи, Патрик Кохун дослал её.)

(Послал я из Вермонта принцу Чарльзу благодарственное письмо, но с ноткой, так и звучавшей с тех пор в нас: «Мы с женой вынесли очень сердечное ощущение от встречи с Вами и душевно тронуты Вашей судьбой. Хочу надеяться, что самые мрачные из моих предположений в беседе с Вами не сбудутся».)

Вдруг получил от принца Филиппа: его книгу «Вопрос равновесия», доклад на инженерном симпозиуме по современной технологии и письмо: он глубоко впечатлён и принимает к сердцу то, что я сказал в Букингемском дворце и в Гилдхолле. «Вы ещё имеете сколько-то союзников на Западе».

Вот уж это выходило за рамки принятой им обязанности вручать премии! Мы были тронуты. Действительно, протянулась связь между их обречённым уединением — и нашим. Я ответил принцу Филиппу: «Я с глубоким уважением отношусь к трудной задаче, которую выполняет Ваша семья: сохранять и высоко нести достойные идеи и качества, необходимые Вашему народу, как и всему человечеству, — но которые оно в ослеплении всё более теряет».)

От принца Чарльза сразу дальше Патрик повёз нас через весь Лондон — к Георгию Михайловичу Каткову (внучатому племяннику известного публициста М. Н. Каткова), живущему у замужней дочери, не говорящей по-русски. Ещё одна дорогая судьба, не послужившая России в полную силу, увядающая в эмиграции. Обаятельный, душевный человек, такой тёплый голос. Много болезней, и правая рука потеряла силу писать, а по видимости — он держится, вот сидит на стуле, и разум совершенно ясный. Вот дарит мне свою книгу по-английски о корниловских днях, успел написать и её. И так точны его слова о Семнадцатом годе. (Мы с ним почти сплошь совпадаем в оценках, и о Керенском увильчатом: не способный ясно ответить на вопросы Каткова о корниловских днях, тем более уклонялся оставить чёткую запись тех событий.) А вот — его начатые мемуары, и тоже по-английски, и нет сил докончить. Уговариваемся, что найдём ему русскую машинистку, и он будет диктовать ей русский вариант этих мемуаров. Вариант, не перевод! Может быть — успеет дать и русскую версию корниловской книги? А его «Февральскую революцию» мы думаем в этом году издать в ИНРИ в обратном переводе с английского, если он не задержит редактурой. (Как это, наверно, обидно: видеть свою книгу, переведенную на родной язык кем-то другим.)\*

---

Вот и кончилась английская поездка — доисчерпным выполнением всей намеченной программы, за 11 дней. Утром 18-го неизменный Патрик везёт нас на аэродром, пресса щёлкает перед «Конкордом» (и нас не преминут упрекнуть в роскошном путешествии, как будто это мы так затеяли, а не Фонд Темплтона). Быстр, конечно, «Конкорд» — а тесен, душен, да и переход через первую звуковую скорость иногда неприятен. Прилетаем в Нью-Йорк

---

\* «Февральскую революцию» мы издали в серии ИНРИ в «Имке» в 1984, «Дело Корнилова» — в 1987; «Февральскую революцию» затем переиздали уже на родине: М., «Русский путь», 1997. (Примеч. 1999.)

утром же, и даже «раньше», чем вылетели из Лондона, и ещё несколько часов автомобильной езды до Кавендиша, долгий-долгий день, и сброс лондонского напряжения. Ах, все эти поездки — только отвлечение. Скорей вернуться к своему.

Да в миг не вернёшься, надо искать новую инерцию, не сразу и выбьешься из ритма этих мельканий.

А здесь в Америке из моей гилдхоллской речи всего-то вывела вдумчивая пресса, что я «резко напал» на Билла Грэма и на Всемирный Совет Церквей, — вот это одно они и раскусили. Правда, в «Таймсе» цитировали глубже. А позже в элитарном «Нью-Йоркере» появился неожиданно благожелательный отклик. Из моего же обстоятельного взвешенного ответа на пресс-конференции об антиядерном движении американская пресса только и вырвала, что ей доступней: что движение подкуплено Москвой, а расселовское «лучше быть красным, чем мёртвым» — это же и будут раки в кипятке. О вине же Запада в ядерном оружии, о естественности всяких противоядерных протестов — об этом, конечно, ни слова. Урок, который раз: никогда не давать пресс-конференций.

В Англии Бернард Левин напечатал наше интервью на полную страницу «Таймса». Но, видимо, кто-то в «Таймсе» спохватился, что слишком много в мою пользу они напечатали, — и изобразили пошлую карикатуру моей мнимой выпивки с Евтушенко да с каким-то английским шпионом, умершим в Москве. Смеялась и «Санди экспресс», что «русские изгнали» меня в 1974 не потому, что меня боялись, а — не могли больше выносить звука моего голоса. А «Дейли телеграф» печатала форменный крик какого-то ветерана журнализма Джека Марона: «Заткнись, старик, Старая Стенящая Спутанная Борода, отправляйся в свой концлагерь в чаще Америки, занимайся своим гуляшом и пиши так называемые книги!»

Вот столько вывели все они из темптоновской речи о том, как мы теряем, потеряли вышнюю веру.

Разрушительная массовость нынешней культуры, от которой художнику неизбежно страдать из первых. Но ему же — иметь и стойкость выстоять.

Совпадение желаний: прессу раздражает каждое моё выступление, они хотят, чтобы я молчал, — но ведь этого же самого хочу и я. Ладно, кончили! Теперь — никому, никуда, ничего — ни слова!

## Глава 10

### ЗАМЫКАЯСЬ

Никому — никуда — ничего, ни слова...

Возвращались с Алей из Англии — твёрдо сговаривались: ну наконец теперь-то я замкнулся для работы. До сих пор не удавалось — ну хоть теперь! Теперь я — никому! ни на что, ни по какому поводу! — ни звука! Кто бы ни обратился, и самый наиважный. «Март» был — местами в 3-й редакции, местами ещё во 2-й, а нужна-то — сплошь 4-я, и потом редактура при наборе. А мысли забегают: что дальше?? С «Апреля» начинается Второе Действие — «Народоправство», на весь Семнадцатый год до осени. И в этих кратких месяцах такая разительная картина всего мирового Двадцатого века! Как — мне это вытягивать? Не отрываться — никуда, ни на что!

А попробуй, замолчи в «открытом обществе»... Как в насмешку — вот такая муха. Только-только воротятся — тут же начинаю получать благодарственные письма от читателей из штата Мэйн: как я хорошо, сочувственно выразился об американской демократии! Что ещё такое?? А вот и вырезки: якобы я продиктовал какой-то Аните Берлинд письмо к редактору газеты Йоркского графства, и газета с гордостью печатает: что будто я недавно проезжал по их местам и поражён был числом книжных магазинов (полных дешёвкой и де-

тективами) — и это указало мне на высокий уровень местного образования. И, мол, вспомнил я тогда драматическую мою юность в России (где только и читали серьёзные книги): ах, если бы там каждый мог держать в руках книгу! Ах, жить бы и мне в их Мэйне: ведь с культивацией юных мозгов приходит и свобода. *«Вот как встречаем мы выбор демократии»*. (Это — и в заголовке.) Какая-то юная идиотка сочинила, чтобы прославиться, и в расчёте, что до меня их местная газета не дойдёт; и даже ведь она меня, по её понятиям, убагроворила, тесней слила с идеальным демократическим миром, — да никак иначе я и думать же не могу, сравнивая Америку и Россию? А шляпе-редактору тоже маслом по сердцу — и печатает без проверки...

И что же — пренебречь? Пишу письмо в редакцию: да как же вы могли не проверить? когда я проезжал? когда и где я «продиктовал»? да никакой вашей корреспондентки я не знаю, и в глаза не видел, прошу напечатать опровержение! (Напечатал редактор с опозданием, на незаметном месте и скудно по смыслу, — ещё не поймёшь и опровергают ли в сам деле? *Свободная печать* ото всего свободна.)

А вот — покрупней. Спыхватилась «Нью-Йорк таймс», что не обыграла моего неприяда на президентский завтрак, ведь можно было насовать Рейгану шпилек! Сперва (конец 1982) Гаррисон Солсбери передал мне приглашение от газеты — высказаться. Я промолчал. Потом и сама редакторша знаменитой их, престижной «страницы мнений» (*Op-Ed*) Шарлотта Кёртис писала, предлагала. Я ответил, что инцидент с завтраком — дело уже минувшее. (Нет, ещё и в 1986 «Нью-Йорк таймс» печатала подстрекательную статью: да что ж это Рейган всё не принимает Солженицына? — Им скандальчик с Президентом потребен. А мне — никакое «переигрывание» встречи совсем было ни к чему, не нужно.)

Или вот такой типичный для Штатов эпизод. В конце 1982 пишет неизвестный мне Генри Дельфинер (и никак себя не представляя, наверно важная фигура), что некий Бостонский Совет по Международным Делах (странно, никогда я не слышал; и кто и почему может решать международные дела в Бостоне? — оказывается, «группа ведущих американцев») хотела бы установить коммуникацию с моими взглядами, в ближайшие рождественские каникулы. Прикладывается список лиц, предполагаемых ко встрече. И так они чувствуют, что когда, мол, я увижу этот список — для меня будет проще принять всю идею. А для дальнейших пояснений Дельфинер предлагает приехать ко мне в Кавендиш в одно из ближайших воскресений. В списке — 27 человек. Пятеро от Госдепартамента — два заместителя государственного секретаря: Иглбергер, по европейским делам, и Киссинджеровский подручный Зонненфельд; ничего не понявший в Москве посол Тун; ещё какой-то Перль, не знаю; правда, и трезвая Джейн Кирпатрик. Затем два сенатора. И кто-то от финансового мира, что я в том понимаю? И Лэйн Кёркланд, занявший место вождя профсоюзов после Мини; только на антикоммунизме мы и сходились с ними. Затем семёрка профессоров, среди них известные ненавистники России. Ещё пятеро от прессы, правда среди них и правые — Вильям Бакли и Норман Подгорец. И один генерал — Гудпастер. И ещё члены их Совета. И в завершение — «другие», то есть не занимающие сегодня ясных постов: сам Киссинджер и мой издатель Роджер Штраус. Ах, вот только ещё Киссинджера мне не хватало для конфиденциальной встречи! Не добился он раньше, так теперь.

Весьма странный Совет и весьма странное приглашение. Это меня в какое-то серьёзное дело затягивают. Почему такие разные люди, из разных мест, разных занятий — и так келейно? Нет, не тянет меня никак идти на этот Совет.

Отчётливо отказал Дельфинеру, да ещё спеша письмом, чтобы не успел он в ближайшее воскресенье, как предложил, ко мне приехать: что конференции для обсуждения — не моя форма; что в тех случаях, когда у меня назревает необходимость высказаться по текущим проблемам, я, как писатель, предпочитаю написать текст своим пером. Так что наша встреча сейчас не имела бы смысла.

Напряжённое стремление моё было: *совсем* бы вот замолчать сейчас! *совсем* замолчать! и — сразу, хватит!

Но столько лет протопав по вязкой дороге публичности — не сразу оттуда ноги вывяжишь. Вот, намерен Трейн напечатать в семимиллионном «Ридерс дайджесте» отчёт о моих высказываниях в Лондоне. — Вот намерено «Нэйшнл ревью» напечатать полностью мою темпלטоновскую речь — да хоть одна бы публикация была, ведь на английском пропало. (Только во Франции мы всегда успеваем.) — Вдруг, вот, телевизионная компания Эн-би-си предложила взять часовое интервью к десятилетию моей высылки из СССР (тот же продюсер Мэннинг, который, тогда от Си-би-эс, устраивал в Цюрихе огромное интервью в первые месяцы моей высылки). Это показалось стоящим, надо дать? Заколебался. И не знаю, чем бы кончилось, если б они не стали предлагать такую непомерную запасливость: с сентября 1983 у них начинается вперёд большая 14-месячная (!) «работа» вокруг будущей президентской избирательной кампании (1984), так им удобно приехать ко мне в августе 1983 — чтобы сговариваться об интервью, которое пойдёт в эфир в феврале 1984. — Да что ж за полгода вперёд знаешь, к чему сгодится разговор? Я отклонил. Они обиделись, на том переговоры и кончились.

Как раз тут, в июле 1983, опубликовался впервые по-русски полный «Август», нашего с Алей набора. И что ж, кому его читать? Третьей эмиграции — его почти не переварить, слабые поверхностные рецензии, не в рост с вертикалью Узла, да и тех почти нет. Все мои уже 12 томов Собрания прошли как впустую. Томятся они по России, да нет им в СССР пути.

Но очень успешно, быстро справились с переводом «Августа» французы, в декабре 1983 уже выходит, и Клод предложил мне дать интервью французскому телевидению, популярнейшему Бернару Пиво (еженедельная литературная передача), вся команда приедет ко мне в Вермонт. Что делать? Но это ж не политика, это свои же книги, разговор с читателем. Думал кончить Тайванем — нет; думал кончить Англией — нет; будем принимать Пиво.

В два золотистых осенних дня, последний октябрьский — первый ноябрьский, приехала шумная французская компания в 16 человек, впервые впускаю объективы к себе в «мастерскую» — под стрельчатой крышей, окна с трёх сторон, и ещё в крутом потолке.

Это обширное интервью было — собственно о «Красном Колесе», от замысла юности и через проделанные полвека; о сравнительных задачах историка и романиста; о движении революционного террора, столь разившегося в нынешнем веке уже по всему миру; о всей ниспадающей линии от Девятнадцатого века на Двадцатый; об общих законах всяких революций. (Это интервью имело во Франции большой успех, его повторяли, потом показывали и в других странах Европы.)

Но, конечно, не обошлось и без современности. Только что вышли во Франции мои «Плюралисты», значит — и о них. А там — Пиво возьми и задай: будет ли коммунистический режим побеждён изнутри? да какая судьба ждёт Польшу? да вот только что освободили от коммунистов остров Гренаду? — и я вспыхнул, загорячился отвечать. И уже потом, оглядываясь: вот так и замолкай, опять прорвало.

Да — как нам замолкать, когда в Союзе, арестовав весной Сергея Ходоровича, продолжали этой осенью громить наш Фонд? В том самом октябре 1983 получили мы известие, что на следствии Ходоровича в тюремной камере избивают, его заместника таскают на допросы и вот-вот посадят, — Аля только что, перед самым приездом группы Пиво, ездила в Вашингтон (взяв и Ермолая на помощь, приучать его к нашим заботам), встречалась там с сенаторами, конгрессменами, нашла их поддержке, провела многолюдную пресс-конференцию, — вот и замолчи! Как нам замолкать??

А всё равно: надо уйти в свою работу. Уйти в неё, иначе никогда её не взять. Да после каждого общественного заявления я возвращаюсь к письменному столу с мучительной надеждой, что теперь-то, может быть, не скоро вы-

ступать? Не случилось бы такого, где б я обязан был подать голос. И не втянули бы ни в какое словопрение! За всё драться, так и кулаков не распускать.

Да Господи, да только летом 1983 дошли руки распечатать ящики, привезенные из Калифорнии в 1976, — и тут несмотренные книги, нераспечатанные письма того года, приглашения, сообщения... — что-то упущено безвозвратно. (А есть и из Цюриха привезенные тогда же — до сих пор не раскрыты.) Семь лет в Пяти Ручьях — некогда книги своей библиотеки пересмотреть систематически и расставить правильно! — всё корпим над работой.

Думал: хоть дальневосточной поездки прах отряс, можно забыть? Нет! Зять Е. Боннэр Янкелевич шлёт в «Вестник РХД» письмо, негодуя, что на круглом столе в «Йомиури» я *не так* представил взгляды Сахарова. Что поделать? Надо (та же осень 1983) отвечать, — опять, опять вытаскивать, перечитывать сахаровские статьи, опять, опять показывать, что отобразил я правильно. Да ведь ещё ж и хрупкость какая: Сахаров — в ссылке, его и коснуться нельзя. Всё в моём ответе — изневольные повторы, лишь об экономике шажок дальше: упаси Бог, не надо нам управления нашей экономикой извне\*.

Как раз летом 1983 Сахаров выступил («Форин эфферс») с письмом к стенфордскому физику Сиднею Дреллу, на редкость верно (и удивительно совпала его точка зрения с тем, что я говорил о ядерном вооружении в Лондоне только что, весной 83-го): что роковой ошибкой Запада было положиться на «ядерный зонтик», а выход — в обычных вооружениях. И, возражая Дреллу (и очень в пользу Запада): даже нельзя замораживать вооружения на нынешнем уровне, Штатам надо устанавливать новые крупные ракеты «МХ». За это тут же на Сахарова напали четыре советских академика в «Известиях»: «...ненависть к собственной стране и народу... призывает к войне против собственной страны», — но одновременно и «Вашингтон пост» выразила разочарование: мы думали, Сахаров за остановку гонки вооружения, а его позиция приближается к Солженищину...\*\*

Проявить такую смелость изнутри СССР, да из ссылки! — и получить оплеухи с обеих сторон.

Немного отойдя — уже вся моя дальневосточная поездка виделась мне ошибкой. Столько подготовки, столько изучения чужого материала — и чего я добился? Всё более проступала японо-китайская дружба, а в апреле 1984 Рейган поехал в Пекин, сближался Красный Китай и со Штатами, — безумные советские правители сумели восстановить против нашей страны весь мир. Нет, надо окунуться в ещё большее молчание. Чужую пашенку пахать — семена терять. Да и не по силам это мне, повернуть их; вся задача моя — в одиночестве, и над бумагой. И темптонговскую речь тоже бы лучше не произносить? Слишком прямые слова о вере — они не действуют, а вот уже и Пиво как бы косвенно упрекнул меня: «Вы много говорите о Боге». А когда, где — много? Что ж, не нужна была и та речь?..

Замолчать ещё и потому правильно было, что я Западу не судья: и не изучал его с полным вниманием, и не много досматривал своими глазами. Мои суждения о Западе потому, конечно, встречают и веские возражения. Да мне и не требуется непременно убедить сегодняшний Запад. Мне: умей сказать — умей и смолчать.

Но выйти из амплуа «выступающего» — никак не легко: все привыкли ждать каких-то заявлений, и обращались с вопросами, приглашениями. Да ещё близился 1984 — «год Оруэлла» — и все на Западе загорелись обсуждать:

\* «Публицистика», т. 3, стр. 169 — 172.

\*\* И правда: в заблуждениях о природе Запада мы с Сахаровым были сходны, повторяли общую ошибку. С какой тревогой об американской судьбе я когда-то писал «Круг» с истинной «атомной» историей, в каком сюжете, по иронии переводческих обстоятельств, и посегодня в Америке не напечатанный. Столько лет я был уверен в правильности: пусть атомная бомба остаётся у них, только б не у коммунистов. Но постепенно дошёл: не к добру она у них, как и преступно же воспользовались в Японии. (Примеч. 1994.)



сбылись или не сбылись его предсказания. И в отказах — на что сошлётся? Только на занятость основной работой. А когда кончился тот 1984 — так придумали в Лондоне конференцию «По ту сторону 1984», представительную, приглашал лорд Челфонт. В отказе ему я впервые открыто написал, что прекратил политические выступления, именно потому, что мои прежние не достигли цели. И с тех пор ещё некоторым тоже так стал отвечать.

Но хотя я наконец круто замолчал — это не сразу стало заметно, и ещё три года лились и лились приглашения: в Йель — прочесть какую-то «Terry-лекцию» и участвовать в симпозиуме; Даунинг-колледж в английском Кембридже — сказать «речь как в Итоне»; в университет Майами; в университет Аризоны; в канадский университет Ватерлоо (и везде же — получать докторскую степень); прочесть «джефферсоновскую лекцию» для «Национального вклада в гуманность»; и «эразмусскую лекцию» в Нью-Йорке; и в Нью-колледж из австралийского Южного Уэльса; и на семинар в американской Высшей школе государственной обороны; и принимать почётные докторства в окрúжных колледжах; и в Сэнт-Джон-колледж в Аннаполисе — спикером на выпускную церемонию; и таким же спикером в Хелленик-колледж греческой церкви; и ехать в Сеул выступать на международном Совете христианских церквей; и в соседний с нами Дартмут-колледж — быть «профессором-гостем» для бесед со студентами; и неуёмный сенатор Хелмс на правах моего «старого друга» то и дело пересылал чьи-нибудь приглашения и настаивал, да вот — он свой самолёт пришлёт за мной; и ещё, ещё, уже всех не вспомнить. А ещё ж — телевидение, некоторые и по дважды и по трижды, как известный в Штатах Тед Коппель; или бостонская телекомпания «Севен»; или канадская; или американская Эй-би-си. Лондонская «Таймс» вдруг захотела делать снимки из нашей жизни в Вермонте (мы отказались); «Шпигель» запрашивает моё общее мнение об умершем Бёлле; «Дейли телеграф» — мой комментарий к литературным событиям в Москве. То — войти в комитет премий Альберта Швейцера. А в 1985 подвалило 40-летие конца Второй Мировой войны — и новый поток приглашений.

Всё это, конечно, уже 2-й или 3-й ранг публичности — но не пресекается и 1-й. Вот сейчас, уже в марте 1987, пришло приглашение выступить на конференции мировой медиа в сентябре в Сеуле с «ключевым обращением о (моей) современной оценке идеологической и политической борьбы Восток — Запад, включая (мои) мысли о моральной ответственности мировой медиа перед демократическими учреждениями», — так, чтоб это выступление «могло бы стать по рангу рядом с Гарвардской речью», а Сеул избран как фронтовая линия между коммунизмом и демократией. (И чтоб надёжней меня убедить — гонорар 150 тысяч долларов за это часовое выступление, во как!)

Да, громкое место. И даже чересчур громкое. И даже — как раз всё обратно моим намерениям: снова встрять в политику — и уже надёжно отрезать себя от родины до конца жизни. Отказался.

Или вот новое: Президент Миттеран и Э. Визель приглашают на конференцию нобелевских лауреатов в Париже — о спасении цивилизации. — И хочет со мной встретиться вдова шаха иранского. — И Далай-лама посещает Соединённые Штаты, выражает желание повидаться... — Или: снова «Таймс», предлагает написать для них большую статью о 70-летию российской революции. — Но ничего этого я уже не мог. Одно единственное принятое приглашение — потянет новые и разрушит весь выдержанный ряд.

О, долго, долго ещё выбиваться прочь из этой струи. Не в первый раз в жизни мне жертвовать внешним поведением ради дальней цели. (А если б меня в своё время на несчастье избрали бы «почётным гражданином Соединённых Штатов» — то разве была бы у меня такая свобода отказываться от всякой общественной деятельности в этой стране? — я не был бы настолько частным человеком. И в этом меня Бог охранил, тоже.)

Но вот был давний долг перед Э. Б. Вильямсом — благодетелем, помогшим и в спасении А. Гинзбурга и выигравшим суд против Карлайлов. Он про-

сил всего лишь: принять почётное докторство в его alma mater, колледже Холи-Кросс в Массачусетсе. Года два я откладывал, но в 1984, когда наотрез замолчал, — вот тут подступило, что уж нельзя отказать, всем отказал — а тут надо поехать. Однако удалось там настолько рта не раскрыть, что это и не был нарушенный случай из ста.

А вот самое недавнее, уже весна 1987, — письмо от Николая Толстого-Милославского, опубликовавшего по-английски две книги в разоблачение английского предательства русских казаков весной 1945 в Австрии — сперва боевой строй, две тысячи офицеров, разоружив их обманом (среди них — и ещё недопреданных до конца своих союзников по Первой Мировой), потом до 40 тысяч рядовых казаков, — лукавая и жестокая история, так типичная для английской политики. Но ещё разительней вослед: 35-тысячный казачий обоз, стариков, женщин и детей, во время войны утекших прочь от советского благоденствия со своих родных Дона и Кубани — а теперь английскими прикладами и дубинками возвращаемых Советам же на расправу. (Предсмертную их над самими собой панихиду, и раздирающую ту расправу, и самоубийства их я описал в «Архипелаге», часть I, гл. 6.) Высшим командиром той расправы был бригадир Тоби Лоу — после войны возвышенный в лорда барона Алдингтона (содельствием Макмиллана, верховно касательного к той же расправе).

Так вот, саму книгу Николая Толстого лорду-барону пришлось снести. Но теперь в Винчестер-колледже, которого лорд является почётным опекуном, некто Нигель Вотс распространил 10 тысяч листовок с цитатами из книги Толстого и своим из неё выводом: Алдингтон, за своё прошлое, должен быть удалён от попечительства. Барон — безмерно богат, и тут же подал на Вотса в суд, обещающий обойтись в полмиллиона фунтов стерлингов, а при проигрыше — и в миллион. И Н. Толстой, с дворянским благородством, счёл своим долгом добровольно стать в соответчики. Заранее леденит: что из этого процесса выйдет? Без омерзения не могу думать об английском суде: ведь он конечно станет на защиту «английской чести» и прикроет военных преступников; о чувствах же русских — в Англии не подумают.

Так опять — бороться, будить английское общественное сознание? да неизбежно опять читать английские юридические бумаги, тонуть в их болоте? Нет, я способен искать истину и на самых больших сквозняках истории, но не в судах. Мучительно тяжело. Ограничился денежной помощью в объявленный для Толстого сбор средств\*.

Трудно, трудно и долго мне досталось утягиваться в молчание.

И ещё же отдельный русский случай — празднования! Очень любят русские эмигранты — то строить памятники на чужой земле (Владимирский собор — «храм-памятник», и какая ж его будет судьба в Штатах?), то собираться на торжественные церемонии (не раз звали меня быть «введенным в палату Славы» Конгресса Русских Американцев). А тут приближается и воистину великая дата: 1000-летие русского Православия. Но когда родина наша разорена, растоптана — уместно ли такое пышное празднование? не лучше ли бы — долгий пост и скромная молитва? Нет, каждая «юрисдикция» зарубежного русского православия создаёт свою комиссию, готовит праздник и докладчика на нём, и докладчик этот — разумеется, я. Осенью 1985 получаю приглашение от Парижской архиепископии, весной 1986 — от Зарубежной церкви. Ответил я отказами, но в обоснование — только моя неготовность и недостойность делать такой доклад. Не могу написать им открыто: да только хуже сделаем сами

---

\* Затем суд тянулся, тянулся по-английски. И присудил: Н. Толстому (Вотса уже и не вспоминали) уплатить лорду Алдингтону — до полутора миллионов фунтов стерлингов!! — то есть сесть в долговую тюрьму. Да тут не об одних казаках в Лиенце шло, сколько потом беспомощных выдавали и из самой Великобритании! (Об этом — тоже в «Архипелаге».) Не выдержал я и написал письмо английской королеве. [1] Просил королеву найти способ загладить чудовишный приговор, хотя бы символический сделать жест! Нет, получил я отписку от букингемского чина, что королева «с интересом» познакомилась с моими взглядами... (Примеч. 1991.)

себе: меня по всему миру клюют, будто я — проповедник теократии; а ещё б теперь такой мой доклад на эмигрантском сборище — да и будет оно ославлено как «бесовщина будущей православной автократии», если не «черносотенства».

И о том же Тысячелетии просит у меня интервью Би-би-си; и католический международный журнал «Compassio» на двенадцати языках — да разве я им учитель?

Конечно, странно мне — такую дату пережить без единого внешнего движения. А придётся.

---

Чтобы сохранить непрерывную линию моей жизни — отказы эти были неизбежны и спасительны.

Большие книги надо и писать долгими годами — много к тому причин и много в том преимуществ. Когда так долго пишешь — в тебе самом наслаиваются, проявляются разные настроения, разные взгляды, — и вся эта многослойность органически перетекает в произведение и углубляет его. Гонишь, гонишь 1-ю или 2-ю редакцию тома — оторваться нельзя. Но потом — хорошо и отложить, заняться другими частями, а после перерыва снова вернуться к отложенной — за это время произошло твоё внутреннее созревание, даже и в крупных мыслях, тем более накопление мелочей и характерностей. (Может быть, поразмышляешь и над несостоявшимися, альтернативными путями событий, это обогащает мысль. И ещё: через какую бы гущу зла ни протянулся сюжет — не дать искорёжиться на том душе ни автора, ни читателя, — достичь созерцания гармоничного.) — А уж выпуск книги в свет — должен быть замедленным и даже торжественным выдохом.

«Колесо» даёт мне пережить как бы ещё одну добавочную полную жизнь — от конца XIX века и прежде моего сознательного возраста.

Да, конечно, выросла громадина. Но потому я вынужден охватить такой объём, чтобы была *доказательность*, а не пятна импрессионистические, ни для кого не обязательные. Историческая эпопея — это не развлечение пера, она только и имеет вес при сквозной достоверности. Да когда исторический материал так изобилует — разве потянет на вымысел? Материал — он и ведёт, а я должен быть точен до научности. Но при этом: дышишь в слове, который выше научности. Шпенглер очень метко сказал: труд историка требует особого органа, особой концентрации чувства и воображения, дающих каждое мгновение истории переживать с точки зрения вечности, в увязке и с прошлым и с будущим.

И только удивляешься самодвижению эпопеи.

Переход от «Марта Семнадцатого» к «Апрелю» поставил передо мной ещё новые задачи, так что едва не зашатался метод Узлов. Кажется: от 18 марта (конец III Узла) до 12 апреля (начало IV Узла) — рукой подать? а сколько событий и оттенков проваливается. Куда? Возникает понятие «Междуузелья». Метод Узлов не разрешает его описывать, а сцепка событий требует: хоть что-то, самое малое, надо дать! Как с помощью лекал любую кривую вычерчивают плавно, так и тут: связь — надо сколько-то дать.

Ну, во-первых, вот и время ввести новую форму: Календарь Революции — бесстрастный отступ главнейших событий этого промежутка. Во-вторых: для самого-пресамого необходимого — суметь применить ретроспекцию, вплести её в главы уже следующего Узла.

«Апрель» же, в который я стал входить с осени 1983, распахнул много секторов, свежих по отношению к бурнореволюционному «Марту». «Апрель» открывает собой цикл Узлов «Народоправство», включая «Сентябрь Семнадцатого», полугодовую бесславную историю, как «победившая» (в России — сочинённая образованными людьми) демократия сама по себе беспомощно

падает. В распах демократического веера сильно расширяется и тут же dribится социалистический поток. (Для советских читателей, на своей шкуре прошедших школу социализма, — многополезный материал.) И уже в кризис 20-21 апреля (подожжённый большевиками) социалистический путь одерживает верх над буржуазным — но в каком множественном столкновении мнений! Невылазная путаница уличных дискуссий — и никакой аргумент нельзя передать лишь по разу, тогда не будет толпы; значит — многократно, в разных формах, и, значит, объёмно. Пёстрое разноречие мнений — это и есть воздух той короткой эпохи. Речи, речи, межгазетные споры, — апрель затоплен речами (а ещё что будет дальше! Россию — проговорили, проболтали в совещаниях); а русский язык, с передвижкой к социалистам, всё обесцвечивается и вянет.

И эпизоды, эпизоды — из столичных уличных растекулись по всей России: провинциальные города, железные дороги, деревни — вся Россия в бурлении. Неделями напролёт сидел у фильмоскопа, читал газеты тех дней.

А ещё же Ленин! Только тут — он впервые в России, впервые действует на реальном поле, а не в эмигрантских склоках, — и продирается с прокалывающей резкостью через пестроту социалистов. (Со многими ляпами, однако, с каким невыразимым вздором в иных лозунгах, теперь сокрытых дремучей лживостью большевицких источников. Уж кажется — сколько я о Ленине изучил! — а по «Апрелю» ещё вдобавок любопытнейшее: на двух апрельских партконференциях видные большевики разумно, убедительно опровергают ленинские заносные планы. А как доходит до голосования — Ленин почему-то неизменно выигрывает. Какой-то биологический инстинкт в партии.) Работу над этим Лениным — ещё как заново начинаешь.

А в тех же неделях — возвращается в Россию и Троцкий! — не оставить же и его без разработки. Какие они с Лениным разные — и как же злоспешно друг друга дополнили.

Надолго же я выбыл из современности. (С нынешними Штатами — живём мы в разных концах XX века и на разных континентах.)

Распахнув и одолевая «Апрель», увидел я: да эти первые четыре Узла «Колеса» уже покажут полный развал феврализма к концу апреля Семнадцатого. Дальше хоть и не писать.

А у меня-то материал уже много изучен, накоплен и на все двадцать Узлов. Тогда стала во мне просвечивать такая идея: как сами Узлы выхвачены из исторического потока частными пробами — так и из Узлов ненаписанных можно решётчатыми пробами выхватить основные события — и дать их плотным конспектом. Сводка оставшихся Узлов — Конспективный том?

Но — и до того тома ещё идти и идти. А к весне 1987 исполняется 18 лет моей непрерывной работы над «Красным Колесом».

А — как уже тянет: вернуться к малой форме. И — к 20-30-м годам, которые я в живой памяти держу, не по книгам и пересказам.

---

Однако отказаться от общественных выступлений — это ещё не значит замкнуться для работы над «Колесом». Ещё же тянутся заботы и обязанности по сериям ИНИИ и ВМБ. Приезжала для обсуждения следующих работ и обнадёжливая молодёжь: Юрий Фельштинский (дважды), Анна Гейфман, Виктор Соколов. Приезжал из Европы Николай Росс (третье поколение Первой эмиграции, из потомственной военной семьи, писал он работу о гражданских и социальных аспектах врангелевского управления Крымом). Профессор Полторацкий с женой — к моей радости склонявшийся к «Летописи русской эмиграции». Аля, сверх сил, отрываясь от выпуска в свет «Октября Шестнадцатого» и от сотен своих обязанностей, домашних и приходских (а в приходе — теперь и ежелетний лагерь для русских малышей, надо опекать и его, и даже Ермолай и Степан там «преподают» младшим), — ещё вкладывалась в мои со-

всем отдельные статьи, готовила воспоминания генерала Герасимова (о Пятом — Шестом годах) и вытягивала редактуру многотрудных рукописей военнопленных последней войны (первую такую за 40 лет книгу готовили мы, и сборник этот, как и Волкова-Муромцева, в охотку набирал Ермолай, да только Але надо было всё пристально корректировать).

Но главное, что изматывало Алю все годы, это — заботы нашего Фонда: обеспечение тайных денежных потоков в СССР, позже и наладку продуктовых и вещевых посылок тем, кто смел и мог получать прямо (а в феврале 84-го закон Черненко: за использование средств иностранных организаций — 10 + 5 лет, — конец? будут бояться?). И — по отдельным заказам из Москвы — срочное доставание разных лекарств. А поверх того, и самое-то отчаянное, — все годы (вновь после Гинзбурга) с 1983 и вот по нынешнюю весну 1987, — защита арестованного Сергея Ходоровича. А для этого — многие письма, обращения, воззвы и личные поездки в Вашингтон — к сенаторам, конгрессменам и солидным публицистам (как Джордж Вилл), видным газетам (пресс-конференции), и к американским делегатам, едущим в Москву ли, в сферу ли высших международных переговоров (Женева), — прося защиты Ходоровичу — и нередко же её получая. (Во многом сердечно помогала Люся Торн, выросшая в Америке дочь русских эмигрантов.) И интервью, и статьи в парижские и лондонские газеты. — А между тем после Ходоровича — сумятица в возглавлении Фонда в *Москве*, новый заместитель Андрей Кистяковский то схвачен на улице, то угрозы *посадки* ему (едут сенаторы в Москву — защитите! посетите Кистяковского, это и будет защита), а у него обнаружили меланому — опаснейший рак! В Америке изобретено какое-то новейшее лекарство, его ещё нет в продаже, — достать через Американскую Академию Наук и наладить передачу через американское посольство в Москве. (И это всё — вложить в напряжённые, плотные, «левые» письма в Москву, оказия к которым разражается всегда внезапно, и приходит же писем оттуда сразу лавина — и отвечать надо срочно всем, и ничего важного не упустить. Но в этих письмах, говорит Аля, «свет, и смысл, и вся серьёзность жизни».) Не спасли Андрея, умер, совсем молодым.

Аля никогда не могла разгрести свои столы от нарастающих папок и писем — а умудрялась, при являвшихся оказиях, ещё послать в Москву по 3-4 пуда книг, «запретных», — туда, нашим, читать! (Аля: «тяну, как через тайгу с поклажей, чувство не просто усталости, но истощения; жду Великого Поста как скалу среди хляби», — чтоб укрепиться.) Всегда плотно занята от рана и до поздна, и падает без памяти. А больше всего любит работать над моими текстами. И правда, так она ими пропитана, что слышит, угадывает, какое слово вот тут бы естественно, охотно я бы поставил.

Само собою, приезжали к нам друзья. Кроме супругов Струве и Банкулов, уже и сыновей их выросших, — Стива Ростропович, то один, то с Галей Вишневецкой (на масляну), то любимый наш «невидимка» Стиг Фредриксон. То Саша и Элла Горловы из Бостона. То, из Швейцарии, адвокат Гайлер, благодетельно спасший наш Фонд от поклёпа. То цюрихская чета наших друзей Видмеров. То из Буэнос-Айреса Николай Казанцев, выросший в эмиграции, а страстный патриот, издатель тамошней «Нашей страны», — единственный аргентинский корреспондент, прошедший всю Фолклендскую войну, — пружинно-стройный молодой человек. То — уже совсем новые знакомые, вдоль по музыкальному пути Игната, и учителя его. Приезжал и директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, радушно и настойчиво звавший меня поработать у них, — да мне уже не нужно было, все материалы у меня дома.

А то — профессор Эдвард Эриксон из Кальвин-колледжа, из Мичигана, с которым мы письменно познакомились после того, как он опубликовал свою книгу «Solzhenitsyn. The Moral Vision». Давно он предлагал произвести сокращённую однотомную версию «Архипелага» для Америки, где прочесть три тома не в состоянии почти никто, — чтобы я сам это произвёл, или кому-нибудь поручил, а буде приглянется — то ему, он бы взялся охотно. Просмотрел

я его проект — а что, может и полезное дело. Без российских углублений, с потерей исторических деталей и доли атмосферы, — а может получится, для нелюбознательных или зашумленных мозгов американской молодёжи. И трудолюбивый Эриксон взялся за работу. Потом я должен был просматривать все поставленные им «лапки», исправлять кое-где. (В облегчение мне Ермолай взялся по всем трём томам «Архипелага» перенести эриксоновские «лапки» с английского текста в русский. Для этого разложил работу на столе в «гостевой» комнате перед большим окном, откуда широкий вид на холмы, работал там не меньше недели. Однажды, когда на 10 минут спустился в кухню позавтракать, — раздался оглушительный стекольный звон. Прибежали — это с силой разбил вдребезги двойное стекло крупный ястреб, — мёртвой грудой лежит на столе, и засыпан осколками стол, все «Архипелаги» и полкомнаты. Сидел бы Ермолай — изуродовало бы и его.)

В конце 1983 Эриксон приехал к нам, обсудить состояние работы. Кое в чём я поправил, но многое он выбрал верно, понимая ментальность американской молодёжи. Оказался он ладный, крупный, основательный, лицо обросло коротко стриженной порослью, что-то шкиперское. Размеренный, очень доброжелательный. И более всего заинтересованный духовными вопросами. Он работал совершенно бескорыстно, для облегчения договорных формальностей с издательствами отказался от гонорара. (Потом — тянуло издательство Харпер. А когда в 1985 издали — то книга в Штатах мало кому понадобилась: «это всё — прошлое», и от них далёкое.)

Но помимо всех таких естественных встреч — дружеских или необходимо деловых — ещё же нависают пожелания встреч от многочисленных незнакомцев или отдалённо слышанных имён, — вот и замкнись. Особенно американцы, да и многие эмигранты поразительно падки к личным встречам как к самым необходимым. Так и добиваются: встретиться, встретиться! повидаться! (Иные — чтобы только сфотографироваться вместе.) Большой частью мне заранее понятно, что встреча совсем и никак не нужна: на бесплодной почве, пустоговорная. Бывают, реже, и такие, смысл которых заранее не угадываешь, может, что-то бы и надо? Однако при встрече, в беглом-необязывающем разговоре сказал что-нибудь гостю — это мнение моё завтра же пойдёт гулять по гостиним, да ещё исказят — даже хуже, чем если бы я его напечатал. Одна фраза — и забренчат искажения кубарем. Нет уж: замолкнуть — так замолкнуть. «Эмиграция в эмиграции».

И ещё же — особенность нашей жизни на отшибе: к нам нельзя издали ехать на два-три часа: обратный путь уже во дне не уместится, где-то ночевать. По-русски — не вышвыривать же людей в гостиницу, значит — ночуйте у нас. А значит — не меньше полутора суток на каждую встречу, да ещё и потом не сразу вернёшься в поток работы. А вся работа моя, 365 дней в году, может течь — только в повседневной, повседневной неотрывности, неразрывности.

А ещё же и такие настояния: «пять минут поговорить по телефону, лично!». Но — абсолютно не телефонный я человек, самый темп телефонных сношений давно уже отучился впускать в свою жизнь. Да в таком темпе не люблю и решений принимать, не учёшь всех соображений, ошибёшься. «Телефонным» людям кажется дикостью предпочитать письмо, когда можно «сразу поговорить». А для меня, напротив, дико, что люди не хотят признать никаких пространств, разлук, уединений, а — сразу выслушай, сразу ответь. Давно уже, в лагерях, набрался я, что лучшие верные мысли всегда приходят после подуманья.

В разные годы отклонял я настояния встретиться — многих, многих, и даже не по разу, и ещё таких, кому очень трудно было отказать — то писателям (просился приехать и Евтушенко: «объяснить» мне правильное поведение в Америке), то — эмигрантским публицистам, то едва только выпущенным за границу диссидентам.

Вот как-то переслали мне по просьбе Солоухина (отпущенного на короткую поездку в Швейцарию) его последние стихи. Не формой они выделяются, как у него всегда, но — трезвостью мысли. В одном пишет: в Гражданскую войну «Я мог погибнуть за Россию, / но не было меня тогда»; как он избежал и раскулачивания, и фронта, и лагеря, и других смертей, — так именно это обязывает его теперь: «Я поднимаюсь, как на бруствер, / на фоне трусов и хамья, / не надо слёз, не надо грусти, / сегодня очередь моя». Только мечтает? или вдруг да делает? Одно такое движение-жертва известного лица в СССР может больше сдвинуть, чем долгая эмигрантская организация. Но — решится ли?..

Осенью 1979 Солоухин был в Штатах и предлагал приехать ко мне — а я отклонил. Любого другого «деревенщика» — сразу бы пригласил, а Солоухин — как будто приласкан властями? Обменялись мы письма по два. Я посмотрел его последнюю публицистику — написал ему: автор, печатающийся в СССР, в отвычке от подлинного выражения мыслей, невольно попускает себе много лет работать не в уровень, трудно сохранить его в рост с подлинными задачами.

Однако в 1980 Солоухин напечатал в «Гранях» два рассказа — «Колокол» и «Первое поручение», из времён коллективизации, это был заметный и смелый шаг. И когда в марте 1984 о. Виктор Потапов позвонил нам из Вашингтона, что Солоухин в Штатах и снова хочет повидаться, — я согласился. Встретились мы тепло, сознавая себя писателями общей литературы (хотя вид у него с 1963 года стал довольно номенклатурный). Тут — и 22 марта, весеннее равноденствие, Аля «жаворонков» напекла. Это был для нас с Алей первый случай (кроме Евы, единожды) приезда к нам человека — прямо из СССР, советского гражданина, — необычное, волнующее впечатление, но и напоминание, как же условны все человеческие границы. А тайная книга его, о которой он намекал в письмах, оказалась — какое-то разоблачение советского режима, о которой покровитель Солоухина Леонид Леонов-де говорит: «атомная бомба». Ох, не думаю. И такие бомбы — надо вовремя взрывать, а не ждать — чего? — Подарил я Солоухину своё собрание, как было, до 12-го тома, в малых шкафах, — он повёз, и довёз. И никто б о нашей встрече не знал — если б не собственный его язык: кому-то рассказывал, дошло до начальства, его вызывали (и он потом тревожно сообщал через Париж; но обошлось). И вот, распространился такой слух, и опять: «русская партия» сколачивается!

Не один раз просил об интервью Жорж Нива — но каждый раз мне было почему-либо некстати и я отказывался. А между тем он был из паскалевской группы русистов, и несколько лет учился в Московском университете. И, ныне профессор Женевского университета, сохранил живую любовь к России; с большим вниманием и к моей работе. (Вдруг прислал мне удивительный снимок фрески в базилике на одном из венецианских островов: изображение *красного колеса* у подножья Божьего престола — как это понять? Кажется: «колесница Иезекииля», символизирует силы небесные.) Он опубликовал по-французски монографию обо мне, отдельную книгу, все говорили, что удалась. В конце 1984 он прислал мне уже и русское издание.

Действительно, местами — острое художественное зрение, тонкая душевная угадка, какая даётся редкому критику; и — меткие общие заключения. (Хотя не пойму, что значит «галлюцинация реальности» у меня или где у меня «реализм избыточности».)

Очень отчётливо — о композиции, ритме, о русской теме, органичной сроднённости с русским языком. Немало труда пришлось приложить Ниве и чтоб уточнить биографические факты (из-за физического удаления — тут неизбежны ошибки, изрядно), и немало же, чтоб, интуитивно, пробраться сквозь ходячие обо мне кривотолкования. (Часть и осталась: легенда, будто я потому так усиленно пишу, что это даёт мне надежду отсрочки от смерти; да якобы любованье теократией; или ненависть к Плеханову.) Но — понял он моё положение между эмигрантщиной и мировой образованщиной, безвыходно обложенное неприязнью, и верно предрекает: «У Солженицына всё меньше шансов быть услышанным».

Однако при выходе французского «Октября» к лету 1985 я вынужден был снова отказать Ниве в интервью, потому что уже о том дал Струве. А осенью 1985 Нива работал в Гарварде — считается «рядом», и выразил желание приехать. Очень приятный, скромный, даже кроткий, тихоголосый. Мило провели с ним сутки, но не думаю, чтобы наш разговор дал Жоржу искомое им углубление в мою работу: для этого нужна целая полоса общения — и работа, работа над текстами.

А в конце 1983 выехал на Запад Юрий Петрович Любимов. Писал мне из Лондона, что телевидение ФРГ хочет делать постановку по одной из моих книг, в первую очередь две новеллы о Ленине и Сталине (сюжет и охват ещё не уточнены). Согласен ли я? Я ответил: согласие на постановку — пожалуйста, но: начинать со Сталина — это упрощение нашей истории, а «Ленин в Цюрихе» встретил могущественных врагов на Западе, вам будут препятствия.

Только что посвежу из советских придавленных кругов — Любимов многого ещё, тут западного, не представлял.

А история отношений с Любимовым у нас была вот такая. Познакомились через Борю Можаява, были очень взаимно теплы и непосредственны, встречались несколько раз (и на поминки Твардовского ездили). По моему ощущению, он отличался постоянной открытой сердечной готовностью, которую никак не ограничивало его видное положение в театральном мире. Очень он непринуждён, светлая улыбка, искренние порывы. Особенно же запомнился их с Борей бесстрашный визит ко мне в Переделкино, за день до моей высылки, когда надо мной все бури гремели. Они смело прошли через оцепление гебистских надзорщиков.

В связи с проектируемой постановкой Ю. П. хотел приехать ко мне в Вермонт тем же летом, и я уже посылал ему расписание самолётов и автобусов. Потом он смолк, больше чем на год, никак не объясняя; очевидно, уже вник в западную обстановку. И — прав. Тем временем он напечатал несколько обширных интервью, ещё обожжённый всей *тамошней* болью своей и своего театра, — и, по-моему, слишком придирчиво клеймил А. Эфроса. Эфроса я знал по незаконченной нашей с ним работе над «Свечой на ветру» в Театре «Ленинского комсомола» — и хотя я несколько с ним не сдружился, но и отвратного образа уж никак не вынес.

Прошло два года — вдруг Юрий Петрович звонит из Бостона, что в этом ноябре он здесь (мы уже из газет знали), и очень нужно повидаться. Я рад ему, но знаю, что тактически ничем ему встреча не поможет: слишком разный жизненный опыт, разные углы зрения. Приехал, пробыл сутки. Всё так же он был изранен положением театра и своим. Вот каков был его проект: сделать нам втроем с Ростроповичем какое-то общественное заявление о положении советского искусства — и с удивлением услышал от меня, что моё участие только потопило бы то заявление. (Был как раз пик травли меня в Соединённых Штатах.) До такой степени он изранен, а ещё старше меня на год, — не знаю, как ему хватает сил тянуть работу, невыносимую на иностранных языках, мало известных ему. Но поражаюсь, как энергично он справляется. (Ещё год спустя, в горбачёвскую новизну, промелькнула ему возможность вернуться в Москву, он звонил к нам, зондировал наше мнение — мы очень советовали ему ехать.)

Осенью 1986 оказался и Юрий Кублановский близ нас, в Дартмут-колледже, и тоже приезжал. Он от момента эмиграции в 1982 открыто вслух выражает приверженность к моим книгам и согласие с моей линией — и за то подвергается от третьеземigrants самым унижительным насмешкам. Но в день его приезда и он и я оказались больны — и мало что вынесли от встречи. Да читать заочно его стихи, да обмениваться хорошими письмами — мне кажется ничуть не меньше встречи. Я считаю Кублановского весьма талантливым, из лучших русских поэтов сегодня, и с очень верным общественным и патриотическим чувством, — хотя его усложнённая метафоричность, нередко ускользающая в перегибах, огорчает меня. Не верю, что сегодня нельзя писать «просто».



А кроме встреч — сколько произвольных фраз неоглядчиво утекает через письма. Пишут, кажется, самые честные люди и с самыми честными намерениями — как можно, стиснув зубы, промолчать? как можно не протянуть руку поддержки? Вот М. Г. Трубецкой, из тех самых Трубецких, следующее поколение, шлёт воспоминания отца, я читаю, отзываюсь — а он отрывки из моих писем помещает как «предисловие» к своим публикациям (один — спросив разрешения, другой — уже и без). — Игорь Глаголев, перебежчик 1976, надрывается в борьбе против Советов, отвечает ему сочувственным письмом — вскоре узнаю, что я, заочно и без моего ведома, избран в «почётные председатели» их политической коалиции. — О. А. Красовский ездит по Штатам и Европе и, в утверждение своего новообразованного журнала «Вече», читает вслух моё совершенно частное к нему письмо. — Художник Дронников издал книжечку статистики о старой России, верного и полезного направления, прислал мне, — ну как промолчать бесчувственно? Шлю ему всего две-три фразы в письме — в следующем его выпуске они уже напечатаны как реклама на обложке! — Какой-то молодой человек П. Орешкин шлёт мне альбом своего исследования об этрусском языке, я не могу вникнуть в суть, но так ему нужна духовная поддержка, все его отвергают и смеются, — я пишу письмо с сочувственными словами, нельзя же истуканом замерзнуть в холодной высоте, — он выхватывает из письма благоприятное, опускает невыгодное, ещё переставляет фразы, как ему ладней, — и эту подделку печатает предисловием к своей книге!

Так что, я уже и писем никому не должен писать, так получается? Замкнуться до того, чтоб — и ни единого письма? Только так в этом эмигрантском кишении можно устоять?



Жалею ли я, что 10 лет, от «Письма вождям», не бросал напряжённую публицистику да «спасал» Запад, тем же самым и подрывая своё литературное значение и влияние? Эта деятельность была, да, ошибочна, но я не жалею о ней: «душа требовала» *врезать* сперва коммунистам, потом западным радикалам, потом «плюралистам», и я не мог иначе. Ведь мой врыв в публицистику и политику произошёл вовсе не от высылки на Запад, а ещё в СССР: «Письмо вождям», статьи «Из-под глыб», не говоря уж о войне с Союзом советских писателей. Так требовало неунимчивое сердце, и неизбежно было мне через это пройти. (И Ермолай — в меня, и в мать. Интерес его к политике всё обостряется. Схватился набирать на печатной машине мою статью «Черты двух революций». Рано утром до школы он непременно слушает последние известия — и когда считает новость чрезвычайной — бежит ко мне в рабочее здание, сообщать, — я слушаю только в полдень. Так, исключительно взволнованный, принёс он мне весть о смерти Андропова. — «Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» А как он эту власть себе готовил...) Моя общественная активность была — и в традиции русской литературы: если я вижу грозную опасность — я должен пытаться всем открыть на неё глаза. Да на Западе старался я убедить не политико-журналистическую братию, а простых людей. А на Востоке — как иначе защищать союзников, сотрудников, Фонд? как же — без публицистической войны с Советами? А тогда что ж? — бей в одну сторону, куда стало не опасно? а на Западе что б ни увидели глаза — молчи?

Нет, не жалею. Но и замолчал же с 1983 года — в обе стороны. И отбил-ся. И — замкнулся.

На самом деле, проблемы XX века совсем и не умещаются в текущей политике, они суть наследие трёх предыдущих веков. Писателю и надо задумываться над глубинами проблем, а не мельтешиться по сегодняшнему дню. Есть — *верхний* Зов Времени. Верховой.

В такой изумительной, необъятной тишине, как в Пяти Ручьях, не жил я нигде никогда — да без навязчивых громкоговорителей, всю мою советскую жизнь долбивших, изнимавших меня. Тут проснёшься ночью — и всем телом, всей душой чувствуешь себя частью неохватимого молчащего Мира. Я лежу — на самом дне его, а в недостижимой, непостижимой высоте — Господь, и оттого остро чувствую себя защищённым, глубоко сохранённым. Звуков — вовсе нет, начисто. Но если и раздастся дальний лай собак на фермах или урчаще-всхлипывающий, ни с чем не сравнимый призыв койота (моего любимца! подойди, подойди поближе!) — то эти звуки только ярче дают ощутить несравненные размеры Пространства.

А вот, в бессонницу, прорезался как дразнилка замысел *двучастного рассказа*, первого. Вот бы после «Колеса» успеть написать их несколько, очертить этот естественный под-жанр рассказа.

---

А — ещё же, ещё же! С 1947 года, с шарашки в Сергиевом Посаде и через все лагеря, ссылку, через всю жизнь, 35 лет делал я выборки сочных слов из далевского словаря: сперва выписывал 1-й экстракт, потом из него самое яркое — 2-й, потом и 3-й. Всё это — в записных книжечках, мелким почерком, — а какова их судьба дальше? И нет же времени обработать как-то.

А — заметил я, что в младшеньком моём Стёпе, кроме жадного интереса сперва к географии, а постарше — и к богослужебным текстам, ко всему их богатству, и на обоих языках, церковно-славянском и английском, — заметил в нём определённое лингвистическое чутьё. И, не помню, сам ли я предложил, а верней он первый потянулся к моим этим книжечкам, — но с августа 1983 (он годами помнил потом и дату, любую) принялись мы с ним, десятилетним, за такую работу: из моего последнего экстракта делать ещё один, идя по моим отметкам в блокноте, и сразу он будет печатать на машинке на малых, половинных, листах. Норма была ему на неделю сперва 2 листика, потом 3, потом и до 5, а дни работы он выбирал сам. Для него это было хорошее упражнение в объёме, смыслах и красках русского языка; а для меня — реальная помощь: из моих записных книжек никто бы, кроме Али, не взялся набирать, но она беспроглядно занята; а дальше, машинописные листики, — я уже мог отчётливо готовить и для наборщика. В 1987 исполняется сорок лет моей непрерывной работы над сохранностью погубляемой русской лексики — и наконец следует завершить выпуск словаря. (Вначале были у Стёпы минуты слабости: вдруг, при считывании, расплакался и признался, что иногда пропускал отмеченные ему слова — в надежде, что работа таким образом быстрее кончится... Но после раскаяния он уже больше так не поступал.) Замечательно мы с ним проработали четыре года, вот и кончаем.

Если бы не Степан — никогда б я на эту работу времени не нашёл. Теперь остаётся мне вновь перечитать всё дважды, вставить ещё выборки примеров словоупотребления у разных писателей — и сдавать в сложный компьютерный набор (шрифтов будет больше дюжины).

Мысль добавлять примеры из русских писателей полезна наглядностью для скептических читателей: что весь этот словарь — не придумка, а слова давным-давно в употреблении, и никому же не резали глаз и ухо. — Эта мысль пришла мне и оттого, что главная доля проработки неохватного исторического материала постепенно оставалась уже за спиной. И вот, после неразгибных семнадцати лет над «Колесом», когда все, сплошь все вечера отдавались обработке очередных исторических материалов, чтобы только не задержалась утренняя завтрашняя работа, — впервые проявился просвет в моих вечерах — и я мог разрешить себе *просто читать*, просто читать русскую литературу! Странно ощущал я себя в этом сниженном темпе, с наслаждением втягивал. И из Девятнадцатого сколько упущено, и из Двадцатого сколько не знаю!

С той зимы — да впервые от лет тюремного чтения — я мог разрешить себе читать не именно только для своей работы, но и «просто так», по выбору, для удовольствия. Первыми тут были — Бунин, «Обрыв» Гончарова, Глеб Успенский, Островский. И нельзя было не потянуться выписывать найденные слова — а они охотно втеснялись в мой словарь. Затем, уже специально для выбора слов, я читал Мельникова-Печерского, Мамина-Сибиряка, затем стал выписывать из В. Распутина — В. Белова — В. Астафьева, и пошло, и пошло.

А острей-то всего жажда читать у меня была к советской литературе 20-30-х годов, там — многого не знаю, и много недосказанного. (И — как бы тянет вернуться в юность свою, в начало своего литературного бытия.)

Но и «просто читать» я, оказывается, тоже не сумел: всё время тянется рука записать своё суждение, оценку, частную или общую, — о приёмах автора, о композиции, о персонажах, о взглядах его, и цитаты отдельные. А когда столько понавписано — то и тоже не бросишь в запуски: надо ж выписки обработать и перелить в сколько-нибудь стройный порядок, в связный текст. И так складывались — по разрозненным книгам — не то чтобы литературные рецензии, нет, а просто — мои впечатления. Вот, они прибавляются, я стал называть это «Литературной коллекцией». Может, и в следующие годы ещё наберётся.

Да какое наслаждение, что можно наконец впитывать, что было пропущено в бесконечной гонке и сдавленности всей моей жизни — покрыть прорехи моих знаний, — ведь я пробежал свою жизнь, как лошадь, погоняемая в три кнута, и никогда не было мгновения покоситься в сторону.

Вот, пишу про меня как несомненное, что я нахожусь под влиянием славянофилов и продолжаю их линию, — а я до сих пор ни одной книги их не читал и не видел никогда. Или требуют интервью: как я отношусь к «вётевско-манновской традиции гармонии» — а я Томаса Манна и ни строчки не читал до сих пор. А то усматривают «очевидное влияние» на «Колесо» «Петербурга» Белого — а я ещё только вот собираюсь его прочесть. Разве со стороны можно представить, до чего была забита моя жизнь?

Но и больше того: художник и не нуждается в слишком детальном изучении предшественников. Свою большую задачу я только и мог выполнить отгородясь и не зная множества, сделанного до меня: иначе растворишься, задёргаться в том и ничего не сделаешь. Прочёл бы я «Волшебную гору» (и сегодня не читал) — может, она как-то помешала бы мне писать «Раковый корпус». Меня то и спасло, что не исказился мой самодвижущий рост. Меня всегда жадно тянуло читать и знать — но в более свободные школьные провинциальные годы не было надо мной такого руководства и не было доступа к такой библиотеке, — а со студенческих лет жизнь съедала математика; только перекинул мостик в МИФЛИ — тут война, потом тюрьма, лагеря, ссылка и преподавание всё той же математики, да ещё и физики (подготовка классных демонстраций-опытов, в чём сильно затруднялся). И — годами, годами сдавленная конспирация, и подпольная гонка книг, за всех умерших и несказавших. И в жизни надо было досконально изучать артиллерию, онкологию, Первую Мировую войну, потом и предреволюционную Россию, уже такую непредставимую. Теперь по собственной библиотеке, Алей собранной, хожу и с завистью пересматриваю корешки: сколько же я не читал! сколько упущено прочесть! Вот — написал всё главное, снижается внутреннее давление и давление с плеч — теперь-то и открывается простор для чтения и знаний, теперь-то и наверстать всё упущенное за десятилетия гонки. И европейскую же Историю — от Средних веков. (В МИФЛИ прогнал по марксистскому учебнику, да и забыл всё.) И особенно — европейскую мысль, от Возрождения. А Библия — не перечтена с детства, а отцы Церкви — и никогда. И не теперь ли, на конце жизни, — всё это и нагонять?

Говорят: учись, поколе хрящи не срослись. А я вот — на старость. Стал перечитывать свои тюремные конспекты по философии, спасённые с шараш-

ки Марфино Анечкой Исаевой. Стал читать историю Французской революции. И — великих русских поэтов Двадцатого века. (Аля их чуть не целиком наизусть знает.)

Есть ещё полносилие, на что-то же мне дано. И душа — молодая. Почувствовать хоть на старость — и как жаль, что осталось мало лет. Все когда-то начатые нити — подхватить из оброна, довести до конца. Всё спеша и буравя вперёд тоннелями интуиции, сколько я оставил позади себя неосвоенных гор! А ведь: *tantum possumus, quantum scimus*. (Столько можем, сколько знаем.) Взлезть бы на такую обзорную площадку, откуда б видно на века назад и на полвека вперёд.

Живут и лет по́ сту, а всё будто к росту.

Так что отныне девиз: ни одного лишнего внешнего движения. Стянуться к самому себе и к главному в жизни. Помалчивать да поделявать.

Господи! да ведь условия для работы какие дивные — мог ли я когда мечтать?

«В тесноте Ты давал мне простор...»

Вермонт  
Весна 1987

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### [1]

#### ПИСЬМО ЕЛИЗАВЕТЕ II, КОРОЛЕВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Кавендиш, Вермонт  
3 января 1991

Ваше Величество!

В 1945 и 1946 годах правительство Великобритании и его военное командование, ведшее до того времени, кажется, войну за всеобщую свободу, — по тайному соглашению с администрацией Сталина передали на расправу ему десятки тысяч и даже сотни тысяч беженцев из СССР, бессильно сопротивлявшихся той предательской выдаче. С теми, кто не был расстрелян, я сидел в лагерях Гулага, они многие погибли там. Не все чины тогдашней британской администрации знали о ялтинском сговоре, но все ближайшие исполнители своими глазами видели закрайнее отчаяние выдаваемых, и даже самоубийства их. И никто из тех чинов (ни даже бригадир Тоби Лоу) не мог не понимать ужасного смысла совершаемого.

Эта массовая выдача людей на гибель положила тяжёлое пятно на британскую совесть и вековое, если не длительней, — на будущее русско-английское взаимопонимание. Ведь народы живут в других временных отрезках, нежели мы, отдельные люди. И туша совершённого предательства была ещё тем утяжелена, что свободная всезнающая британская пресса — тридцать лет не проронила даже звука о великом преступлении, и только тогда заговорила, когда разоблачения уже были сделаны вне Британии.

И вот дальний родственник Льва Толстого, как бы переняв мучительные поиски совести великого писателя, — Николай Толстой, в ком сошлись и русское происхождение и английская принадлежность, — расследовал, сколько было ему доступно, происшедшее и напечатал книгу «Жертвы Ялты», естественно назвав там и действовавших участников. Этим он совершил душевный подвиг в прояснении и ослаблении того мрачного узла, который был жестоко завязан между нашими народами в 1945 году.

А по одному из побочных, частных последствий от разоблачений, сделанных в книге Толстого, — он добровольно, безо всякой практической надобности, лишь

для утверждения истины, поставил себя под судебную ответственность. И английский суд, призванный же, как я понимаю, всегда соответствовать истине в её полном объёме? — поразительным образом присудил правдолюбца к небывалому штрафу в полтора миллиона фунтов стерлингов! — тем самым обрёк Толстого на банкротство, семью его на бедствия. Но тем самым как бы нанеся с британской стороны ещё один добивающий удар — по тем, погибшим в Гулаге. И тем самым — запугивая и всякого впредь, кто осмелился бы расшевелить пепел того послевоенного преступления. Таким образом, этот суд по своему смыслу оказался прямо обратен Нюрнбергскому процессу и выходит за рамки личных стараний непорочного истца получить свой судебный куш, прежде чем он отправится к Суду Вышнему.

Но тем более ясно, что уже и никогда позже ни об одном из участников того массового преступления не будет разыскана его вина. Итак, в Англии никто никогда не будет в том обвинён, никто никогда — наказан, а иные тем временем и награждены. Толпы беззащитных людей выданы на погибель — и никто не виноват. В СССР уничтожение миллионов людей долго называлось всего лишь «ошибкой» коммунистической партии. Неужели и в Англии всё минует под скромным обличьем «послевоенной ошибки»?

Ваше Величество! В моём понимании монарх — не может быть равнодушен ни к чему, происходящему в его отечестве, и в высоком смысле несёт долю ответственности за всё, совершаемое в нём, даже когда лишён формального права направлять события. Разумеется, Вы не властны влиять на решения суда. Но Вы властны сделать какой-то моральный шаг, который дал бы всему новый свет. Я не знаю — какой именно, Ваша интуиция подскажет Вам верней. Если Вы дадите понять, где лежит Правда, — это движение Ваше не останется незамеченным в истории.

Примите моё высокое уважение.

Я хотел бы выразить мои самые добрые пожелания принцу Филиппу и принцу Чарльзу.

*Александр Солженицын.*

*(Публикация глав будет продолжена.)*



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ



## ХОЛОДНАЯ РУКА ЦИКЛОПА

*Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов*

24 января 1984 года.

Пятого января я закончил 388-ю, и последнюю, страницу рукописи о Залыгине. Теперь жду, что скажут эти подозрительные издатели из «Современника». Странно, но Залыгин не откликнулся на мои новогодние поздравления, можно подумать, что он за что-то на меня обиделся. На мои юбилейные отклики в «Лит. газете» и «Дружбе народов»? За то, что недостаточно юбилейны?

Самому мне то, что я написал (рукопись), пока нравится. Во всяком случае, это много сильнее, — так я чувствую, — первых двух книжек. Но захотят ли это заметить?

Уже в январе переделал и дописал на треть статью о Распутине для «Нового мира». Написал рецензию для ярославского издательства (Г. Никифоров). Сегодня правил и дописал статью (фрагмент статьи) «По ту сторону жанра». Корнилов увез в Саратов; вроде бы «Волга» собирается отметить мое 50-летие.

Это несчастное 50-летие! Куда мне деваться, как ускользнуть, не отмечать, не собирать сборища в библиотеке, где проходят эти наши процедуры!

Пока гоню все это из головы. Говорю себе: еще успею, не до этого.

Вот-вот «Сов. писатель» напомнит мне, что им-то рукопись я не отправил, и тогда-то я возьмусь за сочинение слезного прошения — о продлении и проч., и проч.

Надо дописать оборванную предыдущую запись: Залыгин рассказывал, что Айтматов держал себя в Австрии с чрезвычайным достоинством. Когда после сочинения Айтматовым какой-то дипломатической бумаги (удачного) С. П. сказал ему, что он, Айтматов, мог бы быть послом, тот пренебрежительно спросил: «Здесь?» Любопытно, что в аэропорту Айтматов очень искал комнату для парламентариев. Долго ходили, до отлета, не нашли. Жаль, сказал Айтматов, нет времени, все равно бы нашел.

С удовольствием читаю Карла Поппера. Кажется, образуется интересная переписка с Т. Руллисом (Рига)<sup>1</sup>.

В недавно вышедшей книжке В. Леоновича «Нижняя Дебря» мне посвящено стихотворение о волжском буксире, воющем и кричащем у берегов Костромы.

Надо бы записать о том, как Кожинов и Ю. Кузнецов провозгласили галичанина Виктора Лапшина, когда-то поддержанного и впервые замеченного мною, — едва ли не гением.

Повеяло крепким духом мафии.

Остальная жизнь еще более замечательна.

Я тшусь все успеть и не замечать, сколько мне лет. Чему-то внутри, кажется, нет сноса, а все остальное изнашивается.

---

Окончание. Начало см. «Новый мир», № 11 с. г.

Публикация и примечания Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.

<sup>1</sup> Руллис Талрид — латышский переводчик русской и белорусской прозы.

Сегодня впервые немного рассказал Никите об университете в 56 — 57 годах. Совсем немного.

29 февраля.

<...> Ну а потом умер Андропов. И появился новый выдающийся руководитель — Черненко.

Три дня все гадали: кто же? Кто будет? и чьи же «выводы и положения» следует нам отныне «класть в основу»?

Все устроено так, что преемственность не обеспечена. На место президента не встанет вице-президент и т. д.

В таких случаях предпочтительнее «автоматизм». «Автоматизм», узаконенный конституцией и признанный народом.

А так — что ж... Небольшая группа профессиональных руководителей решает, не спрашиваясь у народа, *кого* объявить «выдающимся», «несгибаемым» лидером и вождем.

«Автоматизм», правда, есть и тут: первое лицо в партии автоматически становится первым лицом в государстве.

Мнение народа в распределении власти, таким образом, не учитывается.

И нам это неудивительно.

За это время отправил статьи о Быкове («Север»), Распутине («Новый мир»). Корнилов отвез статью «По ту сторону жанра» (по сути, фрагмент статьи) в «Волгу». Это была его инициатива, чтобы что-то в «Волге» появилось к 11 апреля, но я не очень-то верю в это появление. Пока насчет всех этих статей (во всех трех — полемический уклон) — неопределенность.

На днях — событие: позвонил после нескольких лет молчания Игорь Виноградов. Это он получил от меня очередные тома Достоевского с открыткой, где было: «Уж очень сурово ты молчишь». Вот он и отозвался. Я этому обстоятельству рад.

Теперь костромская культура — без Коли Шувалова. Он замерз вечером 25 января недалеко от дома, возвращаясь после обсуждения выставки Каткова. Говорят, что это был Татьянин день, и что теперь они с Таней опять воссоединились, и что он предчувствовал свой уход... сердце его уже не было прежним упрямым сильным сердцем акробата и строптивного художника...

У нас в моей комнате висит его картина молодой поры, где лимон на синем подоконнике на фоне белоснежных гор. Однажды, помню, девятого мая Коля с Таней зашли к нам и сидели на старом нашем диване под этой картиной. <...> Был какой-то славный, трогательный день, и мы разговаривали о наших детях. Теперь их Колоша — взрослый, женатый человек, столяр в Худфонде и — пьющий... А когда-то Коля говорил мне, что их Колоша видел с балкона летающее блюдце... И что сам смастерил электрическую гитару...

Звонил П. Уляшов («Лит. Россия»), спросил, не против ли я буду, если газета отметит наше с Л. Аннинским 50-летие публикацией нашего «диалога» в виде фрагмента из нашей переписки, который Лева взялся подготовить. Я опрометчиво сказал: если Лева считает, что это возможно (т. е. возможно подготовить), то я на него полагаюсь и не против... Но теперь я задумался: а что из этого выйдет? Приличное ли что выйдет? Не получится ли к тому же нечто похожее на запись шахматной партии, где белые начинают и выигрывают?..

Из чтения миновавшего месяца: «Вечный город» Проханова, новые повести Маканина и Гранина в «Новом мире», повесть Н. Катерли в «Неве», фантастический роман А. Богданова «Красная звезда» (для выступления в библиотеке о фантастике), «Агнец» Мориака, «Равновесие» В. Портнова (Баку), Л. Яновская «Творческий путь Михаила Булгакова», «Проделки Скапена» Мольера, шестой том А. Твардовского, повесть Р. Киреева «Ладан», рассказы Г. Абрамова и — особо важно! — статьи Пителима Сорокина в «Экономисте» (1922) о влиянии войн и голода на состав и судьбы народов, прежде всего — русского. И еще — К. Поппер, и новые китайские повести, и книжка Н. Котляревского «Девятнадцатый век» (1921) и т. д.

Из почты: интереснейшие статьи из Симферополя от И. Т. Шеховцова, письма от Т. Руллиса, В. Леонovichа, Л. Лазарева и др.

Через это — преодоление костромского одиночества и «отшиба» — ощущение своей «нужности».

Совместное с Никитой чтение «Военно-исторического журнала» за 1964 год, где множество свидетельств о временах сталинских репрессий (журнал взял, чтобы прочесть воспоминания Энгельгардта «Потонувший мир»; о них узнал из переписки Твардовского).

Во второй половине дня — уже весна. Течет с крыш. Снега совсем мало. Метели бушевали над Америкой. У нас стояло бесснежье. Ослепительное солнце; вылезает на волю — слезятся глаза; прекрасная пора — в самом воздухе, в блеске дня, в синеве неба — бодрость, хожу и глубоко дышу...

6 мая.

Первый весенний дождик, деревья в легком зеленом тумане, воскресный день, томительный от долгого чтения и неписанья; из-за дождя сорвался футбол, и мне кажется, я чувствую эту нехватку движения.

Не думал я, что с 11 апреля свяжется столько переживаний, но после нашего возвращения из Москвы с похорон Людмилы Семеновны Кузьминой начались... приезд гостей, моих родителей, Володи, Оскоцкого с Ниной, Анфиногенова, Стасика Лесневского, Тани Львовой, Саши Шпикалова, празднество, проводы, переживание того, как все произошло, полученных поздравлений и т. д.<sup>2</sup>

Кажется, все было неплохо, восстанавливать подробности я не буду, остаются телеграммы, газетные вырезки, письма — этого достаточно для памяти, есть и фотографии; остается сбересть подробности иного рода: на вечере в библиотеке присутствовал Сергей Сергеевич (Павлов) из госбезопасности (подшел, поздравил, сидел в зале), был и любитель словесности — бывший начальник отдела, полковник госбезопасности в отставке Виктор Гаврилович Лавров <...>; ну, еще подробность: вечером, то есть к вечеру десятого, в союз позвонили из обкома и раздраженно спросили, почему до сих пор не представлен план (сценарий) проведения завтрашнего вечера в библиотеке; наутро Бочарников, которому поручили быть ведущим, отправился в обком, чтобы представить требуемое; вечером же десятого в секретариате «Северной правды» появился Тупиченков<sup>3</sup>, чтобы «посмотреть» полосы (в номере шел мой текст и несколько слов обо мне <...>).

Словом, областное начальство выдало свое ко мне отношение, оказав мне тем самым добрую услугу: юбилей прошел таким образом, что мое несоответствие с «официальной линией» оказалось заметным, и думаю, в глазах собравшихся это меня никак не уронило, а скорее наоборот — вызвало расположение и лишний раз подтвердило мою здешнюю репутацию; впрочем, и без этой «услуги» ход вечера (с воспоминаниями Анфиногенова<sup>4</sup> о пятьдесят седьмом годе — и моими) подтвердил бы то же самое: некоторую трудно добытую мною независимость.

Огромное впечатление — работа Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Все остальное (из прочитанного) — ниже и слабее, то есть идет по ряду «ремесла»; и — не мастеровитого.

Понадарили часов, всюду часы — глаз натывается, — словно смотреть и вздрагивать: время уходит, иссякает, торопись, не транжирь.

Два недавних выпускника Никитиной школы тяжело ранены в Афганистане, лежат в госпиталях Москвы и Ленинграда; один — убит, его мать написала письма в инстанции, что школа о ней не заботится, ничем не помогает; а

<sup>2</sup> 50-летие Дедкова.

<sup>3</sup> Тупиченков В. А. — секретарь Костромского обкома КПСС по идеологии в те годы.

<sup>4</sup> Анфиногенов А. З. — писатель, публицист.



школа ответила: откуда мы могли про это знать, мы ничего не знали, не ведали; теперь об этом узнали все старшеклассники.

И это потери — известные, не скроешь — всего лишь в одной школе Костромы.

8 мая.

Сообщили, что от участия в Олимпиаде отказываемся; решение, разумеется, принято единогласно.

Сегодня по телевидению, в канун дня Победы, показывали фильм сорок второго года «Антоша Рыбкин»; не впервые ли показывали?

Веселая разухабистая война; повар Антоша Рыбкин (Борис Чирков), переодетый в немецкую форму, заманивает вражеских солдат в реку, они плывут за ним как бараны, а он, усевшись в лодке, кричит им: «Хенде хох!» — и палит, палит из автомата, и хохочет, и веселится, пока не исчезают последние поднятые вверх руки.

Эта комедия сочинена режиссером Юдиным; никак не удастся забыть, что в титрах: Алма-Ата, сорок второй год. Враги изображены придурками и идиотами, наши веселятся, а в атаку идут, спрыгивая с грузовиков; их подвозят на поле боя, как косцов на луга.

К Люде Кириловой в отдел писем<sup>5</sup> приходил житель села Неверова Нерехтского района, принес благодарность, просил напечатать, благодарил за то, что помогли похоронить сына, убитого в Афганистане, поставить памятник. Люда объяснила, что напечатать невозможно, разговаривала участливо и услышала рассказ, как этот человек попросил солдата, сопровождавшего цинковый гроб, приоткрыть крышку; отец увидел в гробу только половину тела, сильно обожженного. Рассказывал он с подробностями, но Люда их Тамаре не повторила. Теперь он жалеет, что посмел взглянуть; теперь он не забудет увиденного, думаю я, до конца своих дней, и ничто уже не смоет в его памяти этой картины. Он увидел то, что было его сыном.

Недавно в доме, где живет Люда, в Черноречье в один день хоронили двоих молодых людей: один, строитель, спьяну разбился, вывалившись с восьмого этажа строящегося дома; другой — погиб в Афганистане. Люде рассказывали, что работники военкомата с этим страшным известием приходят поздним вечером, часов в десять — одиннадцать, непременно с медсестрой и врачом. Приходится «откачивать» матерей и других близких; объявляют, что сын погиб, прибыл цинковый гроб, могила уже подготовлена, похороны завтра во столько-то часов; памятник заказан.

Был случай: в редакцию прислала письмо мать погибшего юноши, возмущенная тем, что памятник сыну привезли домой и оставили, не позаботившись о дальнейшем.

Заодно, разговорившись, обычно молчаливая Люда рассказала о своих братьях, родном и двоюродном, первый — танкист, участвовал в событиях 68-го года в Чехословакии; взрывом какой-то гранаты обожгло глаза, сейчас инвалид, но частично зрение сохранилось; ему пишут письма товарищи по госпитальной палате, все они постепенно ослепли. Двоюродный брат оказался на полуострове Даманском. Участия в бою не принимал, но пригодился при захоронении трупов. После демобилизации женился, сейчас двое детей. Не очень давно заболел: ночные военные кошмары. Поставили на учет в психиатрической лечебнице.

Народ велик, на это надежда и расчет; можно успокоить себя, сказав, допустим, что погибает не больше, чем при автомобильных катастрофах или при эпидемиях гриппа. Действительно, народ настолько велик, что даже массовые репрессии как бы «пощипали» его; царапины, небольшие, быстро затягивающиеся ранки. Все эти потери в людях сносимы, терпимы, если ты твердо уверен, что тебя и твоих близких они не коснутся. Поскольку люди, ведущие всю эту большую политическую игру, *твердо уверены*, играть они могут достаточно долго. Не думаю, что воображение у них сильно развито. Воображение — удел слабых и малозакаленных.

<sup>5</sup> Редакция областной газеты «Северная правда».

Темь и тайна, в которую погружены наши потери, — *наше несчастье*, — говорят о том, что это нечистое дело боится света и гласности. Надо иметь в виду и то, что родители, имеющие сколько-нибудь власти, влияния, связей и вообще хоть какое-то общественное положение, делают все, чтобы обезопасить своих сыновей. Другие родители бессильны что-либо предпринять, они твердо усвоили, сколь малы и беспомощны они перед государством.

Вьетнамскую войну сопровождала гласность; были протесты, были «отказники», попадавшие под суд или бежавшие в какую-нибудь Швецию; потери обнародовались; цинковые гробы прибывали при свете дня; печать не обходила ни войны, ни потерь молчанием.

Не надо меня поправлять; я знаю, какова разница в этих войнах; разница несомненна. Многие годы мы живем в условиях безошибочной внешней политики нашего государства; во внутренней политике (экономической и прочей) бывали просчеты и тому подобное; внешняя, судя по внедренной в наше сознание оценке, безупречна. Если дело обстоит так, то наши афганские потери исторически необходимы, исторически оправданы. Но стоит допустить, что за объективную необходимость порой выдается обыкновенный человеческий просчет, скоропалительное, плохо обдуманное решение одного или нескольких человек, а то и вообще чья-то глупость, то вся эта политическая и военная неизбежность предстает в ином свете: может быть, выпускник 32-й школы Зотов (имени пока не знаю) и многие другие русские юноши погибли потому, что какие-то афганские революционеры и их наши советчики переоценили свои силы, возможности, расположение к социализму афганского народа и решили ускорить ход этой чересчур *медленной истории*. И ускорили, и, поубивав друг друга в борьбе за власть, стали ускорять дальше. Я смотрю на Бабраля Кармака или Кармака Бабраля, или как там зовут этого выпускника ВПШа, и думаю, с каким чувством читает он сводки советских потерь? Представляет ли он себе, как плачут в России и Средней Азии и на Кавказе матери и невесты? Считает ли он, что слова «интернациональный долг» — исчерпывающее, исцеляющее объяснение? Что-то не попадалось мне сравнение (в газетах) Афганистана с Испанией; <...> там воевали с фашизмом, и дальнейший ход истории показал, как они были правы, воевавшие там! Туда ехали воевать со всего света; наши солдаты умирают в Афганистане одни; а что, если они защищают собой просто-напросто несостоятельных политиков? И хуже того — политиков, не знающих, как исправить допущенные ошибки? Людей, не умеющих переводить политические отвлеченности в человеческие жизни, выражать их — в жизнях; не умеющих или не желающих *так* считать?

Существует версия: в этой пограничной с нами стране нарастало американское влияние. Но вспомним, что Афганистан — первое государство, установившее с нами дипломатические отношения, вспомним, что послевоенные, особенно после смерти Сталина, наши отношения развивались благополучно, что король Афганистана не раз наезжал в Москву и москвичи выстраивались вдоль улиц, приветствуя его. Кто скажет, нарастало ли на самом деле американское влияние, и если нарастало, то в результате чего? наших ли промахов, нашего ли усердия в поддержке Тараки? наших ли более сложных интриг? Кто, через сколько лет скажет, что оттолкнуло от России афганского короля? Может быть, он предчувствовал, что его убьют? Убьют при негласной, а может быть, и явной поддержке тех, с кем он долгие годы был дружен? Говорят, что шоссе до Кабула от нашей границы построено при короле?

Тяжело обо всем этом думать; тем тяжелее, что при пресловутом «информационном взрыве» знаем мы по-прежнему мало, ничуть не больше, чем знали десять, двадцать, двадцать пять лет назад, назвать цифру тридцать не могу: там было много хуже.

Читаю «Записные книжки» Петра Андреевича Вяземского (1883), восьмой и девятый тома собрания сочинений, наткнулся на замечательные рассуждения о Польше, о стихотворениях Пушкина и Жуковского на «польскую тему», помеченные 1831-м годом; надо бы сделать выписки.

18 мая.

Сон-то не к добру, а приснилось — утром за чаем рассказывал, — как мы с Никитой вдвоем в какой-то деревенской избе то ли отсиживаемся, переживаем, то ли обороняемся, а перед нашими или только моими глазами план местности, сначала будто бы рисованный, а потом — похоже — на каком-то экране, потому что вдруг спокойствие на нем нарушается и с неожиданной для нас стороны, с тыла, стремительно движется какая-то сила, что-то страшное, невнятное, темное прочерчивает этот «экран», и я потрясенно выхожу из комнаты, чтобы взглянуть во двор; за окном — по всей деревне пламя, и чей-то голос неподалеку произносит: «Горим!» — я наклоняюсь к стеклу, и понизу по стене вроде бы действительно огонь; я спешу возвратиться к Никите и просыпаюсь; причем отчаяния нет, ум холоден, рассудителен, ищет выхода, но все равно тяжело, и просыпаюсь, выходит, чтобы лучше обдумать; шестой час, лежу обдумываю, вспоминаю, как было, кто там прорвался и чем вооружены; кажется, оружие у нас какое-то фаготообразное; это вчера были на концерте Эстонского симфонического оркестра, и фаготы были приметны.

Теперь-то я понимаю, что главное в сне: опасность заходит с тылу.

После обеда приносят Володино письмо: мама-папа, не беспокойтесь, но забирают в армию на два года, весь выпуск; подал прошение об отсрочке в связи с тем, что ждем ребенка <...>.

Я был дома один, писал о Трифонове, ходил по комнате и ругался, твердил: «гады, гады».

Газеты, радио и телевидение нагнетают напряженность; все — в одну дуду. В «Правде» интервью с каким-то американским музыкантом: отношения наших стран достигли критической точки. А ведь люди читают, вздрагивают, готовятся к еще худшему, привыкают.

При такой обстановке легче объяснять наши жертвы в Афганистане; вообще легче управлять.

В газетах прошло сообщение из Кабула: решено создавать «отряды самообороны» на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

11 августа.

Четвертый день, как мы вернулись домой после поездки в Дубулты; на обратном пути задержались в Москве, что позволило повидать родителей, побывать у Володи и Светы, у Богомолова, Бакланова и у Лесневских. Да, застал в издательстве, в директорском уже кабинете Леню Фролова, что тоже было кстати; в «Дружбе народов» виделся с Сашей Руденко и Лидией Абрамовной Дурново. Если все сложить, то получится активная литературная жизнь; если на уровне разговоров, то — да, активная; но надо же иногда вылезать из норы.

Если вспоминать наши дни на взморье, то записать нужно многое: экскурсии и разговоры Талрида Руллиса, разговоры с Граниным, впечатления от Иосифа Герасимова, Станислава Долецкого, Виталия Михайловича Озерова и тому подобное (имена-отчества, столь тщательно здесь воспроизводимые, означают лишь то, что машинка все еще не починена и не хочется в инициалах вместо точки ставить запятую; пустяк, но вот не хочется).

Как и в прошлом году, брал машинку с собой; отправлял в Ижевск предисловие к богомоловскому «Ивану»; больше не пригодилась; благодаря Талриду отдых был безмерно активным и содержательным; оба определения скучны, но суть выражают точно; с нашим пицундским распорядком жизни — ничего общего.

Но прежде чем излагать нашу июльскую прибалтийскую жизнь, нужно вспомнить кое-что из предыдущего: как не поехал на юбилей Быкова, как в три часа дня пятого июля закончил 20-листную рукопись для «Советского писателя», а утром следующего дня положил ее на стол Марии Яковлевны Малхазовой; как в ночь на 30 июня Слава Штыков<sup>6</sup> облил себя растворителем

<sup>6</sup> Штыков Я. В. — костромской художник, друг Дедкова.

(красок), поджог себя и был отвезен в больницу с поражением 48 процентов кожи; он мучился и боролся за жизнь неделю; третьего августа были похороны, и я говорил на кладбище; <...> из Карабанова приехала старенькая, худенькая, какая-то обугленная мать Славы; отношений с ней он почти не поддерживал; я этого не знал. Мне объяснили, что Слава не мог простить ей отказ от отца, инженера-текстильщика, репрессированного и погибшего в лагерь; якобы она учила сына писать в лагерь письма обличающего характера; из-за чего все случилось, разве кто скажет; придя в сознание, он говорил: что я наделал? Бедный Слава, — и всё спяну, спяну, — вот беда, старое несчастье <...>; легонький прополз слушок: по политическим мотивам, в знак протеста, — если б хоть так, все легче б было.

Ах, Даниил Александрович<sup>7</sup>, может быть, вы и правы и мне следует писать вовсе не критику, а заняться стоящим делом — чем-нибудь художественным или полухудожественным, вольной какой-нибудь эссеистикой, — да кто меня отпустит иль как мне себя самого отпустить от поденного моего и любимого — разве не так? — дела, а ведь хотелось бы, хочется — «отпуститься», оказаться по ту сторону жанра, потому что нет утolenия тому, чем занята мысль и от чего нарастает ощущение беспомощности и напрасности.

Когда что-то доброе говорили о «Пейзаже»<sup>8</sup> другие, более близкие мне люди, это было одно, а тут — Гранин, воспринимающий меня, как мне казалось по прежним встречам (у Оскоцкого, в Минске), настороженно или недоверчиво (к тому же я ничего о нем не писал), и вдруг он говорит: «А вы, Игорь, прекрасно пишете».

И я, 50-летний человек, что-то бормочу в ответ благодарное; конечно, я знаю, что пишу прилично, и мне хочется что-то написать поверх своих статей, но именно тут мне недостает уверенности, что я смогу. И когда я слышу: сможешь, я начинаю опять собираться сочинять какой-нибудь «Футбол в половине десятого по воскресеньям».

Или эти мои уклонения от критики связаны с мрачными впечатлениями от современной бойкой беллетристики?

Нет, более всего — с теми же впечатлениями от разворота общественных событий, от всего хода и направления нашей российской жизни. Нельзя же, говорю я себе, жить и писать так, чтобы все это совершалось, а ты только терпел, молчал и разве что иногда невнятно, сквозь зубы, сквозь профессиональные отвлеченности пытался что-нибудь промолвить; какое там — намекнуть, дать понять, подтолкнуть чью-то мысль в нужную сторону.

Преуменьшаю возможности; наверное, преуменьшаю и реальности, — или это тоска по «прямой речи»?

<...> Еще несколько слов о Богомолове: он почти или совсем (скорее так) закончил роман объемом 40 печатных листов и постепенно готовится к борьбе за него. Пока же готовит историю публикации «Августа», то есть собирает в одно место (в «досье») все цензурные замечания (некоторые мне показывал и зачитывал), исключительные по своей глупости, недоброжелательности, непониманию литературы, бесцеремонности; «цензурные» — это, пожалуй, неверно, так как они принадлежат крупным чинам комитета госбезопасности, в том числе — одному генерал-лейтенанту.

Как бы ни были эти замечания страшны и угрожающи («это клевета», «антисоветщина»), все они были отклонены Богомоловым, и ни одно из них не было им учтено.

В «досье» включена фотография, на которой пятьдесят (и это не все) изданий «Августа» на многих языках, что по мысли Богомолова должно доказывать, что его «вредная» книга не только не принесла вреда, но, наоборот, — завоевала широкое признание и так далее.

<sup>7</sup> Гранин Д. А. — писатель.

<sup>8</sup> Эссе автобиографического характера «Пейзаж с домом и окрестностями» в книге Дедкова «Во все концы дорога далека».

Логика тут будет простой: не повторяйте прежних глупостей, научитесь на этом примере хоть чему-нибудь. Но Владимир Осипович напрасно надеется, что сработает именно эта логика. Верно, про машину можно сказать: самообучающаяся; но про некоторые системы человеческие этого не скажешь; «самообучения» не происходит.

24 августа.

В прошлую субботу заходили Бочковы; обмен новостями; мы о Латвии, а Виктор — о приключении в знакомом и печальном роде. Два дня в кабинете начальника управления культуры (тот где-то отсутствовал) с ним беседовали сотрудники комитета госбезопасности Анатолий Михайлович Хромченко и Сергей Сергеевич Павлов. Беседовали, накопив «факты», то есть доносы разных лиц (сами назвали Женю Голубева, какую-то женщину из слушательниц Викторовых лекций, бывшего институтского друга Роберта Маланичева), и просили объяснить, как и что. Зачем, к примеру, нужно было говорить на лекции, что на балконе костромского Чека стоял пулемет и не бездействовал? Зачем в разговоре с Голубевым стал сомневаться в некоторых подробностях героической смерти Юрия Смирнова? И еще что-то... сочувствовали интеллигенции, которая по природе своей все воспринимает критически. Наконец, попросили написать и подписать бумагу, которую чуть ли не сами продиктовали, где Виктор обязался быть осмотрительнее в высказываниях, а «содеянное» объяснял тем, что его профессия (историка-краеведа) побуждает его критически относиться к документам, фактам, и потому, видимо (такая, должно быть, логика), возможны были с его стороны неоправданные высказывания. Да, вспомнил: в укор было поставлено знакомство с «ярким антисоветчиком» Бабицким, на что Виктор, разумеется, ответил, что в последнее время контактов с Бабицким у него не было и что Бабицкий, насколько ему известно, уехал в Москву<sup>9</sup>. Виктору дали понять, что все это им известно и, что Бабицкий бывал у Штыкова, тоже известно, но тем не менее сочли нужным попенять на неосторожное знакомство.

Дойдет черед до меня — тоже попеняют. Но буду ли я писать оправдания на этот раз — еще вопрос.

На этой неделе, а точнее в минувшее воскресенье и вторник, отправил в «Литгазету» восемь страниц текста и свою фотографию с автографом; поддался этой заразе, хотя поначалу думал отказаться. Подействовало на меня то, что согласился написать обо мне Адамович. Что ж, сказал я Селивановой, раз так, придется попробовать, деваться некуда. Дня два назад Адамович прислал свой текст, но я пока его не прочел: неловко, не хочется, едва успел забыть свой текст и связанные с ним размышления, как опять возвращаться в тот же круг. Тома прочла, а я медлю.

Продолжается мощнейшая пропагандистская компания в связи с соревнованиями спортсменов социалистических стран под названием «Дружба» (без Югославии, Румынии, КНР, Вьетнама и других, помельче, вроде Эфиопии). Результаты постоянно сравниваются с результатами, показанными на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Необыкновенной по интенсивности была также критика атмосферы и хода Олимпиады. С возмущением сообщалось даже о падении какой-то спортсменки после финиша (вот до чего довел смог). Несколько недавних дней большой шум был поднят средствами пропаганды по поводу шутки Рейгана, вышедшей за пределы радиостудии, где готовились записывать его очередную речь, и он для радиопробы сказал, что сенат объявил Советский Союз вне закона и что он, Рейган, отдал приказ начать бомбардировку СССР. Эта чушь просочилась в газеты, и произошел скандал, не утихший до сих пор, хотя Рейган в каком-то интервью сожалел, что он это брякнул.

<sup>9</sup> Бабицкий К. И. — диссидент, в 1968 году был на Красной площади вместе с теми, кто протестовал против ввода советских войск в Чехословакию. В 80-е годы жил в костромской деревне, работал столяром в Музее-усадьбе А. Н. Островского «Щельково».

Уже несколько месяцев идет лютая идеологическая схватка. Подобных на памяти не было. Что бы ни сделала одна из сторон, чтобы ни предприняла — все абсолютно не нравится другой стороне, и конца этим взаимным упрекам, угрозам, предостережениям — нет и нет.

Задумываться над этим невозможно. Здравый смысл в этом очередном акте мировой драмы не участвует.

Идут дни, опять работаю, иногда думаю, что содержание моей жизни сводится в основном к работе. Ну, еще беспокойство за близких, иногда теснящее все остальное, даже работу. Но в конце концов, если равновесие восстанавливается, работа опять заполняет все. А жизнь проходит.

Надо бы записать еще кое-что из латышских впечатлений: как ездили на хутор Руллиса в 65 километрах от Риги в московском направлении в сторону Огре поблизости от местечка Сунтажи, как три с лишним часа бродили по рижским кладбищам и целый день по старой Риге, как ходили на матч СССР — Австрия в рамках теннисного Кубка Дэвиса, как побывали в Шяуляе, как оказались к концу отдыха в безденежье и как тяжело, что поделаешь, переживал я это непривычное, неловкое положение.

На кладбищах, в том числе на Братском, наибольшее впечатление произвели не латышские обычаи, а разнообразно проявляющийся драматизм не отлаженных до сих пор властью отношений с прошлым, и прежде всего с буржуазной Латвией. Казалось бы, проще признать кое-что из сделанного буржуазной республикой, «принять» в свою историю, сгладить противоречия, может быть, в какой-то мере «наследовать» чему-то — так нет, поддерживается, судя по разным признакам, непримиримость и естественный интерес к «буржуазному» прошлому рассматривается как нездоровый. Это способно породить только раздражение.

Пока ездили, пока я в Дубултах не читал «Литгазеты», то есть отключился от литмира и ничего «литературного» не знал, умер Алексей Иванович Кондратович<sup>10</sup>. А когда уже были в Москве, скончался после инсульта Тендряков. В «Правде» появился некролог, подписанный «высшими»; отдали должное, подчеркнули значение, а в конце прошлого года в день 60-летия наградили Почетной грамотой Верховного Совета. Зато Алексин недавно награжден орденом Ленина.

Шестого июля, когда мы были уже в Москве, приехали Боков, Алексей Марков, глубоко отдаленный родственник Некрасова — Некрасов и еще кто-то, — на некрасовские праздники. Негорюхин сопровождал их на заводы и в поля-луга. Под Шодами Боков играл на балалайке и пел похабные частушки перед косарями («Мне не нужны „Жигули“, мне не нужна „Волга“, а нужна такая штука...») — и так далее.

За ужином у Корнилова Боков рассказывал, как однажды на чествовании Самеда Вургун<sup>11</sup> выступил Павел Антокольский и дружески-весело попросил руководителей республики не утруждать большой лирический талант Вургун описанием трудовых подвигов нефтяников и других; тогда поднялся Багиров и грозно сказал: «Товарищ Антокольский, встать!!! Сесть — Встать — Сесть — Встать — Сесть — Встать!!! — и наконец: — Мы не позволим вам учить Советскую власть».

12 октября.

Что же самое важное? У нас теперь есть внучка по имени Людмила. Названа в память о Людмиле Семеновне <...>.

Что еще важного? После Дубулт прошло два месяца, заполненных работой. Даль, когда оглядываешься, глухая, воспринимается как расстояние, как

<sup>10</sup> Кондратович А. И. (1920 — 1984) — литературный критик, заместитель главного редактора «Нового мира» при А. Т. Твардовском, автор «Новомирского дневника (1967 — 1970)».

<sup>11</sup> Вургун Самед (1906 — 1956) — азербайджанский поэт, драматург.

заполненное пространство, хотя, можно сказать, не сходил с места. Из написанного в этом «пространстве» наиболее волнует судьба восьми страниц, отправленных в «ЛГ» для предпринятой Селивановой затеи. Затея, как все затеи, суетная, но в моем здешнем положении она имеет кое-какой смысл, тем более что текст при отправке мне нравился (с тех пор не перечитывал). Пишу большую статью для «Нового мира»; если б успел, могла попасть в первый, юбилейный, номер (60 лет журналу), но не удалось.

В прошлое воскресенье опять играли в футбол на своей поляне; со второй половины воскресного дня полил дождь, льет с короткими паузами до сих пор. Ранняя тьма, лужи, зонты, молчание, с каким хожу по улицам. Улицы так привычны, что много ли я замечаю, когда иду — все равно что по натоптанной тропинке в ночном поле. В голове вертятся фразы, убеждая, какие они хорошие. Иногда их забываешь в каких-то частях или полностью и тогда досадуешь. Бывает, что вспоминаешь или не забываешь вообще, но утренний ум быстро разгоняет этот вечерний возбужденный хоровод. Кое-что может пригодиться, хотя никогда — окончательно обдуманная — «написанная» фраза, выверенная, казалось, до словечка. Словно в сумерках разум не столь разумен. Есть истинность чувства, но не слов. Вечером слова спутаны чувствами, а утром слова сами по себе, и лишь обрывки тумана стелются понизу.

Чтение Борхеса («Юг»): это не фантастика; автор, как создатель этого не столько сложного, сколько изощренного в сложностях и усложнениях мира, мне мало симпатичен. Если б можно было прочесть больше этой книги — все книги! — то игра его стала бы понятной. Заставляет задумываться о том, что художественный мир, достигший автономии, то есть не признания отдельности и границ, а глубокой, мирообразующей индивидуальности, единственности, присутствует в литературе и шире — в ноосфере — не как количественное, а как качественное изменение, вносимая поправка, предполагаемая вариация, значение которой определяется со временем. Борхес предлагает некую поправку, ее можно не принимать, но она существует: в ней, в частности, заключен опыт значительного отстранения от каждодневного потока действительности. Автор размещается даже не на берегу, он устроился много лучше — в кабинете директора Национальной библиотеки; ее можно представить себе где-то в конце длинной и запутанной вереницы комнат, словно в самом дальнем углу тупикового лабиринта. Там можно даже не запирается на ключ от сотрудников и посетителей, и не нужно держать секретаршу, хотя бывает и страшно, особенно когда пишешь о головорезах-поножовщиках из Буэнос-Айреса или — о детях сна, порождающих детей сна, чьи ноги не обжигает самое яростное пламя. Чувствуется латиноамериканизм — само собой как самосознание и культурная целостность, но особенно как угол зрения, под которым европейские, скажем, проблемы, реальность, духовная культура, но более всего — исторический опыт осознаются, воспринимаются как нечто отдаленное, как некая данность, расположенная поодаль, которую можно хладно разглядывать, замечать, обсуждать: то есть ощутимо расстояние. Европейец, думаю, не смог бы ввести в рассказ газовую камеру смерти так, как сделал Борхес. Вообще его опыт кажется ограниченным: страшное и жестокое принадлежит по преимуществу прошлому: он рассказывает подхваченные истории: он скорее всего разработчик историй, интерпретатор, и притом — изобретательный, глубокий и свободный. Эта свобода хорошо чувствуется: его ничто не стесняет, или же ощущение это обманчиво: его не стесняют наши рамки, но есть свои, а их мы не чувствуем, не узнаём. Любопытно, в каких отношениях находился Борхес с Пероном и перонизмом?

В одном из рассказов есть замечание о государственном управлении как публичном патетическом спектакле («Гуаякиль»). Очень интересны «ветвящиеся дорожки» сада времени (сбывающиеся варианты, причем сбываются одновременно: ветвятся и расходятся всё далее).

Государство вырабатывает в гражданах не дисциплину, а привычку повиновения; дисциплина — уже, она охватывает время работы, службы, учебы, да

и то в разной мере и с разной категоричностью. Привычка примешана к жизни человека постоянно (я не касаюсь личных привычек и склонностей), она может властвовать в чувственной и умственной сферах, регулируя все восприятие и истолкование человеком как реальных фактов, так и их отражений в массовых средствах пропаганды и информации. Эта привычка обволакивает все сколько-нибудь существенное в действительности, и этот туман распространяется на все новые и новые области жизни. Даже люди, сохраняющие способность критической оценки, постепенно поддаются под власть той же привычки; их реакция слабеет, они вроде бы видят всё ясно, но это только так кажется: они втянулись в этот спектакль в нашем «железном театре».

Чтение материалов судебного процесса над «первомартовцами», изданного в 1906 году; удивительная для современного восприятия, для *накала* той страсти, культура судопроизводства: достойное поведение всех представителей государства; выразительное, выдающее особый характер и склад мышления поведение Желябова; откровенность всех объяснений с обеих сторон. Материалы дела опубликованы спустя четверть века (может быть, и раньше, а я просто не знаю); думаю, что печатались в газетах. *Какие* дела, несопоставимые по масштабу преступления, мы обнародовали за двадцать пять и пятьдесят лет? И чтобы был виден сам ход судебного разбирательства? Опасения, мешающие подобной публикации, связаны с недоверием к народу; власть тяготеет над законами и их осуществлением: власть догадывается, что ее нажим будет увиден; эта неуверенность власти при ее абсолютном бескрайнем могуществе выдает какую-то глубоко спрятанную слабость и фальшь. Парадокс в том, что спрятанное и перепрятанное постоянно себя обнаруживает: надежной глубины не находится; да и все скрытые помещения до отказа забиты тайнами и «совершенно секретным»: хранить скоро будет негде.

16 ноября.

Уже в сумерках третьего ноября шел по Смоленску. Отец прилег отдохнуть после бессонной ночи в поезде, да и после дневных хлопот и переживаний тоже, а я решил поблаженствовать — побыть одному на улицах родного города. Вечер был теплый, пять градусов, шел в пальто, без шапки, отчего-то разгорячась, голову остужало плотной осенней прохладой. Дорогу помнил с того приезда, сворачивал не ошибаясь, а под самыми часами какой-то солдатик из Средней Азии спросил, сколько времени, и я, улыбнувшись, поднял глаза к часам, и солдатик тоже улыбнулся. От собора я пошел через Блонью на улицу Дзержинского, туда, где стоял когда-то дом, где мы жили и откуда в июне бежали, — мне кажется, я точно знаю бывшее место дома, словно помню, как стоял на крыльце наутро после бомбежки, то есть, вероятно, двадцать четвертого числа, и глаза, глядя влево, к повороту дороги, хранили и до сих пор хранят расстояние до поворота, и мне впору сейчас отмерить его шагами. Возвращался мимо серого углового дома, где ныне много контор, во всяком случае, один из подъездов обрамлен вывесками, а другой — принадлежит УВД, а тогда он весь был домом энкавэдэ, и я, семилетний, это знал, и знал, что от странного этого слова веяло страшным и опасным. Я подошел поближе и удостоверился в том, что предполагал: глубокие подвальные окна темнели в своих ямах, огороженные от дождевых потоков асфальтовыми брустверами.

В полдень третьего ноября мы с отцом, его двоюродной сестрой тетей Зиной и другой двоюродной сестрой, тетей Верой, ходили на Тихвинское кладбище, где похоронен отец отца и мой дед Семен Семенович и еще человек восемь из других ветвей Дедковых. Пришли еще, кажется, троюродный племянник отца Саша Дедков и старый, лет семидесяти, то ли двоюродный, то ли троюродный брат Петр Дедков (Иванович?), бывший машинист. Так мы отметили пятидесятилетие со дня смерти Семена Семеновича — постояли, поманули, положили цветы.



Когда возвращались по Витебскому шоссе, я шел, чуть обогнав отца, вместе с тетей Верой. Видел я ее впервые, ничего о ней прежде не слышал, и разговор поэтому был очень обыкновенный и сдержанный; но как-то незаметно он коснулся войны, и я понял, что тетя Вера, отправленная вместе с другими студентами рыть окопы под Красное, могла из Смоленска не выбраться, и тогда спросил: «Так вы были в оккупации»? Она ответила утвердительно, и я сочувственно сказал, что это обстоятельство, отмечаемое в анкетах, вероятно, сильно мешало потом жить. Да, сказала она, когда я нашла хорошее место в школе, меня туда не взяли, и пришлось пойти на завод (как я понял, в счетные работники). И еще она добавила как-то неопределенно, что, как говорила ее (мачеха? мать? бабушка?): «В голод — наемся, в войну — наемся». И эта неопределенность, намекавшая на что-то тяжелое и непростое, мне запомнилась. Тем же вечером тетя Зина рассказала, что Вера летом сорок первого должна была закончить учительский институт по математическому факультету; дипломы вручены не были, началось рытье окопов. Когда пошел слух о приближении немцев, преподаватели и студенты из сельских местностей быстро исчезли, а смоляне группами двинулись к городу. Вера шла с подругой и Павлом Рабиновичем, братом мужа тети Зины; их задержали немцы, девушек отпустили, а Павла отправили в Монастырщину (там было создано областное гетто), и больше никто никогда его не видел. Муж тети Зины — Натан — погиб на фронте. При входе в город девушки были снова остановлены немцами и отправлены ими на работу в госпиталь. Так они стали санитарками; когда появилась возможность сбежать домой, Вера узнала от мачехи, что отец эвакуироваться не успел, так как работал на телеграфе и последние дни находился там под страхом наказания безотлучно. Когда же он наконец прибежал домой на Витебское шоссе и стал зарывать в саду вещи, то был убит разорвавшимся в саду снарядом. Жена его, Верина мачеха, тут же, в саду, его и закопала, без гроба; Вера этого никогда не простила. Далее с Верой было так: госпиталь куда-то перевели, а ее вместе с другими девушками передали какой-то воинской части, где она работала посудомойкой. При отступлении немцы потащили с собой и весь обслуживающий персонал; уже в Германии всех пленниц выставили на «аукцион»: разбирали их в батрачки германские крестьяне. Когда же настал черед бежать из родных мест и бауерам, девушки русские попрятались; хозяева покричали-покричали, сели на повозки и уехали. Когда пришли наши, начались проверки, должно быть, малоприятные; наконец Вера в Смоленске, и тетя Зина, уже вернувшаяся из эвакуации, устраивает ее, отчаянно бедствующую, бездомную в сапожную мастерскую приемщицей. Там Вера знакомится с сапожником-евреем по фамилии Письмен, выходит за него замуж, рождаются две девочки, но живет семья плохо: Письмен пьянствует, бьет Веру. Видимо, где-то в эту пору приезжает в Смоленск мой отец и с помощью профессора Даниила Ивановича Погуляева выправляет Вере диплом об окончании института; однако этот документ лишь немногим облегчает Верину жизнь; на своем заводе она дорабатывает до пенсии и одна воспитывает дочерей; сейчас она подрабатывает на своем заводе, как я понял, выходя в смену обычной работницей; любопытно, что, когда мои родители этим летом приезжали в Смоленск, тетя Вера встречи с ними избежала, но на этот раз пришла; я очень сожалел, что поговорить с ней больше не удалось. Кстати, по словам тети Зины, Вера, видимо, в дни, когда была на окопах, видела, как по направлению к Катынскому лесу ехали грузовики с людьми — с польскими офицерами. Вообще я понял, что смоляне склоняются к мысли, что поляки убиты нами.

Еще подробность: когда в 20-е годы власти решили реквизировать церковные ценности, в день изъятия, на соборе ударили в колокола, и народ побежал защищать свой храм. Тогда-то на ступенях собора был ранен отец Петра Дедкова (или Веры? надо уточнить), так как милиция или солдаты открыли стрельбу.

22 ноября.

Неожиданно в минувшую субботу позвонили из «Северной правды» — семнадцатого числа, — сказали, что пришел указ о награждении меня орденом «Знак почета». Я удивился, да что делать: с фактом приходится считаться. А несколько дней назад, услышав по телевидению о званиях и награждениях в связи с 50-летием Союза писателей, я посмеивался: героический союз. Теперь принимаю поздравления; Ш. и А. сделали вид, что ни о чем таком слыхом не слышали; ну а я обычный держу вид: все идет своим чередом, ничего особенного не произошло; веселую телеграмму прислал Артем Анфиногенов.

На следующий день после новости заходила жена Юрия Петрякова — Нина. Она здешняя, у нее здесь еще остались родственники, раз в пять лет собираются десятиклассницы образца 49-го года; работает она в общественно-политической редакции «Прогресса»; разговор был интересен, когда касался общих знакомых. В который раз я повторял: мир тесен.

Кто-то обмолвился: пятилетка пышных похорон — три «П».

Читаю Борхеса: том из серии «Мастеров современной прозы». Стимулирующее действие. Интеллектуальная игра? Может быть, но она очень далека от литературных тщеславных и корыстных забав. В ней, по крайней мере сейчас и вдалеке от родины автора, не ощущается спекулятивного момента.

Пишу рецензию для «Современника» о романе Николая Воронова «Похитители солнца». Нечто фантастическое, но угадывается за борьбой хватугаев и наивняков — «борьба» евреев и русских. Маскировка соблюдена, но по временам именно маскировка демаскирует. И это — автор «Юности в Железнодорожье»?

Предстоит ехать в Москву для окончательного обговаривания текста статьи в «Новом мире». Не хочется, да статья жалко<sup>12</sup>.

В цензуру пришел список авторов, подлежащих изъятию из библиотек: то ли в подтверждение прежнего, то ли, как говорится, с дополнениями: Аксенов, Войнович, Владимов, Копелев, Орлова, Любимов, Тарсис, еще кто-то.

На литературном объединении обсуждали пьесы Петрушевской: долго и бурно. Не помню, записывал ли, что с месяц-полтора назад более двух часов рассказывал на занятии об Александре Воронском.

Виктор Александров, сын русских эмигрантов, француз русского происхождения, американский гражданин, в годы войны — офицер американской армии, после войны — журналист, писатель, сценарист, приватно ведущий расследование нацистских преступлений. Читаю его книгу, изданную «Прогрессом», — «Мафия СС». Думаю, что его отношение к нацистской верхушке более здоровое и последовательное, чем у Юлиана Семенова; или просто: беспощаднее, без литературских штучек и литературского кокетства. Александров помнит запах, стоявший в нацистских концлагерях, когда их только что освободили; Семенов ничего в этом роде не знает. Он тщится увидеть в подонках людей; но что это были люди, мы не сомневаемся, а вот разглядеть в людях — подонков — по нашим временам как раз бы. И так ореол званий, чинов, должностей, известности делает свое дело: на скольких по-рабски смотрят поныне снизу вверх, даже на врагов прямых и чужих. Что же говорить о врагах доморощенных, титулованных, прославленных «от моря и до моря»?

---

<sup>12</sup> Дедков Игорь. Наше живое время. — «Новый мир», 1985, № 3.

## «КОВЧЕГ ЖИЗНИ» НА СТАПЕЛЯХ ЭВОЛЮЦИИ

*С биологом Вадимом Репиным беседует Михаил Бутов*

**Михаил Бутов.** *В наших предварительных беседах определились два положения, которые, мне кажется, и должны очертить пространство настоящего диалога. Первое касается информационных источников и движущих сил эволюции жизни. «Ковчег жизни» собирался, перестраивался и продолжает изменяться силами информации. Второе — посылка о слиянии био- и техноинформации в единую новую силу, доминирующую сейчас на планете. Отсюда могут быть сделаны весьма радикальные выводы и начинается вырисовываться ПРОЕКТ БУДУЩЕГО, по поводу которого еще лет десять назад серьезный разговор был бы, пожалуй, невозможен — нас обвинили бы в том, что мы занимаемся научной, а то и ненаучной фантастикой. Сегодня это уже очевидно не так. Что же за прорыв такой состоялся, поставивший нас перед решительно новыми реалиями и изменивший ситуацию?*

**Вадим Репин.** Гигантский скачок в понимании жизни произошел за последние два десятилетия благодаря изучению мира клеток и «языка жизни», благодаря мощному прогрессу кибернетики и информатики. Наука сегодня проникает в заповедные области, где стыкуется нематериальное и материальное, буква и дух жизни, текст и контекст существования молекул, клеток и организмов. Живое проще всего понять по аналогии с миром компьютеров: через феномены хранения, процессирования информации с целью ее реализации (проживания) в наблюдаемых, материальных явлениях — возбудимости, подвижности, сокращения, делении, изменении устройства клеток, — элементарных единиц жизни. Только у клеток, а не у молекул есть программа, записанная на специальном химическом языке, которая управляет работой клетки. Любая форма жизни жестко запрограммирована как химической программой, так и химическим устройством. Информация организует потоки энергии и веществ в клетках, то есть все проявления жизнедеятельности. Подобно электрическим сигналам в сетях компьютерных, химические сигналы циркулируют в биологических информационных сетях. Скачок от неживых молекул к живой клетке, от вещества к существу — это скачок в мир информационных сетей и организованных потоков материи и энергии. Набор молекул превращается в динамическую самоподдерживающуюся сеть. Глобальные информационные сети соединяют мир бактерий, растений и животных в единую систему. Каждая клетка стремится расширить диапазон и репертуар реализации биологической информации в единице объема в единицу времени. Эволюция жизни на земле — дневник, протокол самораскрытия клеток как запрограммированных устройств на стыке с другими пластами природных событий. В эпоху экспоненциального накопления информация становится мерой эволюции. И до сих пор эволюция проходит стадию ползающей личинки — чтобы превратиться в летающую бабочку с другими степенями свободы.

**М. Б.** *Можем ли мы говорить, что информационные принципы, информационные законы — не просто удобная модель для познания живого, но имеет место сущностно единое информационное поле, объединяющее информационные сети жи-*

---

Репин Вадим Сергеевич (род. в 1936) — член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, специалист в области медицинской клеточной биологии, автор более 350 научных работ, из которых более 200 опубликованы в ведущих научных журналах мира, и 5 монографий. Основные научные интересы: стволовые клетки человека и их применение в медицине. В «Новом мире» публикуется впервые.

*вой материи и сети техногенные, то есть что эти феномены в чем-то одного порядка и на этой общей платформе им невозможно не сойтись? А стало быть, что научная мысль и порожденные ею техногенные сети есть мощнейший эволюционный фактор? Но в этом случае и само понятие «эволюция» кардинально меняет свое содержание. Эволюция перестает быть явлением природным — и становится гибридным процессом, движущие силы которого действуют на стыке интеллекта человека и машин.*

В. Р. Эволюция жизни есть формула существования, алгоритм порядка, который противостоит «хаосу» неживой природы. Важно подчеркнуть это противостояние. Поэтому законы неживой природы (область научных интересов физики и химии) не могут объяснить феномена жизни, множественности ее форм и видов, конкуренции и синергизма видов, происхождения новизны путем самоорганизации, — как правила игры в шахматы не могут объяснить теннис. Только в информационно организованных живых системах мы находим цель и функции для реализации этой цели. Только живые системы наделены уникальной способностью осуществлять сложные физиологические процессы на базе достаточно простых химических реакций. Законы, по которым происходит такое перекодирование химии в функцию, «оптике» современной науки остаются еще недоступными. В отличие от атомов и молекул, клетки — существа невероятно разнообразные, однако на основе достаточно стандартного и однотипного устройства. Клетки являются «киллерами хаоса», потому что обречены устройством и программой вылавливать новую информацию из окружающей среды и осваивать новые информационные рубежи. Чаше эволюционируют не структуры, а программы их использования для новой функции.

Клетки демонстрируют три уникальных качества:

воссоздают порядок из предшествующего порядка: важнейшая информация, план устройства и функционирования клетки копируется веществом наследственности (ДНК) от родительских клеток в новые поколения. Информация в ДНК записана линейным кодом (то есть самым компактным способом — природа экономит жизненное пространство) и упакована в сотни и тысячи раз более плотно, чем на жестком диске современного компьютера;

создают порядок из химического хаоса молекул, используя потоки веществ и энергии для создания структур (то есть пространственного порядка). Все реальные проявления жизни задаются белками — трехмерными копиями генов ДНК. В самой ДНК жизнь существует лишь в виде проекта. Живая клетка — это пространство и деятельность функционирующих белков, собирающихся в молекулярные машины. Каждый белок имеет несколько стыковочных «вилко-розеток» — как строительный модуль в детском конструкторе;

только специальная сеть «инструкций» (программа) способна организовать и «оркестрировать» работу миллионов молекул и машин в клетке. Клетка — это всегда двуединство устройства и программы.

Все клетки одноклеточных и многоклеточных организмов используют единый язык ДНК и белков, хотя различаются деталями устройства. Происхождение видов, эволюцию форм проще всего понять как «конкурентный спорт» все новых и новых способов сборки и функционирования белков, клеток, организмов и биоценозов. Потоки информации между клеточной мембраной и ядром определяют работу генома и то, какие комбинации генов будут задействованы для реализации функции клетки. Сигнальные сети — от уровня молекул до уровня биоценозов — организуют согласованные ответы разных клеток и организмов. Мгновенные информационные события — фиксация новых сигналов рецепторами на поверхности клеток — трансформируются в события материальные, в строительство новых органелл и клеток. Клетки структурируют время «архитектурными» постройками. И разные эпохи эволюции различаются стилем биоархитектуры. Часть клеток, часть организмов и целых видов новая информация обрывает на исчезновение. Ясно, что любое устройство имеет довольно узкий диапазон для выживания.

Клетка — ковчег порядка в океане хаоса и на ветрах информации. Клетки, как и организмы, реагируют на сигналы, а не на вещества. В отличие от пото-

ка веществ, сигналы только перекодируются на язык программы клеток. До сих пор эволюция жизни на планете «работала» исключительно на биологической информации, циркулирующей в живых клетках и между клетками. В настоящее время эволюция уже творится на стыке био- и киберсферы, работа клеток и организмов все чаще сопрягается с алгоритмами компьютеров для освоения гигантских информационных массивов. Но разговор об этом новом витке эволюции будет понятнее читателю, если мы сперва рассмотрим всю цепь событий в ретроспективе и начнем с первых шагов жизни на земле.

*М. Б. Была ли вообще — по крайней мере в истории Земли — точка перехода от неживого к живому? Или первые живые организмы уже «оформившимися» попадают однажды на нашу планету из космического пространства, а момент зарождения жизни теряется где-то в астрономическом времени? А может быть, Земля так или иначе «импортировала» жизнь изначально, еще на стадии планетообразования?*

**В. Р.** Наука скрупулезно анализирует каждую из перечисленных вами возможностей. По современным данным, Земля возникла около 4,5 млрд. лет назад из спрессованных остатков старой звезды, метеоритов и космической пыли. Полагают, что первые образцы жизни на Землю были занесены из космоса, когда возраст Земли был около 1 млрд. лет. Гипотеза «заноса» (панспермии), выдвинутая в начале XX века Сванте Аррениусом, сейчас имеет много больше сторонников, чем идея самозарождения и сборки клеток заново на молодой планете. Нет оснований исключать одновременную постепенную эволюцию простых молекул в сложные в первый миллиард лет существования Земли. Однако бурный прогресс микробной жизни сместил на второй план возможность самозарождения клеток. Нынешние условия на Земле не дают никаких шансов самозарождению клеток из ДНК, белков даже в специально созданной лабораторной среде. В 60-е годы XX века русские и английские ученые в Антарктиде открыли глубоководное озеро Восток — древнейший изолят пресной воды с возрастом более 3 млрд. лет. Этот уникальный «музей» ранней жизни оказался замурованным под двухкилометровой толщей льда. Озеро не промерзало, поскольку находилось в кратере вулканической гряды, отдающей значительное тепло земных недр. Пробное зондирование обнаружило уникальных бактерий, продуцирующих энергию в абсолютной темноте неизвестными ранее способами. Скорее всего, протобактерии той эпохи научились выживать, используя для биосинтезов градиенты температуры. Пока что исследования микробов Антарктиды были ограничены забором образцов льда, в которых были обнаружены древнейшие виды бактерий. Однако на бурение льда на самом озере Восток с целью получения глубоководных проб наложен международный мораторий, пока не будет придуман способ, исключаяющий возможность внесения современных микробов. Но и первые находки позволили идентифицировать бактерии, способные существовать без солнечной энергии. Прототипы таких бактерий сейчас разыскивают с помощью спектрального анализа в глубинных слоях астероидов, Марса и других планет, в хвостах комет. Вероятно, они-то и были «варягами», явившимися на Землю из космоса.

Другие отпрыски древнейших династий бактерий обнаружены в глубоководных вулканах на дне океана и в гейзерах. Эти микробные изоляты великолепно приспособились к температуре 150 — 250°С и давлению в несколько атмосфер. Маргиналы-термофилы создали особо прочный каркас ДНК и белков.

Крайности эволюции показывают, что ДНК, белки и другие молекулы являются не целью, а средством выживания. Поэтому «репертуар» генома микроорганизмов с изменением условий подвергается кардинальной перестройке. Молекулярная архитектура подгоняется под контекст выживания. В то же время в нормальных константных условиях геном обеспечивает стабильность фенотипа клетки, пока условия среды кардинально не меняются. Только клетки, а не ДНК являются полноценными «зарегистрированными» участниками — и творцами — эволюции. Проводя конкурс без предварительного плана, эволюция вполне бездумно отбирает лучший результат, не вдаваясь в процесс и не исследуя качество отдельных молекулярных машин в клетке. Эволюции «безразлич-

но», как бактерии дышат и каким способом они генерируют энергию. Важен конечный результат — быть или не быть! Существует сила, заставляющая любую ДНК клетки, информационный проект жизни, «раскрываться» в реальную белковую жизнь, осуществляться в реальном физическом пространстве и времени. На этой силе и держится вся лестница эволюции.

*М. Б. Есть ли объяснения, почему жизнь на Земле стартовала именно с микробов, а не сразу, скажем, с каких-то более сложных организмов. В чем особые достоинства одноклеточных?*

**В. Р.** Темп деления микробов в 100 — 10 000 раз выше скорости удвоения клеток многоклеточных организмов. За одни сутки можно получить 40 поколений клеток, то есть сотни миллиардов бактерий. От 30 до 50 процентов потоков энергии и питательных веществ преобразуются у бактерий в новые копии ДНК. Бактерии перекачивают солнечную энергию в главные информационные молекулы жизни. Поскольку цивилизация бактерий создавалась в эпоху мощных геологических катаклизмов и непредсказуемых изменений климата, бактерий выручала их уникальная способность приспосабливаться и выживать за счет постоянной модификации генов, невероятная скорость приспособления в широчайших диапазонах. Бактерии первыми на Земле создали гигантскую «библиотеку» генов, включая целые генные кланы, семейства и родословные, которые затем переключались в многоклеточные организмы. Если бы жизнь начиналась с многоклеточных, на создание той же библиотеки и банка генов ушло бы гораздо больше времени. Бактерии оказались главным источником вирусов. Многие из вирусов-«казанов» научились легко преодолевать «границы и таможи» видов и биоценозов, занимаясь «контрабандой» чужих генов. Этот так называемый «горизонтальный» перенос генов между клетками в биосфере сыграл важнейшую роль в возникновении и распространении многоклеточной жизни. «Вертикальный» же перенос информации от ДНК родителей к потомству оберегает любой вид жизни от уничтожения. Возникновение и стабилизация видов связаны с надежной информационной изоляцией половых клеток и полового процесса и его защитой от внешних помех.

Когда жизнь на земле вошла в спокойное русло, скорость приспособления клеток перестала быть главным фактором выживания. Самораскручивающийся маховик эволюции стал осваивать новые пласты качества, в том числе и другие масштабы пространства-времени. Бактериальные клетки в новой ситуации лишились перспектив, хотя накопили гигантский арсенал генов, из которых только крохотная часть использовалась в их краткосрочной жизни.

По мнению биолога Ричарда Доукинса, эволюция — это своего рода гигантское биопредприятие по освоению пространства и времени, напоминающее современную фирму. Здесь имеется свой «отдел новых разработок» и свой «отдел практического внедрения». Ключевые позиции в «отделе разработок» занимают вечно изменчивые бактерии, в каждом поколении поставляющие на «рынок» биоинформации новые гены. С помощью вирусов и латерального переноса новые гены постепенно внедряются в геном других видов. Новизна приходит в живой мир с новыми молекулами ДНК. Вместе с тем хромосомы как бактерий, так и растений и животных имеют семейства «константных» генов, структура и функции которых не меняются более миллиона лет. Этот «золотой запас» информации используется для незаменимых ключевых реакций, без которых клетке не выжить. «Золотой запас» формирует основной каркас «ковчеха жизни». По каким-то неизвестным пока причинам структура генов из «золотого запаса» практически не меняется на гигантских отрезках эволюции. В дополнение к «золотому запасу» в каждом геноме бактерий или многоклеточных имеется «экспериментальный отдел», где создаются, привносятся или испытываются новые гены или целые кассеты генов в поисках неизвестных ранее возможностей и функций. С помощью «экспериментальных» генов любая клетка расширяет диапазон функций и качество воспринимаемой информации.

*М. Б. Почему эволюция не собрала многоклеточные организмы из клеток бактерий? Зачем нужно было принципиально изменить устройство клеток, образо-*

*вать в них ядро, органеллы, другие специализированные «цеха и заводы», чтобы приступить к созданию многоклеточных? Какова была последовательность шагов этого перехода — сперва появились новые, более сложно устроенные клетки и уже потом из них возникли многоклеточные организмы?*

**В. Р.** Нет сомнения, что эволюция испробовала любые возможности, в том числе и те, которые вы упомянули. Но судить об этом мы можем лишь по крошечной доле чудом сохранившихся успешных результатов. Эволюция десятки миллионов лет маленькими порциями усложняла геном бактерий. Происходило это путем избирательного дублирования фрагментов хромосом, путем импортирования чужих генов, а также за счет слияния генов бактерий-симбионтов. По всем направлениям факты свидетельствуют: с универсальной неизбежностью время усложняло устройство ДНК всех видов. Разные виды бактерий добивались случайных успехов в создании новых генераторов химической энергии, новых молекулярных машин, новых органелл для избавления от шлаков. Информационные связи между бактериями позволяли копировать важные находки и не изобретать велосипед вслепую тысячи раз. Эволюционируют структуры, а не принципы самоусложнения и саморазвития жизни. Эукариотические бактерии (то есть бактерии с типичным ядром и набором органелл) стали зачинателями великих перемен.

Если информационные возможности бактериальной клетки оцениваются цифрой порядка 1 мегабайта, то у эукариотической клетки они уже порядка 700 мегабайтов. Для сравнения: все тома Британской энциклопедии занимают 600 мегабайтов на компактном диске. Так что скачок от бактериальной к эукариотической клетке можно сравнить с рывком от примитивной лодки к современному лайнеру. Представьте себе, что количество фигур и полей на шахматной доске увеличилось в десять раз. Эти новые начальные условия таят в себе миллиарды новых информационных ситуаций.

**М. Б.** *Значит, в истории эволюции бактериям случалось выходить из режима постоянной конкуренции и это вело к образованию симбиозов, а затем и многоклеточных?*

**В. Р.** Да, бактерии действительно с успехом налаживали взаимовыгодное сотрудничество, если того требовали обстоятельства. Недавно в Австралии в породах с возрастом около 3,5 млрд. лет были обнаружены сохранившиеся отпечатки скоплений цианобактерий (сине-зеленых водорослей) в симбиозе с другими бактериями. Такие «кооперативы» бактерий опережали умением и способностями кустарей-одиночек. Предполагают, что слияние геномов симбионтов сыграло важную роль в эволюции ДНК. Однако это был лишь первый шаг на пути возникновения многоклеточных.

Описательная палеонтология, позднее молекулярная палеобиология накопили такие гигантские массивы данных, что упорядочить их без современной компьютерной базы попросту невозможно. Эволюция — это многослойный «пирог» изменений жизни, но при этом многие изменения организмов не являются эволюционными. Требуется квалифицированная научная экспертиза, чтобы воссоздать реальную, а не мифическую цепь событий. Сам момент превращения бактерий-симбионтов в многоклеточные организмы от нас пока ускользает — аналогичного озеру Восток бесценного подарка природы с реликтовыми живыми многоклеточными пока не удалось разведать. Лучшее, что имеет сейчас наука, — это окаменевшие музеи ранних многоклеточных, найденные в скальных породах Британской Колумбии (Канада), Австралии, Китая. Поражает многообразие форм многоклеточных организмов, возникших практически одновременно.

Кстати, помимо симбиоза возможен и другой сценарий взаимодействия видов, заканчивающийся «порабощением генома»: инфицированные новой программой особи одного вида превращаются в типичных «рабов», обслуживающих настоящее и будущее другого вида. В лесах Коста-Рики живет паук, который охотится на ядовитых ос, выплетая квадратные метры паутины. Однако иногда оса кусает паука, парализуя его мышечную систему на несколько часов. Одновременно оса успеваеt выбросить на брюшко паука порцию микро-

личинок. Развиваясь, личинки вгрызаются в кишечник паука. За два дня до смерти геном личинки с помощью специальных команд заставляет паука плести особые корзинки на длинных тонких нитях, в которые после смерти паука перекачывают развивающиеся личинки осы. Эти сплетенные купели хорошо держат дождевую воду и хорошо изолированы от врагов паутиной. Это яркий пример «зомбирования» одного вида другим.

Первая группа ископаемых многоклеточных верифицирована в слоях, датируемых прекембрием — 560 — 570 млн. лет назад. Находки приходятся на последний, вендианский, период прекембрия. Поэтому вендианские ископаемые определяют по геологическому периоду — из-за трудности классификации: разнообразные останки невозможно причислить к животным, губкам или морским растениям. Окаменелые находки имеют самую разнообразную форму: монеты, блюдца, спирали, пальца, расчески с выломанными зубьями — никакого общего плана для систематики. К тому же эти диковинные существа не имели типичных органов пищеварения, дыхания, выделения. Пластичность материала, из которого «лепилась» первая обнаруженная многоклеточная жизнь, подобна пластичности нынешней жевательной резинки. Природа как бы импровизировала без строгих правил с формой этих существ. Внутренняя структура, напоминающая ячеистую губку, позволяла им поддерживать существование за счет притока и оттока морской воды. Колонии клеток функционировали в режиме пульсирующего «насоса» — сперва накачивали в себя воду для доставки кислорода и пищи, затем откачивали ее для выведения шлаков и отходов. Десять палеонтологов различных стран и школ дают десять разных ответов на загадки вендианской цивилизации многоклеточных. Вендианская эпоха — это эволюция без отбора и цензуры, когда многоклеточные делали первые шаги. Первым образцам многоклеточных еще не грозила конкуренция на протоматерике в районе нынешней Антарктиды. Завершение эпохи обледенения закончилось резким повышением уровня мирового океана и возрастанием содержания кислорода в атмосфере. Вендианцы первыми — великая находка! — научились созидать энергию путем фотосинтеза: синтезировать питательные вещества из углекислого газа и воды. Не конкурируя с предшественниками за источники энергии, они создают первое «открытое общество», где преобладало мирное сосуществование, а не конкуренция. Потому вендианцы и не имели органов перемещения — не было хищников и жертв.

*М. Б. Как данные о вендианских многоклеточных согласуются с находками молекулярных палеобиологов, изучающих эволюцию ДНК? С имеющимися у нас сведениями об эволюции эукариотических бактерий, которая началась около 1 млрд. лет назад?*

**В. Р.** Большое дерево жизни нельзя построить из маленького генома. Когда геном клетки имеет огромный резерв генов, гены начинают работать «командами». Каждая «команда» генов создает разные специализированные клетки из одного набора (генотипа). В этом случае для создания биоразнообразия нет нужды прибегать к импорту генов.

Эукариотические клетки имеют много «лиц» и профессий за счет комбинаторики генов. По этому признаку можно идентифицировать эукариотические клетки без анализа ДНК. Я так окольно отвечаю на ваш вопрос, потому что никому пока не удалось найти сохранившихся образцов ДНК вендианцев. Время и более поздние бактерии уничтожили всю ДНК этих созданий. Однако вендианцы размножались половым процессом через специализированные клетки, что, естественно, недоступно микробам. Судя по отпечаткам, фенотип клеток в пределах одной колонии различался, что говорит о специализации. Это тоже прерогатива эукариотов.

*М. Б. Эволюция оптимизирует и направляет программу развития ДНК и белков. Благодаря чему новые «эксперименты», новые «слова» и «диалекты» не разрушают первоосновы языка жизни?*

**В. Р.** Появление полового процесса в мире многоклеточных было ключевым событием, которое сбалансировало феномены изменчивости и устойчиво-



сти в пределах вида. Половые клетки защищают вид от вторжения ДНК чужих видов. Скажем, принудительное оплодотворение яйцеклеток спермиями другого вида дает нулевой результат. Половые клетки и половой процесс надежно защищают ДНК при вертикальной передаче от родителей к потомкам. Не менее важно, что передача видовой ДНК через одну клетку позволяет фильтровать накопившиеся «биопомехи» в виде вирусов, онкогенов, патогенов, которые сумели попасть в организм и размножиться в нем при его жизни. Оплодотворение и внутриутробное развитие (или более простые формы превращения оплодотворенной яйцеклетки во взрослую особь) — это ОТК и «чистилище» для ДНК, входящей в новый круг жизни. Кроме того, эмбриогенез не только фильтрует плохое — но и отбирает хорошее. Появление подвидов и полезных усовершенствований органов чаще всего происходит на стадии зародыша и формирований органов.

*М. Б. Поразительно, что миллиарды живших и живущих форм многоклеточной жизни за полмиллиарда лет эволюции оставили на Земле только 35 главных «строительных планов» устройства многоклеточных. Эти главные открытия в архитектуре многоклеточной жизни были сделаны на протоконтиненте Гондвана, от которого сейчас на прежнем месте осталась одна Антарктида. Именно в этой зоне земного шара появились на свет новые гены и программы, которые наметили пути освоения биопространства с помощью клеточных кооперативов. То есть картину следует представлять так: сперва клетки вступали во взаимодействие друг с другом, так сказать, по сиюминутной конъюнктуре; но эти случайные игры в строительство привели к гигантскому и опять-таки случайному прорыву в будущее биоинформатики, когда клетка начала эволюционировать уже не как отдельная элементарная единица жизни, но как строительный модуль многоклеточной жизни? И резонно ли утверждать, что возникновению главных проектов многоклеточных предшествовала эпоха возникновения архитектурных генов?*

**В. Р.** Верно, что возникновение всех тридцати пяти проектов многоклеточных произошло только однажды в кембрии. Потом природа отдыхала, занимаясь деталями созданных проектов и их модификацией. Нет объяснений, почему после кембрия исчезли монументальные проекты жизни, ни одного крупного и нового проекта, словно возможности комбинаторики генов, силы эволюционной «фантазии» пошли на убыль. Есть неподтвержденные догадки, что на Земле исчезли какие-то комбинации физических и экологических факторов, которые катализировали кардинальную реорганизацию генома и хромосом. Ясно, что создание тридцати пяти проектов-каталогов многоклеточной жизни связано с появлением в геноме нового класса так называемых «архитектурных» генов, контролирующих межклеточные взаимодействия. Именно эти гены создали новые «верфи» для постройки более сложных «кораблей» жизни.

Напомню, что из 100 000 генов человека около 5000 генов задействованы в эмбриогенезе, то есть превращении оплодотворенной яйцеклетки в новорожденную особь. Эти 5000 генов кодируют правила сборки клеток в зародыше (причем разные наборы из одних и тех же 50 генов кодируют планы строения и человека, и слона, и рыбы, и мухи). Архитектурные гены отсутствуют в геноме бактерий. Эти чрезвычайно консервативные гены инкрустированы «батареями» в хромосомы многоклеточных без изменения взаимного расположения. Если один конец набора архитектурных генов формирует органы головного конца, то противоположный сектор генов формирует органы хвостовой части зародыша. Если обычные рядовые гены контролируют пространственную структуру белков, то архитектурные гены кодируют трехмерный проект организма, то есть внешний вид, количество, размеры и карту расположения органов. В зародыше закодирована комбинаторика включения и исключения архитектурных генов во времени. Для неспециалиста возможность кодирования того, что еще не существует в реальном времени, выглядит почти мистикой. Однако никакой мистики в работе архитектурных генов нет. Используя внутренние клеточные «часы», программа построения зародыша синхронизирует клеточные сборки в разных частях зародыша.

**М. Б.** *Под архитектурными генами мы понимаем тот блок генов, которые более научно называются гомеотическими (Нох) генами и мутации которых вызывают рождение уродов и плодов с перепутанным устройством органов?*

**В. Р.** Совершенно верно. Мы договорились не забивать изложение лишними терминами, чтобы не утратить нить разговора. Архитектурные гены наиболее эффективно контролируют правильное развитие органов по довольно стандартному сценарию. Очень рано, еще в крошечном зародыше, Нох-гены размечают в миниатюре территории и карту будущих органов. Много позже эти объемы достигают размеров органов взрослой особи. Реализация этого «виртуального» плана идет в три этапа. На стадии закладки конечности или печени появляются сотни, тысячи незрелых стволовых клеток. На втором этапе эти стволовые клетки формируют запланированную массу органа с точным подсчетом клеток. Когда число клеток достигает проектной цифры, клеточные деления прекращаются, а клетки под влиянием новых «архитектурных» генов начинают превращаться в специальные линии. Локализация клеток в органе определяет тип специализации клеток. Поэтому в мозге не возникают клетки печени, а половые клетки не образуются в сердце. «Архитектурные» гены не только строят «цеха и заводы», но и заполняют территории точным числом специалистов. Как шутят биологи, в этом государстве клетки приходят и уходят, но территории остаются.

Именно использование клетки в качестве строительного модуля позволило эволюции подобрать ключи к созданию сетевых биокомпьютеров с практически бесконечными возможностями. Сетевая организация иммунной системы позволяет предусмотреть создание молекулярных устройств для улавливания миллиардов чужих молекул. Сеть нервных клеток мозга человека из ста миллиардов участников способна воспринимать любую информацию, поступающую из органов чувств в любой комбинации.

На примере эволюции мозга и иммунной системы млекопитающих видно, как быстро и эффективно эволюция нащупала новый, «сетевой», принцип для улавливания «иголки в стоге сена», то есть того одного процента новизны, который организму необходимо мгновенно распознать среди 99 процентов рутины (причем среди огромных массивов информации, будь то образ врага или чужеродные молекулы на поверхности микроба). Любая информационная сеть фильтрует новую информацию в сопоставлении с уже известным.

**М. Б.** *По-видимому, эволюция видов на путях войны, новых «кльков и зубов», начала пробуксовывать уже в мезозое, поскольку даже самое мощное оружие не спасало гигантов того времени от эпидемий вирусной и бактериальной природы. Эволюция пошла по пути форсированного развития органов чувств, мощной иммунной системы и на расширение коммуникационных контактов многоклеточных с окружающей средой. Знать и видеть, чтобы предотвращать, а не сражаться, стало новым лозунгом, когда на горизонте появился в четвертичном периоде образ человека. Имеются ли факторы, предопределяющие появление человека в эволюции млекопитающих?*

**В. Р.** Хотя многоклеточное устройство вроде бы гарантировало всем видам биологические предпосылки долголетия за счет постоянной замены устаревших клеток новыми, эти биологические потенции большинства видов к долголетию не могли реализоваться из-за болезней, некачественной и нерегулярной пищи, а чаще всего из-за элементарного незнания ситуаций и неправильных решений. Эволюционная теория в современной перспективе в отличие от Дарвина делает акцент не на «информационные войны» между видами, а на симбиоз, взаимовыгодную кооперацию «без кровопролитий». Конкуренция и войны — удел информационно бедной среды, когда плохо организованные биоценозы испытывают проблемы с источниками пищи и условиями для размножения. Чем более информационно богата и развита биосфера, тем больше полезной кооперации возникает между всеми участниками биологических цепей и сетей. Война все больше уступает место организованным формам устойчивой кооперации и взаимозависимости.

В 1999 году профессора Джон Смит, Эрнст Мейер и Джордж Вильямс были награждены престижной премией Крэфорда за открытие законов стабильной коалиции видов в информационно богатых биосферах, когда потоки функциональной и генетической информации буквально создают «режим мирного сосуществования». Здесь достаточно упомянуть устойчивые биоценозы Гавайских островов и других островов-заповедников в океане, которые, подобно «английскому клубу», недоступны чужестранцам. Слияние биоинформатики и биосферы с техносферой также начинает эпоху остановки биологических войн в истории эволюции.

*М. Б. Означает ли это, что с появлением новых информационных реалий: все более совершенных компьютерных технологий, все более емких глобальных информационных сетей — движется и человечество к концу эпохи войн, эпохи национальных, государственных и военных противостояний?*

**В. Р.** Пока на мощных компьютерах с использованием теории игр моделировались и просчитывались простые ситуации типа синергизм/антагонизм двух видов бактерий, стая хищников/жертва, целостное поведение биоценозов. Современная экономика, политика, парадоксы жизненных интересов общества слишком сложны и запутанны, во всяком случае, эти терабайтные ситуации пока еще не по зубам современным машинам. Хотя отдельные задачи из этих областей, разумеется, все чаще прорабатываются на больших компьютерах (типа IBM Blue, обыгравшей в шахматы Г. Каспарова).

*М. Б. Эволюция многоклеточных привела к созданию организмов, устроенных по принципу конфедерации клеток. Функцию многих организмов можно объяснить как сумму функций специализированных клеток. По этому принципу мы можем понять работу сердца, мышцы, печени, кишечника. Но такой подход не годится, когда мы обращаемся к рассмотрению человеческого мозга. Здесь происходит метаморфоза устройства и программы клеток в новое качество, которое уже не получишь просто путем суммирования. Широко распространено мнение, что никакой существенной связи между физиологией мозга и феноменом сознания наукой пока не найдено — разве что на самом общем уровне, вроде того, что левое полушарие отвечает за словесно-аналитическое, а правое — за образное мышление. Как вообще можно подступиться к этой проблеме, которую многие считают одной из главных для науки XXI века?*

**В. Р.** Историко-эволюционный подход — это одна из возможностей человека «поднять самого себя за волосы» — то есть с помощью средств, ресурсов и возможностей науки, истории, культуры и компьютерной обработки материалов раскопок оценить истоки и пути развития всех специализированных машин мозга — в обход всякой мифологии и догм. Тут необходимо помнить, что эволюция мозга не оставляет «костей» и прямых улик. За короткий исторический период мозг прямоходящих обезьян подвергся кардинальной реконструкции, о чем приходится судить не по «черепкам» новых способностей, зародышу «личности», а лишь по динамике внутреннего переустройства костей черепа. Развитие мозга связано в первую очередь с органами чувств и необходимостью адекватно и полно манипулировать с зрительной, слуховой информацией. С этой информацией мозг обращается частично произвольно, частично — в автоматическом режиме. Если освободившиеся руки человека потребовали орудий труда и орудий защиты, то главным орудием мозга стало знание, экспертиза, опыт, которые по крупицам приобретались в ходе многочисленных проб и ошибок. Подобно драге золотоискателя, мозг просеивает горы информации, чтобы заполучить крупницы знаний. Вся информация от органов чувств поступает в нейронные сети мозга на универсальном языке электрических разрядов в пределах тысячных долей секунды. Быстродействие электрических каналов связи вполне достаточно для передачи в мозг любой важной информации. Электрические коды линейно упорядочивают потоки информации от разных органов чувств, интегрируют разнородную информацию образами (враг, жертва, пища, чужак и т. п.). Этот вид линейного кодирования требует много ячеек памяти для улавливания новизны на фоне уже известного. Каждый нейрон нашего мозга имеет множество отростков, каждый отросток

контактирует с другим отростком соседнего нейрона. Получается ультраплотная сеть нейронов, позволяющая создавать бесконечные комбинации работающих «ансамблей» нейронов. Вторая особенность нейронов — в их отростках локализованы молекулярные машины памяти, которые перекодируют электрические сигналы в линейные параллельные ряды белковых молекул (файлы молекулярной долговременной памяти). Молекулы памяти не синтезируются, а просто переупаковываются по мембране без затраты энергии. Поэтому энергетические расходы мозга сопоставимы с лампочкой на 25 — 30 вт. Последовательность электрических импульсов перекодируется в нанотексты линейных рядов молекул с плотностью расположения соседних молекул в миллиардную долю метра. «Электронноионный» компьютер состыкован с «молекулярным», который «электрические тексты» переписывает на «жесткий диск» параллельными рядами молекул. Оба компьютера работают в интерактивном режиме, то есть любая информация существует либо в реальном времени (оперативной памяти), либо хранится в долговременной памяти в отростках нейрона (синапсах). Огромные массивы негенетической внешней информации упакованы серийными рядами молекул белков. Мозг, усваивая новизну, расширяет объем памяти (экспертизу). Устройство мышц руки выдающегося скрипача или теннисиста мало отличается от мышц руки обычного человека. Однако в головном мозге музыканта или спортсмена работает уникальная программа из многих тысяч нейронов, синхронно и тонко управляющая работой двадцати мышц-сгибателей и такого же количества мышц-разгибателей руки. Подчиняясь таким программам, многие соматические клетки могут достигать в работе удивительного совершенства. Например, мускулатура нашего выдающегося штангиста Юрия Власова была натренирована синхронно сокращаться в режиме тысячных долей секунд. В результате высочайшей производительности мышц ему удавалось поднимать вес, который намного превышал вес его собственного тела. Пример Власова и других выдающихся спортсменов показывает, что возможности человеческих мышц реализованы всего на 10 — 15 процентов. Новые рекорды и прорывы будут осуществлены новыми программами управления, созданными нервной системой в слепом эволюционном поиске. Спорт остается механизмом эволюции, механизмом отбора наилучших решений, которые интересны всему обществу. Специальные программы мозга позволяют человеку преодолевать боль, не отвечать ожоговой реакцией кожи на высокую температуру, эффективно противостоять холоду или невесомости.

Следует помнить, что разница в геноме между *homo sapiens* и обезьяной составляет всего 3 процента (кстати, еще Ницше писал: «Я ничему не удивляюсь в человеке после того, как узнал, что половина его генов происходит из червя»); а последние данные показывают, что эта гомология генов между исследованным видом червей и *homo sapiens* еще выше — почти 75 процентов). Только новое устройство мозга дает нашему виду билет в другие реальности. И мышцы, и органы чувств у обезьяны развиты лучше, чем у человека. Однако обезьяна значительно хуже умеет пользоваться своими органами, поскольку хуже извлекает суть и плохо обучается.

Известно, что мозг человека на 80 процентов загружен зрительной информацией. Взаимодействие квантов света с фоторецепторами (палочками и колбочками) сетчатки по принципу фотоэлемента дает на выходе электрические сигналы, частотой и амплитудой которых закодировано изображение. Распознавание «старых» и «новых» образов, разумеется, не происходит автоматически на сетчатке, и клетки самого глаза его не обеспечивают — они для этого слишком примитивно устроены. Поэтому глаз работает как современный электронный фотоаппарат или телекамера, передавая информацию «по кабелю» в первую «студию» — таламус (зрительный центр).

В начале 70-х годов XX века многим молекулярным биологам казалось, что расшифровка ДНК и законов генетического кода дает ключи к раскрытию алгоритма мозга как компьютера. Важно было грамотно сформулировать задачу и выбрать только одну машину мозга, чтобы расшифровать устройство и программу. В 1972 году две главных знаменитости в молекулярной биологии,

Фрэнсис Крик и Сидней Бреннер, пригласили работать в Кембридж «молодого гения» — Дэвида Марра. Этот молодой ученый сумел убедить лучших молекулярных генетиков, эмбриологов, физиологов и эволюционистов, что первым шагом на пути к тайнам мозга должны стать исследования, проясняющие механизмы зрения. Под влиянием Марра была создана первая международная программа, в которой было задействовано десять нобелевских лауреатов. К сожалению, это замечательное начинание через несколько лет осталось без лидера: Марр погиб в расцвете лет в 1980 году. Однако симпозиумы, посвященные его памяти, продолжаются и ныне. Марр, позднее Фрэнсис Крик предположили, что изображение с сетчатки глаза снимается и передается в таламус не как целая картинка, а как мозаика «пикселей» (минифрагментов) изображения. Молекулярные биологи ухватились за эту идею, потому что «пиксель» сетчатки выглядел похожим на один «ген» зрения. Комбинацией «пикселей» можно было бы объяснить передачу любого изображения от сетчатки в мозг. Крик пытался выяснить материальную подоплеку одного такого зрительного «пикселя» на «экране» таламуса и коры. Однако уровень его методики оказался недостаточным, чтобы получить однозначный ответ на этот вопрос. Через два года после Крика эта задача была блестяще решена Гарритом Стенли и его коллегами в Калифорнийском университете (Беркли, США). Ответ оказался неожиданным. Ученые поместили 177 нейронов таламуса бодрствующей кошки микроэлектродами для записи электрических импульсов на таламусе при передаче изображения от сетчатки и при закрытых глазах животного. Профиль электрической активности каждого из 177 нейронов таламуса естественным образом менялся в зависимости от картинки на сетчатке, то есть от того, что в данный момент видела кошка. Декодировка электрических сигналов проводилась компьютером по ранее составленной программе (одни сигналы кодируют контурную линию предмета, другие — цвет, третьи — глубину и текстуру изображения). Когда перекодированную информацию от всех нейронов суммировали и вывели на монитор, экспериментаторы увидели немного размытое изображение предметов на сетчатке глаза кошки! Этот эксперимент прямо подтвердил линейный перенос зрительной информации от клеток сетчатки к клеткам таламуса как бы с помощью многожильного кабеля, который содержит около 150 000 нейронов на 1 квадратный мм. Новорожденный ребенок имеет сформированную нервную сеть клеток в таламусе и после рождения немедленно учится ею пользоваться. У хорьков короткий внутриутробный период развития оставляет новорожденных с недоразвитой нервной сетью таламуса, зрительной и слуховой коры. Таламус является главным диспетчером, куда первично приходит и где интегрируется зрительная и слуховая информация. Если у новорожденных хорьков перерезать нервы, соединяющие таламус со слуховой корой, возникают удивительные метаморфозы. Зрительные нервы от таламуса первыми проникают в слуховую кору и реорганизуют устройство нервной сети под прием зрительной информации. Такие животные с перестроенным мозгом воспринимают зрительную информацию одновременно зрительной и слуховой корой больших полушарий. Эти замечательные опыты показали, что гены внутриутробного развития намечают лишь общие контуры устройства мозга, число клеток в разных отделах мозга. Однако главные «дирижеры» сборки разных функциональных сетей для зрения, слуха, обоняния — сигналы от органов чувств, то есть из внешнего мира. Огромная пластичность устройства мозга новорожденных детей позволяет маневрировать проектом окончательного устройства мозга в разных внешних условиях (иметь много разных машин для разнообразных функций или меньше машин, но с мощной программой).

Если мы вспомним, что один воскресный выпуск солидной западной газеты сегодня содержит больше информации, чем получал средний горожанин XVIII века за всю жизнь, мы лучше почувствуем, где мы с вами сейчас находимся. Стратегия будущего существованию зависит от того, каким образом мозг человека в обществе будет использоваться нынешним и следующим поколениями. В условиях переизбытка всяческой информации мозг многих людей и у нас, и на Западе прозябает в болоте невежества и недоразвития. Обществу

вредят не новые знания, а невежество в отношении их использования. Люди плохо относятся к тому, что не хотят или не в состоянии понять. Приноравливаться в рамках привычной веры (чаще суеверий) проще, чем воевать с инстинктом предубеждения. Знания добавляют взрослому человеку независимости от диктата потребностей и круглосуточного потребления. Знания делают нас свободными от наших устройств и древних генов, если своевременно действуют на развивающийся мозг и включают гены творчества. Только знание, а не суррогат является силой, развивающей мозг ребенка. Информация не влияет на устройство и функцию органов потребления и размножения. В этом плане у нас мало что изменилось с эпохи палеолита. Лишь новые возможности мозга открывают человеку новые пути и перспективы.

*М. Б. Время от времени в СМИ появляются сообщения о компьютерных средствах борьбы с частичной или полной утратой зрения и слуха, об автоматических электронных устройствах, позволяющих парализованным людям общаться с окружающими и даже частично возвращаться к полезной деятельности. Какие показательные и достоверные примеры из этой области вы могли бы привести?*

**В. Р. Я,** несколько отклоняясь от вопроса, хочу сказать, что вообще природные «ошибки» в устройстве и программах мозга дают очень много для понимания его нормальной работы. Некоторые репортажи людей из «серой зоны» — между жизнью и смертью — открывают нам новые аспекты взаимодействия духа и тела, сознания, разума и мозга. Порой такие репортажи с реанимационной койки сообщают нам больше, чем доказательные опыты. Какой сенсацией была книга Жана Доменика Боби (Bauby) «Скафандр-бабочка», ставшая в 1997 году мировым бестселлером. Этот преуспевающий писатель-журналист (редактор французского журнала «Elle») в 1995 году перенес тяжелейший инсульт, парализовавший все его мышцы. Работоспособной осталась одна мышца, поднимавшая левое веко. Этим левым веком он научился «разговаривать» с сиделкой, которой продиктовал роман. В начале книги он описывает первые часы и дни его «души-бабочки», неожиданно выпорхнувшей из парализованного тела и с ужасом наблюдавшей со стороны консилиумы врачей, разговоры жены и детей над его собственным, но уже чужим телом. Главная мысль этого репортажа заключалась в том, что все рутинные программы «внутренней жизни» личности оказались неповрежденными. Более того, они как бы продолжались и саморазвивались в новой обстановке, при полной разьединенности с телом. Многие ученые пытались прокомментировать этот роман, однако их рассуждения относились все же к области обычной, здоровой жизни, а не к особому состоянию, вызванному тяжелейшей болезнью. Можно лишь предположить, что высокоразвитая «внутренняя реальность» мозга теряет жесткую зависимость от материальной части машины, каким-то образом автономизируется от факторов, контролирующих устройство. При этом неисследованность феномена вовсе не открывает дорогу мистике.

Уровень медицинской помощи пациентам после тяжелого паралича значительно возрос после того, как началось использование микроэлектродов, которые от мышц пальца или прямо от головного мозга управляют курсором компьютера. Несколько недель пациент учится «усилием мысли» или с помощью микродвижений пальца перемещать курсор по экрану, затем осваивает технологию печатания текстов и общения в интерактивном режиме. Натренированные пациенты способны напечатать страницу текста за несколько минут. Эти тренировки поврежденного мозга с помощью компьютера стимулируют регенерацию и восстановление утраченных навыков. Для лечения наследственной слепоты компании создают так называемые силиконовые протезы сетчатки, восстанавливающие передачу изображения от сетчатки в мозг с помощью вживленных микропроцессоров, которые вместо утраченных светочувствительных клеток (палочек и колбочек) передают электрические импульсы в зрительную кору. Такие «протезы» могут быть выполнены в виде очков или головного прибора.

*М. Б. С одной стороны — языки генома, химических сигналов в клетках, электрических сигналов в мозге. С другой — язык человеческого общения, язык*

*нашего сознания. И в том и в другом случае мы имеем дело с продуктом эволюции. Обозначение столь по-разному материализованных феноменов общим словом «язык» имеет ли, с точки зрения нашего «историко-информационного» подхода, достаточные основания?*

**В. Р.** Внешних аналогий много. Язык ДНК и язык человека — линейные дискретные потоки сообщений. Пространственные коды потребовали бы огромных объемов памяти — и соответственного роста объемов мозга и нервных клеток. «Смысл» текстов ДНК реализуется в клетке трехмерными белковыми ансамблями — машинами клеточных функций. Язык человека также имеет «многомерную» оболочку смысла вокруг линейной фразы. Материальная конструкция мысли — это всегда работа трехмерных ансамблей нейронов. Исходная фраза — это лишь ключ, который включает компьютер. Эволюция принимает форму обучения через лингвистические структуры и технологии речи и языка. Одновременно время и случай подгоняют биологические машины языка и речи к главным задачам выживания. Как и в случае языка ДНК, язык мозга повторяет общие правила эволюции: эволюционируют структуры, но не принципы, соединяющие слово со смыслом, грамматику, синтаксис — с семантикой и лексикой. Эти главные взаимосвязи структур и функций языка генетически предопределены устройством человеческого мозга, его машинами для сборки слов в предложения и предложений — в когерентные тексты. Мозг — это компьютер, собранный из нервных клеток, для обучения. И первые, древние, короткие, сигналы речи стали первым «интернетом» для передачи самой важной сути. Речь развивалась как наилучший инструмент передачи «сухого остатка» опыта, «работающего» на всех.

Мы понимаем русский потому, что развили автомат-переводчик, который, подобно кодовому замку, умеет расшифровывать линейный порядок знаков. Алгоритм, упаковывающий смысл в новый набор слов, не найден. В фразе из 10 слов допустимо 3 миллиона 628 тысяч комбинаций. Однако лишь одна комбинация является грамматически верной, несущей полную информацию. Вряд ли универсальный алгоритм понимания речи вообще существует, поскольку ключи к замку эволюция подгоняла вслепую.

Выдающийся современный лингвист Наум Хомский доказал, что универсальная грамматика и синтаксис являются врожденным биологическим свойством мозга. Как клетки имеют машины синтеза белка, так ансамбли нейронов автоматически умеют превращать текст в смысл. Использование языка обусловлено автоматикой и совершенством машин мозга, манипулирующих словами-символами. И наше умение всем этим оперировать есть часть нашей эволюции — такая же, как и наша способность распознавать образы или соединять вместе информацию от разных органов чувств. Как мы без обучения способны пользоваться нашими половыми клетками для создания биологического будущего, так органы и машины речи умеют автоматически соединять структуру предложений со смыслом. Этому не выучиваются. Исследованы наследственные болезни детей, при которых биологические машины продуцирования и понимания устной и письменной речи повреждаются. Законы грамматики, синтаксиса, коды смысла столь же биологически объективны и универсальны, как язык и правила генетического кода. Способность мозговой ткани превращать молекулы в нематериальное качество — смысл — резко уменьшила зависимость человеческого существования от диктата сиюминутных ситуаций.

**М. Б.** *По-видимому, компьютерный анализ закономерностей грамматики и синтаксиса, семантики языка поможет не только глубже понять двуединство программ и устройств мозга, но и улучшить диалог человека с компьютером. Быть может, именно компьютеры, способные путем визуализации изменять наши привычные методы анализа данных, позволят вывести некие наиболее общие закономерности жизни и эволюции, подобные тем, которые найдены в физике для взаимодействия материи, энергии, поля?*

**В. Р.** Я думаю, с попытками объяснять сложное простым нужно быть предельно осторожным. Этот научный прием выходит из моды.

Жизнь — это вертикальная и горизонтальная иерархия переплетенных информационных сетей, где все этажи и все виды «оборудования» взаимосвязаны. Только в линейных системах существуют простые зависимости типа причина — эффект. Наука должна научить человека выживать в сложных ситуациях без упрощенных объяснений. Компьютеры призваны помочь увидеть то, что остается недоступно нашему левому полушарию, оперирующему абстрактно-логической информацией. Необходимо только подчеркнуть, что научная визуализация не имеет ничего общего с бытовым «увидеть». Значит, человеку потребуется четвертый язык (после языка ДНК, языка межклеточных сообщений и языка внешнего общения — человеческой речи) — язык компьютерных образов, на который будут «переводиться» данные для представления их в правом полушарии нашего мозга, которое умеет манипулировать гигантскими массивами зрительной информации. Этот новый язык «умозрения» не только расширит горизонты понимания и восприятия, но и позволит лучше понять границы возможного в работе и устройстве мозга. Быть может, где-то здесь и концентрируются сейчас новые силы природы, направляющие «ковчег» жизни по новым маршрутам.

*М. Б. Мне кажется, настает время подводить итоги нашей беседы. Давайте вернемся к первому вопросу: какой новый ПРОЕКТ БУДУЩЕГО начинает определяться? Отменяет ли новая ситуация — соединение био- и техносферы — старые «правила игры», действовавшие на прежних эволюционных стадиях? Что наиболее важное пришло в мир с новыми информационными сетями? Что сегодня в большей степени направляет эволюцию — физические факторы планеты или созданная человеком информационная среда?*

**В. Р.** Первые этапы эволюции видов на Земле — назовем их «дарвиновской эволюцией» — происходили как отчаянная борьба по схеме «быть или не быть» под солнцем сегодня, сейчас. Любые биологические войны, как и «прыжки» в новизну, укладываются в алгоритм: все средства хороши, чтобы вырвать свой шанс, зацепиться за настоящее, отбить пространство и время на самореализацию. Однако режим войны неэффективен энергетически и информационно. Эволюционные войны — это топтание на месте. Появление нового качества всегда требует прекращения войн и перехода к сотрудничеству.

Режим войны и смертельной конкуренции уничтожает связь настоящего с прошлым и с будущим. В «дарвиновской эволюции» цена прожитой жизни — ноль, какой-либо смысл возникает только в эволюционной перспективе (невольно вспоминаешь Максимилиана Волошина: «Справедливость — это таблица умножения убитых»). Однако с появлением человеческой цивилизации и культуры ситуация преобразуется. В информационно богатой среде человек и другие виды перестают быть анонимным строительным материалом. Информация формирует личность и новые ценности существования. Силы творчества нейтрализуют инстинкты потребления. Теперь жизнь каждого человека получает значение и смысл, который не сводится к выживанию любыми путями. Чем более богаты и разнообразны цивилизация и культура, тем выше цена жизни. Новая организация жизни гарантирует права каждого на жизнь и будущее. Жизнь, личностные ценности все сильнее зависят от сообщества и правил игры в сообществе. Силы эволюции строят «духовный ковчег» личности над древним биологическим каркасом человека.

Сегодня уже появляются проекты строительства в космосе не путем завоза строительных материалов, скажем, с Земли, а путем засылки программ, которые реализуют план из подсобного местного материала. Информатика учит, что любые молекулы, любой вид неживой материи могут быть превращены в носителя информации. Если элементарные частицы способны хранить не только энергию, но и информацию, то Вселенная является гигантским компьютером. Физика обречена понять программы элементарных частиц, взаимодействие информации и энергии на корпускулярном уровне. То есть информация независима от носителя. Живое достигнет этого качества, если на альтернативные носители удастся переписать программы ДНК и эмбриогенеза.



Виртуальные реальности сетевых компьютеров становятся главной средой проектирования, испытания и отбора нового оружия, моделирования мини-войн, отработки критических ситуаций в космосе, экономике, политике, биржевых играх. Виртуальные испытания безотходны и экономичны — ошибки и неправильные расчеты не сопровождаются гибелью людей и загрязнением окружающей среды. Компьютерная революция подняла производительность современной цивилизации. Не секрет, что подготовка квалифицированного специалиста в любой области знаний занимает 20 — 30 лет. В прежнее время такие эксперты успевали передать обществу 2 — 3 процента своих знаний в виде общественно полезного продукта. 98 процентов информации в каждом поколении пропадало с биологической смертью экспертов. Этому сейчас приходит конец, поскольку индивидуальные компьютерные оболочки сохраняют, подобно библиотеке, все наработки, которые далее могут быть востребованы. Решение этой проблемы с помощью компьютерных сетей поможет сделать более осмысленной и полезной деятельность ученых и творческих людей.

Важной нерешенной проблемой остается эффективное использование знаний отдельными личностями, лабораториями и корпорациями. Известно, что только 2 из 10 патентов любой крупной корпорации внедряются на практике. 80 процентов открытий ждут своей путевки в жизнь. Это происходит из-за «бюрократической» пробуксовки, человеческих лимитов восприятия новой информации и невозможности вовремя принять квалифицированное решение. Ныне создаются специальные команды людей и компьютеров, которые подготавливают материалы для принятия решений высшему руководству корпораций, министерств и т. п. Подобная компьютеризация деятельности высших должностных лиц должна ускорить научный прогресс и эволюцию знаний.

Опережающими темпами развиваются компьютерные технологии, создающие персональные многоцелевые информационные оболочки. Большую популярность получили переносные мини-компьютеры, призванные создавать вокруг владельца своего рода приватную информационную оболочку, своевременно предупреждать и даже защищать от нежелательных факторов (например, медицинский электронный детектор ошибок постоянно контролирует деятельность главных органов человека, ведет мониторинг факторов риска). За такую модную «информационную одежду» современные люди готовы платить как за собственную охраняемую территорию. Подобные оболочки сегодня помогают человеку выделить и ограничить пространство его личности, обеспечивают его *privacy*. Эти компьютерные системы используются не столько для повышения производительности труда, сколько формируют «информационную среду обитания» личности. Поэтому они получили название «экзистенциальных компьютеров» — они соединяют человека с окружающим миром не через производства, а на уровне культурных и моральных ценностей.

Современность требует от человека множества принципиально новых, беспрецедентных решений. Новые компьютерные технологии и разработки направлены прежде всего на то, чтобы создать для появления таких решений благоприятную среду, на максимальное раскрытие талантов и творческих возможностей человека в информационно богатой обстановке. Нетрудно видеть, что все расширяющийся диалог человека и компьютера во имя новых горизонтов знания создает новые модусы и человеческой мысли, и человеческих поступков, мобилизует заложенные в человеческих генах и пока еще не «разбуженные» творческие потенции. Не исключено, что о скрытых прежде возможностях нашего генома мы узнаем в XXI веке больше, чем за всю историю человечества. Но на этой фразе следует заканчивать наш разговор — ибо самой слабой стороной науки остаются прогнозы.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО

\*

## КИТАЙСКИЙ МАСКАРАД НА РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ

Князь

Что делаешь ты здесь, таинственная маска?

Маска

(в полукитайском костюме)

Смотрю на ваш роман,  
Завязка дельная, да будет ли развязка?

*Лермонтов, «Арбенин».*

У нас морозы и балы... к 6 января готовят китайский маскарад во дворце. Графиня Разумовская будет китайской царицей. Венский любезник Пальфи — королем. Графиня сказывала, что искала шелковых китайских материй. У Чаплина по 100 р. аршин. Ей нужно 6 ар., она хотела купить кусок в 7, но Чаплин не соглашается продать менее 60 ар., по 100 р., то есть 6000 руб. на платье, потому что запас у него сделан для полного свадебного апартамента. Увидишь, что царица китайская купит 60 вместо 6.

*Александр Тургенев Александру Булгакову.  
Из Петербурга в Москву. Зима 1836 — 1837 гг.*

**Б**орис Стругацкий в интервью в связи с вручением «АБС» — премии имени братьев А. и Б. Стругацких за лучшее прозаическое и критическое произведение в области фантастики, братьями же и учрежденной, — назвал латынинского «Инсайдера» (заключительную часть Вейской хроники<sup>1</sup>) «прин-

Марченко Алла Максимовна — литературный критик, филолог, известный исследователь творчества С. Есенина, А. Ахматовой, современной поэзии и прозы.

<sup>1</sup> За период с 1996 по 2000 год у Ю. Латыниной вышли в свет три «полнометражных» вейских романа: «Сто полей», «Колдуны и министры» (при первой, саратовской, публикации он назывался «Колдуны и Империя») и «Инсайдер»; к этой трехчастной глыбе примыкают четыре повести, а может, маленьких романа, в которых действуют уже известные читателям хроник лица: «Повесть о государыне Кассии», «Дело о лазоревом письме», «Повесть о Золотом государе» и «Дело о пропавшем боге». Не участвуя напрямую в ускоренном, так сказать горизонтальном, самодвижении собственно фабулы, примкнувшие к романной трилогии повести художественно и психологически восполняют ее объем, углубляя сюжетную массу, утяжеляя и как бы укрепляя ее в вертикальном направлении.

Кроме того, написаны и изданы четыре детективно-производственных романа из новорусской жизни: «Бандит» (еще под псевдонимом Е. Климович), «Стальной король», «Охота на изюбря» и (только что, свеженькая) — «Саранча». В отличие от Вейских историографических вариаций, востребованных в основном молодежной «читательской элитой», а главное, интернетовской продвинутой публикой, они были не только «замечены критикой», но и отрефлектированы. Я имею в виду и громкую статью Александра Привалова «Кто и как в России ворует» («Известия», 1999, 21 сентября) и заметки Ирины Роднянской в «Новом мире» «Свято место правее Чубайса?» (1999, № 12). О «Стальном короле» речь шла и в моей статье «Разуваев и К° — выход в свет» («Вопросы литературы», 1999, № 5). А вот вейский вариант «принципиально нового» исторического романа (тут я совершенно согласна с Борисом Стругацким) остался без подробной аналитической критики. Рецензентами (Р. Арбитман, А. Василевский) отмечены лишь отдельные выпуски. Увидеть целое удосужи-

ципиально новым романом». Премия тем не менее вручена не автору *принципиально нового романа* и даже не самому серьезному из соперников Юлии Латыниной — Виктору Пелевину, вышедшему в финалисты «АБС» с нашумевшим «Generation 'П'», а мало кому известному Сергею Синякину, опубликованному в журнале «Если» повесть «Монах на краю земли», о которой Стругацкий Б. не сказал почему-то ни единого слова...

Впрочем, на месте именитых фантастов я поступила бы точно так же, ибо и с фантастикой вообще, и с той ее разновидностью, в какой и поныне, как встарь, лидируют братья АБС, Вейский цикл связывает не родство, а свойство, да и то приблизительное. Фантастики, на мой взгляд, здесь не больше, чем, скажем, в «Клопе» или «Бане», и куда меньше, чем в «Демоне», «Сказке для детей» или в «Ночи перед Рождеством». Фантастична (в прямом, жанровом отношении), по сути дела, лишь завязка — история появления на неизвестной космическому сообществу планете Вее экипажа межпланетного корабля. Что же касается приключений и злоключений потерпевших катастрофу астронавтов, и прежде всего капитана «грузового бочонка» землянина Клайда Ванвейлена, то тут на память приходят совсем другие имена: Купер, Вальтер Скотт, а местами («Повесть о государыне Кассии», «Дело о лазоревом письме») Марк Твен с его «Принцем и нищим»... Но это легкое присутствие — лишь дальнее эхо давних, хорошо и вовремя забытых читательских пристрастий, ибо то, что происходит на Вее, случайно открытой Ванвейленом со товарищи, волею автора страшно похоже на то, что происходит в посткоммунистической России, которая для вновь открывающих ее людей Запада, и прежде всего американцев, не менее экзотична, чем Вейя для ее открывателей. При всей своей изобретательности, «изобретательности до остервенения», Латынина не делает даже попытки прикрыть-разбавить поразительное сходство вроде как землян и «землянской цивилизации» с Америкой и американцами.

Сугубо земные и конкретные ассоциации вызывает и воинственно напряженная планета Гера (головная боль космической Федерации) — ни дать ни взять проблемный концентрат всех сразу, от Сербии до Чечни, «землянских» горячих точек, чьи населенцы все как-то не удосужатся сообразить, что двухэтажный гамбургер и демократия по-заокеански — высшие достижения Мирового Разума. Перед парадоксальной развязкой, на самом крутом фабульном выраже «Инсайдера», автор сталкивает двух антиподов: вейца Шаваша, бывшего беспризорника, ставшего («по своей да Божьей воле») фактическим властителем Вейской империи, и ново-светского бизнесмена Бемиша, чуть было не выудившего в мутной воде вейской смуты (когда на новооткрытой планете еще можно было делать деньги «прямо из воздуха») баснословно большой барыш. Впрочем, в случае с Бемишем закавыка не только в сверхприбыли: этот не слишком громкий, почти что тихий пришелец со звезд (как тут не вспомнить симоновское: «...под звезды всех Соединенных Штатов?») наконец-то, на излете возраста «яппи», дорвался до настоящего Большого Дела (взял на себя строительство сверхмощного космодрома неподалеку от столицы империи), а главное, настолько приспособился к местной специфике, что готов прибрать к рукам и другие, многие-многие, новейшие коммерческие начинания. И вдруг все рушится: стремительный успех удачливого чужепланетца чуть было не обернулся полным крахом. Местные партнеры Бемиша Теренса, которых простодушный «землянин» числил в «верных соратниках» (а как иначе? без помощи и опеки туземной элиты господин Теренс, несмотря на ухватистость и стопроцентно «американскую деловитость», наверняка заплутался-запутался бы в головоломных вейских лабиринтах), умно и цинично «используют» чужака в своих, что называется, стратегических целях. Ошеломленный незапрограммированной метаморфозой, Бемиш спрашивает Шаваша: «За что ты ненавидишь нас, Шаваш? Не меня, а Федерацию?»

---

лись пока только авторы двух откликов — безымянной, точнее, подписанной инициалами М. Г. коротенькой рецензии в «Ex libris НГ» и более пространной работы, существующей, правда, лишь в интернетовском варианте (Максим Борисов, «Вейский цикл: колдуны и финансисты» — <http://lib.ru/RUFANT/LATYNINA>).

Наивность вопроса искажает до безобразия эталонно красивое лицо вейца: «За что? А ты сам не догадываешься, Теренс? За то, что вы такие чистенькие. За ваши сверкающие машины. За блестящие фантики, за рекламные щиты, за то, что, когда вы приезжаете в самый грязный город, вы строите себе гостиницу, где нет грязи и нищеты. Народ нищих ненавидит богатых: ты этого не знал?» («Инсайдер»).

Узнаёте этот своего рода мини-набор раздражителей, разогревающих сегодняшней российской антиамериканизм? (Вейцы не просто нищие, а «*богатые нищие*», ибо бедны, несмотря на то что природные богатства Вей — неисчислимы, а от красоты и роскоши дворцов и храмов нищей империи у прилетчиков-налетчиков с богатых планет аж слюнки текут.) И Латыниной надобно, чтобы о своем легкокасательном сходстве-сродстве с вейцами и самый недогадливый из россиян догадался! В финале «Инсайдера», например, уже упомянутый господин Шаваш, то ли Спаситель и Друг народа (вынудил-таки руководство Федерации великих планет взять на буксир безнадежно — казалось бы навсегда! — отставшую от продвинутых цивилизаций «захолустную» Вею), то ли всего лишь хитроумный и циничный чиновник, нахапавший между делом несчетанные миллионы, отказавшись от космической карьеры, остается на Вее. Возвращается, пишет Латынина, «обратно», восвояси, «к *резным шпильям и речпчатым луковкам* главных дворцовых павильонов» — пишет, явно надеясь, что мы вмиг узнаем-угадаем прообраз: открыточный красноплощадный вид с речпчатыми луковками Василия Блаженного и резной зубчаткой московского Кремля...

А императорский любимец и дружий враг, он же вражий друг Шаваша, дитя природы и потомок варварских королей — Киссур Белый Кречет, который, заявившись в столицу планеты Земля, шумит и буйнит, совсем как Есенин в Нью-Йорке?

Словом, и шагу нельзя сделать, чтобы не разворошить целый рой непредсказуемых ассоциаций! Именно ассоциаций, а не сознательно загнанных в текст аллюзий. Вот на каком месте, к примеру, сам собой разломился том «Дневников» Юрия Олеши, когда поздно ночью, устав от «Инсайдера», я решила «сменить пластинку»:

«Читаю в газете: Магнитострой будет строить американская фирма. Вся полнота власти принадлежит главному инженеру. Американским инженером, буржуа... возводится гигант социалистической промышленности. Хотел бы я видеть этого господина... Так, значит, для постройки социализма применяются старинные приемы государственности: в данном случае — хитрость. Ах, товарищи потомки, — на хитрости строился социализм...»<sup>2</sup>

Впрочем, и Максим Борисов также отметил, что Юлия Латынина «не чурается российской истории и современности (ср. историю владычества государыни Кассии и фаворитизм при Екатерине II)»<sup>3</sup>.

Но эта догадка осталась без отклика, а мысль — без продолжения и обсуждения, ибо возобладало иное мнение: дескать, «вымышленное „застывшее“ общество Латыниной... больше всего напоминает Китай времен Сунской династии» (М. Г. Вейские церемонии. — «Ex libris НГ», 2000, 20 января). Не спорю, и впрямь напоминает. Но: издалека и ежели вприщур. И лишь до тех пор, пока, не поленившись, не освежишь в памяти предмет, то бишь историю Китая, хотя бы слегка: самое беглое и поверхностное сопоставление подлинника с его причудливым и лукавым отражением в вейском многотомнике наводит на мысль, что Латыниной страсть как нравится китайская бытовая фактура, что ей весело и приятно мастерить для персонажей вселенской трагикомедии затейливые костюмы «в китайском стиле» и украшать бесчисленные романские интерьеры искусно (*китайская работа!*) исполненными вещами и вещицами...

<sup>2</sup> Олеша Юрий. Книга прощания. М., «Вагриус», 1999, стр. 30 — 31.

<sup>3</sup> Имеется в виду «Повесть о государыне Кассии», впервые опубликованная под одной обложкой с «Инсайдером».

И при этом: на уровне *длинной мысли* Вейских хроник настоящий Китай и настоящие китайцы «хрониста Ю. Л.» (в пределах данного текста) не слишком интересуют, ибо страшнее волка — опасного, наркотического плена стилизаторства — зверя для нее нет.

В том, что чистопородная, без эпатирующих выходов в куда угодно и авантажных сдвигов в самую злободневную современность историческая реконструкция неизбежно, независимо от силы дарования реставратора, обращивается стилизацией, Латынина могла убедиться на собственном примере. Ее первые опыты в этом роде — блестящий греческий: «Клеарх и Гераклея» («Дружба народов», 1994, № 1) и изысканный китайский: «Повесть о благородном мятежнике» («Звезда», 1996, № 3) — широкого читательского успеха, явно ожидаемого и крайне необходимого юной и дерзкой дебютантке, увы, не имели. Не исключено, что как раз по причине блестящей эрудиции и культурологической изысканности. Критики особого энтузиазма также не проявили, однако входной билет в толстожурнальную литературу автору все-таки выдали (на этих литературных широтах и по сю пору не пришли к сколько-нибудь определенному выводу в отношении стилизации: то ли и впрямь «чудо XX века», как утверждал некогда Владимир Турбин, то ли «словесная мертвенность», по слову Есенина)...

Латынина, однако, открывшимися было видами на солидно-правильное будущее пренебрегла и выписанным ей разовым пропуском на толстожурнальный Парнас не воспользовалась, благо книгоиздателей, охочих до ее уникальных и при этом ходких и даже самоходных текстов, слишком уж долго искать не пришлось. И о своем тихом разладе-разводе с «толстяками», судя по всему, ни разу не пожалела: здешние требования и установления ей априори не подходили. *Душа моя Павел, держись моих правил...* Первый же вейский полнометражный и широкоформатный роман — «Сто полей» (СПб., «Азбука-Терра», 1996) — не без вызова продемонстрировал: держаться правил — не то чтобы общепринятых, но даже и своих собственных — Латыниной и недосуг, и не в кайф, и в художественном отношении решительно вредно. В обыкновенной, конкретной, тщательно-старательно прописанной историографии или историософии ее мощному, системному и систематическому уму — *тесно*, азартной и авантюрной натуре — *жмет*, а безудержному воображению — голодно («голодает слух и взор»). При таких-то несовместимостях, само собой, надобно, чтоб в тексте было все. Все сразу. И всего навалом. Тонких мыслей и грубых положений. Золота и лохмотьев. Блеска и нищеты. И чтобы условно историческое время то мчалось балладным голым аллюром, справа — трупы, слева — кровь (картонаж, клюквенный сок, лубок!), то закручивалось в спираль головоломоной интриги, то замирало «музейно и антикварно», и тогда «мир казался украшенным наилучшим образом и являл собой воплощение удачи», а остановившееся время дожидалось почтительно, пока *господа его выбора* не кончат экзотический ужин или партию игры в «сто полей»...

Критика не раз, правда в весьма деликатной форме, указывала Латыниной на торчащие в ее текстах погрешности супротив общепринятой среднеремесленной стилевой нормы. И действительно, в проходных или полупародийных авантюрно-постановочных эпизодах (драки, преследования, поединки et cetera), где слова не более чем род *титров* под стремительно меняющимися картинками, она сплошь и рядом небрежна, а то и неряшлива<sup>4</sup>. Зато уж там, где позволяют время и место, а главное, интеллект фигурантов, показывает класс весьма изощренного мастерства. Вот выхваченный почти наугад характерный, на мой вкус, образец ее настоящего, так сказать, природного стиля, когда стиль — не слуга жанра и не ухажер госпожи Моды сезона, а вместе врожденная словесная походка плюс способ соображения понятий. (Чтобы

<sup>4</sup> За недостатком места пространных примеров не привожу, однако все-таки советую автору при переиздании обратить внимание на глагол *всплискнуть* и по возможности ограничить сферу его распространения.

происходящее было понятно и тем, кто еще не заглядывал в вейский «конволют», поясняю: в цитируемом фрагменте два друга-врага, монах-колдун Даттам и королевский советник Арфарра, ставленник императора Всея Вей в вассальной провинции Варнарайн, играют в «сто полей» — род шахмат, но гораздо сложнее, а за игрой наблюдает юный ученик Арфарры, деревенский вундеркинд):

«Даттам нагнулся над доской. Левый его купец завладел седьмым зеленым полем.

Ах нет! Пешка учителя побывала там раньше. Стало быть, не завладел, а только получил право пользования.

Купец — странная фигура: трижды за игру ходит вкривь. Да и „сто полей”, если призадуматься, странная игра. Говорят, в Небесном Городе (столице империи. — А. М.) зал приемов зовется „сто полей”. Говорят: игре две тысячи лет и принес ее с рисом и тремя таблицами сам государь Иршахчан. А как, если подумать, мог государь Иршахчан принести игру с купцами, если он отменил „твое” и „мое”?

И еще: при государе Меенуне купцов и торговцев не существовало, все в деревне говорили, что они завелись в Варнараине только после восстания Белых Кузнецов, двенадцать лет назад. Арфарра-советник перевернул одну из фигурок и нажал на планку в водяных часах. Синяя пирамидка перестала плакать, а заплакала розовая. По уровням воды было видно, что Даттам играет гораздо быстрее, чем королевский советник, а по доске было видно, что Даттам играет, не давая себе труда подумать».

Свои новорусские крутые боевики Латынина срабатывает в сверхбыстром темпе. На тех же быстротах вылетают они и из печатных машин. И тут же сметаются с книжных прилавок, что ничуть не удивительно, ибо в этих криминальных историях центральный сюжет ее же собственной профессиональной публицистики: *кто и как сделал и делает в России большие деньги* — хорошо приспособлен к произрастанию в обжитом и унавоженном пространстве уголовно-производственного романа. Вейские же хроники, задуманные аж на заре гласности, а завершенные (вчерне) к середине постреформенного семилетия, то есть тогда, когда новую Россию еще покачивал дикий хмель *от дней свободы*, писались медленно. И уединенно. Вместе с двадцатилетним автором трудно вырастали из полудетских филологических и культурологических одежд. А она, и тоже вместе с ними, самоучкой и по собственной методе *теоретически* осваивала диковинную для подлетьшей перестройки экономику эгоистического и витального капитализма, со стороны, без пристрастия — и без шор! — с ненасытной пристальностью наблюдая, как столь респектабельный за океаном ИЗМ, осваиваясь на немереных просторах шестой части Земли, исподволь, не общезаметно, дичал и оскаливался и терял лицо, ошарашенный соблазном быстрой и легкой наживы. И тем не менее она, как и Россия в целом, что вверх, что вниз, все-таки заодно с другими пережила и прожила медовую пору влюбленности в Заокеанское Экономическое Чудо. (Нас, тогдашних, ну прямо-таки распирало от *собственной гордости*: дескать, надо же, классические и законченные *буржуи*, а к нам со всем уважением!)

Тогда-то, кажется, и появилась на одном из ста игровых вейских полей (если не ошибаюсь, впервые в «Деле о лазоревом письме») фигурка тайного «купца» Нана, благородного землянина, совершенно секретно пробравшегося на Вею и настолько «отуземившегося», что его принимают за чистокровного вейца. Лишь самые проникательные, например уже знакомый нам Шаваш, хотя именно Нан сделал ему судьбу, образовав и обтесав одаренного оборванца, подозревают в нем звездного лазутчика и «засланца». Впрочем, как выясняется в финале (см. роман «Инсайдер»), Шаваш не только не предал своего учителя, а передоверил именно ему право полноценно представлять и защищать интересы Вей в Высшем Органе космической Федерации — ООН. Ко времени выхода «Инсайдера» (1999) столь счастливая — в пользу вейцев! — развязка политико-экономического поединка между отсталой Веей и Федера-

цией высокоразвитых планет была уже явно не актуальной, не отвечающей ни положению дел в сфере русско-американского культурного и экономического сотрудничества («зрелого стратегического партнерства»), ни состоянию общенародных чувств по отношению к заокеанской «сверхдержаве». В 1999-м, после выхода в свет русского перевода знаменитой книги Збигнева Бжезинского (бывшего советника президента по национальной безопасности Америки) «Великая шахматная доска», призадумались даже самые упорные из российских «прозападников»... А не-западники прямо-таки запаниковали: «Под опекой США человечество постепенно унифицируется и сделается подконтрольно единому мозговому центру, чьи главные жизнеобеспечительные извилины расположены в США...» (цитирую рецензию Юрия Кублановского «Утопия геополитического самодержавия» в 7-м номере «Нового мира» за 1999 год). Думаю, что Латынина ознакомилась с текстами и взглядами американского политика, политолога и советолога много раньше, подозреваю также, что название первого романа Вейского свода — «Сто полей» — возникло не без полемиической оглядки на «Великую шахматную доску». Да, Вея стремительно — при жизни одного поколения — унифицируется. По узким, почти средневековым улицам Небесного Города с цирковой ловкостью лавируют сверкающие лимузины. Туземный истеблишмент переодет по самой дорогостоящей межгалактической моде, а вейские луны — их на экзотической планете две! — ежатся, когда мимо них на сверхзвуковой космической скорости проносятся вчерашние варвары. Но — ни патриотической паники, ни антипатриотического восторга все эти разительные перемены, сдвиги и сломы у Латыниной не вызывают: нельзя все иметь и все сохранить... И дело тут, полагаю, вовсе не в какой-то особой — «абсолютной, даже, пожалуй, демонстративной „неромантичности”»<sup>5</sup> автора Вейских хроник, а в твердой ее, Латыниной, уверенности: хитроумные вейцы, изобретатели игры в «сто полей», в итоге, ежели дойдет до последней крайности, обыграют-обставят, на худой конец, объегорят-надуют чемпионов «Великой шахматной доски»! Что и демонстрирует ее последний русско-китайский роман из эпохи «борьбы миров», где заключающая вейский эксперимент грандиозная, с резонансом на всю Галактику инсайдерская сделка — «тучная тучка», которая, по безошибочным законам Высшей Экономики, должна была пойти прямо, чтобы непременно пролиться золотым дождем в банковские закрома звездных инвесторов, изобретательность вейских колдунов-министров идет, однако, *вкривь* — при полном безветрии и совсем в иную, незаконную, сторону, чтобы на Вее и «опростаться»!

Короче, «Инсайдер», хотя и дописан, и опубликован уже после выхода в свет и криминально-производственных романов о властителе Сибири («Стальной король», «Охота на изюбря»), и просто криминальных историй об обаятельном бандите по кличке Сазан («Бандит», он же главный герой «Саранчи»), не открывает, а закрывает тот краткий промежуток в новейшей российской истории, когда не только профессиональные политики, но и писатели по политико-экономическим вопросам опрометчиво полагали, что именно Америка станет нашим главным стратегическим партнером, а «темная толпа непросвещенного народа» свято и наивно верила, будто силач и добряк дядя Сэм обязательно поможет, вытащит из болота русского обормота... О том, что линия наибольшей экономической напряженности, а следовательно, и зона повышенной конфликтности проляжет там, где столкнутся лбами русско-американские идеалы и интересы, в ту пору даже приватно-застольных разговорчиков не было. Романист с менее развитым, нежели у Латыниной, «рефлексом цели», оказавшись в аналогичной ситуации, когда *время вдруг переломилось*, утратив возможность преодолевать материал, наверняка не стал бы дотягивать хронику до логического конца, заданного самодвижением вейско-землянского сюжета, но не обеспеченного ходом движения истории. Латынина начатую постройку *завершила* согласно первоначальному плану, хотя, ежели смотреть *нельзя прилежней*, следы

<sup>5</sup> М. Г. Вейские церемонии. — «Ех libris НГ», 2000, 20 января.

некоторой спешки и неполной художественной «занятости» в этом финальном тексте все-таки чувствуются. Но это касается подробностей и эпизодов второго и третьего планов, а не главных действующих лиц — Шаваша и Киссура. Уже упомянутый рецензент «Ех libris НГ» почему-то связывает своеобразие манеры, с какой в «Инсайдере» отпортретированы («жестко», без разделения на «хорошо» и «плохо») ведущие интригу персонажи — имперский министр, «ворующий ради сохранения независимости своей страны» (Шаваш), и умный бандит «со своеобразным кодексом чести» (Киссур), — с традицией китайской средневековой новеллы. На мой взгляд, куда уместнее вспомнить о традиции русского психологического романа, что, кстати, и сделал Александр Привалов, процитировав, в связи с центральной фигурой «Охоты на изюбря» — фигурой промышленника Извольского, «Предисловие к журналу Печорина». Предвижу возражение: так ведь это совсем другая история и иные действующие лица! История, может, и другая отчасти, а вот характеры слеплены из того же теста — из родимого русского глинозема. Больше того, видимо, уже в работе над Вейским циклом Латынина путем проб и ошибок то ли угадала, то ли вычислила среди множества характеристических новообразований, восходивших на постсоветском горизонте, те два типажа, которым в самом скором времени предстояла безусловная победа в конкурсе на роль героев нового времени. От государственника Шаваша есть пошел государственник Извольский, от разбойника Киссура, наделенного неотразимым отрицательным обаянием, — отрицательно-обаятельный бандит Сазан... Завершая известинскую рецензию на «Охоту на изюбря» — лучший криминально-производственный роман минувшего года, Александр Привалов пишет:

«Это какая-то невиданная смесь экономического детектива и историко-приключенческого романа в духе Дюма-отца... Я рискнул бы предсказать этому жанру большое будущее — если бы знал, кто, кроме Юлии Латыниной, способен в нем работать».

В еще большей степени сказанное верно применительно к вейскому «конволюту» принципиально новых историко-экономических *смесей*. С одной лишь поправкой: похоже, что и сама Латынина, как нынешняя, так и будущая, уже не сможет повторить или продолжить свой небывалый опыт, ибо время, в какое столь *невозможное* было *возможно*, миновало. И опустило шлагбаум...

Когда-нибудь, убеждена, этот ни на что не похожий текст станет уникальной, в единственном экземпляре сработанной и уже по одному по этому бесценной вещью. Вот тогда-то его *слегка почистят* и переиздадут — так, как он того требует: на великолепной бумаге, матовой и тяжелой, с затейливыми картами и тончайшими иллюстрациями... Специально для любителей отечественной словесности. А может быть, и для каникулярного чтения лобастых воспитанников русско-китайско-американского экономического лица. А пока я мысленно заклеиваю вульгарные обложки за неимением подходящей картинки почти подходящей выдержкой из одного удивительного русско-китайского, царскосельского, письма:

«Мне помнится, Вы видели прошлой зимой нашу „китайскую деревню” и театр — это удивительное сочетание китаизма, наивного и странно-глубокого вкуса, желтого, красного и голубого экстаза и мистики, грубости и чванства с роскошью, блеском, непревзойденным величием Людовигов, отраженным в несколько варварском, несколько татарском и слишком умном зеркале екатерининского двора — наша „китайская деревня” может восхищать, восторгать не за чистоту стиля — Китай, эта загадочная страна, меньше всего, может быть, рассказана в этих прямых линиях стен и зубцах крыш, но остроумие, но несравненный вкус, такт вкуса, если так можно выразиться, с каким Екатерине удалось соединить слишком чуждый нам стиль со стилем века, — этот вкус повергает все частицы моего существа в какой-то глубокий эстетический восторг...» (Н. Н. Пунин — А. В. Корсаковой, 19 сентября 1911 года).



---

---

МАРИЯ РЕМИЗОВА



## СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

*Некоторые размышления о литературе non-fiction*

**Е**ще когда в букеровскую шестерку 1998 года попал *принципиально нехудожественный* текст, принадлежащий Александре Чистяковой (не только женщины, далекой от какой бы то ни было литературной области, но и вовсе представительницы того *некультурного* слоя, который текстов практически не порождает), уже было понятно, что разворачивается дискуссия, в которой предстоит выяснять границы высказывания, подлежащего ведению литературоведов. Собственно, букеровский «жест» был лишь одной из реплик, даже не первой. Характерно, что премию в том году получил другой автор — Александр Морозов, — и именно за роман, с самой дотошной тщательностью имитирующий фактуру нехудожественного текста, причем созданного якобы представителем все того же далекого от литературы слоя. Подлинный образец наивного письма и его имитация столкнулись в этом букеровском споре, и художественная литература в тот раз победила. Но победа (если принять во внимание, что и чему противостояло) получилась какой-то двусмысленной — fiction хотя и одержала верх над non-fiction, но, возможно, именно потому, что здорово под нее мимикрировала.

В последние годы часто (и по разным поводам, и разными людьми) говорилось, что художественная литература теряет очки в состязании с литературой «документа» — мол, мемуары и дневники вызывают куда больший энтузиазм, чем романы. Тому приводятся и причины: современный читатель, дескать, не имеет времени на глубокое вживание в текст и потому выбирает либо информацию, либо уж откровенное чтиво. Кроме того, модное нынче недоверие к вымыслу, который в этом споре именуется не иначе как искусственностью, служит дополнительным стимулом к чтению «документа». Забавно, что рьяные адепты культуры non-fiction ставят в этот же «подлинный» ряд и эссеистику, которая будто бы переживает расцвет. Но, во-первых, настоящее эссе, уж если на то пошло, требует предельной субъективации взгляда (и «информации» в нем может быть минимум), ибо эссе есть документ о личных переживаниях пишущего, замешенных на его же свободно (а часто и произвольно) выходящих мыслях, плюс к тому изложенных сугубо индивидуальным языком, — и разве *это* не требует вчитывания, на которое времени будто бы нет? А во-вторых, хорошей эссеистики на самом деле так же мало, как и хороших романов, — просто в русскую культуру она вошла гораздо позже и потому, как всякая непривычная (относительно, конечно) вещь, пользуется известной снисходительностью: хорошо уже то, что хотя бы несколько ново.

Что же до интереса к «нелитературному высказыванию», то понять его как раз проще всего. Автор выходит перед нами как бы обнаженным, лишенным

---

Ремизова Мария Станиславовна — литературный критик. Родилась в 1960 году в Москве. Окончила факультет журналистики Московского университета. Выступает в печати с начала 90-х годов. Публиковалась в «Независимой газете» (в настоящее время — ее обозреватель), «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Континент», «Огонек» и других изданиях.

того защитного барьера, который дает ему дистанцированность, свойственная (в той или иной степени) высказыванию «литературно обработанному», когда автор, повествователь и лирический герой есть три отдельные друг от друга субстанции. Эта обнаженность проявляется не только в фактах *личной* жизни, которые автор решается сообщить, но и в самой манере говорения — эстетика (по крайней мере в общепринятом понимании) здесь решительно выносится за скобки (что, кстати, не отрицает возможности обсуждать взаимоотношения с ней уже существующего текста — *постфактум*). Но не всегда уместны притом и категории этики (в общепринятом опять-таки понимании). Автор (человек) выступает здесь в каком-то смысле сродни «явлению природы» — как *феномен*, а уместно ли применять этические критерии к тому же дождю, пусть даже наводнившему своими потоками какую-нибудь несчастливую местность, так что разрушений не счесть и есть даже человеческие жертвы?

«Все проходит» («Урал», 2000, № 4) Михаила Пантелеева — не литератора, хотя и человека с высшим образованием и, судя по всему, с известным литературным багажом, — есть именно такое «нелитературное высказывание», если только это не мистификация (опасение — при нынешнем состоянии умов — отнюдь не излишнее). Текст представляет собой фрагменты из дневника (перемежающиеся позднейшими вставками). Есть, однако, некое подобие пролога и эпилога — что отчасти подмывает версию о совершенно неолитературном сочинении. Впрочем, если это действительно подлинный текст «нелитературного человека», отнесем эту попытку придания художественной формы на счет профессиональной *наивности* автора: никакой художественный *прием* здесь не нужен. Говорить здесь может один материал — он, впрочем, и говорит.

«Это рассказ о стариках и старости» — так начинает автор. Чистая правда. Это действительно рассказ о стариках — но не о стариках вообще, а только о двух конкретных — авторе и его жене, о ее страшной болезни и еще более страшной смерти.

«Лена» (жена) вдруг начинает слабеть, у нее то кружится голова, то пропадает память. Врачи ставят диагноз — старческий маразм. Болезнь очевидно неизлечима. Автор, правда, не сразу с этим смиряется, точнее, видимо, не смиряется до конца — не раз и не два он обвинит врачей, что те «не хотят лечить». И здесь проявится столь свойственная человеческой натуре непоследовательность: что можно делать с тем, с чем ничего поделать нельзя? Но вы же врачи — лечите... (Впрочем, к врачам можно предъявить счеты: условия больниц, да еще и провинциальных, тем более *специфических*, где держат психохроников, — это такой ад, что не приведи Бог.) После неудачного опыта с больницей автор принимает решение: пока жив, будет ходить за ней сам.

Болезнь прогрессирует. Автор скрупулезно заносит в дневник самые физиологичные подробности быта с тяжелобольным человеком, живущим в помраченном сознании. Никакого отвращения, но постоянная констатация — как тяжело. Тяжело поднять обвисающее, покинутое сознанием тело, тяжело бесконечно мыть, стирать и замывать. Терпеть бессмысленность существа, не знающего, ни кто ты, ни кто оно само.

«Господи! Дай мне сил беречь свою жену, дороже которой у меня никого нет!» — молится автор при начале болезни. Много, много раз эти молитвы будут повторяться — но сил, увы, не прибавится. И прежде всего душевных. И — сначала он (когда «Лена» еще способна к диалогу) заведет разговор о разводе, потом, навсегда отбросив эту мысль, будет срывать непосильное напряжение в ругани, криках. Потом станет бить. А сорвавшись, станет каяться и каяться на страницах дневника, будет самому себе давать клятвы, будет снова и снова взывать к Господу, чтобы «дал сил», — и снова, и снова в приступах бешенства ругательски ругать и колотить больную жену.

Ну что ж, Господи ему судья. Не мы, уж во всяком случае. Очевидно, что в этом человеке «дьявол с Богом борется» (впрочем, вероятно, как и почти во всяком другом). Узнаваемая, между прочим, почти родная для всякого, прошедшего русскую литературу, ситуация — из бездны в бездну. Может быть,

масштаб чуть подводит — нет, не масштаб поступков, масштаб их *описания*. Важно, однако, что сам он себя осуждает — и достаточно строго.

Другой вопрос — почему, осуждая, не может вырваться из порочного круга? Но в данном случае вопрос как будто не имеет смысла. Именно потому, что мы держим в руках *документальный* текст. Будь перед нами повесть или роман, с этого места и стоило бы начинать разговор. Искать идею, разгадывать образ, строить версии. Но то, что позволяет продуктивно препарировать художественную ткань, принципиально отсутствует в «подлиннике» — и это отсутствующее есть система художественного обобщения.

В «подлинном тексте» перед нами всегда частный случай. И одновременно — сама жизнь. Но жизнь и есть бесконечное множество хаотически смешанных частных случаев. И этот хаос без предварительной обработки остается несистематизированным набором принципиально бессмысленных единиц-событий, не означающих ничего — или в равной мере годных к обозначению чего угодно. Именно художник, используя бесконечный хаос как сырой материал, способен придать ему форму, за которой проступает смысл. Систематизирует, отбирает, выстраивает последовательность. И тогда — при наличии таланта — частный опыт становится опытом обобщенным, годным к многообразному употреблению, в нем проявляется закономерность, то бишь *закон*. Житейская история сама по себе тоже может, конечно, вызывать различные чувства. Но эти чувства вроде бы должны оставаться в пределах *частного* же опыта того, кто с ней по каким-то причинам ознакомился. *Не судите, да не судимы будете. Мне отмщение, и аз воздам.*

И все же — автор сам, по своей воле вынес свой личный дневник на публику. Зачем-нибудь же он это сделал. Кстати, действительно — зачем? Самое простое предположение — хотел выговориться, выбросить из себя не дающую покоя боль. Так ходят к психотерапевту, к исповеднику. Так выговаривают свои беды и радости случайным попутчикам, незнакомым людям в очереди — тем, кому можно рассказывать *как хочешь*, без стеснения, без оглядки. Знакомым, друзьям — не так. Тут ищешь поддержки, сочувствия. Там же — освобождения.

Но раз так, раз автор решился на публичную исповедь, то можно (в смысле — позволительно), наверное, осторожно предположить, что он потому не может вырваться за пределы порочного круга, что смотрит на вещи под неверным углом. (Судить о свойствах его личности можно только по косвенным признакам — материалы дневника касаются лишь периода болезни жены, и о прошлой жизни автора толком ничего не известно. Возможно, опубликуй он исповедь всей своей жизни, многое бы объяснилось само собой. Трудно, однако, поверить, чтобы яростные приступы жестокости не имели никаких прецедентов в прошлом.)

В русской литературе есть по крайней мере одна *безусловная* повесть об умирании — «Смерть Ивана Ильича». Она прослеживает путь души по последним земным мытарствам, которые оказываются для этой души очистительными. Сопряженная с больной, страдающей плотью, душа не сразу находит свой путь: не только осознание ложно и впустую потраченной жизни, но гнев, почти ненависть к тем, кто рядом — и здоров, полон жизни и сил... И лишь последние, самые страшные муки вдруг ставят все на свои места: «Вместо смерти был свет». Придумывая своего героя, Толстой конечно же в первую голову имел в виду эту цель: показать последнее прозрение, и потому его герой вынужден был начать рефлектировать, для того и уложен был на смертное ложе. Если провести параллель с опытом Михаила Пантелеева, бросится в глаза существенное различие ситуаций: мышление толстовского героя работает на полную мощность, в результате чего и происходит предсмертное озарение, а «героиня» Пантелеева глубже и глубже уходит в «бессознательное», как бы передоверяя функцию постижения смысла происходящего ухаживающему за ней мужу. Эта роль, совершенно очевидно, много сложнее: во-первых, потому, что смиряться, глядя на чужое страдание, не так-то просто, да и слегка рискованно

но — первым же делом споткнешься на подозрении, а не потому ли ты так благостно настроен, что муки-то не твои, а во-вторых, если иметь в виду опыт толстовского героя, как объяснить, зачем все это нужно, если мучимый уже ничего не поймет? Иное дело, если испытание как раз и предназначено тому, другому, которому досталось нести крест — и именно благодаря этому что-то понять.

Жизнь — в отличие от художника Толстого — помещает автора дневника в гораздо более тяжкие обстоятельства. За Иваном Ильичом ходил молодой и сильный мужик и делал свою *работу* «легко, охотно, просто и с добротой». В нем единственном обезумевший от боли и ужаса перед смертью несчастный не видел той «лжи», которая так раздражала его в остальных. За бедной беспомощной женщиной ухаживает старик, сам уже не здоровый и не сильный. Не отсюда ли разница? Или причин много — Герасим-то ходил за барином, *работал* — отсюда и спасительная отстраненность, автор дневника видит, как безнадежно деградирует на его глазах самое, по его признанию, дорогое для него существо, и стало быть, накал эмоций тут совершенно другой. Но может быть, дело и в недостатке той самой «доброты» — или смирения — или, на худой конец, душевной привычки нести *бремя*? Вымаливая помощи у Бога, он признается, что в другую минуту хулит Его теми же бранными словами, которые обрушивает на голову не слышащей его жены.

Здесь, кстати, уместно задаться вопросом о состоянии души *современного* человека. Свидетельство Михаила Пантелеева интересно в том смысле, что рисует портрет «человека бунтующего» — и бунтующего, как выясняется, по всем направлениям бессмысленно. Не «Лену» свою драгоценную (которую, не забудем, сначала хотел бросить) колотит автор, он обрушивает ярость на ее беспомощность и болезнь, потому и Бога проклинает. Судя себя, автор резко судит и других — ближайших родственников, которые не хотят помогать. Ни его дети, ни сестры жены. Он предлагает «наследство» — квартиру — в обмен на уход и заботу «о двух стариках». Но дочь напоминает, как он (и «Лена») когда-то отказались сидеть с ее маленькой дочкой. И она помнит это шестнадцать лет! — изумляется автор жестокосердию дочери. С одной стороны, он вроде бы и прав в своем изумлении. С другой — можно предположить, что он сам в свое время недодал ей чего-то очень существенного — допустим, любви. Или заботы. И получает теперь *в ню же меру*. Хотя и дочери, в свою очередь, не *в ню же меру* положено мерить, а вовсе даже наоборот...

«Здесь, на этих страницах, я стараюсь рассказать, как один и тот же человек может любить другого человека и обижать его, любить и оскорблять, любить и бить. И не только рассказать, но и понять, почему он такой, почему он так поступал, почему не мог измениться». Первое автору удается вполне — он показал, *как* это бывает. Но даже не зная этого конкретного опыта, мы, вообще говоря, *уже* знали, как это бывает — если только по счастливой случайности наша жизнь не протекала в раю. Что до второй задачи — понять, «почему не мог измениться», — то в тексте ответа на этот вопрос не дано. То есть сам автор, возможно, и понял что-то, но никак этого не обнаружил.

Между тем, похоже, ответ лежит именно здесь — в глубочайшем недоверии современного человека к осмысленности бытия (отсюда и бунт) — то есть, по сути говоря, в его глубочайшем безверии. То, что автор дневника беспрестанно поминает Бога, вовсе ничему не противоречит: отчасти он воспринимает его как языческого божка, которого могли и высечь, ежели не делал, чего просили. Но в любом случае нынешнему человеку крайне сложно примириться с происходящим, если это происходящее радикально расходится с желаемым. Он требует наглядных результатов своих усилий — причем *здесь и сейчас*. Бог *должен* сделать ему чудо: он не щадя сил ухаживал за больной, так пусть она выздоровеет. Он бьет не ее, он Бога бьет, в его ругательствах явно слышится приказ — *возьми постель свою и ходи*. Очень похоже, что человек разучился страдать — то есть страдать так, чтобы *как искры подниматься*

*вверх*. Ему не на что опереться, и потому он валится в бездну — даже при самом горячем желании *делать хорошо*.

И здесь любопытно было бы отметить, что в современной словесности это состояние ума и души ищет и часто находит адекватное выражение.

Мир безнадежного, засасывающего и высасывающего бытия, где черпает вдохновение беспощадная муза Людмилы Петрушевской, принципиально выносит Бога за скобки. Она выписывает и выписывает *ужас жизни*, выводит идею до конца: мир реальности — мир смерти. Оставь надежду всяк сюда входящий. Характерно, что в ее «потусторонних» рассказах никакого освобождения не наступает, по существу, это продолжающееся (до бесконечности) хождение души по мытарствам — души, так и не сподобившейся оторваться от липких объятий бытия. То, что Петрушевская всегда работает с гротеском, делает ее натуралистический реализм, пожалуй, еще более убедительным. И стоило бы отметить, что она выступает добросовестнейшим фиксатором этого типа современного мировосприятия — в чем, в чем, а в «хищном глазомере» ей не откажешь (уж если Петрушевская схватит деталь — точно ножом полоснет, грубо и зримо).

У Петрушевской (как и в дневнике Пантелеева) нет и не может быть прорыва персонажа из заданного круга — такой прорыв требует пространства, а здесь действие ограничено плоскостью. В повести «Время ночь», кстати, дается похожая история впадающей в слабоумие матери Анны Андриановны (и физиологизма тут ничуть не меньше, чем в пантелеевском дневнике). Старуху в конце концов отправляют сначала в больницу, а потом и в интернат, куда никто из родных никогда больше не придет. И тетрадка (тоже, кстати, дневник!) Анны Андриановны зафиксирует ее душевные метания перед принятием решения, многосложный и тупиковый «дьяволог» с собой — и обрисует всю ситуацию, что куда ни кинь, всюду клин... И очень, очень похоже будет выстроен безысходный финал — но общий смысл у текста окажется, однако, другой.

То, что Михаил Пантелеев просто фиксирует как *жизнь*, у Петрушевской обобщено как *версия бытия*. Как одна из версий. Здесь вступають в свои права законы художественного текста. Преображенная действительность в настоящих художественных произведениях никогда не может быть однозначной. В лучших из них, наиболее приблизившихся к разгадыванию смысла, в основе всегда лежит диалектический взгляд на мир. Можно попытаться определить реализм не только истершимся от бесконечных повторений *типическим героем в типических обстоятельствах*, но как попытку дать максимально объективную картину. И объективность эта будет рождаться из множественности «точек обзора» — на одну и множественности же взглядов из этой одной точки — на все окружающее пространство.

Рассмотренное таким образом бытие никогда уже не сможет похвастать однозначностью, но потребует разных, иногда противоречащих друг другу интерпретаций. И никакой «диагноз» не будет в этом случае окончательным, но получит права версии — при всей мыслимой объективности — предельно все же субъективной, основанной на индивидуальном мировидении художника. Повесть Петрушевской, о которой шла речь, конечно же пессимистична. Но пессимистична опять-таки *диалектически*. Двойное отстранение — самой Петрушевской как автора повести и Анны Андриановны как автора «публикуемой» рукописи (а она включает даже пассажи, где та изображает себя как бы глазами дочери, — и вообще довольно мощный иронический подтекст) — позволяет Петрушевской свободно оперировать множественностью «правд», показывая, как в одно и то же время никто не виноват — и все во всем виноваты. Совершенно очевидно, что такую же рукопись могла бы оставить дочь Анны Андриановны Алена (и в тексте приводятся фрагменты ее дневника), сын Андрей, сумасшедшая баба Сима — те же события и обстоятельства прозвучали бы иначе.

Петрушевская выступает здесь чем-то вроде бесстрастного третейского судьи, дающего выговориться разным сторонам. В отличие от Пантелеева, гово-

рящего «от себя», она-то понимает, почему жизнь так катастрофически безнадежна. Ее трагическая безысходность может быть преодолена только одним — катарсисом, возможность которого заложена лишь в истинно художественном тексте. Сочувствие можно испытывать к фигурантам любого текста, в том числе и такого, как дневник Пантелеева, написанный для освобождения от груза случившегося, — равно как и к живым людям. Катарсис происходит лишь при мощном воздействии заложенной в тексте эстетики. Это состояние особой экзальтации у *читателя* сродни вдохновению поэта, написавшего *текст*. Взлет души требует трамплина. Этот трамплин — красота.

Чтобы поставить наконец точку в этом затянувшемся эпизоде, просто сопоставим два фрагмента — и уже без всяких комментариев. Хочется надеяться, что они все скажут за себя сами.

**«18 сентября.** Убрал в квартире и все подготовил к приезду Лены — и постель, и диван, и половики постлал поверх дорожек, и стулья поставил туда, где они стояли при ней — перед книжным шкафом, чтобы стекла в шкафу от Лениных припадков сохранить.

Будем жить дома, вдвоем, сколько у меня хватит сил. Надеяться нам вовсе не на кого. Даже Бог нам, видимо, помочь не хочет.

**19 сентября.** Мы дома. Зашли в квартиру в 11.20. До 6 часов я приводил Лену в порядок: мыл, одевал, кормил. В 15 часов она легла в постель и спала почти до 9 часов вечера. О больнице она отзывалась плохо, удивляется, как ее туда занесло. Я отзываюсь еще хуже, считаю, что человек в таких условиях жить не может и не должен. Поэтому я уже решил, сделал вывод для себя: пока я жив, пока я мало-мало могу шевелиться, Лену в больницу отправлять не буду.

И еще одно замечание: эти психи Лене инвалидность так и не дали — здоровья.

**11 октября.** В конце сентября — в начале октября Лена несколько раз обмаралась в самых неподходящих местах. При этом она и мочилась под себя, несколько раз ее вырвало. Нервы мои опять не выдержали, и я ее дважды побил — 9 и 10 октября. Но о том, что взял ее из больницы, не жалел и не жалю и никуда отправлять не намерен» (Михаил Пантелеев, «Все проходит»).

«Ну, ее приведете или уже можно мне прямо в палату? Здравствуй, привет, как поживаешь? Сейчас я тебя одену, и мы поедем домой. Пипи сделаешь на дорожку? Я тебе подложу судно, пись-пись-пись. Ну. Давай. Молодцом! Писнула все-таки. Сонечка, она ведь все понимает: удивительно! Сонечка, а ее лекарства... Я понимаю, рецептов вы не даете... Но ее-то лекарства, посмотрите, в истории болезни записаны... Мама, одеваемся. Поднимайся. Голова голая! Ее побрили... лысая. Так, молодец. Ой, какие ногти, надо будет остричь, отрасли, как у Вяя, а на руках тоже, как же за тобой тут смотрели, ничего, видишь, и трико тут целое, и майка беленькая, видишь, тебе прямо ниже колен, как комбинация, ну маленькая какая у нас мама, а валенки потом, держись за меня, чулочки сверху, штаны в них, валенки потом, теперь платье до пят, тогда так носили, уфф, спина болит, не разогнуться, оо, спасибо, чудесная девочка Сонечка нам принесла лекарства про запас, я и просить-то боялась, видите, Сонечка, мою куколку, Господи, какой запах от этого тела, больной зверь, голова кружится, нет ли у вас валерианочки, Сонечка, так, мама, вставай в валенки, ногти-то не мешают ли —

Не колыхайся, колени не подгибай, как же я тебя поволоку-то, о, Сонечка, спасибо, глумглумглум, валерианка эта чудо, ничего в жизни не пила страшной валерианки, а, ах, Сонечка, как же я ее поташу, она же не ходит, вы говорили, едет машина, а нельзя ли сказать шоферу, что нам надо не за город, а гораздо ближе, метро такое-то, семь минут ходьбы, умоляю вас, а у меня нет денег на такси, нету, совершенно нету, книга-то еще не вышла, а выйдет, я всем отдам, кому обязана, а, Сонечка.

— Бабуля, — трезво отвечает Сонечка, — если вы ее забираете, то это не больница развозит» (Людмила Петрушевская, «Время ночь»).

Самое страшное в тексте Пантелеева — смерть несчастной женщины. Потеряв силы и терпение, автор решает отдать ее наконец в больницу. Он хотел, чтобы их обоих, вместе, поместили в какой-нибудь дом престарелых — но таких домов, где готовы были бы взять обоих, оказывается, не существует. И так, снова больница, которую, кажется, не раз предлагали. Но тут случается недоразумение — больницу не принимают. В голове автора, как он сам, кстати, и объясняет, происходит какой-то сбой. Он оставляет жену в бессознательном состоянии в предбаннике приемного покоя, а сам бросается на вокзал и уезжает в Москву добиваться какой-то не вполне отчетливо осознаваемой им правды. В Москве он проводит еще одну ночь на вокзале, чувствуя себя совершенно больным и ни на что не способным, и возвращается обратно. Не заезжая в больницу, он запирается в квартире и, не отвечая на телефонные звонки, пишет «обращение к прокурору». Утром следующего дня к нему приходит внук, отпирает дверь своим ключом и говорит: «Баба Лена умерла...»

Вот так, одна, брошенная зимой на какой-то драной кушетке, наверняка грязная и мокрая, отошла в мир иной женщина, не способная даже назвать своего имени. Автор шлет проклятия Богу, который ничем не помог и не облегчил страданий. Автор в который раз казнит себя и сочиняет молитву: «Матушка Ленушка! Ты моя самая светлая и незабвенная. Вечная тебе память. Пусть земля тебе будет пухом. Прости меня грешного Христа ради. Я тебя никогда не забуду».

Будь это роман, поэма, рассказ — какая пропасть разных смыслов могла бы быть извлечена из этого трагического финала. А так остается только молчать — не рискуя впасть в пошлость или нравоучение.

Перед нами лежат необработанные факты. В каком-то смысле сырье. Не исключена возможность, что кто-либо другой, воспользовавшись этим текстом как сырьем, сделает из него грандиозный роман. Где как раз и найдется исконный ответ — и ответ этот будет тем убедительней, чем мощнее будет арсенал привлеченных художественных средств. И тогда — как знать — не мучительный невнятиостью своего смысла финал, а настоящий, очищающий и просветляющий катарсис будет итогом рассказа о двух несчастных стариках. И слезы хлынут из глаз, и мир спасет красота...



# Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

## ГОРОД РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ

Андрей Волос. Хуррамабад. Роман. М., Издательство «Независимая газета», 2000, 432 стр.

**Х**уррамабад — «город радости, счастья; город, полный зелени и веселья», — как объясняет нам словарь, помещенный в конце книги. Здесь, в этом подручном словаре, и еще несколько десятков слов, звучание которых столь непривычно, что вряд ли они надолго останутся в памяти прочитавшего книгу. Останется скорее другое — почти невыразимый «чувственный импринтинг», почти кожное ощущение чего-то теплого и бывшего, а потом отошедшего в далекую даль. Эта книга — воплощенный опыт чувственной памяти. Опыт, заразительно передающийся читающему.

Двенадцать глав и «Эпилог». Каждая — рассказ. Автор, лауреат премии Антибукер за 1998 год, печатавший эти рассказы порознь, теперь сложил их в роман. Он держится не сюжетом, но каким-то тонким внутренним единством темы и особым ощущением, передающимся читателю, странным ощущением утерянного — почти утерянного рая.

Действительно, странно. Поэтический строй письма, в котором упакованы трагические по своей сути события.

Русские в Таджикистане. Пришедшие сюда в 20-е годы и убегаящие отсюда в 90-х. Прожившие жизнь в этом чужестранном крае, впавшие, но так и не вросшие в чуждую почву. Общая интернациональная судьба не состоялась. Осталась память, как о теплом детстве...

Самая холодная и отдаленная от этой памяти точка — «Эпилог» книги. «Завражье» — здесь звучит не только удаленность, но и враждебность. Враждебная и чужая жизнь, в которую так трудно поместиться, отвоевать себе малое место.

Беженцы, вернувшиеся в Россию. Неустроенную, убогую, холодную. Поиски заработка, постройка дома, попытка стать соседями тем, с кем поселились рядом. Какая-то случайная и бессмысленная жизнь, в которой теперь ни сладкого сна, ни полноценной жизни. Ближе, чем в Калуге, работы нет; а потому противный дребезг утреннего будильника в половине пятого, кругляшки холодной вареной картошки, горячий чай и сигарета... И пошло, покатилося... Герой «Эпилога» — «Завражье» — Лобачев, инженер в прошлой, хуррамабадской жизни, принужден здесь месить раствор, таскать мусор, шпаклевать и красить, а иногда и вовсе лишаться работы, потому что «шашка», потому что «вне закона».

«Чужие», «вне закона» — преследует поселившихся в Завражье. Что делать, если власть считает его вне закона, что «нет ей никакого дела до его беды...». (Жаль, не купил в Хуррамабаде пистолет, досадует во сне Лобачев.) Опустошающее бессилие. В *Завражье* этом — никто не поможет выживать. Здесь хватает своего «дома дураков», что напротив деревни за оврагом. А еще эти, пришлые. «Вроде — русские, а живут — как чучмеки! Все у них не как у людей! Да они ж даже водки не жрут!.. И гуси почему-то крупные... И в огороде все гуще растет!.. И дети-то у них вишь как: в институт!» Бежали в Россию, «домой», а нашли глухую ненависть.

Лобачев чужой, а потому кого, как не его, подозревать в случившейся нелепой смерти местного жителя. И ничего не докажешь, так и сгинешь в этом нелюдском месте... Вот такой «Эпилог».

Но начало книги всего этого пока не предвещает. Все начинается с пылающего солнца (рассказ «Восхождение») и с трудной дороги ввысь, по которой поднимаются внук и бабушка, — к могильному камню, что на кладбище на горе. Повествование движется медленно, ничего, собственно, не происходит. Да и что может происходить в этой плавящей все жаре? Даже у читающего плывет перед глазами, и он, кажется, вот-вот испытает солнечный удар. Тяжело, еле передвигается старуха, ей подставляет плечо внук. Так и идут, несут бидон с водой. Там, наверну, разведут краску — надо покрасить ограду...



На двадцати страницах рассказа уместился образ — один, но, кажется, охватывающий все. Плывущий жаркий туман, марево жизни, восхождение. В памяти старухи проплывают воспоминания: лето тридцатого года, впервые она увидела «чудовищно большое, отвратительно жаркое солнце», катер плывет по ослепительной золотой реке, пристань Пяндж, и там еще путь до гарнизона, к мужу... Теперь вот лежащему здесь, на горе, за калиткой могильной ограды. Образ выразительный и какой-то «подводящий итог».

В рассказах Андрея Волоса даже не так много событий и действия, сколько ландшафтов и атмосферы. Читая, погружаешься в этот растворяющий тебя мир.

«Солнце неумолимо вскатывалось вверх по небосклону. Сейчас воздух был душистым и свежим, потому что нес в невидимых порах микроскопические частицы росы. Но скоро станет мутнеть и слоиться и гнать пот из тела, оставляя на коже липкую соль».

«Сразу за крышей в пыльном жарком тумане разбрехался косыми улицами город Хуррамабад. Туман был сизого жемчужного оттенка... Еще дальше, довольно высоко над противоположным бортом долины, на черте, отделяющей видимое от прозреваемого, недостижимо голубели заснеженные вершины... словно вырезанные из огромных кусков пыльного папье-маше. Или из затхлой серой ваты, пролежавшей до весны между рамами. Ненастоящие... Невсамделишные».

«Горбатая земля была сухой и звонкой. Сюда, на эти криволинейные, взметенные к вечно ясному небу пространства, они отправлялись когда-то, на эту желтую звонкую землю, — и упрямо жили на ней, треща своими тракторами, царапая плугами ее грудь, чувствуя при каждом шаге, как тянет ремень кобура, и получали порой пулю в лоб или темное лезвие уратюбинского ножа в загорелый бок. И, принимая в себя их мертвых, эта желтая земля, прежде чужая, мало-помалу становилась родной».

Наверное, поселившимся здесь действительно казалось, что обрели они свое место...

«Кто носится вскачь по джангалам». Прекрасный поэтический рассказ. Как будто отдельный в этой книге. Его герои нигде больше не возникнут, все происходящее здесь — эпизод, не встроенный в сюжетно-событийную канву собранных в роман повествований. И все-таки что-то неуловимо добавляется к тому чувству, которое останется по прочтении романа.

Палаточный лагерь в горной долине, полевая биологическая партия, прокладывающая маршруты. Всего несколько человек. Старшие и «молодняк», кому так хочется нестись вскачь по джангалам...

Внутреннее ядрышко рассказа — яркое описание этого движения вскачь; Мерген, Володя и Митька несутся на лошадях по тропе, по борту ущелья. И чувствуют себя свободными. «Если посмотреть направо, набегала пестрота дальних, а потом и ближних склонов; ближе — заросли на изломе рушащегося вниз плато и трава, трава, трава; а совсем рядом, под ногами, составная тень лошади и всадника, бегущая по этой траве и то совсем отрывающаяся, то снова прирастающая к копытам... Слева было преимущественно солнце — так много, что казалось, будто плавится и сияет не только сам слепящий диск, но и все вокруг».

В рассказе происходят и события (вот, например, остановка у пастухов, где надо соблести обычай — откусать из котла одной на всех потемневшей деревянной ложкой; и сразу понятно, кто здесь свой, а кто — русский, городской, балованный... брезгующий... Мерген и Митька), — но запоминаются не они и даже не приступ эпилепсии у Мергена, а этот быстрый промельк по джангалу...

«Ветер для начала немного загустел, и тени начали мелькать в глазах, будто нояря перегнать друг друга. Он не чувствовал себя скачущим на лошади. Какое-то странное отрешение — словно глаза летели чуть выше тмени... Ветви, толстые, железные ветви пронесли над головой, мельтеша тенями. Солнце только промелькивало сквозь них, но казалось еще более ярким, чем раньше... Копыта гремели по камню, воздух свистел, пространство звенело и трепетало... Солнце давило на глаза. Они летели по джангалу, все сливалось в серое мелькание. Солнце все пучилось и пучилось над головой... лопнуло и полилось с неба жидким расплавом...»

В книге Андрея Волоса не раз попадаешь в эти ловушки все растворяющего солнца.

Зарисовки быта, окраин городской жизни, обрывки разговоров, отдельные сцены и малые сюжеты. Все это рассказы-воспоминания. Как будто расположенные уже на отдалении картины. Расстояние до них (для меня, читающей) — почти физически ощутимо.

И снова рассказ-образ — «Ужик». Начало 90-х, по дороге от аэропорта к центру Хуррамабада идут танки. Что-то в этой земле сдвинулось... и напуганный ужик выполз между плитусами на домашнюю кухню... Вполне трогательная история привязанности Анны Валентиновны к этому сероголовому гостю, оказавшемуся — эфой, ядовитой змеей, от которой было бы разумно избавиться. Хуррамабад, квартира, которую надо спешить покидать, бежать от погромов, в Россию. «Русские в Хуррамабаде — заложники». И вот Анна Валентиновна едет в Москву (надо понять, куда ехать, где есть возможность обустроиться), а возвратившись, находит ужика-эфу лежащим у порога: труп выели муравьи, от него осталась только узорчатая шкурка.

Конечно, я спрямляю ход повествования, но рассказ действительно свертывается в эту метафору: казалось свое — оказалось чужим и враждебным. И в конце концов иссохло, погубило... Жившие рядом оказались друг другу врагами. «Зверьки», — презрительно скажет дочь Анны Валентиновны; та поморщится: «Ну зачем ты так?..»

Кстати, уезжать Анне Валентиновне предстояло — в Завражье.

По рассказам разбросаны многие детали-приметы этого странного хуррамабадского существования, когда жизнь эта, уже ставшая, казалось, своею, оборачивается безвозвратно чужой. Неизбежной и первой жертвой гражданской войны в Таджикистане и должны были оказаться русские. Родившиеся и прожившие здесь не один десяток лет и все равно — другие, завоеватели, потерявшие силу, бездарно попавшие в водоворот не своих событий.

В рассказе «Дом у реки» у Николая Ямнинова обманом и силой отбирают дом, семь лет строившийся, большой, рядом с водоканалом, отбирают грубо и нагло. Унижают и избивают. Он понимает: не отдашь — убьют. И на брезгливо брошенные ему (за дом) три сотни долларов Ямнинов покупает пулемет — расплатиться за унижение. Ненавистью.

«Он не испытывал ни волнения, ни жалости, ни обиды, что все так бесповоротно кончается, — только холодную, злую решимость и торжество... „Люди, люди...“ На человека у него разве поднялась бы рука? Разве стал бы он сидеть в засаде, зная, что придется иметь дело с человеком? Нет, никогда». «Жизнь повернулась другим боком — и ему, человеку, нужно делать звериное, кровавое дело. А дальше, как зверю, бежать, отрываться от погони, заметать следы».

Но развязка рассказа происходит без вмешательства главного героя: «покупателей» дома убивают — по своей разборке... В конце же — усталость и опустошение.

...И все же у Андрея Волоса получилась не столько тяжелая и трагичная, сколько теплая и грустная книга-воспоминание.

Из рецензии в «Ex libris НГ»: «Сам же Андрей Волос извинился, что подзабыл таджикский язык и не может произнести на нем цветистую речь...» Наверное, это потому, что и он, и мы живем уже в другой жизни.

Елена ОЗНОБКИНА.



## УПРАЖНЕНИЕ В БЕССМЕРТИИ

Иосиф Бродский. *Меньше единицы. Избранные эссе.* Перевод с английского под редакцией В. Гольшева. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 472 стр.

**В** эссе о Мандельштаме Иосиф Бродский намекнул любопытствующим на жутковатую изнанку всякого стихотворчества: «Перефразируя философа, можно сказать, что сочинительство стихов тоже есть упражнение в умирании». Приведем

изначальную мысль Сократа из платоновского диалога «Федон»: «Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью». Мысль, продолженная в данном направлении, упирается в конечное — посмертное — торжество текста над автором. То есть на деле в окончательное торжество автора над главным и, в случае Бродского, единственным оппонентом — Временем. Если, перечитывая стихи, мы соучаствуем в умирании, то обращение к эссеистике Бродского приносит опыт совершенно иного рода. Это скорее продолжение давнего спора поэта с самой идеей конечности, в том числе — конечности человеческого существования. Эссе Бродского с известной долей справедливости могут быть поименованы «упражнениями в бессмертии». Как минимум — «в посмертии».

Читатель, памятующий, что поэта следует судить в соответствии с законами, которые он сам над собой признает, будет поражен экстремальностью требований, автором к себе предъявляемых. В эссе «Поэт и проза» Бродский видит идеал прозы, написанной поэтом, в «отрицании языком своей массы и законов тяготения», в «устремлении его вверх — или в сторону — к тому началу, в котором было Слово». На практике подобная «чисто лингвистическая перенасыщенность, воспринимаемая как перенасыщенность эмоциональная» — то есть родовые черты поэтической организации текста, — присущи не только прозе Цветаевой и Мандельштама, но и собранным под данной обложкой эссе самого Бродского. Это в высшей степени проза, написанная поэтом, — по крайней мере исходя из критериев, которые, говоря о прозе Марины Цветаевой, вкладывал в это понятие сам Бродский. Развертывание ее не горизонтально, но вертикально. Бродский лишь в редчайших случаях (эссе «Сын цивилизации») начинает, подобно Цветаевой, «с верхнего „до“». В отличие от движимой колоссальным эмоциональным ускорением цветаевской прозы, прозу Бродского движет не менее колоссальное ускорение мысли. В его эссе практически нет костылей цитат, почти невозможно встретить отсылки к чужим мыслям и чужому опыту — встреченные же продуманы наново и безапелляционно присвоены автором. Мысль Бродского достаточно уникальна уже тем, что он всякий раз начинает ее как бы с нуля и заново, исходя из приоритета «звука над действительностью, сущности над существованием», ее разворачивает. То есть он не стремится вписаться в уже существующую картину мира, но, перелопачивая грандиозные пласты смыслов, этот мир переписывает, переосмысливает, соучаствует в его творении. Общая для Цветаевой и Бродского одержимость навязчивым стремлением всякую мысль додумать до — и после — конца, до тех пределов, за которые, кажется, мысль человеческая не заглядывала, куда, отшатнувшись, заглядывать и не должно, — знаменатель этих столь разных ускорений.

Разность их обусловлена не различием в метафизическом опыте обитателей начала и конца века и, уж конечно, не нюансами женской и мужской психологии, но языком, на котором эта проза была написана. Бродский, датируя начало своей англоязычной литературной деятельности летом 1977 года, вспоминает, что обратился к иному языку не «по необходимости, как Конрад», не «из жгучего честолюбия, как Набоков», и не «ради большего отчуждения, как Беккет», — но из стремления «очутиться в большей близости к человеку, которого... считал величайшим умом двадцатого века: к Уистену Хью Одну». У.-Х. Оден, ставший для Бродского синонимом английской культуры и английского языка, занимает (даже объемно) на страницах книги место не меньшее, нежели синонимичная языку русскому Цветаева, — им единственным в книге посвящено по два эссе, включая скрупулезные разборы программных стихотворений. (Характерно, что эссе, посвященные Цветаевой, — два из трех, написанных в книге на русском языке.)

Парадокс в том, что эссе Бродского, написанные на аналитическом (английском) языке, сохраняя присущую последнему отстраненность и «несколько изумленный взгляд на вещи как бы со стороны», построены на синтаксисе языка русского (синтетического). «То есть, — цитируя эссе „Поэт и проза“, — читатель все время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли». Этим не в последнюю очередь обусловлена оригинальность английского Бродского и значительный успех «Less Than One» у англоязычного читателя — книга была удостоена премии Национального совета

критиков США — этим и, вероятно, широтой и недискриминированностью его лексикона. Бродский, почитавший Одена «единственным человеком, который имеет право использовать... для сидения» «два растрепанных тома Оксфордского словаря», похоже, также имел на эту привилегию достаточно веские основания.

Прививка английской поэтики, английской «нейтральной интонации», сделанная Бродским отечественной изящной словесности, общеизвестна. Ее, в зависимости от ориентации толкователя, неизменно ставят поэту в заслугу либо в вину. Другое дело, что российский читатель практически не знаком со сложным (и отнюдь не всегда доброжелательным) восприятием англоязычного творчества Бродского в США и особенно в Англии. Так, оксфордский поэт-лауреат Рой Фишер почитает попытку Бродского, «пришедшего в английский язык и сражающегося, в сущности, за то, чтобы вывернуть наизнанку его отступление», донкихотской — то есть благородной, но заведомо обреченной. Тем замечательнее встретить в эссе об оденовском «1 сентября 1939 года», выросшем из лекции, обращенной к слушателям писательского отделения Колумбийского университета, уроки акмеистической поэтики, восходящие к «главному» уроку, преподанному некогда юному Бродскому Евгением Рейном: «...количество прилагательных в стихе желательно свести к минимуму. Так что, если кто-то накроет ваше стихотворение волшебным покрывалом, удаляющим прилагательные, страница все равно останется довольно черной благодаря существительным, наречиям и глаголам. Когда покрывало маловато, ваши лучшие друзья — существительные».

Бродский, несомненно, лукавил, заявляя, что «за последней строкой не следует ничего, кроме разве литературной критики». За последней строкой великих ушедших может, например, следовать посвященная им проза, которая, подобно прозе Бродского, литературной критике внеположна. Обращаясь в «Нобелевской лекции» к теням Мандельштама, Цветаевой, Фроста, Ахматовой и Одена, поэт сказал: «В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой — но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности». Конгениальные эссе Бродского, посвященные этим стоящим за спиной теням, — суть продолжение иными средствами (в данном случае — иным голосом) их, величайшей в XX веке, поэзии.

Подобно тому, как не может быть переведен на человеческий язык опыт тех, к кому в ночь на 28 января 1996 года присоединился автор этой книги, непереводаемо ее название. Английское «one», подразумевающее не столь «единицу», сколь «человека» — тебя, его, человека вообще, — делает безнадежной саму попытку сколько-нибудь удовлетворительного перевода. Недаром Бродский, обладавший безукоризненным чутьем, так долго противился переводу своих англоязычных эссе на русский. В этом смысле русское издание «Less Than One», похоже, не стало бы для автора столь уж желанным. Единственным извинением нам, современникам, может служить неизбежность подобного издания. И то, что оно следует за вышедшим-таки в возлюбленном отечестве томом эссеистики У.-Х. Одена.

Виктор КУЛЛЭ.

\*

## «МИРОВЫЕ РИТМЫ» И НАШЕ ПУШКИНОВЕДЕНИЕ

Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999, 431 стр.

Ю. Н. Чумаков. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В мире стихотворного романа. М., Изд-во МГУ, 1999, 128 стр.

**Г**ромкое слово в заглавии этой рецензии взято со страниц обсуждаемой книги (будем сразу говорить о двух предлежащих нам книгах как об одной и читать их «единый текст»). Так вот — это о нашем любимом хрестоматийном сюжете Онегина и Татьяны так интересно и сильно сказано, что сразу перекрывает столь многое сказанное и пересказанное об этом прежде: «В их взаимных откатах можно предположить мировые ритмы...»

С этого места можно начать, чтобы дать почувствовать пушкинистский стиль Ю. Н. Чумакова. Этот стиль уже более двадцати лет назад был сформулирован им как тема его этапной статьи (в книге она, конечно, присутствует) — «Поэтическое и универсальное в „Евгении Онегине“» (1978). В ней намечены три аспекта, три ступени, три стадии понимания пушкинского романа: поэтическое и реальное (история литературы), собственно поэтическое (поэтика), поэтическое и универсальное. Этот последний аспект не уложился еще в литературоведческий термин, и именно в этой третьей зоне работает по преимуществу автор, не порывая и с поэтикой. Однако к этому был у автора *путь* на фоне нашей большой истории и с ней в неизбежном контакте, и этот путь записан в книге; «мировые ритмы» — если они звучат во внутреннем мире романа в стихах, то они звучали и на пути нашего пушкиноведения (и особенно, как считает автор, — онегиноведения) за последние наши полвека. Обсуждаемая книга сама включена в мировые ритмы — сейчас мы увидим как. В ритмы нашей умственной истории последних десятилетий — определено.

В книге — работы за 30 лет: с 1969-го по 1999-й. Здесь я позволю себе воспоминание личное. Я только что напечатал тогда свою первую онегинскую статью — «Форма плана» — в декабрьском номере «Вопросов литературы» за 1967-й — и побежал в библиотеку искать статью неизвестного автора о составе текста «Е. О.», о которой мне сказали. Статья была в журнале «Русский язык в киргизской школе»; на последних страницах журнала, где она приютилась, для нее не хватило места, и заканчивалась она на обложке зеленого цвета. В статье утверждалось, что надо принять всерьез «Отрывки из путешествия Онегина» как истинное — по воле автора, так оформившего свой заверченный текст, — окончание романа, с его оборванным последним стихом «Итак, я жил тогда в Одессе...», возвращающим нас к началу романа («Брожу над морем, жду погоды...») и обращающим линейное время героев в циклически-творческое время автора — и позволяющим нам тем самым представить онегинский космос сразу весь, объемно, как «яблоко на ладони» (так Моцарт мгновенно слышал всю симфонию от первого до последнего такта). Отсюда следовало, что нельзя как заключительное звено онегинского текста печатать обрывки так называемой 10-й главы (как это нынче обычно делается в изданиях Пушкина), создающие впечатление недописанности романа и распада его текста. Пройдет пятнадцать лет, и из внимания к морским мотивам, обрамляющим текст романа, произойдут такие не вполне обычные наблюдения в новой работе автора о поэтическом пространстве «Онегина» — для характеристики пушкинистского зрения нашего автора, кажется, это пример хороший: «По ценностно-смысловой наполненности пространство моря в „Онегине“ едва ли не более значимо, чем пространства города и деревни, в которых совершается сюжет. В морских просторах сюжет лишь готов совершиться, но остается несбыточным <...> Зато образ моря в „Онегине“ — это теневое пространство свободы, романтическое пространство возможности <...> Шум моря, завершающий роман, — шум онтологической непрерывности. „Деревенский“ роман по своим несбывшимся снам оказывается „морским“ романом».

Неизвестному автору той первой его печатной работы было тогда под пятьдесят, за плечами были фронт, послевоенный арест и отсидка и, соответственно, запоздалое студенчество. 60-е годы в размышлениях автора в настоящей книге постоянно присутствуют, но не как личная его дата, а как большой исторический — в размерах не только внутренней нашей истории — перевал. Так что размышления эти превышают обычные представления о роли 60-х в советской истории и тянут на некий историософский тезис. «Сейчас хорошо видно, как бы из вневременности, что с середины 1960-х гг. обозначился глубокий сдвиг в мировой социокультурной парадигме». И «Евгений Онегин» — его понимание, его судьба в поколениях уже нашего времени — стал для автора показателем этого отечественно-мирового процесса. И как бы даже его плацдармом.

В книге есть очерк истории интерпретации «Е. О.» от Белинского до наших дней. И вот история эта дается как история крупных сдвигов в нашем отечественном — и шире, потому что автор все время сверяется с западной рецепцией Пушкина, мировой его судьбой, — в общем гуманитарном сознании. «Пушкинский ро-

ман в стихах представляет у меня за множество текстов в мировой культуре и даже как модель мироустройства». Он поэтому представляет у автора за общую ситуацию.

Традиции Белинского и Достоевского перешли в наш век и действуют в нашем сознании до сих пор. Но вот явился Тынянов — сказано в одном месте так торжественно, как Буало когда-то сказал: *Enfin Malherbe vint...* Тынянов явился и объявил, что главное в «Е. О.» — не история героев и не развитие действия, а «развитие словесного плана». Затем пришла социологическая эпоха, и Тынянов нам отозвался и заработал лишь через сорок лет, причем прочитать его статью мы смогли уже в 70-е годы, так что поворот во взгляде на Пушкина совершился даже и независимо от прямого знакомства и впечатления от его статьи.

В самом деле — эпоха нового взгляда на Пушкина, поворота внимания открылась тогда, в середине 60-х. Фактами этого сдвига автор книги приводит онегинские статьи И. М. Семенко, первые работы Ю. М. Лотмана, начиная с 1966-го, мою «Форму плана» 1967-го; набоковский комментарий — 1964-го; с того же 1964-го — многолетняя работа В. С. Непомнящего; наконец, явление самого Чумакова на исходе десятилетия. Каков был смысл всех этих событий и этого сдвига? Что тогда произошло? Что касается онегинознания, что прежде всего волнует автора, — на смену социологической эпохе и разрозненным сопоставлениям кусков романа с внешней действительностью пришла *поэтика* (в 50-е годы поэтики не было, замечает автор, — были стилистика и «мастерство»), и с ней имманентное понимание романа как организма. Пришел тот тезис, что содержание романа в стихах — это его форма.

Но новый взгляд был сразу различно развернут в двух образовавшихся руслах — *структуральной* и *феноменологической* поэтики. Чумаков, несомненно, пошел по феноменологическому пути, и на этом пути, естественно, в чистой поэтике стало тесно; и хотя он и продолжает по праву именовать Тынянова родоначальником нового взгляда, так это было когда? — а сам последователь Тынянова во второй половине века со своим бытийственным видением романа как универсума, «модели мироустройства», — уже достаточно далеко от учителя ушел. Книга очень самосознательна; автор дает ясное самописание своего пути, когда говорит, что он шел *от поэтики к универсалиям*: упомянутая этапная статья 1978 года, в которой и было объявлено открытие третьей эпохи в понимании романа. От поэтики к универсалиям и от идеи окончательного текста «Е. О.» и имманентного внутреннего пространства, «мира» романа (его «структурного интерьера»), с чего он начал тогда, в конце 60-х, к идее его *вероятностного текста*: «Оконченный Пушкиным роман построен как бы в жанре „черновика“», и мы не можем не дополнять канонический текст то и дело, не только исследуя, но и просто читая «Е. О.», материалом пропущенных строк (например, о возможном будущем Ленского, который мог «быть повешен, как Рылеев») или «Альбомом Онегина»; мы хотим владеть этим «банком данных» о действии и о героях, что содержится в огромных пушкинских «запасниках» к роману, неизбежно для нас входящих в его «большой текст», границы которого невозможно определить окончательно; и автор книги высказывает даже такую мысль, что способ читательской жизни романа в стихах имеет моменты общности с фольклорными текстами.

Еще одно воспоминание из частной сферы научной жизни. На обсуждении работы Чумакова Б. Ф. Егоров вспомнил метафору Лотмана из его статьи о пространстве у Гоголя: есть два человеческих типа — *человек пути* и *человек степи*. Человек пути идет куда-то линейным образом. Человек степи гуляет, перемещается вольно-непредсказуемо по широкому полю.

«По прихоти своей скитаться здесь и там...» У Пушкина это условие *счастья*: «Вот счастье! вот права...»

Пушкин тоже знал, конечно, про путь — и тоже поздний, последний Пушкин, — и тоже его искал — «спасенья верный путь и тесные врата». Но скитаться по прихоти — как условие счастья (которое, впрочем, он называл великим «быть может», знал, что «счастья нет», а вот ведь опять увенчал этим словом одно из своих последних стихотворений) — может быть, и перекрывает у Пушкина этот образ пути. Во всяком случае, перекрывает хронологически: это — «по прихоти» — ска-

зано позже. Как формула поэтического отношения к миру, в отличие от нравственного императива пути.

У Чумакова в книге сказано, что смысл того, что случилось с Онегиным и Татьяной в романе, куда глубже тех моральных уроков, что мы затвердили со слов Белинского и особенно Достоевского. Что надо это судить эстетическим чувством, в чем мы сейчас нуждаемся едва ли не больше, чем в нравственном воспитании.

Это известная декларация автора, и мы должны ее верно понять.

Все мы помним про «дьявольскую разницу», но кто в самом деле умеет читать *роман в стихах*? Между тем у нашего автора это условие основное. Его установка в том состоит, что читать «Онегина» как «роман героев» — значит читать его как обычный роман прозаический и самое главное потерять. «Настоящий „Онегин“ выткан стихами, и на его стиховом ковре можно без конца рассматривать словесные орнаменты, представляющие нашему внутреннему взору поэтические очертания героев, ландшафтов, деревень, городов, рек и морей...» Белинский и Достоевский так «Онегина» не читали, они не читали *роман в стихах*. Между ними и Тыняновым Чумаков выбирает ориентиром себе последнего — однако как пройти по лезвию, не потеряв тоже главного с другой стороны? Акцент на тыняновскую «внефабульность» заставляет нас, пожалуй, заново оценить от противного промыслительность для нашей литературы онегинской фабулы, романа героев. Для теоретиков ОПОЯЗа обращение их к «Онегину» было программным актом: «словесный план» тыняновский утверждался за счет того, что они называли *темой* и оставляли в пренебрежении. Тыняновский тезис, что Пушкин романом в стихах «сюжет как фабулу» разрушал, — безусловно неверный. Это они, теоретики, его в своем анализе разрушали — зато и открыли воистину остроновый взгляд на «Онегина», как его оценил Чумаков. И однако с высказанным недавно мнением, что «продержавшееся полтора века чтение романа как сюжета героев можно наконец считать рухнувшим»<sup>1</sup>, не хочется соглашаться. Хочется надеяться, что никогда такое чтение не рухнет. Филологические — и прежде всего читательские — качели будут всегда дрожать и крениться, и будет всегда необходимость их выправлять. В обсуждаемой книге филологические качели находятся в достаточном равновесии, хотя и с известным креном на «тыняновский» бок. Книга, однако, дает примеры того, как и сюжет героев выигрывает, если читать его как сюжет романа в стихах. Он в самом деле выткан стихами.

На упомянутом обсуждении Б. Ф. Егоров назвал Чумакова-исследователя *человеком степи*. В самом деле, мы наблюдаем, как он гуляет по тексту пушкинского романа, как по широкому полю. Это собственные его слова: пройти сюжет «Е. О.» во многих направлениях, как лес или город. «Прогулки с Пушкиным», видно, возникли недаром как идея и как метафора, как картина открытых и незащищенных отношений читателя с Пушкиным, как способ чтения вопреки целенаправленному стремлению — научному, идеологическому, все равно (актуальный нынешний вариант — «духовному») — получить от Пушкина то, что нам нужно. «Гуляку праздного» Пушкин вложил в уста целенаправленного Сальери недаром, и уж наверное не бытовое поведение Моцарта так обличал суровый «мастер в высшей мере» (как о нем сказал поэт уже нашей эпохи, Владимир Соколов, в стихотворении «Сальери», к которому надо будет еще обратиться), — а чуждый, враждебный творческий тип.

Но не такие праздные — «прогулки с Пушкиным» Чумакова. Они ориентированы одной идеей, стоящей в центре всего. Такова идея *инверсивности* — как такой постоянно действующей у Пушкина силы, которую исследователь возводит в несколько философский даже ранг одной из пушкинских *универсалий*. И дает такое ее описание, словно помнит об образах человека пути и человека степи: «Инверсия на любом порядке взрывает линейную последовательность и целевую однонаправленность текста».

Речь идет о *возвратных* силах, богатым образом *затрудняющих* наше восприятие и переживание Пушкина. Эти силы действуют как на микроучастках текста, так и на больших расстояниях. В «Цыганах» рассказ об Овидии так кончается:

<sup>1</sup> Виролайнен Мария, Мелкумян Мелвар. В поисках «русской картины мира». — «Новый мир», 2000, № 7, стр. 212.

И завещал он, умирая,  
 Чтобы на юг перенесли  
 Его тоскующие кости,  
 И смертью — чуждой сей земли  
 Не успокоенные гости!

Если перевести последние два стиха на прямой порядок слов, то мы получим: кости — гости сей чуждой земли, не успокоенные и смертью. Это пример не из Чумакова, а из М. Л. Гаспарова<sup>2</sup>, который спрашивает: к чему здесь эта затрудненная инверсия как параллель риторическому приему латинской поэзии, и как раз в рассказе о римском поэте? Что она здесь дает? И отвечает: она дает *напряженность*, передающую самую эту тоску и боль последнего желания изгнанного поэта.

Это микропример, простая инверсия грамматическая — хотя какая же она простая? А вот пример из Чумакова — пример дальнего действия инверсивной силы. Два места — из третьей главы и из онегинского финала:

И, как огнем обожжена,  
 Остановилась она.  
 .....  
 Она ушла. Стоит Евгений,  
 Как будто громом поражен.

«Встреча и разлука героев взяты в рамку мифологемой грозы». Можно так понять, конечно, что во временном ходе фабулы его сейчас гром поразил-наказал от той самой молнии, которую он тогда опалил ее. Но Чумакову интереснее видеть больше роман не во времени, а в пространстве. Обратить их сюжетное время в пространство как некую вечность, в какой они встретились навсегда. «Гораздо интереснее столкновать их участь как вневременную мгновенную катастрофу, совершившуюся в пределах вечности. Вспышка молнии и раскат грома — явления неделимые, но поскольку вечность для нас опосредована временем, ее подвижным образом, так ее молнийный знак в сюжете героев обозначился не точкой, а линией между двумя точками. То, что поразило Татьяну и Евгения в один миг, равный вечности, в пределах фабулы растянулось во времени на несколько лет. В реальном восприятии блеск молнии и удар грома разделены интервалом, и герои романа испытывают свои потрясения поочередно, но в ином измерении это совершается с ними обоими сразу и навсегда».

Хочется задержаться на этом месте как на примере, может быть, образцовом для оценки книги. Красивое созерцание, — а в принципах автора красота анализа — это свидетельство об истинности его. Одновременно и вместе филологическое и бытийственное чтение. Филологическое, потому что надо связать на большом расстоянии две точки в огромном тексте, оборотиться назад от горестного финала к другому горестному мигу и словно восставить радугу над всем миром романа (радугу уже после грозы), остановив безысходную фабулу на ее исходе *красотой* отношений несчастных героев, какая останется с ними для нас, читателей, навсегда. Какая связала их «на воздушных путях» поверх их взаимных ошибок и наших привычных моральных к ним претензий. Тем самым чтение и бытийственное, с опорой на мощь инверсивной силы, действующей в пушкинском тексте. «Легящая стрела покоится». Другая метафора Чумакова — он любит работать метафорами, притом метафорами, так сказать, архитектурными, утверждающими момент пребывания преимущественно перед текучей процессуальностью бытия: река собирается из ручейков и впадает в море, и эти моменты всегда синхронны, потому что они есть всегда, какой бы длины ни была река. «Поэтому река течет и стоит одновременно. Таков и роман Пушкина». Яблоко на ладони.

Из работ Чумакова одна в последнее время взбудоражила пушкинистский мир — его гипотеза открытого отравления Моцарта в драме Пушкина (Сальери бросает яд на глазах у видящего это Моцарта). Реакция была острой, вплоть до

<sup>2</sup> Из предисловия к книге: Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, стр. 12. Сходное наблюдение в кн.: Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966, стр. 27.



полного возмущения», как выразились осторожные сторонники этой версии Н. В. Беляк и М. Н. Виротайнен. Вокруг гипотезы накопилась литература, и не место ее обсуждать в настоящей рецензии. Рецензент лишь хочет сказать, что он гипотезу не разделяет. Валентин Непомнящий, наиболее на нее возражавший, вернул творцу гипотезы бумерангом помянутого им самим Гераклита: скрытая гармония сильнее явленной. Обращая это слово на ситуацию пушкинскую, надо лишь помнить, что дело должно идти не о скрытом или открытом действии Сальери, а о тайном или открытом знании Моцарта. Пушкинский текст внушает нам, что Моцарт *знает* свою судьбу «неизвестным знанием» (как формулирует сам Чумаков), «неведомым ему самому, как смысл сна Татьяне» (Непомнящий). И каждой репликой, как невольным прямым попаданием в замысел друга-врага, провоцирует кристаллизацию замысла и его приведение в исполнение. «Гармония» этого диалога единственно в том, что Моцартовы прямые попадания исходят из глубины «неизвестного знания» и ни на миг не поднимаются на поверхность знания открытого; будь так — трагедия теряет всю свою силу: скрытая гармония сильнее явленной. Моцартово знание — знание, если угодно, мистическое (хотя очень не хочется пользоваться этим слишком здесь приблизительным словом), и по отношению к этой (говоря условно) мистике ситуации допущение Чумакова представляется ослабляющей рационализацией.

Но это была полезная провокация, мобилизовавшая пушкинистские силы пережить еще раз, потоньше трагедию слово за словом и подчеркнувшая при этом, высветившая неясный вопрос о «неизвестном знании» Моцарта. Нельзя не упомянуть и то, что у изобретателя версии уже были к моменту изобретения независимые союзники: это были поэты. Две статьи Чумакова о «Моцарте и Сальери» появились в 1979 и 1981 годах, а уже поминавшееся стихотворение молодого тогда Владимира Соколова «Сальери» датировано годом 1963-м (та самая середина 60-х!).

...Сальери думал: он не знает.  
А Моцарт видел.  
Моцарт знал,  
Какая слабость наполняет  
Неукоснительный бокал.  
.....  
Он отвернулся.  
Пусть насыплет.  
Да, Моцарт — бог.  
Бог чашу выпьет...

Подобное — и в стихотворении Фазиля Искандера (1984). Поэты — чуткие существа, в союзе с чуткой филологией. О чем стихотворение Соколова — об *открытом отравлении*? Нет, о *тайном знании*. Наверное, так и надо формулировать вопрос понимания «Моцарта и Сальери», обостренный гипотезой Чумакова.

От поэтики к универсалиям — объясняет автор свой пушкинистский путь. Что это значит — к универсалиям? Примеры разборов онегинских ситуаций, кажется, могут сказать об этом. Автор как бы поверх типичной пушкиноведческой проблематики, от нее на отлете, высвечивает более общие ситуации, философские состояния, переживаемые Пушкиным и его героями, но слабо пережитые еще пушкинистской критикой. Очерк истории истолкований романа в стихах завершается таким методологическим замечанием: желательные «языки описания <...> приобретают более мягкие и расплывчатые формы, что связано с усложняющимся видением самого литературного предмета». Усложняящимся по отношению к «жестким» интерпретациям столь противоположного свойства, как «достоевская» и «тыняновская». Та и другая имеют свои традиции и своих представителей в сегодняшней филологии, и среди них пушкиноведение Чумакова находит свой путь. Автор работает универсалиями и при этом сопротивляется идеологическим интерпретациям, идеологическим выжимкам из поэзии; он работает универсалиями и призывает читать не просто близко к тексту — вплотную к тексту, то есть читать так, как надо читать роман в стихах, потому что такое чтение «препятствует общим рассуждениям на дистанции», высвобождаящим «идеологемы романа из их поэтической плоти». На отлете от сюжетной эмпирии, но вплотную к тексту — в таком сочетании принципов существует пушкиноведение Юрия Чумакова.

Да, нужно тут говорить о принципах: потому что пушкиноведение в составе отечественной гуманитарной мысли — не только область привилегированная, но и принципиальная; здесь действуют «мировые ритмы» и совершаются спор и борьба принципов. В рецензируемой работе почти нет прямой полемики, но спор идет; он идет за такое пушкиноведение, которое судит Пушкина эстетическим чувством, что оказывается не так-то просто; в сегодняшнем подведении пушкинистских итогов за столетие это книга принципиальная.

Сергей БОЧАРОВ.

\*

## ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРЕВО ДЕЛО

Евгений Анисимов. *Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII в. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 719 стр.*

**Н**овая книга Евгения Анисимова разительно отличается от всех прежде им написанных. Читатель, привыкший к ясным и динамичным монографиям Евгения Викторовича, где текст всегда — цепочка доказательств главного тезиса, к которому исследователь ведет, не увлекаясь избыточными деталями и не уклоняясь в лирические отступления, будет удивлен переменной стили. На сей раз автор не формулирует проблемы и не ищет ей разрешения. В заключении он и сам признается, что «тема, которой посвящена эта книга, не является ни центральной, ни спорной в русской истории, вокруг нее не ломают копыя поколения историков».

Перед читателем не современная ученая монография, а сочинение в жанре, которым так богато было прошедшее столетие, — собрание архивных выписок, живописующих в подробностях ход политического сыска и сгруппированных в последовательности «шитья дела»: арест, розыск, казнь или ссылка, редкое возвращение на свободу.

Между тем объемистый том читается от корки до корки с неослабным интересом: материя сыска, щедро представленная в подлинных источниках с минимальным авторским комментарием, захватывает. Захватывает потому, что вдруг, в неожиданном ракурсе, представляются скрепы имперского политического устройства.

Понятие о государственном преступлении сформировалось в России относительно поздно — в эпоху становления самодержавной власти. Тогда государственные преступления, естественно, стали трактоваться как «государевы»: в этот разряд попадали деяния, направленные против личности и власти государя, а потому подлежащие его исключительному ведению. Поскольку самодержец выступал следователем и судьей в собственном деле, русский политический сыск и приобрел свои уникальные формы.

Провиниться российский подданный мог множеством способов, но первое место в ряду государственных преступлений занимала «большая измена» (именуемая также «великим государевым делом»), под которой разумели переход в иное подданство, сопряженное с изъятием из-под власти русского государя известной территории. Здесь обнаруживается замечательный взгляд на подданство российскому государю различных народов как акт вечный и неизменный, не подлежащий пересмотру. Гетман Мазепа, затеявший расторгнуть неудачный, на его взгляд, контракт, заключенный Богданом Хмельницким с москвитями, по этой логике был страшным государственным изменником, о чем Петр Великий и писал совершенно недвусмысленно: «...понеже всем есть известно, что от времени Богдана Хмельницкого... до покойного Скоропатского все гетманы являлись изменниками и какое великое бедство государство наше терпело...»

Меньшим злом была измена «партикулярная» — сиречь намерение российскому подданного просить или принять подданство другого государства, побег его за границу или нежелание вернуться в отечество. Петровское «окно в Европу» имело замечательное свойство мембраны, проницаемой лишь в одном направлении. Россия была открыта для иностранцев, но любой несанкционированный верховной властью выезд русских за границу рассматривался как преступление. Что и неуди-

вительно в государстве «общего дела», где и самоубийство почиталось дезертирством и каралось соответственно посмертной казнью виновного.

Со времени Петра Великого, завершившего устройство полицейского государства, изменой стали почитать всякое покушение на жизнь и здоровье государя. При этом понятие «покушения» трактовалось предельно широко. Петровский указ «О форме суда» в 1723 году вводил необъятный список государственных преступлений: «Измена, злодейство или слова противные на государя и бунт». Тем самым «непотребные слова», которые и ранее де-факто считались преступлением, становились таковыми де-юре. У политического сыска прибавилось работы. Достаточно было русскому человеку «в шутку», «из озорства», «недомысля», «спроста», «спьяну», «сглупа» произнести нечто, что могло бы быть истолковано как угроза или свидетельство преступного намерения, как виновный немедленно оказывался в кутузке.

Табуированным оказалось само слово «измена». Публичное произнесение такого предполагало, что власти немедленно начнут следствие. И начинали: в 1732 году по доносу посадского человека Василия Развозова «притянули к Иисусу» купца Григория Большакова, якобы обозвавшего его «изменником». Не без труда купцу удалось оправдаться тем, что изменником назвал он не Развозова, а вертевшегося тут же на крыльце кобеля. Слава богу, свидетели купцовы слова подтвердили.

Преступным почиталось вообще любое воздействие на государя, хотя бы и не преследовавшее преступной цели. В 1692 году стольник Андрей Безобразов был казнен за то, что нанял волшебника Дорошку, который магическим образом обещался устроить так, чтобы царь, царица и их родственники начали «по нем, Андрее Безобразове, тосковать» и отозвали бы со службы в далеком Кизляре, куда стольнику ехать было неохота. В 1737 году расследовалось с пристрастием дело о хождении по рукам «волшебной» тетради с заговором «О люблении царем и властями». В 1744 году пытали придворного шута Елизаветы Петровны Аксакова, вся вина которого состояла в том, что он неловко пошутил, поднеся государыне в шапке «для смеху» ежика. Следователи шутить не умели вовсе, и поступок шута был расценен как попытка испугом подорвать здоровье августейшей повелительницы.

Государственным преступлением почитался отказ пить здоровье государя или даже попытка пить по такому случаю разбавленное вино. Лишь в 1754 году Тайная канцелярия пришла к трезвому заключению, что «здравья лишняго в больших напитках, кроме вреда, не бывает», и положили внести в новое Уложение правило, «если кто на каком обеде партикулярном откажется пить на здравье Наше и фамилии Нашей, то в вину этого не ставить и не доносить об этом».

Разрешение «не доносить» — чрезвычайное новшество. Власть вконец изнемогла под массой изветов и стремилась хоть как-то снизить напор мелочного стукачества — «бездельных доносов». Со времен Соборного уложения 1649 года, обобщившего практику предшествующей эпохи, «извет» властям почитался священной обязанностью российских подданных, а за недонесение полагалось строгое наказание. Помимо страха быть обвиненным в недоносительстве и попасть тем самым в число соучастников гнала доносчика и жажда монарших милостей. За «правый» донос полагалось вознаграждение из имущества преступника в характерном размере — «что государь укажет». Для крепостного крестьянина донос на господина был подчас единственным доступным путем к воле. Не удивительно, что доносам не было переводу.

При относительной редкости бюрократической паутины и неразвитости институтов властного контроля доносительство было едва ли не единственным инструментом эффективного выявления «ниспровергателей» и вообще чуть ли не единственным способом обратной связи «власти и общества».

Впрочем, связь оказывалась весьма несовершенной. На доносчика возлагалась обязанность «довести» свой извет, то есть представить свидетелей измены и самому выдержать очные ставки и пытки. Изветчик шел на большой риск, особенно когда донос касался людей влиятельных, находящихся в фаворе и вообще «сильных». Всем известна печальная судьба Кочубея и Искры, донесших Петру I об измене Мазепы. Генеральный писарь Орлик, также бывший в курсе сношений Мазепы со шведами, воздержался от доноса, устранившись «страшной, нигде на свете не бывалой суровостью великороссийских порядков».

Орлик, разумеется, имел в виду не вообще порядки, а порядок расследования дел о государственных преступлениях. Заподозренный уже с момента ареста подвергался невероятным мучительствам и мытарствам. Арестованного не пускали из камеры «дальше нужника», а туда только в кандалах. («Параша», сиречь «простой деревянный ушат», благодетельное свидетельство смягчения нравов, является в источниках с 1827 года.) На содержание узников отпускались гроши, и колодники периодически отправлялись в город со своими сторожами «кормиться мирским подаянием». Ускользнуть из лап сыска было невероятно трудно. Присланные за человеком солдаты, не обнаружив преступника (каковым заподозренный почитался изначально, пока не оправдается), загребали в тюрьму всех, кого находили в доме, и держали там жен и детей, пока специальные поисковые команды не разыщут злодея мужа и отца или пока он сам не сдастся властям ради вызволения родни. Заложничество такого рода было повсеместной практикой, поскольку закон признавал ответственность родственников за побег близкого, и они должны были доказать свою непричастность к побегу.

Добывание доказательств стоило жизни. Не удивительно, что большая часть книги посвящена детальному описанию рутины «розыска», то есть процедуре инквизиционного следствия-суда, с 1697 года полностью вытеснившего состязательный процесс. До этого процедура розыска применялась только в «разбойных делах», то есть тяжких уголовных преступлениях. Теперь, во избежание «многой неправды и лукавства», велено было «вместо судов и очных ставок по челобитью всяких чинов людей в обидах и разорениях чинить розыск».

Описание стадий знаменитого розыска от «допроса с пристрастием» — простой демонстрации орудий и первой «виски» на дыбе — до «виски со встряской» и изощренных пыток огнем, занимающее добрую треть книги, одолеет только человек с крепкими нервами. А следующую засим подробнейшую энциклопедию методов казни вообще, видимо, с пользой для себя могут проштудировать разве что профессионалы палаческого дела.

«Вместо заключения» автор ничего не заключает, а продолжает исследование нового сюжета о размахе российских репрессий. Но мы позволим себе вернуться к вопросу самому существенному. Отчего политический сыск в России приобрел такие гомерические размеры? Не в смысле числа жертв (наше столетие не впечатлишь тогдашними масштабами), а в смысле всеохватности, всепроникновения и вездесущности. Единственное достойное внимания предположение зарыто автором в середине текста: сыск дитя страха — Романовы так и не стали в народном сознании законной династией и привечали подданных гипертрофированной подозрительностью.

Оно, впрочем, не ново и не оригинально. А многим пожилым людям механизм сыска знаком и по личному опыту...

Никита СОКОЛОВ.

\*

## НЕИЗЖИТОЕ ПРОШЛОЕ

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923 — 1960.

Составитель М. Б. Смирнов. М., «Звенья», 1998, 600 стр.

Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД. 1934 — 1941. Справочник. М., «Звенья», 1999, 503 стр.

Виктор Бердинских. Вятлаг. Киров, 1998, 320 стр.

ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. Под редакцией И. Добровольского. Франкфурт/Майн — Москва, МОПЧ, 1999, 456 стр.

**Н**едavno Виталий Шенталинский, автор книги «Рабы свободы» — о судьбах некоторых писателей и их рукописей, попавших на Лубянку, сетовал в разговоре со мной, что никак не может найти издателя для второго тома своей работы,

несколько лет подряд печатавшейся в «Новом мире» и вызвавшей немалый читательский резонанс. «Понимаешь, — с понятной горечью говорил он, — оказалось, что французскому, польскому, американскому читателю трагические перипетии Бабеля, Платонова, Булгакова, Пильняка, история их арестованных произведений ближе, нужнее, чем нашим издателям...»

Может, действительно наше общество несколько устало от мемуаров сталинских сидельцев? Впрочем, это еще не знак того, что люди не хотят больше ничего читать и знать о той трагической поре в жизни страны и народа. Думаю, это не так. Попробуйте найти в московских или питерских книжных лавках (о периферийных городах я уж и не говорю) «Архипелаг...» А. Солженицына. Не найдете! Зато в тех же магазинах можно услышать, как покупатели спрашивают продавцов, нет ли у них этой книги. Значит, спрос на подобную литературу не пропал.

Другое дело, что читательский интерес к тому, что связано с, условно говоря, гулаговской темой, за последние годы существенно изменился, приобрел более избирательный, селективный характер. Сейчас уже не читают все лагерные воспоминания подряд. Да и мемуаристика подобного рода постепенно иссякает. Происходит естественный процесс: непосредственные жертвы репрессий стареют, слабеет их память. Некоторые уже не в состоянии что-нибудь рассказать, вспомнить.

Теперь, как мне кажется, на первый план в этой тематике выходят аналитические работы: труды историков, правоведов, юристов, журналистов, занятых изучением прежде недоступных архивов и хранилищ КГБ, Генпрокуратуры, цензурного ведомства. Именно рассмотрение гулаговской проблематики в конкретном временном контексте позволяет авторам таких работ по-новому взглянуть на многие процессы, происходившие в советском обществе в 20 — 50-е годы.

Обратимся к перечисленным выше изданиям. Книга, составленная группой историков научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», носит преимущественно справочный характер. У нее не броское, а скорее расхолаживающее заглавие «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923 — 1960». По сути, это первое издание, в котором зафиксированы все объекты гулаговской империи, простиравшейся некогда от Калининграда до Чукотки и от Заполярья до субтропиков. Из книги можно почерпнуть массу сведений о лагерях, местах дислокации, основном производственном профиле. Указано и общее их число: 476. Возникали они в разное время, не все функционировали одновременно, некоторые по всяким причинам закрывались, «рабсилу» перебрасывали в другие ИТЛ. Тем не менее в пору расцвета системы, весной — летом 1950 года, число заключенных в лагерях и колониях составляло 2 миллиона 600 тысяч человек плюс к этому в тюрьмах находилось еще от 170 до 190 тысяч узников да несколько десятков тысяч пребывало «в пути» — следовало к месту назначения, то есть в лагерь. Так что общая цифра репрессированных приближалась к трем миллионам.

Эти цифры, позволяющие ощутимо представить мощь, размах и возможности гулаговской системы, содержатся в справочнике, который даже как-то неловко называть «путеводителем по ГУЛАГу», хотя по своему характеру он таковым и является. Работа выполнена тщательно, в ней указано все, вплоть до почтовых адресов и литеров лагеря, количество зеков, содержащихся там в разное время, перечислены фамилии лагерных начальников, приведены ссылки на источники, по которым составлена каждая справка, и т. д. Справочник, как подчеркивают его авторы, преследует не только научно-познавательные цели, он призван помочь бывшим узникам в поисках необходимых сведений при оформлении ими пенсий, получении льгот, положенных им как жертвам политических репрессий.

Но у этой книги есть и более широкий план. Она, в частности, позволяет ощутить внутренний недуг, исподволь подтачивавший саму систему ГУЛАГа, предвещавший ее крах, поначалу еще незаметный.

Примечательный на первый взгляд факт: оказывается, в период конца 40-х — начала 50-х годов, когда наполненность лагерей свелась к минимуму в 2 — 2,5 миллиона человек, ни одно из крупнейших производственных управлений ГУЛАГа не выполнило своего плана. Использовать хотя бы мало-мальски сложную технику заключенные не могли, повысить производительность труда не удавалось.

В результате, как свидетельствуют авторы книги, «система мест заключения находилась в глубоком кризисе». Поэтому сразу после смерти Сталина был законсервирован целый ряд обещавших стать «эпохальными» строек ГУЛАГа вроде сооружения тоннеля под Татарским проливом или прокладки за Полярным кругом пресловутой «мертвой дороги» Салехард — Игарка. Однако все попытки как-то подлатать и реанимировать порочную систему ни к чему не привели, не изменили общего положения. Прокатившиеся вскоре по лагерям бунты и восстания зеков только глубже обнажили изъяны гулаговской империи.

Второй (тоже «мемориальный») том позволяет получить сведения о людях, занимавших «командные высоты» в глубоко засекреченной структуре НКВД — ГУЛАГа. Однако кое-кого из них я там не обнаружил.

Так, не нашел я фамилии Е. Кашкетина. В 1938 году он по поручению наркома НКВД Ежова занимался «зачисткой» концлагерей в Воркуте и Печоре. В результате проведенной им операции, вошедшей в кровавые анналы ГУЛАГа под названием «кашкетинских расстрелов», было уничтожено свыше 6 тысяч человек. Возможно, авторы скажут, что как руководитель спецгруппы, выполнявшей одноразовую акцию, Кашкетин не входил в число начальников. Однако столь одиозная и кровавая фигура явно заслуживала упоминания в справочнике. К тому же это не единственная «лакуна» на его страницах.

Авторы подчас чересчур лапидарны при изложении биографических данных того или иного персонажа. Далеко не все читатели сумеют докопаться до истинного смысла некоторых ведомственных аббревиатур, а значит, и понять, кто и чем именно в этой системе занимался. Много ли скажет читателю, к примеру, такой почти зашифрованный текст из очередной биографической справки: «УПВИ НКВД СССР 19.09.39 — 12.02.43»? А ведь за этой невразумительной строчкой скрыты страшные дела одного из тех, кто «проворачивал» операцию по расстрелу польских офицеров в Катыни весной 1940 года, — П. Сопруненко. Он спокойно, дослужившись до генеральского звания, доживал свои дни в Москве и скончался в 1992 году, когда уже и у нас открыто писалось и говорилось, что Катынский расстрел — преступление НКВД...

Если авторы двух «мемориальных» книг изучают и рассматривают гулаговскую империю как целостную систему, то молодой вятский историк и журналист Виктор Бердинских ставит перед собой более локальную задачу. Он тщательно анализирует внутреннюю структуру одной из ячеек в этой широко раскинутой сети — Вятский ИТЛ, или Вятлаг, расположенный на севере Кировской области. Это так называемый «лесной лагерь», то есть такой, где зеки заняты заготовкой леса. Лес имелся под боком, а у НКВД (в системе ГУЛАГа) существовали неисчерпаемые резервы даровой «рабсилы», требовалось только ими умело распорядиться. Лесные лагеря было легко развернуть: силами зеков поставить там палатки или бараки, обнести их колючей проволокой, установить сторожевые вышки...

Изучая «анатомию» одного лагеря, Бердинских сделал ряд более общих выводов. Он, к примеру, считает, что «главный корень гулаговской империи, ее основное звено — лагерь на сегодня практически не изучен вовсе. А без изучения истории отдельного лагеря феномен ГУЛАГа — историю рабства в XX веке, а в конечном счете и историю Советской России — не понять».

Собственно, для исследователя Вятлаг — это своего рода микромодель всего советского общества. Он пишет, что здесь «все как на воле — читаются политдоклады, ставятся концерты, выпускаются стенные газеты и многотиражки, изучаются произведения классиков марксизма». Но картина в целом приобретает явно гротескные черты, когда пред нами приоткрывается истинная, обыденная и потому еще более бесчеловечная обстановка. Автор подкрепляет свой рассказ цитатами из разного рода деловых бумаг, отчетов, протоколов партсобраний и партактивов. В этих документах фиксируются случаи группового изнасилования зечек охранниками, убийства теми же охранниками узников, пытавшихся бежать. Наряду с этим сам представитель лагерной администрации признает, что побег, собственно, единственный выход для заключенных, которые содержатся в «нечеловеческих бытовых условиях».

Для полноты картины следует добавить еще одну деталь, усиливающую общую фантазмагоричность обстановки. В Вятлаге в качестве некоего «спецконтингента» содержалась группа немцев Поволжья числом около 10 тысяч. В самом начале войны с Германией приволжских немцев этапировали в Сибирь, Казахстан, часть из них переправили потом в Вятлаг, разбив при этом многие семьи. Правовое положение этих немцев, пишет Бердинских, не ясно было самому руководству Вятлага: «Они не заключенные, так как не являются персонально осужденными... На основании правительственного распоряжения они считались мобилизованными в трудовую армию (трудоармейцами) на период войны». Немцы были как бы на особом статусе, но реальное их положение в лагере оказалось значительно хуже, нежели у остальной массы зеков. При этом у немцев — членов партии сохранялись партбилеты, они платили партвзносы, участвовали в партсобраниях наряду с членами лагерной администрации и т. п. Конечно, историю с поволжскими немцами можно было бы рассматривать как своего рода трагикомический эпизод в летописи Вятлага, едва ли заслуживающий упоминания. Но он приобретает более драматический и глубокий смысл, если вспомнить о том, что даже после войны, как подчеркивает Бердинских, «поволжские немцы в основной своей массе остались в положении неравноправных граждан родной страны». Казалось бы, уж сейчас-то можно было бы закрыть проблему. Но... Бердинских прав, когда замечает, что «советскую действительность можно понять, лишь изучив Оруэлла».

Прав он, думается, и тогда, когда говорит, что «эпоха ГУЛАГа, тяжкое наследие лагерей наложили на нас всех свой отпечаток, даже если мы сами этого не осознаем».

Проблема трудного преодоления, изживания гулаговского прошлого нашим обществом получила свое развитие еще в одном, на сей раз коллективном, сборнике «ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои». Составлен и издан он Российской секцией Международного общества прав человека. Это второе издание, существенно расширенное и дополненное сравнительно с первым, вышедшим два года назад. В книге представлен разнообразный фактический материал — статьи русских и зарубежных авторов: историков, юристов, журналистов, имеется обширная подборка воспоминаний жертв ГУЛАГа, чьи свидетельства невольно берегут душу, берут за живое. Но все же мне кажется, что книга получилась несколько неровной, пестровой по составу. Некоторые проблемы получили здесь довольно иллюстративное, поверхностное освещение, тогда как важные в тематическом плане аспекты остались незатронутыми. Досадно, что отдельные авторы сборника составителями никак не представлены.

Наиболее интересной, на мой взгляд, является обширная статья московского историка Г. Ивановой «Как и почему стал возможен ГУЛАГ», автор которой стремится понять природу большевистской диктатуры, просуществовавшей в России три четверти столетия. С первых же шагов большевики стремились захватить и удержать власть в стране любой ценой, не останавливаясь и перед кровавым террором. Для этого и были созданы первые концентрационные лагеря. Всех заключенных обязали заниматься «общественно полезным трудом». А так как материальные стимулы при этом отсутствовали, труд мог быть только рабским, подневольным, а значит, непроездательным, оставаясь, однако, баснословно дешевым. Это и привлекало новых хозяев страны. Концлагерь выполнял две основные функции: это была неволя и резерват даровой «рабсилы», которую можно использовать на тяжелых работах в местах, куда вольных людей не заманишь. Тем более, что «заманить» было нечем: в стране и продукты и товары составляли острый дефицит. Не случайно Троцкий, отстаивая вместе с Дзержинским идею концлагерей и всячески ратуя за их расширение, заявлял: «Говорят, что принудительный труд непроездателен. Если это верно, то все социалистическое хозяйство обречено на слом, ибо других путей к социализму... быть не может». Подобные откровения Троцкого напугали других сторонников концлагерей вроде Дзержинского. Они предпочитали утверждать, что лагеря конечно же временная мера.

Завершая разговор о ГУЛАГе, о том, как эта тоталитарная структура прочно встроилась, вросла в нашу жизнь, по сути, слилась с нею, Г. Иванова приходит к выводу, что главное зло ГУЛАГа проявилось не в экономической или право-

вой сфере, гораздо страшнее по своим масштабам и последствиям тот моральный ущерб, который нанесен этой системой всему нашему обществу в целом, так как от этого ГУЛАГОВСКОГО НАСЛЕДИЯ ТРУДНЕЕ ВСЕГО ОСВОБОДИТЬСЯ. Она напоминает слова известного американского философа Джорджа Сантаяны: «Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь».

С. ЛАРИН.

**ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ.** *Та страна.* М., «Новое литературное обозрение», 2000, 384 стр.

Наконец я понял, что он за писатель. Каждый рассказ у него посвящен одной чистой эмоции и на этой же эмоции построен. Иногда это делается новеллистически — с перипетией и финальным пуантом, например, в уже похваленном прессой «Переулке»: сыновья, услышав, как на отца напали, сами учиняют на него нападение, — этакий эффектный сюжетный гротеск, демонстрирующий чистое и всепроникающее вещество жестокости. Но гораздо чаще этот писатель действует бесфабульным способом, выдерживая рассказ на одной ноте, которая в читателе (пускай не во всяком) немедленно отзывается и становится неотвязной. Вот рассказ «Отец и дочь» — иронически-пристальный этюд об отцовской любви, граничащей с безумием. Или рассказ «Благородная душа», где автор на двух с хвостиком страницах берется описать эмоциональную феноменологию супружеской измены и успевает — вот что поразительно — доказать нам: эту ситуацию можно понять и оценить только при индивидуализированном, а не обобщенно-моралистическом подходе: «А главное, в душу человека (А. в частности) всмотреться», — так, уже почти без иронии, рассказ заканчивается. Тут вполне оправданны литерные имена условных персонажей: Т., А. и т. д., поскольку настоящими действующими лицами являются очищенные от случайностей чувства. А место действия, «та страна», есть не что иное, как душа человеческая.

Каталог чувств «по Е. Шкловскому» довольно обширен и, по сути, совпадает с перечнем рассказов, составивших сборник. Иногда автор совсем из ничего изготавливает нечто. Рассказ «Восхождение» построен на зауряднейшем

эпизоде: некто по кличке Лебедь не может открыть ключом дверь своей квартиры, где для компании его приятелей припасена бутылка «Кубанской». Дружки томятся в ожидании, и он по веревке взбирается на балкон своего пятого этажа. Риск бессмысленный, но все обходится благополучно. Так ради чего это написано? Ради того, чтобы обозначить и вчуже уловить то, что переживал в эти минуты Лебедь и о чем впрямую не сказано ни слова. Ради одной мимолетной эмоции, спрятанной в подтексте. Наследник традиции Юрия Казакова, Е. Шкловский привнес в нее и свое, а именно — гиперболизированный лаконизм, адекватный жесткому информационному стилю нашего времени, то и дело обрывающему наши лирические излияния репликой: «Короче!»

Приверженец содержательной и выразительной краткости, Е. Шкловский нашел в нынешней прозе собственное место. Собственное, а не чужое. Осознанию этого факта, безусловно, долгое время мешали ужасные анкетные данные автора. Иногда ведь неприятности начинаются не с пятого пункта, а прямо с первого. Родиться с фамилией «Шкловский» для литератора крайне невыгодно, потому что победителем здесь всегда будет Виктор. Правда, и у имени «Евгений» неплохая семантика: «благородный», но это утешение сомнительное, поскольку в достижении литературного успеха благородство еще никогда никому не помогло. Да еще кандидат наук. Да еще критик, к тому же рассудительный, не склонный ни к эпатажирующим оценкам, ни к стилистическому кокетству. Поди распознай в таком добропорядочном коллеге пронизательного исследователя страстей человеческих!

Вопрос о совмещении в одном лице прозаика и критика непрост и порой сопряжен с «ревнивыми осуждениями». Лично я считаю, что двадцать первый



век уйдет от советского идиотизма узких специализаций, когда прозаику не положено писать рецензии, а критику неведом вкус самостоятельного сочинительства. Антитеза «писатель — критик» бессмысленна хотя бы потому, что настоящий критик есть писатель, а в структуру гармоничного, полноценного писательства входит и элемент критики. Все же прозаические опыты профессиональных критиков-литературоведов отчетливо распадаются на две категории. Среди «отступников» нашего цеха есть прозаики *волевые*, а есть *природные*. Классический пример беллетриста волевого — Виктор Ерофеев, который как писатель состоялся, кстати, не в увядшей «Русской красавице» и не в мертворожденном «Страшном суде», а в статьях и памфлетах. Что же до Е. Шкловского, то мне хочется уверенно и ответственно охарактеризовать его как прозаика природного. Это главное, а конкретная позиция в «рейтинге» прозаиков — дело условное и слишком зависимое от случайности чьих-то вкусов, симпатий и антипатий.

В «той стране», где живет Е. Шкловский, с карамзинских времен идет спор-поединок традиции западной новеллы и лирической стихии русского рассказа. В книге «Та страна» «рассказовость» явно доминирует над новеллистичностью, а эмоциональная пронзительность подчиняет себе игровое начало. Для 90-х годов это было, пожалуй, немодно и невыигрышно, поскольку ушедшее десятилетие отмечено торжеством волевых писателей и не менее волевых критиков, старательно закрывавших глаза на скудость душевного, эмоционально-чувствительного спектра уральско-саратовских и проч. модернистов. Но вроде бы уже уходит в безвозвратное прошлое эпоха «неких текстов», более или менее понятных разве что десятку штатных лит-обозревателей. Новая книга Е. Шкловского, вышедшая в самом снобистском из современных издательств, обладает той вызывающей человеческой открытостью, которая, как мне кажется, станет содержательной доминантой набегающей свежей литературной волны. Это не ребус, который сначала не понимал, потом разгадал, понял и... забыл. Тут в тексте ты вроде бы понимаешь все, но зато чувствуешь, что ты в жизни чего-то не понимаешь...

**Вл. НОВИКОВ.**

✱

**НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА.** Архипелаг Святого Петра. М., «Текст», 2000, 333 стр.

Книга петербургской писательницы Натальи Галкиной — это по сути своей роман-путешествие по сорока с лишним островам, составляющим архипелаг, на котором расположился всем нам знакомый город Санкт-Петербург. Однако сколько бы мы с вами ни бродили по его проспектам и набережным, сколько бы ни вглядывались в силуэты прославленных дворцов и соборов, нам не удастся увидеть здесь то, что увидели герои этой книги — молодой человек Валерий (в будущем видный искусствовед) и красавица полуяпонка Настасья. Ибо у них двоих, как у всех истинно любящих, особое зрение, обостренный слух, нечеловеческая прозорливость, дар видеть, слышать и замечать то, чего не видят, не замечают все остальные люди.

Забегая вперед, можно отметить, что в тот момент, когда Валерий в конце концов отказывается от своей любви, мир вокруг него мгновенно тускнеет, исчезает волшебство, и ничто — ни сознание выполненного долга, ни пришедшая к нему известность — заменить этого не может. «Теперь, — признается Валерий, — я отличаю людей любящих и любимых от прочих, первым дано понимание мира».

Мир, такой, каким его видят путешественники по невским островам влюбленные — на речном трамвайчике, на катере, на ялике, на надувной резиновой лодке, на автобусе, пешком, — хранит в своей слоистой сущности события и персонажей ушедших эпох и, когда появляются достойные зрители, демонстрирует свои возможности, доставая все, что нужно, словно фокусник из пустого ящика.

Время от времени в районе островов появляется длинноволосый мужик с диким взором, одетый в драную окровавленную рубаху, в котором без труда узнается Григорий Распутин. На прогулке возле Новой Голландии влюбленная пара сталкивается мимоходом с грубым матросом, который оказывается знаменитым «матросом Железняком», украсившим палец краденым бриллиантом. На Крестовском острове навеки

поселилась тень последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Ведь именно здесь проходили когда-то его встречи с будущей Екатериной Великой.

На другом острове, называемом Овчим, в ночной мгле вырастает перед путниками «Подзорный дворец», возведенный Петром, со ступенями, уходящими прямо в воду, с таинственной карлицей, хранительницей царских покоев.

По невским волнам плывет удивительный железный остров, когда-то построенный англичанином Бердом по велению Петра Первого. На его палубе наши путешественники видят гуляющих среди железных деревьев четырех девушек и мальчика в матроске. Через мгновение их место займет сам отец семейства, царь Николай Второй, непринужденно беседующий с Матильдой Кшесинской.

Вблизи Пулковских высот, возле фонтана, сооруженного архитектором Тома де Томоном, собираются на водопой ведьмы — любительницы палиндромов, а где-то в Коломягах чухонка Марья Павловна разводит чудный сад, подозрительно смахивающий на райский.

Кроме призраков царственных и именитых острова невской дельты наводнены еще и духами вполне простонародными. В большом количестве здесь встречаются так называемые «переведенцы», «подкопщики», «деревенщина». Тени всех тех рыбаков, косцов, лесорубов, которые в давние времена заселяли побережье.

Окутанные вязкими речными туманами, заливаемые дождями, носимые ветрами вместе с охапками древесной листвы, островные призраки чувствуют себя в здешних краях вольготно. Неспроста автор предупреждает читателя:

«Предметы, все детали бытия архипелага Святого Петра, обратимы, неуловимы, исполнены колдовства, играют в множества, двоятся, троются, дробятся, сливаются, теряются то появляясь, то исчезая. Будьте внимательны на островах архипелага...»

Однако нам, живущим в так называемую эпоху технического прогресса, вряд ли грозит встреча с чем-либо подобным. Ибо у нас нет пропуска на острова, где чувствуют себя как дома Валерий и Настасья. Ведь любовь в нашей

сегодняшней литературе порядком выцвела, устремилась в сторону скабрезного анекдота или же холодных метафизических рассуждений.

Но автору «Архипелага Святого Петра» нет дела до того, что пишут и что исповедуют другие. У самой Натальи Галкиной хватило отваги рассказать о любви, преображающей мир, счастливой и горькой. И написать по-настоящему обаятельную книгу.

Галина КОРНИЛОВА.

\*

**МИЛОРАД ПАВИЧ. Ящик для письменных принадлежностей.** [Перевод с сербского Ларисы Савельевой]. СПб., «Азбука», 2000, 218 стр.

Нет, не оставляет ощущение *неполноценности* писателя Милорада Павича. «Ящик для письменных принадлежностей» — его новая повесть. Сюжет заранее задан и схематичен, даже схемы прилагаются; автор открывает один за другим ящички и выуживает предметы: судовой журнал, почтовые открытки, прядь волос, глиняную трубку...

Павич расхаживает среди плоских манекенов. Он не в состоянии их оживить и пытается ярко разодеть и надушить. Отсюда в повести внешний антураж: рецепты еды, нескончаемые запахи духов, если лизнуть ящик, он — вкуса морской воды, последний его хозяин был лишен запаха, и так до дурной бесконечности... Но это лишь подчеркивает поверхностность описания, уникальную бесплотность героев.

Текст художественно банален. Волосы черны, как вороново крыло. Серьги похожи на слезы. Сложно найти живое слово. Образы, юмор — все притянуто, все искусственно донельзя. «Эротизм» Павича по-тараканьи поспешный, пугливый, отталкивающий — хуже тупого порно...

Почти вся повесть заполнена клейкими рассуждениями. Судя по издательской аннотации, «читателю предстоит... пробиться к пониманию... глубинного смысла». Увы, метафизика напоминает занятия в школе для дефективных. Тончайшие области, требующие деликатного обращения, грубо препарированы. Повсеместно присутствует «штемпеле-

ванная мистика». Например, бесстыжие разглагольствования о душе, ее «органах», свойствах, их перечисление... Все это с прибауточками. Вот как опровергнута математика и доказана неисчислимость Бога: «А теперь подними вверх один палец и попробуй пересчитать единичность! Не выйдет. Единичность лишена всякого количества. Ее исчислить невозможно». Блистательно! Отдельной признательности заслуживают вздохи о времени и вечности. «Может быть, Время — это сила, которая движет телом, а Вечность — это горячее души?» Дивисься мужеству, с которым пишется такая пошлость. После Павича любой мистицизм вызовет аллергию.

Явно не к месту вставлены детали боснийского конфликта. Возможно, это и нелепо — «идейно» выводить писателя на чистую воду, но все же... Каковы мысли Павича? Гуманист? Экзистенциалист? Пацифист? Мизантроп, как Селин? Сербский патриот? Есть идеи? Только глубокомысленный вздор, шуточки и сентенции... «Страсть к жизни»<sup>1</sup>, — объясняет критик Драгина Рамадански. В итоге Павич воспринимается как Абсолютное Ничто. Сияясь угодить конъюнктуре, он вот-вот растворится в воздухе...

Павич оригинальничает. Часть текста представлена в виде электронного письма, часть — надиктована на пленку автоответчика. На одном из листков, затерявшихся в ящике, начертан адрес из Интернета, сулящий продолжение... Скверный анекдот. И это «продвинутая литература» двадцать первого века? Какая хрупкая провинциальность! Впору уж издавать постмодернистский журнал «Техника — старикам!». Болезненная заостренность на современных достижениях (компьютер, Интернет, автоответчик) не есть свежее веяние, прорыв или новаторское безрассудство. Это дышащая затхлостью боязнь оторваться от реальности. Нелепая сосредоточенность на новых чертах окружающего. Мелкое подхикивание: «И я с вами, с молодыми!» Жалко, недостойно, неадекватно.

Парень, выросший в компьютерных лучах, впитавший их с молоком матери, пользуется миром машин равнодушно и прохладно, воспринимает достижения техники естественно, как окружающую среду. Он сидит за своим компьютером, позевывает, роется в Интернете, а вокруг на ходулях вышагивает Павич и строит глазки...

Дабы оправдать свою «литературную провинцию», Павич претендует на нестандартность композиции. Заявляют: из-за него литература может разделиться на два направления — на традиционное и компьютерное. Оказывается, тексты Павича как-то особенно приспособлены к компьютерному пространству и превращаются в гипертексты. Разъясняя, критик Ясмينا Михайлович сравнивает произведения Павича с видеоигрой, «Пространство с виду не ограничено, так что создается иллюзия бесконечности»<sup>2</sup>. Это что, впервые такое? А Кафка, наконец? Критик продолжает: «Переходом с уровня на уровень, вперед-назад, влево-вправо решаются загадки и собираются сведения...» Ну возьмите хотя бы Фолкнера (к одному из американских изданий «Шума и ярости» был приложен указатель, помогающий ориентироваться в уровнях сюжета)... Что же это за революция Павича, а?..

Заметим в заключение: у него нашлась русская аудитория. Он вписался в социокультурный процесс. Плебейская псевдокультура душит часть молодежи, особенно девушек, каких-нибудь студенток РГГУ, приехавших из Владивостока и Ставрополя. Девушки трогательно плавают среди безвкусных посткомсомольских координат. А Милорад Павич навязывает им бижутерию. Они будут слушать убогие рок-песенки под гитарку о «смысле жизни» и млеть над сентенциями писателя...

И божж с вокзала, самобытный и рассудительный, будет выглядеть достойнее их?

Сергей ШАРГУНОВ.

<sup>1</sup> «Гомологон человеческой души», статья-приложение в книге Павича.

<sup>2</sup> «Павич и гипербеллетристика», тоже статья-приложение.

# КНИЖНАЯ ПОЛКА

## ПОЛКА АННЫ ФРУМКИНОЙ

+ 7

Оскар Уайльд. Афоризмы. Собрал Константин Душенко. М., «ЭКСМО-Пресс»; «ЭКСМО-МАРКЕТ», 2000, 240 стр. (Серия «Мастера афоризма»).

Сочетание удивительно изящного, даже изысканного (иллюстрации, расположение текста на странице) с массовым (ламинированная обложка etc.) в оформлении создает эффект, во многом свойственный и литературному материалу. Уайльд и сам, я думаю, прекрасно чувствовал это качество своих созданий. Недаром он ответил отказом на предложение антрепренера продать за приличную сумму (одну тысячу фунтов стерлингов) будущие доходы от пьесы «Веер леди Уиндермир» и предпочел получать отчисления от каждого грядущего представления.

В те минуты — вряд ли кто будет читать афоризмы запоем и подряд, — в те минуты, когда просматриваешь эти безмятежно светские тексты, начинаешь верить, что бывали (бывают) эпохи, когда консоли стояли высоко, когда толстый Суизин Форсайт на отличной гнедой четверке отправлялся в театр, чтобы увидеть представление, придуманное этим фрондером и фанфароном Оскаром Уайльдом.

Человеку нужны мгновения безмятежности. Вот сегодня же вечером ты — читательница Уайльда, — светская женщина приятно средних лет, высоко поднимешь хорошо, дорого и умеренно стандартно подстриженную голову, соберешь воедино имидж и макияж и поедешь на вернисаж с фуршетом в Музей Андрея Белого (в ту самую квартиру, где он размышлял о горестях любви, сидя на диване в черной бархатной полумаске) или в не слишком дорогое кафе на Потоповском под книжным магазином. Вполне можно рассчитывать, что и мужчины — читатели «Афоризмов» — могут оказаться на этом фуршете или вернисаже.

Уайльд в собрании К. Душенко — не только эликсир светскости. Цитаты из него могут пригодиться как эффектные слоганы для успешливых блестящих журналов типа «Лиза» или, наоборот, «Андрей», «Караван историй» и так далее. Например, для «Лизы»: «Никогда не надо дарить женщине то, чего она не сможет носить по вечерам»; для «Андрея»: «Мужчины мыслят. Женщинам только мыслится, что они мыслят». Есть слоган и для НТВ: «В Америке президент правит четыре года, а журналисты бессрочно».

Впрочем, жизненный, а не литературный юмор Уайльда был гораздо глубже и на удивление современнее. О рекламе первого издания «Баллады Редингской тюрьмы»: «Реклама в „Атенеуме“ превосходна. Так и чувствуешь себя чаем „Липтон“». Узнав, сколько будет стоить операция, тяжело больной Уайльд заметил: «По-видимому, мне придется умереть не по средствам» (и то и другое по записи друзей).

В последних разделах («Другие об Оскаре Уайльде») приводятся мнения известных людей о писателе («Я слушал гораздо более умелого рассказчика, чем я сам», — сказал Бернад Шюу.) В конце — список источников, из которых взяты собранные здесь афоризмы. Окончательно выясняется, что это не специально созданные мини-тексты типа афоризмов и максим Ларошфуко, Лихтенберга и Ривароля. Скажем, больше всего остроумия принадлежит персонажам светских пьес Уайльда, написанных с явной авторской иронией в отношении этих лиц и их реплик. Портрет Уайльда, получившийся из разнохарактерных материалов, заметно искажает пропорции оригинала. Но создан он с большой любовью.

Разделы «Мужчины и женщины», «Женские разговоры» и некоторые другие, повторю, невольно вызывают какие-то дамские литературные ассоциации. Оскар

Уайльд, пожалуй, единственный из знаменитых писателей был редактором женского журнала. Но вряд ли он полагал эту литературную поденщину интеллектуальным пьедесталом своей славы.

**Генрих Бёлль. Бешеный пес. Рассказы. Перевод с немецкого Е. Михелевич и Н. Бунина. М., «Текст», 2000, 189 стр. (Серия «Книги карманного формата»).**

Генрих Бёлль, лауреат Нобелевской премии 1972 года, знаменитый писатель, не нуждается в рекомендациях в нашей стране. В книжке помещены одиннадцать его ранних рассказов, которые до этого никогда не переводились на русский язык. Кто почему-либо не знает Бёлля — не с них начинать знакомиться.

Некоторые из рассказов в переработанном виде попали в более поздние произведения. Рассказ «Мост в Берково» (1948) был в 1951 году включен в роман «Где ты был, Адам?» в качестве 8-й главы. «Потерянный рай» породил два рассказа под общим названием «Ночь любви» и рассказ «Желоб на крыше», которые давно опубликованы. В этих ранних рассказах, подсвеченных только что ушедшей войной (годы написания — 1946 — 1951), уже есть не отпускающий ни на миг драматизм действия (в большинстве случаев оно развивается в течение нескольких часов), сосредоточенность на внутреннем нравственном колебании — решение ценой в жизнь, простые жесты, отслеженные как танец, простые слова... В общем, это уже интересно, это уже Бёлль, хотя и недостаточно (сравнительно с позднейшим) отточенный и совершенный.

Особняком стоит рассказ под названием «Пылающие». Герою шестнадцать лет. Автору, 1917 года рождения, — двадцать. Это предельно наивное сочинение глубоко верующего юноши в старом немецком романтическом духе. Но, безусловно, — уже *рассказ*. Стиль старинный, а герои такие же незаземленные, как у послевоенного Бёлля. 1937 год — в Германии той поры стилизация могла быть и защитной окраской, а не просто наивностью. Во всяком случае, путешествуя по реке, интересно увидеть ее исток, ее первый родник, пробивший окружающую глину.

Осознанный духовный подтекст обыденных решений, начатки мастерства, страшный опыт, накопленный в котле войны, плюс удача остаться в живых в разоренной Германии — все это предвестие, начало того Генриха Бёлля, которого мы любили. Хотелось бы, чтобы эту маленькую книжечку в мягкой обложке заметили и нашли, как мы, подсоветские читатели, искали и находили «Хлеб ранних лет» (русский перевод 1958 года) или «Долину грохочущих копыт» (1971) в еще более невзрачных изданиях.

**Дмитрий Шеваров. Жители травы. Рассказы. Эссе. Очерки. Литературные путешествия. М., «Воскресенье», 2000, 320 стр.**

Метелки травы — реденькие, бледно-охряные, слегка согнутые ветром — украшают переплет этой книги. И самые крупные буквы на нем достались не имени автора, а слову *травы* — «пшеница человеческая».

Автор книги — заметный журналист газет «Комсомольская правда», «Первое сентября» и других, журналов «Новый мир», «Смена», «Урал». Разделы книги — по жанрам: если про ежика — значит, рассказ, про фермера (эдакий Микула Селянинович, потомок бурлаков с восьмизарядным ружьем на изготовку) — значит, очерк, про Дельвига — значит, литературное путешествие; но идут они одним стилистическим потоком, имя которому — лирическое раздумье.

Книга населена детьми и друзьями автора, проводами и приездами, поездами и пароходами. Автор машет вслед чужим поездам, передвижениям чужой жизни и размышляет о своей...

Жизнь в этой книге неспешна и подробно. Помните, у Пастернака: «капнет и вслушается»... Смена ритма утихающего дождя, движение и блеск мокрой ветки сирени могли бы быть вполне константны для сюжетов прозы Шеварова.

С большим временем — с эпохой — у него странные взаимоотношения. Обжитое прошедшее, будь то шестидесятые годы или русский дворянский девятнадцатый век, — вот его главное отечество. И не стоит слишком уж задумываться, от Карамзина он идет или от Визбора. От Пруста или от Паустовского. Эпохи сосуществуют, они одновременны, утверждает Дмитрий Шеваров.

«Под сенью» — эссе. «При всей нашей среднестатистической дремучести мы в культурном и этическом смысле замыкаем карамзинскую эпоху. Еще вовсе не редки в нас сентиментальность и созерцательность, столь излишние ныне, — это, возможно, толчки наших каменеющих корней... В наших городах и поселках, построенных с умыслом запугать и запутать, в наших пригородах с печатью нищеты и разбоя, — здесь мы родились, но здесь мы чужие. А родные мы лишь улетевшим просторным домам с мезонинами и башнями, где мы никогда не жили, да аллеям и рощам, где мы никому так и не признались в любви».

«Минутная отрада»: «Однажды осенью... Еще ничего не сказано, а нам уже слышатся два вздоха и еще что-то протяжное, долгое. „Однажды... осенью...” Какое молчаливое пространство. И случай, возникший в этом пространстве неожиданно и кратко, будто ветка обломилась.

Потом нам вспомнится тот звук, тот промельк, тот случай, и мы вдруг ощутим в нем что-то иное, неслучайное...

И во всем этом промысел Божий».

«В счастье вообще нельзя упереться, его нельзя вырвать „в борьбе и в боях”. Счастье в ремарке, в паузе, в вечернем воздухе».

Я думаю, эта светлая пауза длиной в три сотни страниц будет приятна многим читателям. А в настоящее время газета «Труд» регулярно помещает заметки Шеварова под удивительной рубрикой «Добрые люди XX века».

**Вера Ефанова. Домой с черного хода. М., Издательство Н. Бочкаревой, 1999, 320 стр.**

Был ли безумен Амундсен, вновь и вновь отправляясь в ледяные поля? А Лингстон? А Нансен? А вся американская нация?

Со знаменитостями проще — они искали славы себе и стране, которая их послала. А их незначительные спутники — были ли они рассудительны? Между тем рассудительность, предусмотрительность, более того, мудрость и удача — необходимые качества путешественника в неизвестное. Он должен выжить, сохранить своих товарищей и выполнить свою задачу.

После такой преамбулы остается предположить, что Вера Ефанова описывает покорение Джомолунгмы. Да нет. Вера Ефанова, ничем не знаменитая русская женщина, — дворянка, вдова, которая с престарелой матерью и тремя дочками школьного возраста в 1954 году реэмигрировала из Тяньцзиня (Китай) в Советский Союз. До этого ее мать и она ребенком пережили (в Иркутске), в революцию и первые послереволюционные годы выселения, многочисленные аресты родных, угрозы расстрела (и выстрелы прямо у себя в квартире, на глазах детей и домочадцев), голод, безработицу, гибель деда-сенатора, отца, брата, выезд из Иркутска в Харбин...

Путешествие таких персонажей в Советский Союз даже и в 1954 году было не менее опасным, чем экспедиция в центр Антарктиды.

Отъезд из Тяньцзиня, на который наплывал коммунистический новый порядок, стал неизбежен, но направление не было жестко predetermined. Возможны были и Америка, и Европа, какая-то группа русских даже заняла с позволения местных властей необитаемый остров на Филиппинах.

Вера Ефанова решила вернуться на родину. *Из-за русского языка.* Для хорошо обеспеченной женщины с европейской деловой выучкой это решение было достаточно иррациональным. Деревенские на целине, куда была отправлена семья, сожалеюще качали головами и предрекали верную гибель бездомным и неприспособленным женщинам — от климата, от незнания порядков, от грабителей...

Зимой ее семья была уже в Красноярске, а через три года — в Подмоскowie, пока еще в холодной неблагоустроенной избушке. Но появился твердый и немалый заработок как у классного знатока нескольких языков и скорописи на пишущей машинке. Книга заканчивается тем днем, когда фамилия переводчицы Веры Ефановой впервые возникает в «Огоньке». Утром этого дня они с племянницей собирали сажу, бесконечной лентой плывущую из печки. Потом она надела парадный костюм по прозвищу «мундирчик» и поехала в Москву за гонораром.

Интересно следовать за умным и острым взглядом Веры Ефановой в знакомых и незнакомых нашему опыту мирах. Еще существеннее та энергия преодоления, которая проникает всю ее книгу и, будем надеяться, заразительна.

Книга издана не бог весть как — два-три читателя, и листочки уже вылетают. Когда я ее хвалю, знакомые глядят с некоторым недоверием. Где пресса? Не удивляйтесь очень-то. Где мода, там и пресса.

**Эдуард Бабаев. Воспоминания. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 336 стр.**

Эдуард Бабаев (1927 — 1996) известен многим филологам — читателям его книг о Толстом, Пушкине, Герцене, студентам МГУ, где он преподавал, сотрудникам Музея Л. Н. Толстого на Пречистенке, где он работал ученым секретарем. Широкой литературной публике приходилось встречаться с его именем в мемуарах и биографических книгах об Ахматовой, Цветаевой, Надежде Мандельштам... Обычно это были ссылки типа «Бабаев вспоминает, что...», «по словам Бабаева, это происходило так...». Теперь наконец-то мы видим перед собой эти воспоминания, написанные как отдельные рассказы.

Автор познакомился с Ахматовой и Надеждой Яковлевной Мандельштам в возрасте пятнадцати лет и бывал у них в гостях как знакомый и собеседник. Это было в Ташкенте во время войны.

«И прошло много лет. Мы встретились в Москве у Варвары Викторовны Шкловской. Стали вспоминать Ташкент и как-то напали на стихотворение „De profundis“...

Ахматова сказала:

— Это потерянные стихи.

— Как потерянные?

— Я не записала их. А потом не могла вспомнить.

А когда я прочел на память все стихотворение от начала до конца, она сказала:

— Как? Вы помните? С тех пор?

Я переписал все стихотворение набело и вручил его с поклоном автору.

— Царский подарок! — сказала Анна Ахматова. — Раз вы его сохранили, пусть ваш автограф останется в моем архиве.

...Стихотворение было впервые опубликовано В. М. Жирмунским.

Но записывание разрушает прелесть непосредственного общения. Нет, я никогда не вел дневника и ничего не записывал. Разве только то, что неизгладимо запечатлевалось в памяти».

Н. Я. Мандельштам доверяла ему хранить (спасать) чемодан с архивом О. Мандельштама, когда опасалась обыска в своем жилье или срочного помещения в больницу. С Берестовым и Георгием (Муром) Эфроном — он приехал в Ташкент после смерти матери — они затевали рукописный журнал «Улисс». У Чуковского, Шкловского, Пастернака, Эренбурга он (юношей) побывал со своими вопросами и письмами от друзей из Ташкента...

Живость изложения и очень точный этический и эстетический слух, присущий автору, делают рассказанные истории внутренне достоверными.

Несколько рассказов и стихотворений, помещенных в последней части книги и не связанных с литературными воспоминаниями, к сожалению, не так хороши.

**Исай Кузнецов. Все ушли... Воспоминания, сны, разговоры. М., «Крук», 2000, 352 стр.**

Исай Кузнецов, 1916 года рождения, — участник войны, известный сценарист (один и в соавторстве с А. Заком), драматург и прозаик.

Книга посвящена его матери, почти ровеснице Ахматовой, Цветаевой, Ларисы Рейснер и так далее, — женщине, ничем не знаменитой, матери троих детей. Она прекрасно пекла и готовила еврейские блюда: халу, фаршированную рыбу, цимес, кнейдлех, фарфелех, тейглех... По субботам она надевала черный кружевной платок и шла в синагогу или читала дома еврейские молитвы. Лиза (Лиечка) была не из местечка. Она всю жизнь прожила в Центральной России (Тула, Петербург, Москва) в хороших комнатах, среди людей образованных и не бедных.

Тем не менее все зовы и беды России этого века не обошли ее стороной.

Встреча с Толстым, знакомство с революционными кружками, тревожное ожидание мужа, участника Первой мировой войны, революция, реквизиции, арест и расстрел мужа в 1937 и 1938 годах, гибель сына на фронте, ожидание высылки евреев в Сибирь в 1952-м, диссидентство и уход в православие одного из внуков...

Исай Кузнецов возвел словесный памятник своей матери и когда-то жившим в России многим таким, как она. Как любящий сын и мастер, он построил хороший памятник. Но... в последней, очень короткой части своей книги «Кадиш» (поминальная молитва) у могилы матери он встречает кладбищенского старика Лейзера Кассирера. В его потрепанной тетрадке 367 могил. И дни, когда к ним надо приходиться. «Они оставляют мне деньги на поминание... Я прихожу и молюсь. Может быть, они тоже молятся в этот день, там у себя, в Израиле, Германии, Америке, Канаде, не знаю, где уж еще... А может, и не молятся. Кто из них знает лошен кейдеш? Вы знаете?»

Российские (бывшие советские) евреи *ушли* в новое рассеяние. Или в ассимиляцию. Или в другую обновленную религиозную жизнь. Без кружевного платка и разговоров на идиш. Но, возможно, и в нынешней России еще найдется больше чем 500 семей (тираж книги Кузнецова), которым она будет близка и дорога. Не говоря уже о тех, кто звонит, пишет, приезжает на прежнюю родину из мест рассеяния. Ведь и Израиль, глядя из России, где столько веков евреями прожито, — место рассеяния. И только глядя из всеобщей истории, он — место сбора.

**А. М. Песков. Павел I. М., «Молодая гвардия», 1999, 422 стр. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 764).**

«История — это свойство нашей психики, функция мышления, игра ума: это коллективная память, высказанная анекдотами очевидцев и мифами поколений».

Таковы вводные слова блистательной книги А. М. Пескова о Павле Первом.

«История начинается с завтрашней газеты — наша сегодняшняя жизнь будет переписана там по законам анекдота и мифа, представ вереницей одинаковых причин и следствий, симптомов и исходов... Читайте газеты, заменяйте имена и вещи на прошлые или будущие имена и вещи — и получите модель истории: то, что было *тогда*, — будет всегда». Но «каждый раз причина и следствие, симптомы и исходы располагаются в другой сюжетной последовательности, чем прежде. И необратимо переворачивается модель истории: то, что было *тогда*, выглядит *сейчас* иначе, чем *всегда*». И еще: «Биографии уже написаны: читайте Кобеко да Шильдера — см. список в конце книги. Портреты тоже есть — см. иллюстрации. Смысл этого жанра — сам жанр: игра анахронизмами своего и чужого слога плюс старые документы и новые комментарии к анекдотам очевидцев и мифам летописцев разной степени тавтологии и достоверности».

Из «старых документов», привлеченных Песковым, любопытен частный дневник Семена Порошина, одного из дежурных воспитателей маленького Павла, человека умного и доброжелательного, описывавшего будничную жизнь и характер мальчика день за днем в течение года, — за что в дальнейшем и был наказан удалением от двора в действующую армию.

Биография в первой своей части — «Царь» — описывает последние дни Екатерины II и царствование Павла вплоть до насильственной смерти. Вторая — «Царство» — посвящена ближайшим предшествующим перипетиям русской истории с 1725 по 1762 год. И наконец, третья часть — «Царевич» — охватывает 1764 — 1796 годы и кончается той сценой, коей продолжение нам было показано в



начале первой части. Такой вот порядок изложения — он сам по себе может быть отнесен к разряду «комментариев».

Богатые примечания занимательны даже как отдельное чтение, а в числе справочных разделов — *Указатель стран и городов, Родословная, Словарь* («сарынь на кичку», оказывается, означает «братва — на нос» — команда при захвате на абордаж лодки или струга).

Преамбула к примечаниям уведомляет, что «настоящее сочинение являетсявольной переделкой цикла анекдотов и фактов, изданных в свое время под названиями «7 ноября» («Дружба народов», 1993, № 11 — 12) и «Paul I-er, empereur de Russie, on le 7 novembre» (Paris, Fayard, 1996).

«7 ноября» было замечено прессой и многократно отрецензировано компетентными читателями — А. Н. Архангельским, А. С. Немзером, А. М. Турковым, Ж. Нива и другими. Судя по «признательности автора», все рецензии были положительными.

### -3

**Борис Соколов. Охота на Сталина, охота на Гитлера. Тайная борьба спецслужб. М., «Вече», 2000, 384 стр. (Серия «Военные тайны XX века»).**

При тираже 10 000 экземпляров и наличии в конце «Избранной библиографии» — в списке около 50 русских и 10 иноязычных источников — книга обнаруживает претензию быть как научной, так и популярной. Но обе эти опоры известного автора как-то прихрамывают. Сборник его детективных новелл как бы из реальной жизни середины века далек от захватывающей логики и жизненных подробностей тех мемуаров, которые он использует, — начиная с Лео Треппера и кончая Вальтером Шелленбергом.

В иных местах текст поражает беллетристическими красотами: «Его большие кристально чистые глаза под длинными ресницами вглядывались во встречных острым внимательным взором профессионального дознавателя» (о перебежчике — чекисте Люшкове), в других — фантастическими завихрениями: Соколов приводит выдуманный им текст речи Сталина к народу в случае неудавшегося на него покушения и ставит его в pendant подлинной речи Гитлера после покушения 1944 года. Ни то, ни другое покушение, по уверениям Соколова, *не могло* состояться ввиду идеальности охраны. Однако ж одно ведь состоялось. Положенную в научных и даже научно-популярных изданиях аргументированную полемику заменяют заведомо выигрышные для Соколова споры с безответными авторами — Д. Н. Медведевым, Н. В. Струтинским и другими участниками событий, писавшими свои художественные или документальные произведения под опекой органов безопасности разных стран.

Предмет споров — кого где убили-схоронили (будь то советский герой Н. Кузнецов или перебежчик ежовского периода Люшков) — равно не вдохновляет, ибо новых материалов нет. Есть новые толкования и досужие домыслы, например, сопоставляя анкетные данные и апологетический текст Д. Н. Медведева про партизанское прошлое Н. Кузнецова, автор приходит к удивительному выводу, что эталонный красавец, этот разнообразно талантливый и безудержно храбрый человек был импотент, стукач и сводник. То, что в тексте самого же Соколова противоречит таким выводам, он как-то умудрился обойти.

И наконец, даже начитанного в области популярного шпионоведения человека поражают оригинальностью сообщения о том, что Борис Садовской и, по предположению автора, Даниил Андреев были невольными фигурантами международной разведигры. Лев Книппер с женой должны были убить Гитлера в Москве... И много другого, такого же интересного. Не ясно только, зачем сообщено, что Леонид Андреев был незаконнорожденный. А был бы законный, Даниила не включили бы в провокационную игру?

**Искусство татуировки.** Санкт-Петербург, «Диамант», «Золотой век», 2000, 286 стр. («Книга в подарок». Популярное издание. Дополнительный тираж 10 000 экз.).

Какое-то количество таких подарков, стало быть, уже вручено. Кому? На переплете ясно показано кому — на переднем парочка полураздетых очень плотных молодых людей специфически современного вида — «бык» и его «телка». Оба довольно искусно изукрашены. Сзади на переплете атлет, сфотографированный со спины, — шея, почти не утолщаясь, переходит в бритую голову, и на затылке выведен устрашающий зигзаг. Ниже фотографии успокоительно-научная надпись: «Татуировка — это целая империя моды, со своим языком, стилем и законами. Она является неотъемлемой частью развития человеческой цивилизации». Внутри книга тоже наукообразна, тут и история, и психология, и география татуировок. Много интересных иллюстраций. И самый большой раздел — «Татуировки преступного мира». «В нашу задачу не входит систематизация всех встречающихся в преступном мире татуировок. Ознакомление читателя с некоторыми сюжетами, элементами и аббревиатурами поможет, возможно, предотвратить нанесение на тело понравившегося рисунка, который не следует наносить не посвященному в его скрытый смысл». «Б О Г — *был осужден государством; буду опять грабить; будь осторожен грабитель*»; «*Медальон с головой Иисуса Христа в терновом венце — месть предателям. Наносится только на груди*».

Подарочек-то, выходит, либо мастеру, кто накалывает, либо скорее тому, кто готовится в определенные круги. Или прямо на зону. Я думаю, что наши читатели не поторопятся покупать. Но отчего же «Библио-глобус» поторопился продавать? Мне кажется, это не коммерческий выбор. Это знак.

Вот она лежит располованная,  
Безнадежно мертвая страна, —  
Жалкой похабенью изрисованная  
Железобетонная стена.

*Д. Быков, «Сумерки империи».*

Эта страна — не мертвая. В книжные чертоги «Библио-глобуса» втекают и вытекают толпы людей. На улице они — просто прохожие, плотно одетые прохожие северной страны. А под этой непрозрачной скорлупой, возможно, иероглифы татуировки. Говорят, у нас каждый пятый — зек (или бывший зек), каждый третий — солдат. Татуировка в России — не метка поставангарда, не модный маскарад нынешнего времени, но знак самоутверждения подневольного существа, визитка голого человека. Если ее соскрести, остаются шрамы. Может, шрамы все-таки лучше?

**Сонник. Современный и дополненный.** Автор-составитель Д. В. Тоболкин. Харьков, «Фолио», 2000, 288 стр. (Серия «Домашняя библиотека»).

Представленный солидным издательством «Фолио», напечатавшим ранее для нас десятки книг, изысканных и интересных, «Сонник» имеет в приложении «Список использованной литературы», в которой собраны провидческие догадки Брюса, Калиостро, Мартина Задеки и других знаменитостей. Есть в этом списке «Новый <...> сонник» 1802 года, «Новый и полный сонник», изданный в 1902 году Сытиным, «Снотолкователь», приписываемый мусульманами ветхозаветному патриарху Иосифу, сыну Иакова, — Казань, 1901, и, наконец, «Православная энциклопедия снов» — М., «Транспорт», 1996.

Сны видят все — крестьяне и полководцы, продавщицы и естествоиспытатели. И все пытаются их толковать, как по прямому смыслу сюжета (великий Ломоносов поверил в сон о гибели своего отца в море во время рыбного промысла и не ошибся), так и по косвенным признакам. Оскар Уайльд писал (см. выше): «Каждый должен ходить к хиромантам хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно, а чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее». Знаменитый писатель не совсем прав относительно возмож-

ностей хиромантии — не так уж точно линии руки привязаны к событиям в течение определенного месяца. Зато применение сонника в домашнем прогнозировании незаменимо. Есть и вторая возможность. Допустим, вы едете отдыхать. Подмосковье непрестижно, да и недешево. Турция банальна. Канары дороги и тоже банальны. А если необитаемый остров? «Сонник» на острове вне конкуренции — там ведь нет телевизора, нет ежедневных увлекательных политанализов. А мы так к ним привыкли. Сможет ли данный «Сонник» выполнять эти функции — ведь «современный»?

*«Хоккей».* «Играть во сне в хоккей, забивать шайбы — значит, что вас может ждать разлад в семье, а холостому человеку — потеря невесты».

*«Офис».* «Посещать по делам какой-нибудь офис — такой сон может предвещать крупный проигрыш или потерю».

*«Автомат».* «Армейский автомат — символ опасности».

*«Автомобиль».* «...быть во сне в трамвае (??) — значит, вас могут ждать неприятные люди, трудные времена, разочарования».

Возможно, эти прогнозы не хуже тех, что дают политологи. Но нет. На необитаемый остров все-таки не берите. Лучше уж привыкайте каждый день переодеваться там к обеду. Оскар Уайльд рекомендует: «Если бы я очутился на острове и мои вещи были бы при мне, я бы всякий раз переодевался к обеду». Не забудьте вещи.



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИГИ



**Антология ивритской литературы.** Еврейская литература XIX — XX веков. Составители Х. Бар-Йосеф, З. Копельман. М., РГГУ, 2000, 631 стр., 3000 экз.

**Антология русского палиндрома.** Составление В. Рыбинской. М., «Гелиос АРВ», 2000, 5000 экз.

**Николай Болдырев.** Имена послов. Стихотворения. Челябинск. Студия «Единого», 2000, 56 стр.

Третья книга поэта, одного из плеяды современной «уральской волны».

**Константин Вагинов.** Стихотворения и поэмы. Томск, «Водолей», 2000, 192 стр., 1360 экз.

Самое полное на сегодня собрание стихотворных произведений Вагинова.

**Борис Виан.** Пена дней. Роман. Перевод с французского В. Е. Лапицкого. СПб., «Амфора», 2000, 203 стр., 8000 экз.

**Франсуа Вийон.** Баллада повешенного. Составитель Я. Р. Криворучкина. Предисловие О. Э. Мандельштама. СПб., «Кристалл», 2000, 496 стр., 10 000 экз.

**Вацлав Гавел.** Гостиница в горах. Перевод с чешского И. Безруковой. Составитель С. Скорвида. М., «МИК», 2000, 216 стр., 1000 экз.

В книгу вошли пьесы «Гостиница в горах», «Протест», «Мы выступаем», статьи, а также выступления Гавела уже в качестве президента Чехии.

**Витольд Гомбрович.** Порнография. Роман. Перевод с польского Ю. Чайникова. СПб., «Азбука», 2000, 224 стр., 10 000 экз.

**Г. Р. Державин.** Записки. 1743 — 1812. Полный текст. М., «Мысль», 2000, 334 стр., 5000 экз.

**Дон-Аминадо.** Поезд на третьем пути. М., «Вагриус», 2000, 380 стр., 5000 экз.

Переиздание мемуаров поэта-сатириконца и одного из самых популярных фельетонистов русской эмиграции Аминада Петровича Шполянского (1888 — 1957), снабженное развернутыми примечаниями и предисловием В. Коровина и подборкой иллюстраций из альбома «Серебряный век в фотографиях А. П. Боткина».

**Иван IV Грозный.** Сочинения. Предисловие Т. В. Чумакова. СПб., «Азбука», 2000, 246 стр., 10 000 экз.

Послания Андрею Курбскому, английской королеве Елизавете, шведскому королю Юхану, польскому королю Стефану Баторию и другие тексты.

**Исландские саги.** Перевод с древнеисландского, общая редакция, комментарии А. В. Циммерлинга. М., «Языки русской культуры», 2000, 648 стр., 1000 экз.

**В. Кёшен.** Смерть в Риме. Голуби в траве. Романы. Перевод с немецкого В. Де-векина, В. Станевич, К. Азадовского. СПб., «Лимбус-Пресс», 2000, 416 стр., 3000 экз.

**Анатолий Ким.** Онлирия. Роман. М., «Текст», 2000, 189 стр., 5000 экз.

Первая публикация романа состоялась в «Новом мире» (1995, № 3, 4).

**Редьярд Киплинг.** Сочинения в трех томах. М., «Радуга», 2000, 5000 экз. Том 1 — 528 стр. Том 2 — 608 стр. Том 3 — 576 стр.

**Генрих фон Клейст.** Обручение на Сан-Доминго. Драммы. Новеллы. Составитель, автор комментария А. Левинтон. Статья Н. Берковского. СПб., «Азбука», 2000, 443 стр., 10 000 экз.

В сборник вошли драма «Принц Фридрих Гомбургский» в переводе Бориса Пастернака и новеллы.

**Мария Варгас Льюса.** Город и псы. Роман. Перевод с испанского Д. Гарсия, Н. Трауберг. Предисловие, примечания К. Корконосенко. СПб., «Амфора», 2000, 381 стр., 6000 экз.

**Леонид Мартынов.** Дух творчества. Стихотворения. Поэмы. Составление Сухова-Мартынова. М., «Русская книга», 2000, 448 стр., 5000 экз.

**Андре Моруа.** Избранные сочинения. В 2-х томах. М., «Литература», «Тест-Симпл», 2000, 5500 экз.

Том 1. Молчаливый полковник Брэмбл. Разговорчивый доктор О'Грейди. Бернар Кене. Меип, или Освобождение. Письма незнакомке. Толстяки и худяки. 608 стр.

Том 2. Ариэль, или Жизнь Шелли. Новеллы. Литературные портреты. 640 стр.

**Огден Нэш.** Стихи. В переводах И. Комаровой. М., «Захаров», 2000, 93 стр., 3000 экз.

**Октавио Пас.** Освящение мига. Поэзия. Философская эссеистика. СПб., «Симпозиум», 2000, 411 стр., 4000 экз.

Собрание стихов, рассказов, эссе нобелевского лауреата, одного из самых знаменитых писателей Мексики.

**Сильвия Плат.** Стихи. В переводах В. Бетаки. М., «Захаров», 2000, 93 стр., 1000 экз.

**По одному шедевру от ста поэтов.** Старинный сборник японской поэзии VII — XIII веков. Предисловие, перевод со старояпонского, комментарии К. Е. Червко. Под редакцией В. П. Мазурика. Послесловие В. П. Мазурика. М., «Известия», «Путь России», 2000, 223 стр., 3000 экз.

**Прекрасны вы, берега Тавриды...** Крым в русской поэзии. Составление, предисловие, примечания В. Б. Коробова. М., 2000, 720 стр., 5000 экз.

Возможно, самая полная антология «крымской поэзии» — подборки стихов и отдельные стихотворения более чем двухсот русских поэтов, от Гаврилы Державина и Василия Капниста до Татьяны Бек и Евгения Бунимовича.

**Дина Рубина.** Один интеллигент уселся на дороге. Повести, рассказы. СПб., «Симпозиум», 2000, 413 стр., 5000 экз.

**Руфь Тамарина.** Новогодняя ночь. Стихотворения и поэма. Томск, «Водолей», 1999, 384 стр., 1000 экз.

Избранное за 60 лет работы поэта сложной и драматической судьбы, начинавшего вместе со Слуцким, Майоровым, Кульчицким, затем прошедшего сталинские лагеря (под некоторыми стихотворениями подпись: Кенгир). «Ни единой чашей не обнесли Тамарину на жизненном пути», — сказано Борисом Слуцким в статье 1975 года «Юнга с нашей бригадины», эта статья использована в качестве предисловия к нынешнему изданию.

**Юрий Трифонов.** Дом на набережной. Роман, дневники. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000, 608 стр., 7000 экз.

**Амос Тугуола.** Путешествие в город мертвых. Моя жизнь в Лесу Духов. Романы. Перевод с английского А. Кистяковского. СПб., «Амфора», 2000, 286 стр., 5000 экз.

Романы классика африканской литературы XX века нигерийца Амоса Тугуолы (1920 — 1997).

**И. Тюрин.** Письмо. Сборник поэзии и прозы. Издание составили и подготовили И. Медведева, Н. Тюрин. М., «Художественная литература», 2000, 302 стр., 1000 экз.

**Марк Харитонов.** Amoges novi. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 85 стр.

Любовная лирика в прозе известного прозаика, проиллюстрированная «матиссовской» графикой Галины Эдельман. Три текста: «Вспышки ночной грозы», «Бунт», «Песчинки между страниц».

**В. Ходасевич.** Тяжелая лира. Составление, предисловие С. Г. Бочарова. Комментарии И. З. Сурат, С. Г. Бочарова. М., «Панорама», 2000, 448 стр., 5000 экз.

**М. Элиаде.** Гадальщик на камешках. Новеллы. Перевод с румынского. СПб., «Азбука», 2000, 512 стр., 10 000 экз.

**Теодор В. Адорно.** Проблемы философии морали. Перевод с немецкого. М., «Республика», 2000, 239 стр., 5000 экз.

Первое издание на русском языке цикла лекций о проблемах морали, прочитанных философом в 1963 году.

**Александр Архангельский.** Александр I. М., «Вагриус», 2000, 576 стр., 7000 экз.

Монография, написанная известным литературным критиком, историком литературы и публицистом. Автор прослеживает несколько «линий» «жизненного сюжета Александра I: религиозно-политические, поведенческие, культурные. Параллели с современностью, подчас возникающие на страницах книги, порождены перекличкой очень далеких эпох, а не навязаны минувшему авторским замыслом» (из издательской аннотации). Главы из этой книги печатались в «Новом мире» (1995, № 10).

**Р. Барт.** Мифологии. Перевод с французского, вступительная статья, комментарии С. Н. Зенкина. М., Издательство им. Сабашниковых, 2000, 320 стр.

**Ж. Бодрийяр.** Символический обмен и смерть. Перевод, вступительная статья С. Н. Зенкина. М., «Добросвет», 2000, 389 стр.

Журнал намерен отрецензировать этот труд.

**В. П. Григорьев.** Будетлянин. М., «Языки русской культуры», 2000, 816 стр., 1500 экз.

Собрание работ специалиста по творчеству Хлебникова. «...автора интересуют лингвистические и лингвопоэтические аспекты проблемы... методология подходов к экспериментальным идеям Хлебникова... вопросы историографии... влияние Хлебникова на позднее творчество Мандельштама» и т. д. (из аннотации Н. Кочетковой в «Книжном обозрении»).

**С. Дудаков.** Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. Очерки. М., РГГУ, 2000, 640 стр., 1000 экз.

**Б. Ф. Егоров.** Аполлон Григорьев. М., «Молодая гвардия», 2000, 219 стр., 5000 экз.

Книга вышла в биографической серии «Жизнь замечательных людей».

**История и антиистория. Критика «Новой хронологии» академика А. Т. Фоменко.** М., «Языки русской культуры», 2000, 528 стр.

**Л. Кацис.** Русская эсхатология и русская литература. М., О.Г.И, 2000, 656 стр., 1000 экз.

Сборник работ современного исследователя,веряющего гармонию русской литературы (в данном случае поэтику начала века: тексты О. Мандельштама, М. Булгакова, Андрея Белого, М. Цветаевой и других) «алгеброй» идеологического инструментария нынешней культурологии, озабоченной проблемами «национальных менталитетов».

**Л. Ф. Кацис.** Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М., «Языки русской культуры», 2000, 776 стр.

**Клод Леви-Строс.** Путь масок. Перевод с французского, составление, вступительная статья, примечания А. Б. Островского. М., «Республика», 2000, 399 стр., 6000 экз.

**Константин Леонтьев.** Поздняя осень России. Составитель Д. М. Володихин. М., «Аграф», 2000, 336 стр., 2000 экз.

**А. А. Потебня.** Собрание трудов. Символ и миф в народной культуре. Составление, подготовка текстов, статья, комментарии А. Л. Топоркова. М., «Лабиринт», 2000, 480 стр., 2000 экз.

**А. С. Пушкин: pro et contra.** Личность и творчество Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Том 2. Составители В. М. Маркович, Г. Е. Потапова. Комментарии Г. Е. Потаповой. СПб., Издательство РХГИ, 2000, 703 стр., 2000 экз.

**Клод-Анри Роке.** Брейгель, или Мастерская сновидений. М., «Молодая гвардия», 2000, 298 стр., 5000 экз.

Книга современного художника о художнике прошлых веков, написанная как внутренний диалог.

**Русский журнал. 1997 — ...** Сборник. Редактор Борис Кузьминский. М., «Рудомино», 2000, 568 стр., 1000 экз.

Сборник «разнородных по стилистике и проблематике материалов», объединенных местом их первой публикации — сайтом «Русский Журнал» (<http://www.russ.ru>). Своеобразное «Избранное» одного из ведущих в русском литературном Интернете сайтов составили культурологическая и литературно-критическая эссеистика, публицистические и философские статьи, разного рода интервью и беседы. Среди авторов Андрей Левкин, Аркадий Драгомощенко, Вячеслав Курицын, Евгений Горный, Валерий Подорога, Сергей Гандлевский, Борис Дубин.

**Илья Фаликов.** Прозапростихи. М., «Новый ключ», 2000, 319 стр., 5000 экз.

Литературно-критическая эссеистика известного поэта и прозаика, сочетающая признаки лирической прозы с культурологическим очерком. Среди персонажей этой «густо заселенной» книги: Рейн, Евтушенко, Высоцкий, Чухонцев, Галковский, Шкляревский, Бродский, Окуджава, Дмитрий Быков, Пригов, Айги, Лев Лосев, Слуцкий, Борис Ръжый.

**Сато Хироаки.** Самураи: история и легенды. Перевод Р. В. Котенко. СПб., «Евразия», 1999, 416 стр., 5000 экз.

**Цветочки славного мессера святого Франциска и его братьев.** Перевод с раннеитальянского, предисловие, комментарии А. А. Клестова. СПб., «Журнал „Нева“», «Летний сад», 2000, 443 стр., 3000 экз.

Составитель Сергей Костырко.

### «НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Константин Вагинов. Стихотворения и поэмы.  
Александр Архангельский. Александр I.

## ПЕРИОДИКА



*«Византийский ангел», «Время МН», «Время новостей», «Даугава», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературные вести», «Логос», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Огонек», «Подъем», «Посев», «Пределы века», «Русская мысль», «Сегодня», «Юность»*

**Юрий Абызов.** «Лили Марлен» в оригинале и в переводах. — «Даугава». Литературно-художественный журнал. Рига, 2000, № 2, март — апрель.

«Две песни прошли сквозь всю войну: русская „Катюша“ и немецкая „Лили Марлен“...» Кроме немецкого оригинала приводятся русский (1943 года), латышский, английский переводы «Лили Марлен», вольная интерпретация ее Иосифом Бродским и, наконец, русский перевод, сделанный автором статьи.

**А. Арутюнов.** 1917 июль — октябрь: Ленин в подполье. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 7. Электронная почта: <http://www.webcenter.ru/~posevru>

Ильич в женском платье.

**Павел Басинский.** Монахи и резиденты, или Плохой хороший романист. — «Литературная газета», 2000, № 31, 2 — 8 августа. Электронная версия: <http://www.lgz.ru>

О романе Анатолия Азольского «Монахи» («Новый мир», 2000, № 6): «Большое преимущество Азольского перед большинством современных прозаиков — его невозможно не дочитать до конца. И видишь подноготную авторских приемов, а все-таки читаешь и читаешь про все эти „шпионские страсти“...» См. также интервью Анатолия Азольского «Советский электромонтер должен знать все!» («Книжное обозрение», 2000, № 31, 31 июля).

**Михаил Берг.** О статусе литературы. — «Дружба народов», 2000, № 7. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhbha>

О некоторых причинах, приведших сначала к появлению тенденций литературоцентризма (не только в России, но и в Америке и Европе), а затем к их исчезновению. Заслуживает внимания следующее — со ссылкой на мнение Пригова — наблюдение: «Актуальное искусство представляет модели игры, в которой инвестиции риска (как со стороны автора, так и потребителя искусства) способны обеспечить значительный выигрыш, а традиционное искусство соответствует моделям игры, где и риск, и выигрыш минимальны».

**Владимир Березин.** Идеальный враг. Образ таракана в массовом сознании. — «Ex libris НГ», 2000, № 31, 17 августа. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

Положительный зверь в массовой культуре теплокровен и мохнат, а зверь-враг есть совокупность хитина и какой-нибудь отвратительной жидкости, сочащейся из рта. Симпатяги малочисленны, гады плодovиты. Похожие наблюдения находим в другой (или той же самой) статье В. Березина «Зверье» («Октябрь», 2000, № 4).

**Сергей Болмат.** Сами по себе. Роман. — «Новая Юность», 2000, № 3 (42). Электронная версия: [http://www.infoart.ru/magazine/nov\\_yun](http://www.infoart.ru/magazine/nov_yun)

«Впервые на русском языке предпринята неудачная попытка найти язык адекватного разговора о современной действительности, создать ее поэтику, — пишет Глеб Шульпяков о романе сорокалетнего художника Сергея Болмата, с 1998 года живущего в Германии („Гондурас и горжетка” — „Ex libris НГ”, 2000, № 29). — Впервые автор пытается опозитизировать цивилизованную бытовуху, которая непозитична по определению. В конце концов, описывать огоньки на мобильном телефоне с придыханием — это ведь жутко провинциально. Огоньки, они для того, чтобы в темноте видеть — больше из них ничего не выжмешь, как ни крути...»

См. статью Андрея Строгого «Коммунальный улов» («Ex libris НГ», 2000, № 30, 10 августа) о том, как оживленно роман Болмата обсуждают в Сети (все ссылки есть по адресу: <http://www.russ.ru/krug/20000704.htm>). См. также отклик Сергея Костырко на роман Болмата в сентябрьском обзоре «Сетевой литературы» («Новый мир», 2000, № 9).

**Сергей Боровиков.** Степени узнавания. В русском жанре-17. — «Знамя», 2000, № 7. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

«Алексея [Николаевича] Толстого я начал читать, естественно, куда раньше, чем Булгакова, и, когда открыл второго, был поражен общностью этих двух писателей...» Эссеистические заметки Сергея Боровикова «В русском жанре-18» см. в октябрьском номере «Нового мира» за этот год.

**Леонид Бородин.** Два рассказа. — «Наш современник», 2000, № 8. Электронная версия: <http://read.at/nashsovr>

«Флюктуация» и «Рыбалка в Южной Англии» — рассказы известного прозаика. См. также его отклик на смерть Дмитрия Балашова («Летописец» — «День литературы», 2000, № 14, август) о том, что исторический пласт, поднятый его, Балашова, литературным даром, непосилен никому из ныне живущих писателей.

**Бульвар, товар, навар...** С идеологом современной русской бульварной журналистики писателем Игорем Дудинским беседует корреспондент Людмила Серова. — «Завтра», 2000, № 32, 8 августа. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Бульварные издания оппозиционны либеральным не политически, а экзистенциально...» См. также беседу Игоря Дудинского с Игорем Шевелевым «Бульварная пресса как литературный проект» в газете «Время МН» (2000, № 89, 20 июня).

**Василь Быков.** Катастрофа. С белорусского перевел Ванкарем Никифорович. — «Литературные вести». Газета Союза писателей Москвы и независимой ас-



социации писателей «Апрель». 2000, № 47, июнь — июль. Электронная версия: <http://www.infoport.ru>

«Казак — так звали на улице и во дворе этого лишь бы во что одетого человека, наверно, за его спортивные с ярко-красными лампасами штаны, которые он носил вот уже который год подряд...» Короткий рассказ датирован декабрем 1999 года. См. также беседу с прозаиком в рижском журнале «Даугава» (2000, № 2).

**Дмитрий Быков.** Аборт. — «Огонек», 2000, № 29, август. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«А между тем в двадцать третьем году Флоренский ставил ее (Марию Шкапскую. — А. В.) вровень с Цветаевой, выше Ахматовой. И здесь — как, впрочем, почти во всем — я склоняюсь перед его провидческой правотой...»

**Михаил Вербицкий.** «Народ, у которого есть пистолет...». Америка и ее ополченцы. — «Завтра», 2000, № 33, 15 августа.

«В последние 10 — 20 лет благодаря строчке из Декларации Независимости, провозглашающей право граждан обороняться против правительства посредством хорошо тренированных, хорошо вооруженных ополчений (*militia*), американские диссиденты и получили название ополчение... Большинство ополчений являются последователями бредово-параноидальных теорий, называемых американцами *conspiracy theories*. Впрочем, вера в теории заговоров (я буду пользоваться этой дурацкой русскоязычной калькой) свойственна не только ополчениям. Как любит отмечать Р. А. Вильсон (*R. A. Wilson*), по материалам опросов процент сотрудников ЦРУ, верящих в заговоры, такой же, как и процент верящих в заговоры читателей подпольных конспирологических журналов...»

**Андрей Воронцов.** Потаенная русская литература. — «Наш современник», 2000, № 7.

Наряду с советской и эмигрантской литературами — *русская потаенная*: воспоминания московского священника Сергея Сидорова, расстрелянного в 1937 году, и рассказы Евгения Алексеевича Гагарина.

**Гуманитарная мысль: светская или религиозная?** — «Знамя», 2000, № 7.

Вот как эту журнальную акцию (в рубрике «Конференц-зал») описал на страницах другого издания («Время МН», 2000, № 128, 12 августа) член редколлегии «Знамени» Александр Агеев: «У журнала „Знамя“ — либерального и светского — время от времени случаются „кризисы самоидентификации“. Ему как бы хочется понять, не слишком ли он закоснел на своей старомодной позиции, между тем как более продвинутые собратья устремились по разного рода „третьим путям“ к более авторитетным идеалам, нежели презренные права и свободы личности. Года не прошло после „Конференц-зала“ на тему „Христианство и культура“ (1999, № 10), как появляется нечто очень похожее. „На исходе XX столетия вновь, как и в начале века, стало актуальным размежевание внутри гуманитарной мысли — разделение ее на светскую и религиозную“, — говорится в редакционной преамбуле, и участникам „Конференц-зала“ предлагается „трезво осмыслить“ ситуацию. Грубо говоря, возможно, например, „религиозное литературоведение“ или это такая же чушь, как „пролетарская физика“? Гаспаров, Зенкин, Парамонов и Рейтблат — настоящие профессионалы, ученые-гуманитарии высшей пробы, первым делом высекли редакцию за некорректно поставленный вопрос... Резче всех отреагировал Борис Парамонов: „То, что этот вопрос — о возможности или даже необходимости христианской ориентации науки, хотя бы только гуманитарной, — вообще возник и всерьез обсуждается, есть знак острого культурного неблагополучия“. Валентин Непомнящий отделался коротким туманным эссе, завершая которое сказал возвышенно: „Входить в эту область — дело не теоретическое, это область жизни, область ее огня — и светящего, и греющего, и попадающего“. И только Ирина Роднянская отважно кинулась в бой, защищая правомерность постановки вопроса». На (культурно-неблагополучный) взгляд составителя «Периодики» ее выступление — самое глупое.

**Виктор Гушин.** Демократия приказала долго жить. Ей на смену приходят режимы стандартизированной прагмакратии. — «Независимая газета», 2000, № 153, 17 августа. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Речь идет не о России, где демократия, по мнению автора статьи, даже не успела родиться. Нет, умерла демократия как таковая, как форма власти и управления обществом; более того, превратилась в обузу, которая сдерживает общественно-политический и социально-экономический прогресс, обнаружив свою нетехнологичность, затратность и громоздкость. Цитирую: «В лоне демократии, лишь сохраняя ее внешнюю атрибутику, родилось и окрепло качественно новое общество услуг и потребления, в

основе которого лежит не идеология принятия принципиальных решений, а логика достижения конкретного результата. Я называю эту логику идеологией стандартизированной прагматики». Под занавес политолог отмечает, что рыночные реформы потому и не заладились в России, что их осуществляли демократическими методами, переставшими соответствовать потребностям эпохи и вызовам времени.

Ср. с мнением Славомира Мрожека из его новой книги «Дневник возвращения»: «Мы забрели в демократию так далеко, что возникают опасения, как бы мы не прошли ее насквозь и не оказались с другой стороны. Мы — то есть вся наша старая, почтенная цивилизация, к которой начали принадлежать и поляки» (цит. по журналу «Новая Польша», 2000, № 7-8).

Позволю себе циничное предположение, что классические демократические институты хорошо работают или работают вообще только при наличии устойчивых закулисных (в нейтральном значении слова) процедур, позволяющих представителям разных ветвей власти, разных партий, финансово-экономических групп и проч. согласовывать интересы вдали от глаз журналистов и избирателей (и это не какой-то досадный нарост на демократии, а ее необходимая часть, вроде скрытого под водой *киля* яхты).

**Детектив в рублевой зоне.** Беседу вела Елена Ланкина. — «Сегодня», 2000, № 171, 5 августа. Электронная версия: <http://www.segodnya.ru>

«Нарядите в юбку Михаила Леонтьева — и вы получите Юлию Латынину... Что Мишка, что я — мы оба — отморозенные либералы», — говорит о себе экономический журналист и автор экономических детективов Юлия Латынина, которая ведет ныне на НТВ экономическую передачу «Рублевая зона». О ее романе «Охота на изюбря» см. статью И. Роднянской «Свято место правее Чубайса?» («Новый мир», 1999, № 12). О ее фантастическом «вейском» цикле см. статью Аллы Марченко в настоящем номере «Нового мира».

**Евгений Евтушенко.** Человек со страниц Шаламова. — «Литературная газета», 2000, № 32-33, 9 — 15 августа.

Памяти Анатолия Жигулина (умер 6 августа на 71-м году жизни): «Если бы я был скульптором, именно с него я бы слепил Неизвестного Лагерника».

**Сергей Завьялов.** Русская поэзия начала XXI века. — «Дружба народов», 2000, № 8. Литературные мечтания о смене «исчерпавшей себя системы стихосложения».

**Ирина Завиша.** «Любовный треугольник» глазами Василия Аксенова. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Варшава, 2000, № 6 (10).

Василий Аксенов, преподающий русскую литературу американским студентам, отмечает в беседе с Ириной Завиша, что уж если говорить о подлинном интересе читающих книги американцев к какой-либо литературе, то это *произведения современных китайских авторов*.

**Игорь Зотов.** Россия на панелях. — «Ex libris НГ», 2000, № 30, 10 августа.

На VI Всемирном конгрессе славистов в Тампере (29 июля — 3 августа 2000 года) не было докладов о современной российской словесности *в контексте словесности мировой*: «Произведения Маканина, Евгения Попова, Пелевина, Сорокина разбирались на полном серьезе как социальные или даже политические явления, но никто толком не говорил об их языковых и композиционных слабостях. И никто — об их несомненной вторичности в сравнении с западными образцами. Эту мысль подтвердила мне в кулуарах и Галина Белая. Докладчики словно опасались исчезновения самого предмета разговора».

**Наталья Иванова.** Жизнь и смерть симулякра в России. — «Дружба народов», 2000, № 8.

«Не столько возможности постмодернизма исчерпались, сколько возможности авторов, „записавшихся“ в эту группу».

**Наталья Иванова.** «Меня упрекали во всем, кроме погоды...». Александр Исачевич об Иосифе Александровиче. — «Знамя», 2000, № 8.

«Статья („Новый мир“, 1999, № 12. — *А. В.*) — не только и не столько портрет Бродского, сколько автопортрет Солженицына. (Впрочем, оговорюсь, что солженицынскую „литературную коллекцию“ будет любопытно почитать подряд именно с целью понимания Солженицына — не для того же, чтобы с его помощью приблизить к себе творчество Липкина, Лисьянской, Светова и других, к которым Солженицын относится гораздо теплее и снисходительнее, если не любознее, чем к своему соседу по „нобелевке“)...»

Наталья Иванова обладает завидной способностью *чтения в сердцах*. Она видит, что акт «отстрела», как она характеризует статью Солженицына, вызван «подсознатель-

ным желанием отделаться от Бродского (в одном ряду? как нобелиат, изгнанник, „гений“, со своим „мифом“? — увольте)...». Ну, это случай простой, у Солженицына вся статья — о Бродском. Но вот эссе Александра Кушнера об Ахматовой («Новый мир», 2000, № 2), где о Бродском ни слова. Ни слова?! Это-то и подозрительно! Знаменскому критику глаза не отведешь — «и на Кушнера найдется Фрейд!» — она *видит* (см. ее полемический ответ Кушнеру в сентябрьском номере нашего журнала), что неназванный конкурент и есть главная мишень уязвленного питерца... Если бы составитель «Периодики» лучше относился к психоанализу, он бы тоже воскликнул: *какой материал для психоаналитика!* — но составитель «Периодики» к венским штучкам относится хуже некуда и ничего такого восклицать не намерен.

**Михаил Ильинский.** Раскроют ли тайны плащаницы? — «Время MN», 2000, № 129, 15 августа. Электронная версия: <http://www.vremyamn.ru>

Ткань Туринской Плащаницы соткана не между 1260 и 1390 годами, как нередко предполагалось ранее, а, как и следовало ожидать, более девятнадцати веков назад.

**Отар Иоселиани.** «Отношусь к деньгам, как обычно, — никак». Интервью брала Виктория Ганчикова. — «Новая газета», 2000, № 38, 14 — 20 августа. Электронная версия: <http://www.novayagazeta.ru>

«Когда он (кинематограф в России и в Грузии. — А. В.) возродится, нам будет уже за восемьдесят лет. Я не могу терять время и ждать, когда все это возродится, — надо работать». И далее: «Вот „французский подход“ к проблеме: сейчас нет гениев, но пусть огонь тлеет в отечественном очаге, только не гаснет, авось народится кто-то и начнет не на голом месте». Подход, замечу, столь же французский, сколь и новоязский.

**Юрий Каграманов.** О свастике, что завертелась в другую сторону. — «Дружба народов», 2000, № 6.

О коллективном сборнике «Расовый смысл русской идеи» (вып. 1. М., 1999), который по замыслу составителей является ни больше ни меньше как *первым концептуальным изложением русской расовой теории*: «Это подогретое вчерашнее блюдо немецкой кухни... может вызвать ироническую усмешку или безразличие или то и другое вместе, но, как это ни печально, оно, судя по многим признакам, соответствует вкусам растущего числа наших соотечественников», — констатирует Каграманов.

**Лилия Китаева.** «Пиковая дама» — сбывшееся пророчество. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 8.

Демон игры.

**Президент Уильям Дж. Клинтон.** Текст речи [на съезде демократической партии в Лос-Анджелесе], подготовленный для печати. — «Коммерсантъ», 2000, 16 августа. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«И пусть вам никто не рассказывает, что все дети не могут учиться или что наши публичные школы не способны ничему научить. Способны!»

**Джозеф Конрад: между мирами.** — «Иностранная литература», 2000, № 7. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Рубрика «Литературный гид»: письма и сочинения Дж. Конрада и разнообразные материалы о нем.

**Сергей Константинов.** Силовой вариант не был единственным. — «Независимая газета», 2000, № 143, 3 августа.

«Оккупация» Прибалтики 1940 года как продукт политического мифотворчества: «В конце 30-х — начале 40-х годов вся, подчеркиваем, вся Европа, а не только СССР и Германия, жила по законам джунглей...» Среди прочего: эстонский историк Магнус Ильмярв разыскал в Москве документы, (будто бы) свидетельствующие о том, что все три президента прибалтийских стран не только были платными агентами советских спецслужб, но и пришли к единоличной власти при непосредственной помощи и поддержке СССР (подробнее об этом в «Независимой газете», 1999, № 167, 9 сентября).

**Зоя Крахмальникова.** Красота креста. — «Независимая газета», 2000, № 155, 19 августа.

«Вместо огромного дворца (храм Христа Спасителя. — А. В.) можно было построить десятки богаделен и больниц для престарелых, приютов для бомжей, беспризорных и нищих». Тут Зоя Крахмальникова демонстрирует совершенно фантастические представления об окружающей действительности. Как если бы пять лет назад лежала невеста откуда взявшаяся куча не востребованных денег, а мудрецы решали, восстановить на эти деньги один большой храм или открыть много богаделен. Даже школьнику по-

нятно, что если бы тогда *не* решили восстановить храм (а это проект такого рода, что, начав, уже нельзя не закончить), то у нас все равно не было бы ни чаемых богаделен, ни приютов, но и Храма бы не было.

**Павел Кузьменко.** Витковский — делатель царей. — «Ex libris НГ», 2000, № 29, 3 августа.

«За основу сюжета (трехтомного романа переводчика Евгения Витковского „Павел II“, Харьков — Москва, 2000, 1311 стр. — А. В.) берется легенда о том, что Александр I не умер в 1825 году, а ушел в неги под именем старца Федора Кузьмича. Старец дал жизнь тайной „старшей ветви Романовых“, и его праправнук Павел, учитель из Свердловска, в итоге становится в 1982 году императором Павлом II. Происходит все это при деятельном участии американской разведки... По размаху иронического полотна, по мастерству исполнения, по остроумным придумкам роман Витковского вполне могла бы ждать слава бессмертной дилогии Ильфа и Петрова, будь „Павел II“ написан и издан тогда, когда задумывался, — 20 лет назад. Ну а сейчас, увы, его ждет слишком большая конкуренция. На рынке альтернативной истории — в частности».

**Виталий Куренной.** Целлулоидный Апокалипсис. — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.ruthenia.ru/logos>

Занимательный анализ эсхатологической тематики в американском кино на рубеже тысячелетий. Тут же — статья Александра Сосланда «Удовольствие от апокалипсиса».

**Александр Кушнер.** «Как ни страшна жизнь, поэзия в ней всегда присутствует». Беседовал Андрей Дмитриев (Харьков). — «Византийский ангел», 2000, № 5.

«У меня очень сложное отношение к этому фильму („Хрусталеv, машину!“). — А. В.). Говорят, что он гениальный. И это, возможно, так. Я в ужасе от него. Это, конечно, здорово, но это так страшно! Ни одного просвета. Это сплошной мрак. Это как если бы меня поселили в картину Босха — и вот мне нужно было бы там, среди этих калек, страшилищ, чудищ, кувыркатся. Я жил в то время, о котором говорит Герман. Я его помню, потому что в 53-м году мне было 16 лет. И, разумеется, это было страшное время... Но мне кажется, что в фильме хоть птица должна пролететь. Понимаете? Хотя ребенок должен появиться с каким-то нормальным человеческим лицом. Может быть, какая-то книжка должна на полке стоять: не знаю, Тютчев, Фет, Пушкин, кто угодно... Дерево, может быть, должно прошуметь, — так, чтоб мы очнулись от этого ужаса. Ничего этого в фильме нет. Есть только кошмар. Крик и истерика... И может быть, здесь нарушены некоторые законы искусства (см. как раз об этом статью Дмитрия Быкова „Герман *versus* Михалков“ в июньском номере „Искусства кино“ за этот год. — А. В.)».

Тут же можно прочесть рассказ Владимира Тучкова «Защитник русского секса», воспоминания В. В. Ефимова о встречах с Маяковским, а также стихи и прозу авторов, живущих в/на Украине. Этот номер украинского литературного журнала, в отличие от четырех предыдущих, существует только в электронной версии: [http://home.germany.net/web\\_master/viangel20.htm](http://home.germany.net/web_master/viangel20.htm) (зеркало: <http://angel.top.ms>).

**Сергей Ларин.** Одинокий охотник. — «Новая Польша», Варшава, 2000, № 7-8 (11). Рышард Капусцинский глазами его переводчика.

**Лев Семенович.** — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 7. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Рубрика «Разговоры современников». Лев Семенович — это поэт Рубинштейн, с которым беседует Надежда Григорьева. «Библиотека (Рубинштейн работал некогда в библиотеке. — А. В.) — это хоть и не банк, но все же вещь накопительная по отношению к культуре. Но дело не столько в библиотеке, сколько в библиотечном каталоге, который для меня является наиболее существенным. Некое количество ящиков с карточками, которые являются библиотекой в очень сжатом виде... Именно эта сторона библиотечного учреждения меня и вдохновляла. Это не было разрушение — это была замена книги ее библиографическим описанием. При том, что культура перенасыщена, маленькая цитата, или название, или аннотация — безусловно, заменяет книгу, которая уже не выдерживает собственного груза».

Из собственного библиотечного опыта составитель «Периодики» вынес, что книги могут быть разные (умные и глупые, талантливые и бездарные, честные и подлые), но для каждой должно найтись место на библиотечных стеллажах и каждая должна быть адекватно описана.

*О смешном:* в списке сигнальных экземпляров в «Книжном обозрении» (2000, № 22, 29 мая) поэтическая книга Льва Рубинштейна «Домашнее музицирование» (М., «Новое литературное обозрение», 2000) значится не в отделе художественной литературы, а в отделе искусства. Логика железная: о каком же еще музицировании может писать человек с фамилией Рубинштейн?

**Сергей Малахов.** Скромное обаяние расизма. — «Знамя», 2000, № 6.

«Можно бесконечно иронизировать над политической корректностью, изобличая ее лицемерность или указывая на очевидную коичность профессиональных борцов с *hate speech*. Но сколь бы уязвимой для критики политикорректность ни была, она принесла очевидные результаты. Быть заподозренным в расистских предрассудках — зазорно... Такие кажущиеся нашей публике смехотворными заповеди политкорректности, как негласный запрет называть чернокожих неграми или выходцев из Азии азиатами, на поверку вовсе не беспредметны. Дело в том, что слова — это отложившиеся в дискурсе формулы, способы освоения и организации социальной реальности...»

Именно: организация социальной реальности... Неприятие *political correctness* оправдано тем, что политкорректность (кстати, возможен и другой перевод — политическая *правильность*) не то, чем она кажется. *Political correctness* лицемерна не потому, что политкорректный индивид говорит вслух: «афроамериканец», а думает: «все равно негр», а потому, что она защищает не всех. Защита не поддежат белые здоровые гетеросексуальные мужчины христианского вероисповедания, хотя эту группу тоже можно рассматривать как одно из «меньшинств» американского общества. И это не случайное упущение, а суть политической корректности/правильности.

**Ирина Медведева, Татьяна Шишова.** Наше новое образование. (Уроки для взрослых). — «Наш современник», 2000, № 8.

В частности о том, что в 1996 году Клинтон подписал закон, который поставил крест на обучении американских школьников «безопасному сексу», теперь казенные деньги (по 50 млн. долларов каждый год) выделяются только на пропаганду *воздержания от секса вне брака*. Конгресс, разработавший этот закон, пришел к выводу, что воздержание от сексуальной активности является единственным способом избежать болезней, передаваемых половым путем.

**Александр Морозов.** «Новый курс» и Московская Патриархия. — «НГ-Религии», 2000, № 15, 9 августа. Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

«Два рыхлых мировоззрения — „коммуно-консервативное“ и „демократическое“, которые господствовали в 90-е годы, уходят в прошлое. Уходят с исторической сцены поколения советской инженерно-технической, гуманитарной и партийной интеллигенции, которые были их носителями и пропагандистами... Российскому общественному сознанию постелеельцинской эпохи предстоит самоопределяться по обычной европейской оси либералы — консерваторы... Новому русскому либерализму предстоит оторваться от материнской груди антикоммунизма. Не менее важным является и то, что сегодня либерализм в мировом масштабе, пройдя от французской революции до постмодернизма, находится в очень проблемной фазе... Расцвет рационалистического прогрессизма далеко позади, и внутри либерального мышления вновь встает вопрос о том, чем легитимизированы ценности, на которых основано общество. Это заставляет либерализм по-новому самоопределяться по отношению к вере и Церкви. Перед русским консерватизмом стоят не менее сложные задачи. Имея за спиной очень слабую и двойственную традицию консервативной мысли в XIX — начале XX века, с одной стороны, и сталинизм — с другой, крайне сложно обосновать заново этику государства, присяги, общественных обязательств, моральных ценностей, которые не являются следствием простой конвенции. Сложность и в том, что русский консерватизм не может обойти стороной православие. Но что может сегодня церковная мысль предложить для либерально-консервативного синтеза, в котором нуждается новая политическая философия России?...»

**Андрей Немзер.** Волга не впадает в Белое море. — «Время новостей», 2000, № 98, 8 августа. Электронная версия: <http://www.vremya.ru>

Вышел сборник статей ученых разных профилей — лингвистов, историков, археологов, астрономов, математиков — «История и антиистория» (М., «Языки русской культуры»), посвященный критике «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко. О присутствии в сборнике полемических статей самого академика Андрей Немзер отзывался так: «Оно, конечно, весьма „корректно“ и благородно — пусть, дескать, читатель сам разберется, — да только, простите, глупо. Если „вне науки“, если полемика невозможна (а в этом было время убедиться), то демонстрация собственной толерантности и почтения к „чужому мнению“ превращается в потворство злу и глумление как над наукой, так и над собой».

См. также рецензию Андрея Немзера «Хорошо информированный пессимист» («Время новостей», 2000, № 94, 2 августа) о новой книге Тимура Кибирова «Юбилей лирического героя» (М., «Проект О.Г.И.», 2000).

**Валентин Николаев.** Польский вопрос. — «Завтра», 2000, № 31, 1 августа. Спор славян между собою с русской точки зрения.

**Вл. Новиков.** Сентиментальный дискурс. Роман с языком. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 7, 8.

«Когда там — по-литературному — кончается юность? В двадцать один? Ну, а я в двадцать два только родился...»

**Владимир Огнев.** Амнистия таланту. Близки памяти. — «Знамя», 2000, № 8.

«Помню, как он (В. Н. Ильин, генерал-чекист, оргсекретарь Московской писательской организации. — *А. В.*) достал для Окуджавы фотографию его отца из секретного архива, как искренне был обижен, что Булат якобы забыл фото на столике в ресторане. Помню, как он умолял нас со Слуцким уговорить Коржавина не эмигрировать, как мы с Борисом его почти уговорили. Но на следующий день переуговорила его жена. Ильин качал головой: „Ну что он там будет делать! Он же не такой...“ „Не такой“ — в устах генерала КГБ многое значило...» См. другую главу из той же мемуарной книги В. Огнева — «Эренбург. Несколько штрихов» («Вопросы литературы», 2000, № 4).

**Дмитрий Ольшанский.** Былое и думы. — «Сегодня», 2000, № 167, 1 августа.

Отклик на книгу Александра Жолковского «Мемуарные виньетки и другие *non-fiction*» (М., 2000): «Когда читаешь „виньетки“ Жолковского, становится ясно: как бы ни мутировали представления об актуальном и модном, все самое интересное на свете случилось в глубине шестидесятых». См. также интервью Александра Жолковского «Авторство — вещь нескромная» («Коммерсантъ», 2000, № 141, 3 августа).

**Ричард Пайпс.** «Не бывает экономической свободы без правового государства». Интервью брал Борис Соколов. — «Известия», 2000, № 147, 9 августа. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

«Мужественную хрипотцу гласу Пайпса сообщает его потрясающий, несравненный апломб, с которым может сравниться лишь его удивительное невежество» — так об этой огромной публикации высказался философ Сергей Земляной в подробной полемической статье «Невежество как демоническая сила. Ричард Пайпс в роли странствующего политического проповедника» (<http://russ.ru/politics/polemics>).

**Переписка Сергея Крикорьяна с Анатолием Кузнецовым, 1969 — 1972.** Вступительная заметка Я. Гордина. Публикация и послесловие Сергея Крикорьяна. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 7.

Эмоциональные письма Анатолия Васильевича Кузнецова (1929 — 1979) свидетельствуют о нарастающем душевном и творческом кризисе писателя-невозвращенца, попавшего на Запад уже сложенным своим сотрудничеством с КГБ и не сумевшего вписаться в новую жизнь.

**Георгий Подгурский — Анна Мурникова.** Переписка военных лет. Публикация и вступительная статья С. Мазура. Подготовка текста и примечания С. Мазура и Б. Равдина. — «Даугава». Литературно-художественный журнал. Рига, 2000, № 2, март — апрель.

Часть эпистолярного наследия будущего наставника Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины о. Георгия Михайловича Подгурского — его переписка с невестой 1939 — 1943 годов.

**Аркадий Попов.** «Мифы думают людьми», или Семь вопросов о Чеченской войне. — «Дружба народов», 2000, № 8.

Семь вопросов: зачем воюем? имеем ли право? оправданны ли средства? откуда корни? кто виноват? что делать? кого слушать? Право — имеем. Слушать — уж только не Андре Глюксмана. Пожалуй, лучшая из прочитанных мной статей о чеченской войне.

**Мария Ремизова.** Руси есть веселие питие. Образ человека пьющего в современной прозе. — «Независимая газета», 2000, № 143, 3 августа.

Деревенский житель, герой маленькой повести Михаила Тарковского «Ложка супа» («Новый мир», 2000, № 7), «впадает в свои запои как поэт, пораженный величием мира, как поэт, не умеющий найти иного способа дать разрядку переполняющему его напряжению».

**Вячеслав Саватеев.** В силовом поле «Тихого Дона». Михаил Шолохов и послевоенная проза: сближения и несходства. — «Литературная Россия», 2000, № 31, 4 августа. Электронная версия: <http://www.litrossia.ru>

Сопоставив «Тихий Дон» и «Другие берега», исследователь еще раз доказал, что сопоставить можно что угодно с чем угодно.

**Сантиметры свободы.** Беседовал Владимир Березин. — «Ex libris НГ», 2000, № 30, 10 августа.

Беседа с профессором Петербургского университета Борисом Николаевичем Миرونвым о его двухтомной работе «Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.)», вызвавшей большой резонанс не только в России, но и за рубежом. См. об этом материалы «круглого стола» российских и зарубежных исследователей под названием «Личная история. От клиометрии до клиотерапии» в том же номере газеты; полностью они будут напечатаны в журнале «Отечественная история» (2000, № 6; 2001, № 1). См. об этой книге Б. Н. Миронова подробную рецензию М. Карпачева в «Новом мире» (2000, № 6).

**Сила НТС — моральный авторитет.** С Валерием Сендеровым беседует Андрей Окулов. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 7.

«Существует клише, повторяемое в изданиях, писавших о диссидентском движении: в конце семидесятых все были арестованы. Тут есть оговорка — оставался „второй эшелон“, который тогда нужно было пустить в дело. Не дело солдата подниматься во весь рост, чтобы его убили, но необходимо занимать передние окопы, когда они опустели. Надо было пойти на арест, чтобы показать, что сопротивление в России не только было, но есть и будет», — вспоминает Валерий Сендеров (номер журнала посвящен 70-летию Народно-Трудового Союза российских солидаристов).

**Майкл Скаммелл.** Переводя Набокова, или Сотрудничество по переписке. Перевод с английского Сергея Ильина. — «Иностранная литература», 2000, № 7.

В 1962 году Майкл Скаммелл, еще только начинавший карьеру переводчика, познакомился в Нью-Йорке с Набоковым. Скаммелловские переводы «Дара» и «Защиты Лужина» стали итогом совместных усилий, осуществлявшихся целиком и полностью по переписке.

**Алексей Слаповский.** «Москва — такая же мифологема, как и Саратов». Беседа вели Екатерина Селезнева и Евгений Лесин. — «Книжное обозрение», 2000, № 32, 7 августа.

«То, что я люблю у себя больше всего, — это не те романы, которые я про себя называю „букеровскими“, а те рассказы — их около сотни, — которые вошли в „Библиотеку для тех, кто не любит читать“ („Книга для тех, кто не любит читать“ — М., „Грантъ“, 1999. — А. В.). Это единственное, что я сам у себя иногда перечитываю».

**Максим Соколов.** Какой святой нам нужен? — «Известия», 2000, № 153, 17 августа.

«Как же можно решать, какому святому молиться, не спросив предварительно прогрессивную общественность? — мракобесие получится».

Об этом пишет и Андрей Немзер («Будь каждый при своем» — «Время новостей», 2000, № 103, 15 августа). «В том, что император Николай II канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, нет ничего удивительного. Сумму причин можно свести к сакраментальному „к тому шло“. Удивления достойно иное — азарт, с которым обсуждалось грядущее решение Собора. Изъяны в нем изыскивали и обсуждали люди, часто крайне далекие от церковных стен. Не скрывающие своего атеизма. Между тем атеисту (равно католику, мусульманину, иудею, буддисту) в принципе не должно быть дела до того, кого именно прославляет некое стороннее ему сообщество... Всякая канонизация до определенной степени условна (не все святые прославлены, не все прославленные святые). Всякая канонизация в какой-то мере отвечает запросам общества (долгое время все общество было церковным)... То, что атеисту кажется политиканством, для церковного человека — напряженная проблема. Не снимаемая сколь угодно вескими аргументами... Только спорить об этом могут (и должны!) люди, верующие во Христа и его Церковь, стремящиеся оградить ее от „злобы дня“, ищущие истины внутри храма. Для остальных в силе пословица: „Не твоя печаль — чужих детей качать“...»

**Моника Спивак.** Маяковский в Институте мозга. — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 3.

В Государственном институте мозга (ГИМ) было отделение (Пантеон), занимавшееся собиранием и исследованием мозгов «выдающихся деятелей Советского Союза», начиная с мозга Ленина. В задачу Пантеона входило также собирание всевозможных материалов, характеризующих личность умершего. Такой характерологический очерк о Маяковском воспроизводится с небольшими сокращениями по машинописи, приобретенной у дочери ученого Г. И. Полякова Мемориальной квартирой Андрея Белого (отдел Государственного музея А. С. Пушкина). «К танцам никакого влечения М. не имел. Однако в последние годы жизни женщины, которыми М. интересовался, научили его танцевать фокстрот и т. п.»

**Ежи Стемповский.** Поляки в романах Достоевского. — «Новая Польша», Варшава, 2000, № 7-8 (11).

«Утверждение, что Достоевский был ксенофобом и потому описывал всех иностранцев, в том числе и поляков, с ненавистью, слишком неконкретно и не вполне поддается обоснованию».

**Татьяна Тайганова.** Роман в рубище. — «Дружба народов», 2000, № 6.

О том, что «Дурочка» Светланы Василенко («Новый мир», 1998, № 11; М., «Вагриус», 2000) есть *жест сильный и яркий в такой же мере, как и авральный*. А вообще редко какой современный роман (если он не написан Маканиным) удостаивается отдельной статьи в толстом журнале.

**Александр Твардовский.** Рабочие тетради 60-х годов. Предисловие Юрия Буртина. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. Подготовка текста Ю. Г. Буртина и О. А. Твардовской. Примечания Ю. Г. Буртина и В. А. Твардовской. — «Знамя», 2000, № 6, 7, 9, продолжение следует.

«26.IX.62. ...Вообще эти люди, все эти Данины, Анны Самойловны (А. С. Берзер, зав. отделом прозы. — А. В.) и <нрзб.> вовсе не так уж меня самого любят и принимают, но я им нужен как некая влиятельная фигура, а все их истинные симпатии там — в Пастернаке, Гроссмане (с которым опять волынка по поводу заглавия очерка) и т. п. — Этого не следует забывать. Я сам люблю обличать и вольнодумствовать, но, извините, отдельно, а не в унисон с этими людьми».

«17.XI.62. ...Нету у меня в редакции человека, для которого ж<урна>л был бы главной заботой, интересом его жизни, которого бы снабжал и советами, и помощью, и всей моей редакторской работой, но которому не я бы напоминал, не я бы писал деловые бумаги и т. п. (тот же проспект!), а наоборот бы!»

См. также записи А. Т. Твардовского 1944 — 1945 годов («Дружба народов», 2000, № 6).

**Теневая Россия.** Рассказы о нелегальной экономике. Предисловие Игоря Клямкина и Льва Тимофеева. — «Знамя», 2000, № 8, 9.

«Теневая Россия» — так называется исследование, которое недавно закончил Центр по изучению нелегальной экономической деятельности (РГГУ). По просьбе Игоря Клямкина и Льва Тимофеева обычные российские граждане рассказывают о своей невидимой, теневой, экономической жизни.

**Юлиан Тувим.** Четверостишие в работе. Перевел с польского Асар Эппель. — «Новая Польша», Варшава, 2000, № 6 (10).

Статья 1934 года о том, с какими муками Тувим пытался перевести на польский первые четыре строки «Руслана и Людмилы».

**Людмила Улицкая.** «Творец знал, что делал». Беседовала Инесса Ципоркина. — «Книжное обозрение», 2000, № 33, 14 августа.

«Мне 56 лет, я в семье самая старшая, по биологическим законам следующая очередь умирать моя. Сегодня мне кажется, что у меня нет страха. Хотя заранее ничего утверждать нельзя».

**Н. Ульянов.** Литературная слава. — «Юность», 2000, № 5.

Ни биографической справки, ни даты под статьей, ни источника, так что название рубрики «Возвращенное имя» звучит как издевательство. (На самом деле эта статья писателя-эмигранта датирована 1967 годом, см. его нью-йоркский сборник «Диптих». К тому же в публикации дважды — из принципа? из экономии? — пропущены авторские пробелы со звездочками.)

**Уход от преследования собак.** — «Пределы века». Ежедневная общественная православная газета. Издаётся с августа 2000 года. И. о. главного редактора И. П. Василюк. 2000/7508 (так! — А. В.), № 1, 1 — 8 августа.

В рубрике «Защити себя сам» *новой православной газеты* напечатана на весь разворот анонимная инструкция о том, какие вещества (мышьяк, стрихнин...) могут применяться «для отравления, временного или полного вывода из строя служебно-розыскных собак противника (!)», и прочие полезные советы. «Мы ждем Ваших откликов и надеемся, что, получив Ваши письменные пожелания, продолжим публикации на эту злободневную тему» (из редакционного вреза к публикации).

**Семен Файбисович.** Картина, рукопись и австралийская деревня. Опыт сравнительного анализа отчуждения творческого продукта от автора в живописи и литературе. — «Знамя», 2000, № 7.

«Дело ведь в том, что для русского писателя признание — это всегда признание на родине, а для современного здешнего художника признание — это признание за ее ру-



бежами». См. также эссе Семена Файбисовича «Прогулки по общим местам» («Новый мир», 2000, № 8).

**Философия, консюмеризм и левая идея.** — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 3.

Беседа главного редактора «Логоса» Валерия Анашвили с директором издательства «Ad marginem» Александром Ивановым. Говорит А. Иванов: «С Валерием [Подорогой] получилась история очень банальная, но тем не менее очень важная — история русского интеллектуала сегодня, который сформирован ситуацией 70-х годов, то есть ситуацией оппозиции коммунизма и антикоммунизма, и который, несмотря на то что он выбрал антикоммунизм, тем не менее построил свою интеллектуальную биографию на левой традиции. И этот парадокс, с одной стороны, почти личного экзистенциального антикоммунизма, а с другой — ориентации на левую интеллектуальную мысль Запада, привел к тому, что эта гремучая смесь оказалась абсолютно непере译имой. Валерий с точки зрения западного интеллектуала — это глубинно консервативный мыслитель».

**Анна Чадаева** (Ветлуга, Нижегородская обл.). А вы не верите в бессмертие души? — «Литературная Россия», 2000, № 32, 11 августа.

Чехов и вера. См. об этом статью А. Чудакова «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле...» («Новый мир», 1996, № 9).

**Виктор Чалмаев.** Осип Мандельштам и Иосиф Сталин. — «День литературы», 2000, № 14, август. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Самое же главное, чего натужно не хотели замечать даже в „Эпиграмме“, — это чувство абсолютной высоты, ощущение всемирно-исторической вертикали, которое воплощает Сталин, высоты совсем не должностной. Ибо вокруг него, внешне на той же „высоте“ — „сброд тонкошеих вождей“, „услуги полулюдей“, которые „мячуют“ и „хнычут“. Может быть, эта характеристика смятого, хнычущего Бухарина, проигравших все свои игры в коридорах власти Зиновьева и Каменева, вечного статиста Калинина и др. даже и понравилась Сталину?»

**Елена Шварц.** Видимая сторона жизни. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 7.

Автобиографическая эссеистика питерского поэта («Первый стакан вина», «Пирожные в моей жизни», «Бог спас» и др.).

**Ирина Шостакович.** Мертвые беззащитны? — «Московские новости», 2000, № 31, 8 — 14 августа. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

В связи с 25-й годовщиной со дня смерти Дмитрия Шостаковича его вдова Ирина Антоновна Шостакович напоминает о том, что нашумевшая на Западе и до сих пор не изданная в России книга музыковеда Соломона Волкова о беседах с Шостаковичем есть мистификация. Не менее убедительный ответ Соломона Волкова также напечатан в «Московских новостях» (2000, № 34, 29 августа — 4 сентября).



**ХРОНИКА:** умер публицист Юрий Григорьевич Буртин (1932 — 2000), в 1967 — 1970 годах работавший в редакции «Нового мира»; см. беседу с ним в № 1 «Нового мира» за 2000 год.



**ДАТЫ:** 75 лет назад в ночь с 27 на 28 декабря скончался поэт Сергей Александрович Есенин (1895 — 1925); 23 декабря исполняется 75 лет со дня рождения прозаика Виктора Александровича Курочкина (1925 — 1976).

Составитель Андрей Василевский.

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

«Логос». Философско-литературный журнал. Электронная версия: <http://www.ruthenia.ru/logos>

## СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



*Крым как эстетическая ось мира. Клех-эссеист. Заметки о «русско-украинском вопросе» в культуре. «Рекреации» Юрия Андруховича — идеолог против художника*

В этом обзоре я продолжаю темы «национального» в культуре. Как и было обещано в предыдущем обзоре, речь пойдет о русско-украинском сайте «Крымский клуб» (<http://www.liter.net/>), перенесем в Интернет деятельность одноименного литературного клуба.

Уже сам проект сайта, его архитектура делают несущественным вопрос о том, русский это сайт или украинский. Для авторов «Крымского клуба» оба языка родные, как и создаваемая на них литература. Не особенно волнует держателей сайта и напряженность «крымского вопроса» в, так сказать, «лужковско-кучмовском» варианте. Для них Крым — это прежде всего явление культуры, а подлинная культура принадлежит всем уже по определению. Девиз сайта: «Axis aestheticus mundi Tauricam transit» («Эстетическая ось мира проходит через Крым»).

Знакомство с сайтом лучше начинать со страницы с устрашающим названием «Правда о „Крымском клубе“» (<http://www.liter.net/club/index.html>). Держатели сайта вывернули наизнанку излюбленное идеологами разоблачительное клише, поставив под ним абсолютно правдивую, чуть сдобренную самоиронией информацию:

«Осенью 1995 года в Москве был создан... Крымский геопозитический клуб. Куратор клуба — Игорь Сид, почетный президент — Василий Аксенов, культурный герой-основоположник — Максимилиан Кириенко-Волошин (участвует в виде бронзового бюста).

За четыре года бурной деятельности клуб выродился из традиционного салона (авторские вечера, „круглые столы“, семинары etc.) в Клуб литературного хеппинга. Фирменная акция — „круглый стУл“. На нем уже вращались Всеволод Некрасов, Виктор Куллэ, Сергей Летов, Николай Байтов, Сергей Бирюков, Герман Лукомников (Бонифаций), Александр Гаврилов, Дмитрий Воденников и другие недостаточно раскрученные персоны современности.

...В гуманитарном плане „Крымский клуб“ является проводником в славяно-тюркском и — шире — христиано-исламском геополитическом „нервном узле“ идей геопозитики — доктрины, выдвинутой парижским культурологом Кеннетом Уайтом. Ее „крымская“ версия — практическая геопозитика — утверждает переход человечества от эпохи амбиций власти к эпохе творческих амбиций: гр. poietikos — „творческий“».

Как и всякая глобальная эстетическая программа, «крымская» программа объединила далеких друг от друга в эстетическом отношении писателей — вот обладатели персональных страниц на сайте «Крымского клуба»: Василий АКСЕНОВ (Вашингтон — Москва), Юрий АНДРУХОВИЧ (Ивано-Франковск), Андрей БИТОВ (СПб. — Москва), Котик ВЕРБЛЮДОВ и товарищи (Москва), Дмитрий ГАЙДУК (Полтава — Москва), Сергей ЖАДАН (Харьков), Сергей ЗАВЬЯЛОВ (СПб.), Даур ЗАНТАРИЯ (Сухуми — Москва), Тимур КИБИРОВ (Москва), Игорь КЛЕХ (Львов — Москва), Виктор КУЛЛЭ (СПб. — Москва), Андрей ПОЛЯКОВ (Симферополь), Виктор РАЙКИН (Нью-Йорк-на-Дону), Александр ХУРГИН (Днепропетровск), Ежи ЧЕХ (Познань, Польша) и другие.

...Кто ж спорит, было бы замечательно забыть «амбиции власти» в культуре как дурной сон и проснуться в «эпохе творческих амбиций». Но, увы, рад бы в рай... И потому тезис о смене эпох и девиз «Эстетическая ось мира проходит через Крым» смотрятся на сайте отнюдь не как констатация достигнутого, но как некий ориентир. Держатели сайта при всем своем «эстетстве» играют, конечно, но не заигрываются: «Крымский клуб отличают склонность к псевдонаучности, некоторая невменяемость дискуссии (патологически неагрессивный куратор потворствует любым вторжениям в сюжет), дурной глобализм замыслов при высокой, однако, степени их реализации». По-настоящему же интересным этот сайт делает серьезная, нуж-

ная работа, которой занимаются его авторы в сфере «русско-украинских культурных связей» — сфере, предельно загаженной сегодня политиками и идеологами.

Наиболее близкой духу этого сайта мне представляется выставленная здесь культурологическая эссеистика Игоря Клеха. С нее и начнем.

Эссе «живущего в Московии львовянина» «Письмо в Украину» (<http://www.liter.net/=/Klekh/lyst.htm>) имеет вполне прикладной на первый взгляд характер: Клех ратует за возобновление прерванного в восьмидесятые годы издания семитомного «Этимологического словаря украинского языка», а также предлагает учредить украинскую литературную премию. Но для нас в данном случае принципиально важны исходные посылки писателя.

Делая массу оговорок («Нелепо давать какие-либо рекомендации целым культурам... прошу читателя поверить, что не преследую политических или геополитических целей, ничего не желаю навязывать украинцам» и т. д.), Клех тем не менее рискнул предложить свою концепцию места и роли украинской культуры в ряду других национальных культур:

«Украина, то растворяющаяся в России, то максимально с ней расподобляющаяся (что поочередно воодушевляет и удручает националистов с обеих сторон), походит на нее больше, чем на какую-либо другую страну. Речь не идет о навязывании пресловутого „братства“ (оно — неоспоримый исторический факт, предполагающий даже при самом тесном родстве соперничество, а временами и недоброжелательство в отношениях между братьями). За тысячу без малого лет накопились и различия, в том числе этнические (упрощенно говоря, русские заключали браки с чудью и татарскими племенами, а украинцы женились на половчанках, черкешенках и турчанках)». «Поглотившая печенегов и половцев Украина — более „оседлая“ страна (что отмечено было названием Малороссия, то есть — малая родина, место, откуда все произошло, пошло и разошлось), и расстраивалась она, насколько позволяли обстоятельства и соседи, внутрь себя самой. Отсюда эстетизм крестьянских подворий и хат, непередаваемая меланхолия песен и многие другие характерно украинские черты. ...вкусу к приволью и великодушию россиян отвечает более приватный и восприимчивый к влиянию западных соседей образ жизни украинцев».

И здесь автор подходит к своей главной мысли: «...Украина сможет осуществиться в мире только как отличный от русского вариант восточнославянской цивилизации, как еще одна попытка и ответ на вызов цивилизаций западноевропейского и магометанского типов. ...я просто не вижу другого смысла существования Украины на протяжении, скажем, следующей тысячи лет вне попытки создания образа жизни в Украине не только удовлетворительного для этнических украинцев, но и привлекательного для представителей других народов. Малочисленные народы нередко чересчур озабочены проблемами собственного выживания, что до определенной степени обучивает их существование и делает его эгоистичным. Грандиозные цели преследовал Третий рейх, но содержанием их было, увы, гиперболизированное малодушие. Народы, не умеющие отдавать и стремиться к осуществлению универсальных целей, не имеющие сверхзадачи, проходят, процитируем древнерусскую летопись, „аки обры“».

Разделяет ли предлагаемая Клехом идея наши народы и культуры или объединяет? На мой взгляд, да, разумеется, разделяет, но не в большей степени, чем они разделены уже сегодня. Я, например, не вижу в позиции Клеха никаких элементов национально-культурного экстремизма. Предложенный им вариант разделения создает условия для объединения наших культур на другом, более высоком и необходимом нам уровне. Национально-политическим экстремизмом был пропитан как раз прежний, советский вариант «братского сосуществования» наших культур — предполагавший полную ассимиляцию украинской культуры в русской.

Положение украинской культуры к началу перестройки мне кажется более драматичным, чем, скажем, положение грузинской культуры или эстонской. Здесь я просто констатирую: за украинской творческой интеллигенцией пригляд был го-

раздо жестче. Скажем, было грузинское кино, было прибалтийское, украинского фактически не было. Самую точную формулировку положения украинского писателя, пишущего на родном языке, мне популярно и доступно объяснили в семидесятые годы киевские коллеги: «Когда у вас в Москве писателям подстригают ногти, у нас отрубают пальцы». Нет, писать украинцам конечно же разрешали, но — в рамках. И очень даже в рамках. Я помню, скольких трудов стоило издательству «Молодая гвардия» сломить сопротивление украинских идеологических чиновников, чтобы напечатать на русском языке повесть Владимира Дрозда «Ирий», вещь в идеологическом отношении достаточно невинную (особенно рядом с тогдашними переводами армянской или литовской литературы). Единственным ее грехом была талантливость этой озорной лиричной «химеричной» прозы. На живое в украинской литературе у «присматривающих» нюх был особый. Нет, вполне можно было издавать украинскую классику, можно было переводить (и гораздо свободнее, чем в России) современную зарубежную литературу — это было. Украинские интеллектуалы отводили душу в чтении журнала «Всесвіт» (аналог нашей «Иностранки»). Возможно, в этих украинских переводах и выживала «найкраща українська проза» тех лет (забавная параллель: в шестидесятые годы на вопрос Веры Пановой, кто сейчас пишет лучшую русскую прозу, Довлатов был вынужден ответить: «Рита Райт-Ковалева в переводах Сэлинджера»).

Горько говорить, но, скажем, в семидесятые — начале восьмидесятых цензурная (другой мы не знаем до сих пор) украинская литература не смогла предложить нам событий, равных, скажем, прозе Гранта Матевосяна, Чабуа Амиреджби, Тимура Пулатова (в молодости) или Мати Унта.

Но внешний гнет — это только половина проблемы. Вторая половина, на мой взгляд более сложная и серьезная, — это характер внутренних глубинных взаимосвязей украинской и русской литератур. Русскую литературу всегда питала и питает «украинская ментальность», и наоборот. Попробуйте выделить украинскую составляющую из художнического мироощущения Гоголя или Короленко. Или перечитайте пушкинскую «Полтаву», — думаю, вы согласитесь, что по характеру обращения автора с реалиями украинской истории, культуры, быта, обращения интимного, почти домашнего, эта поэма гораздо ближе к «Капитанской дочке», нежели к «маленьким трагедиям».

Да, грустно, что начатое Тарасом Шевченко и блистательно продолженное Лесею Украинкой было насильственно прервано. Что на протяжении чуть ли не всего нашего века вместо украинской культуры разрешалось и поощрялось властями некое бутафорское, кукольное действие, украшенное украинскими национальными орнаментами. Но это вовсе не отменяет того факта, что русская культура, в частности литература, во многом выросла и из украинской культуры.

Украинский вопрос для России — это вопрос самой России. Лично мне, как воспитаннику Российской империи, хоть и в ее позднейшем советском изводе, близка формулировка философа В. В. Зеньковского: «Собственно Россия в Новом времени и началась после объединения Московского царства с Украиной. И так было до конца этого тысячелетия. Россия и Украина — две половины одного целого. Во всех отношениях, а в культурном — особо».

То, о чем говорит в своем эссе Клех, не предполагает, что на смену насильственной ассимиляции должно прийти некое противостояние. Есть другой путь, органичный и плодотворный. Путь взаимного культурного обогащения через свободное развитие всего, что заложено в культурных ментальностях наших народов. Это путь к полноте, полнокровности, универсальности нашей — во многом общей — культуры.

Вот такое сравнение (именно сравнение — не противопоставление): в советские времена прозу и стихи киргизов, азербайджанцев, узбеков, эстонцев мы читали еще и как свою прозу. Как «свою переводную». Хотя и Мар Байджиев, и Нодар Думбадзе, и Энн Ветемаа формально могли оказаться в нашем читательском восприятии в одном ряду с переводной прозой Ежи Ставиньского, Андре Моруа или Кобо Абэ. Оказалось же, что общность исторической судьбы играет гораздо большую роль, чем нам виделось, и, соответственно, меньшую, чем принято считать, роль играют собственно национальные различия. А теперь вставьте в этот контекст

украинскую или белорусскую литературу, которые изначально — наше «культурное подсознание», наш язык, наша национальная психология. Украинская культура никогда не была отростком русской, она всегда была одним из корней русской литературы.

Я уверен, что ставить украинский вопрос только как национальный, только как вопрос взаимоотношений с другим государством, другой культурой бесперспективно, это значит недопонимать его сложность. И главное достоинство эссеистики Клеха я вижу в осознании им сложности и многомерности ситуации.

Другой (и как я понимаю, более популярный сегодня у украинской интеллигенции) подход к этой проблеме демонстрирует коллега Клеха, его сосед по «Крымскому клубу» Юрий Андрухович (<http://www.liter.net/=/Andrukhovich/index.htm>). Имя пока еще мало знакомое нашему читателю, поэтому краткая справка: Юрий Андрухович — один из лидеров «новой волны» в украинской литературе; поэт, прозаик, эссеист; автор романа «Рекреации», воспринятого критикой как манифест нового литературного поколения Украины. На сайте отмечается десятилетие со времени выхода этого романа в свет. Дата совпала с переводом романа на русский язык. Текст «Рекреаций» доступен теперь и нашему «бумажному» читателю («Дружба народов», 2000, № 4); адрес романа в Интернете: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba/n4-20/andr.htm>

Это действительно яркая, талантливая, острая, но отчасти и больная, на мой взгляд, вещь. Несмотря на «молодежную оснастку», сказавшуюся и в выборе сюжета и материала и в стилистике, совмещающей приемы лирико-исповедального, ироничного и фантазмагоричного повествования, роман обращает читателя к серьезнейшим вопросам нынешнего становления Украины и места новой украинской интеллигенции в этом становлении.

В романе описывается некий праздник Возрождающегося Духа, на который со всей Украины съезжается ее творческая элита и новая украинская молодежь. Герои романа — четверо молодых, но уже знаменитых на родине поэтов, пятый персонаж — жена одного из них. Повествование представляет собой хронику праздника — день и вечер накануне, пронизанные атмосферой ожидания чего-то грандиозного, затем — переживаемая героями врозь пьяная, разгульная, с массой приключений ночь. И наконец, утро: рассвет и некая «праздничная» акция (о ней — чуть ниже), описание которой становится финалом повести. В способе изображения праздника, его карнавальном атмосфере очень многое отсылает нас и к «Фиесте» Хемингуэя, и к культурному мифу о Вудстоке. Повествование ведется в виде прямых монологов и в форме не собственно прямой речи от лица основных персонажей. С первых же абзацев в их голосах звучит некая ликующая нота упоения самим фактом:

а) возрождения украинского языка и украинской культуры (Возрождающегося национального Духа),

б) тем обстоятельством, что именно им, четверем молодым, но уже прославленным поэтам, выпала судьба как бы персонифицировать собой не только этот праздник, но чуть ли и не сам Возрождающийся Дух. «Да, Хомский, именно так, — длинный и широкий серый плащ, недельная щетина на подбородке (бродвейский стиль), волосы на затылке убраны в хвост, темные очки образца 65-го года, шляпа, да-да, путешественник, рок-звезда, поэт и музыкант Хомский, для друзей просто Хома, неунывающий сукин сын собственной персоной осчастлививает провинциальный Чертополь своим визитом», — так во внутреннем монологе представляется первый из героев.

А вот второй: «Надежда украинской поэзии, Мартофляк Ростислав, тридцатилетний безработный, отец двоих детей... склонный к полноте и алкоголю, пьяница и бабник, любящий отец. Популярный общественный деятель...»

И так далее. «...ребята они талантливые, честные. Непродажные, цвет нации, дети нового времени, тридцатилетние поэты».

Вот эта некая доля самоупоения героев своей славой и своей «украинскостью», эта игра в национальное, сразу же отодвигает читателя от непосредственного проживания праздника, погружая его в авторскую рефлексию по поводу праздника. А это не одно и то же. Сам «Возрождающийся Дух» (дух национальной украинской

культуры) дан здесь в качестве объекта, а не субъекта повествования и уже поэтому неизбежно вступает в противоречие с декларируемым автором национальным пафосом повести.

Перед нами праздник «украинского Духа», как бы увиденный и пережитый не изнутри, а извне, с точки зрения некоего «усредненного европейца», с точки зрения неких «общеевропейских культурных стандартов». В «Рекреациях» нет того идеального совмещения, которое было в гоголевской «Ночи перед Рождеством», густо, почти украинским орнаментом написанной и при этом передающей сам дух карнавала. Я сейчас сравниваю не таланты Андруховича и Гоголя, я говорю о выборе точек обзора: Гоголь изначально писал украинскую деревню, украинскую легенду изнутри, самым духом этой легенды, явленной в повести характером чувствования и ее героев, и самого автора. Здесь-то и живет украинский дух повести, а не только и не столько в изображении черевичек и галушек. У Андруховича же — взгляд из, если можно так выразиться, «общеевропейской» литературной традиции, и потому так явно грешит его проза некой внутренней отстраненностью, а иногда и естествоиспытательским, чуть ли не этнографическим пафосом при изображении собственно «украинского духа». Спасает автора только задор, с которым он лепит свой вариант украинского европейца, вот тут, в этом запале, его простодушие и истовости, как ни странно, есть и сила, и художественная убедительность. Только, боюсь, такой эффект автором не просчитывался.

Ну и уж неизбежно, просто по логике выбранного автором «национального дискурса» появляется в романе, точнее, распирает его изнутри вполне предсказуемая идеологическая схема. Праздник Возрождающегося Духа, который изображает автор, — это праздник не только во имя объединения и созидания, но и праздник как некий акт противостояния. Противостояния «системе». Но если один член оппозиции фактически назван (Возрождающийся национальный Дух Украины), то второй в этом ряду неизбежно просчитывается не просто как «советский тоталитаризм», но как подразумеваемый «мир советских москалей», то есть русских. Правомерно ли вот это противопоставление? На первый взгляд, то есть если пользоваться инструментарием Андруховича, да, разумеется — «национальный дискурс» как раз и предполагает перенесение всей сложности исторических вопросов в незатейливую схемку национальных противостояний (как бы ни надували щеки идеологи национализма, мистическая емкость их метафор остается вполне дебильной). А в ситуации с Украиной искус пойти этим путем особенно велик — уж тут советская власть постаралась: сознательное трехлетнее вымаривание Украины голодом при Сталине — исторический факт. Так же как и планомерный отстрел украинской интеллигенции в тридцатые годы именно как «украинской» (власть этого и не скрывала, называя вину репрессированных «украинским национализмом»). Список подобных преступлений можно продолжать еще очень долго. Страшные исторические реалии стоят за эпизодом ночного паломничества одного из героев романа на родину своих дедов, в западноукраинское местечко, уничтоженное советскими карателями, — героя в его путешествии сопровождает голос деда: «Два года, ну, может, немного меньше, год или полтора, они возили по старой дороге людей из Чертопольской тюрьмы. Там, Гриц, если не соврать, под каждым деревом убитые лежали. Такого леса, другого, нет, наверно, в целом мире».

Забывать подобные вещи мы не имеем права. Так же как не имеем права отворачиваться от поиска подлинных причин этих событий, сводя их содержание к вопросам национальных противостояний. Я понимаю, что так проще, так удобнее. И есть железная закономерность в появлении националистической «патриотической» риторики у политических движений и партий, как раз и унаследовавших «советский дух»... Вслед за Андруховичем, вступив в этот «национально-политический дискурс» его романа, я, например, должен был бы признавать свою вину, вину русского за совершенные преступления против Украины и украинской культуры. Но видит Бог, нет на нас этой вины. Русскую или еврейскую интеллигенцию отстреливали точно так же. Для тех сил, которые глумились над украинской культурой, точно таким же врагом была любая национальная культура.

Энергия, которую придает повествованию романа выбранная автором идеологическая схема, — энергия очень коварная. Она «съедает» художественную универ-

сальность, смысловую объемность образа и уровень мысли, к которому стремится Андрухович-художник. Она опускает художника до уровня идеолога. И праздник Возрождающегося Духа в повести постепенно становится Праздником Объединения Для Защиты Духа. То есть становится не праздником, а противопраздником. Не карнавалом, а воинской пляской.

В финале романа по выбранным автором «законам карнавала» должно было произойти снятие индивидуации, акт объединения героев в некоем исконно родовом теле, акт объединения с миром, с людьми, с бытием. Однако высшей точкой праздника в романе стало вот такое действие: ранним утром в номера гостиниц, где остановились гости, врываются солдаты, участников праздника выводят на улицу и выстраивают. И вот она — интеллектуальная элита новой Украины, ее молодежь, ее будущее, ее возрождение — уже стоит под автоматами. История повторяется... Изобразив отрезвляющий ужас происходящего, автор выводит на сцену режиссера-устроителя праздника, который объявляет, что все происходящее — всего лишь художественная акция, хеппинг, и что солдаты — это статисты, оружие — бутафория и т. д. Возрождающемуся Духу больше ничто не грозит. Описание восторга, охватившего участников праздника, и становится финальной сценой романа.

Иными словами: и в радости помни о враге своем — художественный образ карнавала, традиционно обладающий в литературе огромной смысловой и символической емкостью, уплощается здесь до уровня идеологической формулы противостояния. До знака закрытости.

(Забавно, как во времени сошлось: появление «Рекреаций» Андруховича на русском языке совпало с выходом на экраны «народного киношлягера» «Брат-2», в котором роль исконного врага русского человека выполняет уже не зловещий жидомасон, а продавшийся американцам «громилы-хохлы». Как бы ни эстетствовали оба автора, но исходная идеологическая схема у обоих предполагает в финале неизбежное этническое разделение людей на «наших» и «не наших».)

Эта же идеологическая схема разрабатывается Андруховичем и в его эссеистике, только — парадоксальная особенность — здесь Андрухович не так одномерен, не так категоричен и размашист, несмотря на внешнюю энергичность формулировок:

«Вот уже скоро восемь лет, как ко мне отовсюду доносится надрывный плач о „прерванных связях“. Создается впечатление, как будто нас и Россию жестоко и болезненно разделили какой-то непреодолимой стеной или, чего доброго, разбросали по самым отдаленным цивилизационным океанам. И нет от этого спасения. На самом деле достаточно обратиться к газетам, радио, телевидению или просто взглянуть на сограждан, послушать вместе с ними их любимую музыку, вспомнить имена любимых актеров, телеведущих, даже поэтов („ай да Пушкин!“) — и все становится на свои места. Разорванные связи? И кто-то хочет, чтобы я в это поверил?..»

Безусловно, стоит говорить о другом: связей как таковых никогда и не было. Было многолетнее существование Украины в силовом поле русской культуры, причем всех без исключения регионов, ибо даже Галичина после близкого с ней знакомства оказывается расположенной значительно восточнее, нежели о ней принято думать. Для того чтобы существовали связи, должна быть взаимность. В России же никогда не относились к украинской культуре по крайней мере как к равной. Конечно, где-то и как-то пели наши песни. Или, скажем, издавали в переводе каких-то наших писателей — самых орденосных, как правило. Но Стуса не издавали, и Калининца не издавали, несмотря на все столичное свободомыслие («С южным акцентом-2», <http://www.day.kiev.ua/rus/1999/106/culture/cul2.htm>).

Констатация точная. Я абсолютно согласен с Андруховичем: тех акций, которые еще вчера должны были обозначать межнациональные культурные связи (разного рода «декады», «фестивали», «недели культур» и проч.), нет. И слава богу. Слишком много было в них бутафории, прикрывающей драматичную, если не сказать трагическую, ситуацию скрытого противостояния. Внешний нажим, регламентация украинской культурной жизни из идеологических центров (и не из Кремля только — пан Кравчук, один из отцов нынешней самостийности и незалежности, в бытность свою «товарищем» был, думаю, покруче иного кремлевского чиновника), — так вот, внешний нажим этот, насильственная русификация (параллель-

но с — никуда не денешься — естественной русификацией) вызвали обратную, не менее «упёртую» реакцию. Но не думаю, что при всем своем патриотизме Андрухович согласился бы признать равными культурными явлениями, скажем, прозу Стельмаха или Олейника, объявляющуюся тогда визитной карточкой украинской литературы, и прозу Битова, Маканина или Искандера.

Ну и кто виноват? Русская культура?

О «силовом поле», в котором находилась украинская литература, говорить можно и нужно. Но только определиться надо. Силовое поле чего? Силовое поле культуры? Или — антикультуры, поле собственно силы, силовое поле политиков-идеологов? Это далеко не одно и то же. Конечно, есть искус проигнорировать эти «оттенки», так проще все объяснить. Но только чего будут стоить такие объяснения... Силовое поле культуры — поле благодатное, самое плодородное, какое только можно представить. Именно силовое поле европейской культуры оплодотворило творчески и дало возможность встать в полный рост и Пушкину, и Лермонтову, и Толстому, и Достоевскому. Именно силовое поле украинской культуры дало русской литературе Гоголя. И именно о «силовом поле культуры» говорит Клевх в процитированном выше эссе, обращаясь к необходимости (повторю) «создания образа жизни в Украине не только удовлетворительного для этнических украинцев, но и привлекательного для представителей других народов...». Культура способна на воздействие, но никак не на «силовое» в смысле: насильственное.

Ну а в заключение я хотел бы выписать еще одно высказывание Андруховича из того же эссе — слова, под которыми я бы подписался обеими руками:

«Так, может быть, именно сейчас эти связи, над которыми столько воплей, только начинают создаваться? Может, это и есть начало украинско-российских — наконец! — культурных связей? Может, в этом и заключалась суть „южного акцента“ — показать, что есть такая южная страна, такая „волога мова“ (совсем не то, что „влажный язык“), иная литература?»

Возможно, сайт «Крымского клуба», его эстетика, дух и уровень русско-украинского диалога, пусть не всегда ровный, со срывами, но открытый, живой, заинтересованный, и есть одна из форм восстановления в новом виде русско-украинских культурных связей, одна из форм нормального функционирования и того общего, что присуще нашим культурам, и их свободного нестесненного развития. То, что само существование сайта — шаг в этом направлении, для меня несомненно.

Составитель Сергей Костырко.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Декабрь*

30 лет назад — в № 12 за 1970 год напечатана повесть Юрия Трифонова «Предварительные итоги».

35 лет назад — в № 12 за 1965 год напечатан рассказ Виктора Некрасова «Случай на Мамаевом кургане».

40 лет назад — в № 12 за 1960 год напечатана повесть Александра Бека «Резерв генерала Панфилова».

70 лет назад — в № 12 за 1930 год напечатана повесть Мих. Зощенко «М. П. Синягин» и «Вступление к поэме „Спекторский“» Бориса Пастернака.



# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2000 ГОД



## РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ. ПЬЕСЫ

**Анатолий Азолевский.** Монахи. Роман. VI — 7.

**Борис Акунин.** Чайка. Комедия в двух действиях. IV — 42.

**Михаил Ардов.** Вокруг Ордынки. Портреты. Новые главы. V — 110.

**Виктор Астафьев.** Затеси. Из тетради о Николае Рубцове. II — 7.

**Николай Байтов.** Суд Париса. Повесть. X — 72.

**Алессандро Барикко.** 1900. Монолог. Перевел с итальянского Валерий Николаев. III — 112.

**Юрий Буйда.** У кошки девять смертей. Повествование в рассказах. V — 7.

**Алексей Варламов.** Купавна. Роман. X — 7; XI — 85.

**Борис Екимов.** Память лета. Короткие рассказы. VII — 124; Житейские истории. XII — 76.

**Валерий Залотуха.** Последний коммунист. Повесть. I — 9; II — 59.

**Сергей Залыгин.** Бабе Ане — сто лет. Рассказ. VII — 110.

**Фазиль Искандер.** Понемногу о многом. Случайные записки. X — 116.

**Николай Кононов.** Воплощение Леонида. Рассказ. III — 83.

**Илья Кочергин.** Алтынай. Рассказ. XI — 133.

**Александр Кузнецов.** Мираж у Геммерлинга. Рассказ. VII — 90.

**Владимир Маканин.** Буква «А». Повесть. IV — 7.

**Александр Мелихов.** Нам целый мир чужбина. Роман. VII — 14; VIII — 109.

**Ярослав Мельник.** Книга судебных. Рассказ. VI — 113.

**Лариса Миллер.** И чувствую себя невозвращенкой. Мелочи жизни. I — 68.

**Марина Палей.** Long Distance, или Славянский акцент. Сценарные имитации. I — 86; II — 141; III — 94; IV — 79; V — 74.

**Юрий Петкевич.** Радость. Рассказ. IV — 72.

**Валерий Попов.** Ужас победы. Повесть. XI — 11.

**Вячеслав Пьецух.** Летом в деревне. Рассказы. VI — 96.

**Алексей Слаповский.** Второе чтение. Место романа. X — 112.

**Александр Солженицын.** Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. IX — 112; XII — 97.

**Роман Солнцев.** Двойник с печальными глазами. Рассказ. X — 98.

**Михаил Тарковский.** Ложка супа. Маленькая повесть. VII — 77.

**Владимир Тучков.** Русская коллекция. V — 51.

**Людмила Улицкая.** Путешествие в седьмую сторону света. Роман. VIII — 12; IX — 11.

**Сергей Цветков.** Подьячий Василий Курбатов. Маленькая повесть. II — 122.

**Сергей Шаргунов.** Как там ведет себя Шаргунов? Рассказы. III — 76.

**Дмитрий Шеваров.** Второй день Рождества. Рассказ. VIII — 146.

**Галина Щербакова.** Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом. Роман. III — 14; Уткомесь, или Моление о Еве. Роман. XII — 10.

## СТИХИ И ПОЭМЫ

**М. А. Юбилейная ода.** I — 7.

**Людмила Абаева.** На зов неведомой отчизны. X — 95.

**Алексей Алехин.** Из записок бумажного змея. II — 37.

**Максим Амалин.** Долги земле и небу. IV — 67.

**Рахиль Баумволь.** «Пред грозным лицом старости своей...». Предисловие Владимира Глоцера. IV — 113.

**Дмитрий Быков.** Рыцарь отказа. V — 104.

**Мария Ватутина.** От нас пойдет Четвертый Рим. V — 45.

**Борис Викторов.** Птица и человек. III — 90.

**Владимир Губайловский.** Дар и покой. VIII — 154.

**Виталий Дмитриев.** Пойманный гром. VIII — 106.

**Владимир Захаров.** Письмо демиургу. III — 77.

**Евгений Карасев.** Человек на обочине. VI — 122.

**Бахыт Кенжеев.** Осенний лед. VIII — 7.

**Анатолий Кобенков.** Раздоры бытопорядка. VII — 105.

**Владимир Корнилов.** Колкий дождь. IX — 7.

**Владимир Коробов.** Море остыло... VIII — 142.

**Юрий Кублановский.** С выходом на Волхонку. VII — 119.

**Марина Кудимова.** Утюг. Характеристика. IX — 105.

**Инга Кузнецова.** Послушай птиц. VI — 92.

**Александр Кушнер.** Огорчаться поздно! I — 62.

**Семен Липкин.** Одно мгновенье. III — 108.

**Инна Лиснянская.** Пред окном с пчелиной позолотой. III — 7.

**Лариса Миллер.** Повсюду и нигде. II — 117.

**Анатолий Найман.** Жизнь, убегая. IV — 36.

**Сергей Новиков.** У земных переправ. XI — 143.

**Наталья Орлова.** И ветер и дым. XII — 7.

**Илья Плохих.** Экспедиция. XI — 79.

**Евгений Сабуров.** Облака заговорили. IV — 76.

**Владимир Салимон.** Небо в алмазах. V — 69.

**Ольга Сульчинская.** Ветхий дождь. XI — 7.

**Марина Тарасова.** Птица на красном. XI — 129.

**Елена Ушакова.** Цветы не плачут. VI — 108.

**Илья Фаликов.** За крепостной стеной. X — 67.

**Олег Хлебников.** Море, которое не переплывет никто. VII — 74.

**Сергей Хомутов.** У темной двери. X — 109.

**Виктор Чубаров.** Грехопадение звезд. XII — 74.

**Елена Шварц.** При черной свече. VII — 7.

**Валерий Шубинский.** Подземные музыканты. XII — 91.

**Ариадна Эфрон.** ...В небе — сохатый бьет копытом... Публикация Р. Б. Вальбе. Послесловие Е. Эткинда. I — 99.

## ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

**Кирилл Градусов.** Заволжье. Записки посадского жителя. III — 148.

**Игорь Дедков.** Холодная рука циклопа. Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов. Публикация Т. Ф. Дедковой. XI — 151; XII — 157.

**Дмитрий Костомаров.** В ряду поколений. VII — 135.

**Отец Борис и матушка Наталья.** Протоиерей Борис Старк и Наталья Дмитриевна Старк вспоминают. Публикация Ю. В. Тихоновой. Послесловие протоиерея Михаила Ардова. I — 147.

*К 90-летию со дня рождения  
А. Т. Твардовского*

**Юрий Кублановский.** Этюд о Твардовском. VI — 131.

**А. Солженицын.** Богатырь. VI — 129.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Александр Кушнер.** Анна Андреевна и Анна Аркадьевна. II — 176.

**А. Солженицын.** Из «Литературной коллекции»: Евгений Носов. VII — 195.

## ИЗ НАСЛЕДИЯ

**Сергей Залыгин.** Стариковские записки. Публикация Марии Мушинской. XI — 147.

**Алексей Лосев.** Жизнь без конца. Публикация А. А. Тахо-Годи. Вступительная статья Елены Тахо-Годи. IX — 184.

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Борис Екимов.** Десять лет спустя. I — 110; Надейся лишь на себя. VIII — 159.

**Олег Ларин.** Помните, у Абрамова... II — 152.

**ВРЕМЕНА И ПРАВЫ**

**Сергей Аверинцев.** О духе времени и чувстве юмора. I — 137.

**Станислав Лем.** Из книги «Мегабитовая бомба». Перевел с польского С. Ларин. VII — 156.

**Алексей Туробов.** Америка каждый день. Записки натуралиста. IV — 119.

**Семен Файбисович.** Прогулки по общим местам. VIII — 167.

**Мариэтта Чудакова.** Людская молвь и конский топ. Из записных книжек 1950 — 1990-х годов. I — 124; III — 134; Людская молвь и конский топ. На исходе советского времени. VI — 136.

**ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ.  
ПОЛИТИКА**

**Сергей Аверинцев.** Горизонт семьи. О некоторых константах традиционного русского сознания. II — 170.

**Владимир Мау.** Интеллигенция, история и революция. Очерки жизни современной России. V — 140.

**Елена Ознобкина.** Тюрьма или ГУЛАГ? X — 166.

**Наталья Савёлова, Дмитрий Юрьев.** Первое лицо, единственное число. Россия и президентство. X — 149.

**Ирина Сурат.** Пушкинский юбилей как заклинание истории. VI — 176.

*Города и годы*

**Валерий Шубинский.** Город мертвых и город бессмертных. Об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII — XX веков. IV — 145.

**Владимир Юзбашев.** Город накануне. IV — 157.

**ОПЫТЫ**

**Сергей Боровиков.** В русском жанре-18. X — 195.

**Сергей Костырко.** Синдром Курилова. III — 194.

**Рустам Рахматуллин.** Исход. I — 173.

**Андрей Серегин.** Предисловие к будущему. Заметки на полях двадцатого века. VI — 148.

**Ольга Славникова.** Искусство не принадлежит народу. Веселые заметки о грустных обстоятельствах. III — 185.

**Любовь Сумм.** Римский стык. XI — 171.

**Ольга Шамборант.** Занимательная диагностика. IV — 165.

**ПОЛЕМИКА**

**Алена Злобина.** Кто я? К вопросу о социальной самоидентификации бывшего интеллигента. V — 174.

**Наталья Иванова.** Подстановка. Лев Николаевич и Александр Семенович. IX — 192.

**Валентин Непомнящий.** О горизонтах познания и глубинах сочувствия. Поэзия, филология, религия. По поводу выступления Сергея Бочарова. X — 175.

**МИР НАУКИ**

**Елена Князева, Алексей Туробов.** Единая наука о единой природе. III — 161.

«Ковчег жизни» на стапелях эволюции. С биологом Вадимом Репиным беседует Михаил Бутов. XII — 170.

**МИР ИСКУССТВА**

**Татьяна Чередниченко.** Традиция без слов. Медленное в русской музыке. VII — 173.

**ПО ХОДУ ДЕЛА**

**Юрий Каграманов.** И победителей судят. I — 141; Ложь с истиной сличить. Кинематографические мечтания. III — 179; Многоликий джинн. V — 168; «Квартирный вопрос» может нас испортить. VII — 166; Бегство вперед? IX — 187; Старый месяц Бог на звезды крошит. XI — 181.

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

**Марина Адамович.** Этот виртуальный мир... Современная русская проза в Интернете: ее особенности и проблемы. IV — 193.

**Павел Басинский.** «Как сердцу высказать себя?». О русской прозе 90-х годов. IV — 185.

**Михаил Бутов.** Отчуждение славой. II — 188.

**Никита Елисеев.** «Полный вдох свободы». III — 199; «К. р.», или Прощание с юностью. XI — 185.

**Елена Касаткина.** John Bull вздремнул, или «Fin de siècle» по-английски. Британская литература 90-х годов. VIII — 195.

**Татьяна Касаткина.** Литература после конца времен. VI — 187.

**Алла Марченко.** Китайский маскарад на русской исторической сцене. XII — 185.

**Елена Невзглядова.** Эвтерпа с черного хода. Заметки о прозе. VIII — 182.

**Андрей Немзер.** Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х годов. I — 199.

**Мария Ремизова.** Слишком человеческое. Некоторые размышления о литературе non-fiction. XII — 192.

### *Борьба за стиль*

**Михаил Эпштейн.** Слово как произведение: о жанре однословия. IX — 204.

## РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

**Павел Басинский.** Основы искусства жить (П. П. Проценко. Биография епископа Варнавы (Беляева). В небесный Иерусалим. История одного побега). V — 201.

**Татьяна Бек.** Весь день было утро (Юрий Коваль. АУА. Монохроника. Повесть; Ю. Коваль. «Я всегда выпадал из общей струи». Экспромт, подготовленный жизнью. Беседу вела И. Скуридина). III — 219.

**Сергей Бочаров.** «Мировые ритмы» и наше пушкиноведение (Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина; Ю. Н. Чумаков. «Евгений Онегин» Пушкина. В мире стихотворного романа). XII — 203.

**Дмитрий Быков.** Преображенный хаос (Новелла Матвеева. Пастушеский дневник; Н. Матвеева, И. Киуру. Мелодия для гитары. Песни и стихи. С приложением нот; Новелла Матвеева. Кассета снов; Новелла Матвеева. Сонеты). II — 213; Огонь блед (Чарльз Маклин. Страж). V — 193; Камера переезжает (Дина Рубина. Последний кабан из лесов Понтеведра; Дина Рубина. Высокая вода венецианцев). VII — 200.

**Мария Виролайнен, Мелвар Мелкумян.** В поисках «русской картины мира» (Валентин Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира). VII — 211.

**Александр Гаврилов.** Плюс к нам перфект (Юрий Малецкий. Проза поэта. Роман-завязка?). I — 221; Секс, ложь и медиа (Эргали Гер. Сказки по телефону). IV — 208; Смерть под

языком, или Комиссарские записки (Юлий Дубов. Большая пайка). IX — 216.

**Михаил Горелик.** Спасти Песахзона (Антология ивритской литературы. Еврейская литература XIX — XX веков в русских переводах). II — 217; «К отчему дому» («Иерусалимский журнал», 1999, № 2). VIII — 214.

**Александр Горянин.** «Мы не жалели о пройденном пути...» (Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни. [2-е издание]). II — 220.

**Дмитрий Дмитриев.** Не надо все вслух... (Г. А. Балл. Вверх за тишиной). III — 217.

**Евгений Ермолин.** Свободные люди на рабьей земле (Борис Крячко. Избранная проза). XI — 210.

**В. К. Структуралист** в повседневной жизни (Б. Е. Егоров. Жизнь и творчество Лотмана). III — 221; Апофеоз Августа (Клод Леви-Стросс. Печальные тропики). IX — 227.

**М. Д. Карпачев.** Умом Россию понимающая (Б. Н. Мионов. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX века). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х томах). VI — 218.

**Елена Касаткина.** Неосуществимая истина (А. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии). IX — 222.

**Павел Крючков.** Вся «Чукоккала» и «Весь Чуковский» («Чукоккала». Рукописный альманах Корнея Чуковского). VII — 223.

**Юрий Кублановский.** Поэтическая Евразия Семена Липкина (Семен Липкин. Семь десятилетий. Стихотворения. Поэмы). VII — 204; При свете совести (Лидия Чуковская. Сочинения в 2-х томах). IX — 224.

**Виктор Куллэ.** Упражнение в бессмертии (Иосиф Бродский. Меньше единицы. Избранные эссе). XII — 201.

**Майя Кучерская.** Смерть как простота (Владимир Янкелевич. Смерть). IV — 220; А любви не имею (Священник Ярослав Шипов. Отказываться не вправе. Рассказы из жизни современного прихода). VIII — 211; Внутренности кузнечика (Николай Кононов. Похороны кузнечика. Роман). XI — 203.

**А. В. Лавров.** «...Только слова останутся» (Зинаида Гиппиус. Дневники). IV — 215.

**С. Ларин.** Неизжитое прошлое (Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923 — 1960; Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД. 1934 — 1941. Справочник; Виктор Бердинских. Вятлаг; ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои). XII — 211.

**Наталья Маршалкович.** О чудесах, которые не повторяются (Адольфо Бийо Касарес. Изобретение Мореля. Дневник войны со свиньями. Романы. Рассказы). I — 230.

**Алексей Машевский.** Полнота высказывания (Александр Кушнер. Летучая гряда. Новая книга стихов). XI — 214.

**Валерий Мильдон.** Русский анекдот: изменчивость и наследственность (Евгений Федоров. Проклятие. Повесть). VIII — 201.

**Олег Мраморнов.** Страсть к целому (Зинаида Миркина. Невидимый собор. О Рильке. Из Рильке. О Цветаевой. Святая Святых; Зинаида Миркина. Мои затишья. Избранные стихи. 1994 — 1998). VII — 207.

**Елена Ознобкина.** Сны о себе (Олег Павлов. Степная книга. Повествование в рассказах; Олег Павлов. Эпипнозия. Вольный рассказ; Олег Павлов. Школьники. Повесть). III — 214; Город радости и счастья (Андрей Волос. Хуррамабад. Роман). XII — 199.

**Евгений Перемышлев.** Сержант русской словесности и его наследство (Илья Ильф. Записные книжки 1925 — 1937. Первое полное издание). VIII — 208.

**А. Ю. Плущер-Сарно.** Веня Ерофеев: «Разве можно грустить, имея такие познания!». Комментарий к комментарию (Э. Власов. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Спутник писателя; Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки» с комментариями Эдуарда Власова). X — 215.

**Дмитрий Полищук.** «Она, должно быть, из Китая» (Александр Леонтьев. Сад бабочек. Книга третья; Александр Леонтьев. Зрение. Стихи). I — 225.

**Мария Ремизова.** В поисках желтого жанра (Александр Сегень. Общество сознания Ч.). II — 210; Вниз по лестнице, ведущей вниз (Михаил Шишкин. Взятие Измаила). V — 190.

**Ирина Роднянская.** Философская «собака, зарытая в стиле» (С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы). VII — 216; Внятная речь (Дмитрий Быков. Отсрочка). XI — 216.

**Евгения Святнева.** Ганимед и Паламед (Николай Кононов. Похороны кузнечика. Роман). XI — 207.

**Ольга Славникова.** Максим Соколов и его Мнемозина (Максим Соколов. Поэтические воззрения россиян на историю. В 2-х книгах). VI — 203; Из Свердловска с любовью (Борис Рыжий. From Sverdlovsk with love. Стихи; Борис Рыжий. Горный инженер. Стихи; Борис Рыжий. И все такое... Стихотворения). XI — 220.

**Алексей Смирнов.** Опыт Холина (Игорь Холин. Избранное. Стихи и поэмы). IV — 212; Пока не осушена чаша (Александр Ревич. Чаша. Стихотворения. Поэмы. Переводы). VIII — 204.

**Никита Соколов.** Великое государево дело (Евгений Анисимов. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII в.). XII — 209.

**Давид Фельдман.** Проблема реального комментария: почти правда, почти вся, далее — по тексту... (В. Катаев. Уже написан Вертер; С. Луцкий. Реальный комментарий к повести). V — 197.

**Дмитрий Харитонович.** Современность Средневековья (А. Я. Гуревич. Избранные труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги; Т. 2. Средневековый мир). X — 207.

**Анна Цитрина.** Редкая птица долетит до середины Днепра... (Александра Васильева. Моя Марусечка; Виктория Платова. Берег). VI — 208.

**Сергей Шаргунов.** Синдром Сидиромова (Сидиромов и другая проза Алексея Цветкова). VI — 214.

**Валерий Шубинский.** Незримая граница любви (Николай Кононов. Похороны кузнечика. Роман). XI — 205.

**Владимир Юзбашев.** Вавилонская арка (С. Файбисович. Русские новые и новые. Эссе о главном). VI — 216.

**Михаил Горелик.** — Роман Чайковский. Случайные строки. Стихотворные тексты, этюды в прозе, переводы. III — 227.

**Дмитрий Дмитриев.** — I. Вольфрам Эггелинг. Политика и культура при

Хрущеве и Брежнев. 1953 — 1970 гг. II. М. Р. Зезина. 1960-е годы. III. Н. М. Баранская. Странствие бездомных. Жизнеописание. Семейный архив. Старые альбомы. Письма разных лет. Документы. Воспоминания моих родителей, их друзей. Мои собственные воспоминания. VI — 225.

Александр Доброхотов. — Т. В. Васильева. Путь к Платону. Любовь к мудрости, или Мудрость любви. III — 230.

Евг. Иванова. — Евгений Голлербах. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910 — 1919) в поисках новой русской идентичности. V — 209.

Татьяна Касаткина. — I. Томас Венцлова. Свобода и правда. Сборник статей. II. МЕСНМВРІА. Български сборник в чест на Сергей Аверинцев. I — 232.

Александр Касымов. — Александр Левин. Кудаблин-тудаблин. Стихи. V — 205.

Галина Корнилова. — Наталья Галкина. Архипелаг Святого Петра. XII — 216.

Юрий Кублановский. — За что? Проза. Поэзия. Документы. II — 224.

Алексей Машевский. — Елена Елагина. Нарушение симметрии. II — 227.

А. Михалков. — Т. Ступникова. «...Ничего кроме правды...». Нюрнберг — Москва. Воспоминания. III — 232.

Елена Невзглядова. — I. Давид Раскин. Доказательство существования. Стихи 1962 — 1987; Давид Раскин. Запоздалые сообщения. Стихи 1988 — 1998; Давид Раскин. Стихи. II. Александр Танков. На том языке; Александр Танков. Стихи. III — 224.

Вл. Новиков. — Ничего смешного. Юмор, сатира, пародия, афоризм. II — 229; Евгений Шкловский. Та страна. XII — 215.

Михаил Одесский. — В. И. Макаров. «Такого не бысть на Руси прежде...». Повесть об академике А. А. Шахматове. VIII — 222.

Лиля Панин. — Валерий Черешня. Сдвиг. II — 225.

Григорий Померанц. — Марианна Вехова. Бумажные маки. Повесть о детстве. V — 206.

Евгения Свитнева. — От города W. до города D. Петер Альтенберг. Венские этюды. Джеймс Джойс. Дублинцы. III — 228; Лариса Миллер. Между облаком и ямой. V — 204; Светлана Сикуляр. На зеленом венике. VIII — 218.

Сергей Шаргунов. — Агата Кристи. Автобиография. V — 211; Милорад Павич. Ящик для письменных принадлежностей. XII — 217.

Татьяна Шуваева. — Е. Б. Скоропелова. Замятин и его роман «Мы». В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. VIII — 220.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Андрей Быстрицкий. Общество вне себя. Россия: от принципа удовольствия к принципу реальности. V — 216.

Антон Вальдин. Сколько икры съедено? VIII — 226.

Адель Вейс. «У меня захватило дух от совпадения...». V — 226.

Ирина Врубель-Голубкина. По поводу письма Эммы Герштейн. IV — 231.

Эмма Герштейн. Письмо в редакцию «Нового мира». II — 233.

Игорь Ефимов. Солженицын читает Бродского. V — 221.

Юрий Лобода. Кто кого гениальнее... VIII — 225.

Валентин Любарский. Касаясь до всего слегка. VIII — 227.

Олеся Николаева. Письмо в редакцию. II — 231.

Кирилл Ропоткин. Лесков в еще более удобной упаковке. VIII — 224.

### ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

Марина Адамович. Лики и личины (Русский век. История России за столет в фотографиях). V — 212.

Татьяна Николеску. — I. Уго Перси. Звуки на перекрестке. II. Серена Витале. Ледяной дом. Двадцать маленьких русских историй. III. Джованна Спендел. Москва 20-х годов. Мечты и утопии целого поколения. XI — 226.

### БЕСЕДЫ

На пороге новых дней. Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский беседует с Юрием Бурти-

ным, Мариэттой Чудаковой и Михаилом Новиковым. I — 181.

### АНКЕТА

Сегодня, завтра, далее — везде... IV — 223.

### БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Т. В. Чередниченко. О Благотворительном фонде Георгия Свиридова. II — 255.

### ПРЕМИЯ

А. Солженицын. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000. V — 186.

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

Полка Андрея Василевского. VII — 228; X — 227.

Полка Кирилла Кобрин. I — 237; III — 235; V — 228; VI — 229; VIII — 229; XI — 229.

Полка Сергея Костырко. II — 234.

Полка Александра Носова. IX — 230.

Полка Ирины Роднянской. IV — 232.

Полка Анны Фрумкиной. XII — 219.

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги. XII — 227; VII, X — 234; V, VI, XI — 235; VIII — 236; II, IX — 238; III, IV — 240; I — 242.

Периодика. XII — 230; V, VII, X, XI — 238; VI — 239; VIII — 240; II, IX — 241; III, IV — 243; I — 245.

Сетевая литература. VII — 239; XII — 241; IX, XI — 248; II, V, VIII — 249; III — 250; IV, VI, X — 251; I — 252.

### Авторы этого года

М. А. (I), Абаева Л. (X), Аверинцев С. (I, II), Адамович М. (IV, V), Азольский А. (VI), Акунин Б. (IV), Алехин А. (II), Амелин М. (I, IV), Ардов М. (I, V), Байтов Н. (X), Барикко А. (III), Басинский П. (IV, V), Баумволь Р. (IV), Бек Т. (III), Боровиков С. (X), Бочаров С. (XII), Буйда Ю. (V), Буртин Ю. (I), Бутов М. (II, XII), Быков Д. (II, V, VII), Быстрицкий А. (V), Вальбе Р. (I), Вальдин А. (VIII), Варламов А. (X — XI),

Василевский А. (I — XII), Вагутина М. (V), Вейс А. (V), Викторов Б. (III), Виротайнен М., (VII), Врубель-Голубкина И. (IV), Гаврилов А. (I, IV, IX), Герштейн Э. (II), Глоцер В. (IV), Горелик М. (II, III, VIII), Горянин А. (II), Градусов К. (III), Губайловский В. (VIII), Дедков И. (IX — XII), Дедкова Т. (XI — XII), Дмитриев В. (VIII), Дмитриев Д. (III, VI), Доброхотов А. (III), Екимов Б. (I, VII, VIII, XII), Елисеев Н. (III, XI), Ермолин Е. (XI), Ефимов И. (V), Залотуха В. (I — II), Залыгин С. (VII, XI), Захаров В. (III), Злобина А. (V), Иванова Е. (V), Иванова Н. (IX), Искандер Ф. (X), В. К. (III, IX), Каграманов Ю. (I, III, V, VII, IX, XI), Карасев Е. (VI), Карпачев М. (VI), Касаткина Е. (VIII, IX, XII), Касаткина Т. (I, VI), Касымов А. (V), Кенжеев Б. (VIII), Князева Е. (III), Кобенков А. (VII), Кобрин К. (I, III, V, VI, XI), Кононов Н. (III), Корнилов В. (IX), Корнилова Г. (XII), Коробов В. (VIII), Костомаров Д. (VII), Костырко С. (I — XII), Кочергин И. (XI), Крючков П. (VII), Кублановский Ю. (II, VI, VII, IX), Кудимова М. (IX), Кузнецов А. (VII), Кузнецова И. (VI), Куллэ В. (XII), Кучерская М. (IV, VIII, XI), Кушнер А. (I, II), Лавров А. (IV), Ларин О. (II), Ларин С. (VII, XII), Лем С. (VII), Липкин С. (III), Лиснянская И. (III), Лобода Ю. (VIII), Лосев А. (IX), Любарский В. (VIII), Маканин В. (IV), Марченко А. (XII), Маршалкович Н. (I), Мау В. (V), Машевский А. (II, XI), Мелихов А. (VII), Мелкумян М. (VII), Мельник Я. (VI), Миллер Л. (I, II), Мильдон В. (VIII), Михалков А. (III), Мраморнов О. (VII), Мушинская М. (XI), Найман А. (IV), Невзглядова Е. (III, VIII), Немзер А. (I), Непомнящий В. (X), Николаев В. (III), Николаева О. (II), Николеску Т. (XI), Новиков В. (II, XII), Новиков М. (I), Новиков С. (XI), Носов А. (IX), Одесский М. (VIII), Ознобкина Е. (III, X, XII), Орлова Н. (XII), Палей М. (I — V), Панн Л. (II), Перемышлев Е. (VIII), Петкевич Ю. (IV), Плохих И. (XI), Плуцер-Сарно А. (X), Полищук Д. (I), Померанц Г. (V), Попов В. (XI), Пьесух В. (VI), Рахматуллин Р. (I), Ремизова М. (II, V, XII), Репин В. (XII), Роднянская И. (IV, VII, XI), Ропоткин К. (VIII), Сабуров Е. (IV), Савёлова Н. (X), Салимон В. (V), Свитнева Е.

(III, V, VIII, XI), Серегин А. (VI), Славникова О. (III, VI, XI), Слаповский А. (X), Смирнов А. (IV, VIII), Соколов Н. (XII), Солженицын А. (V — VII, IX, XII), Солнцев Р. (X), Старк Б. (I), Старк Н. (I), Сульчинская О. (XI), Сумм Л. (XI), Сурат И. (VI), Тарасова М. (XI), Тарковский М. (VII), Тахо-Годи А. (IX), Тахо-Годи Е. (IX), Тихонова Ю. (I), Туробов А. (III, IV), Тучков В. (V), Улицкая Л. (VIII — IX), Ушакова Е. (VI), Файбисович С. (VIII),

Фаликов И. (X), Фельдман Д. (V), Фрумкина А. (XII), Харитонович Д. (X), Хлебников О. (VII), Хомутов С. (X), Цветков С. (II), Цитрина А. (VI), Чередниченко Т. (II, VII), Чубаров В. (XII), Чудакова М. (I, III, VI, XII), Шамборант О. (IV), Шаргунов С. (III, V, VI, XII), Шварц Е. (VII), Шеваров Д. (VIII), Шубинский В. (IV, XI, XII), Шубаева Т. (VIII), Щербакова Г. (III, XII), Эпштейн М. (IX), Эткинд Е. (I), Эфрон А. (I), Юзбашев В. (IV, VI), Юрьев Д. (X).

## МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД/АЛЬФА-БАНК

Экспертная комиссия по подведению итогов конкурса на соискание стипендий Альфа-банка и Московского Литфонда рассмотрела более 300 творческих заявок и приняла решение присудить стипендии 15 писателям:

**КОВСКОМУ** Вадиму Евгеньевичу — книга об Исааке Бабеле;

**КОКШЕНЁВОЙ** Капитолине Антоновне — роман «Свое чужое время»;

**МАЛЬЦЕВОЙ** Надежде Елизаровне — книга стихов;

**МИКУШЕВИЧУ** Владимиру Борисовичу — роман «Пригород»;

**ОТРОШЕНКО** Владиславу Олеговичу — книга эссе «Тайная история творений»;

**ПУХАНОВУ** Виталию Владимировичу — книга стихов;

**РАЗУМОВСКОМУ** Юрию Георгиевичу — книга стихов;

**РУДНИЦКОМУ** Михаилу Львовичу — перевод с немецкого «Писем к Фелице» Франца Кафки;

**САЛИМОНУ** Владимиру Ивановичу — книга стихов;

**САРАСКИНОЙ** Людмиле Ивановне — книга об А. И. Солженицыне;

**СВЕТОВИДОВОЙ** Нине Алексеевне — перевод с французского романа Симоны де Бовуар «Мандарины»;

**СИМОНОВОЙ** Инне Анатольевне — историческое повествование о Ф. В. Чижове;

**СМИРНОВУ** Виктору Васильевичу — книга рассказов и повестей;

**ЭБАНОИДЗЕ** Игорю Александровичу — книга писем Фридриха Ницше;

**ЭППЕЛЮ** Асару Исаевичу — книга рассказов.



# SUMMARY



The poetry section is represented by new poems written by Nataliya Orlova, Victor Chubarov and Valery Shubinsky. This Issue publishes the narrative «The Duck's Revenge or Praying about Eve» by Galina Shcherbakova and «Everyday Stories» by Boris Yekimov. You can also read the third part of Aleksander Solzhenitsyn's «essays of expatriation» «The Seed Got between the Two Millstones».

Under the heading «Close Remote Past» our Magazine completes the publishing of the literary critic Igor Dedkov's diaries.

In the section «The Scientific World» you can find the discussion of Mikhail Butov and a biologist Vadim Repin, dedicated to the evolutionary meaning of informational technologies.

The literary critique is represented by the following articles: Alla Marchenko's — «The Chinese Masquerade at the Russian Historical Stage» and Maria Remizova's — «Too Much Human. Some Reflections about the Non-fiction Literature».



**«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Общественный совет:** С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

**Главный редактор А. В. Василевский**

**Редакционная коллегия:** М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

**Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

**Редактор-библиограф А. И. Фрумкина**

**Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова**

**Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева**

**Адрес редакции:** 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

**Телефоны:** главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

**отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,**

**отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,**

**зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,**

**для справок, продажа журналов — 200-08-29.**

**Факс:** 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru

**Сетевой журнал «Новый мир»:** [http://www.infoart.ru/magazine/novyi\\_mi](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi)

---

**Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.**

**Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».**

---

**Слано в набор 20.07.2000 г. Подписано к печати 26.10.2000 г. Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн.**

**Высокая печать. Объем 16,0 печ. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.**

---

**Тираж 13 300 экз. Зак. 2601. Цена договорная.**

---

**Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»**

**Управления делами Президента Российской Федерации.**

**103798, Москва, Пушкинская пл., 5.**

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ПРИСУДИЛА ПРЕМИИ  
ПО ИТОГАМ 2000 ГОДА**

*следующим авторам:*

**АНАТОЛИЮ АЗОЛЬСКОМУ —**  
за роман «Монахи» (2000, № 6);

**КИРИЛЛУ КОБРИНУ —**  
за рубрику «Книжная полка Кирилла  
Кобрина» (2000, № 1, 3, 5, 6, 8, 11);

**МАРИНЕ КУДИМОВОЙ —**  
за поэму «Утюг» (2000, № 9);

**ОЛЬГЕ ШАМБОРАНТ —**  
за эссеистический цикл «Занимательная  
диагностика» (2000, № 4).

*В последний месяц XX века  
редакция благодарит всех авторов,  
сотрудничающих с «Новым миром»,  
и желает им доброго здоровья  
и творческих успехов!*